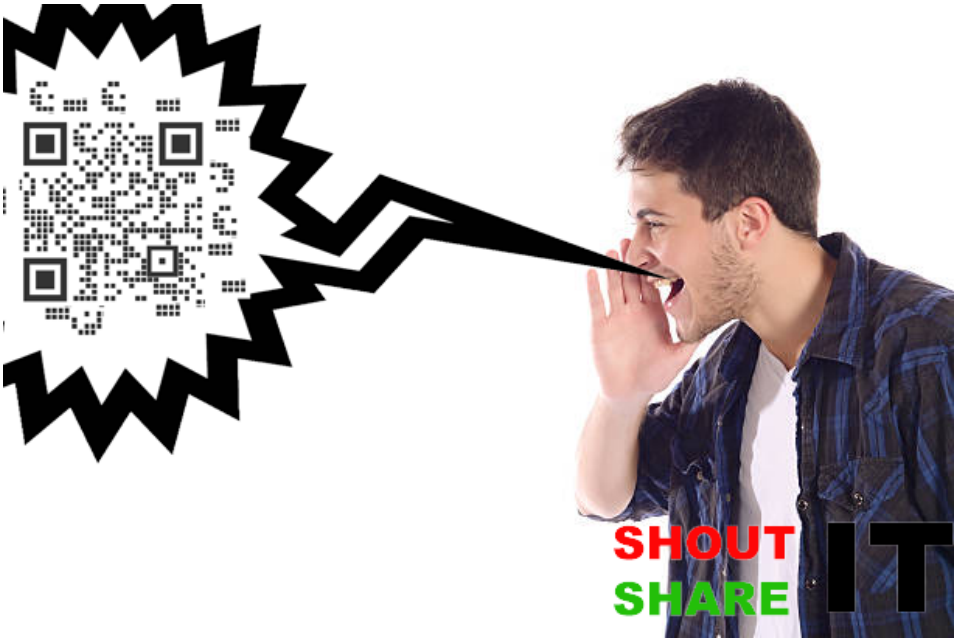
Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР

Джордж Кеннан


SHOUT
SHARE
IT

- Кеннан Джордж
  -

Кеннан Джордж
Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана

Кеннан Джордж
Дипломатия Второй мировой войны
глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана
Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова
{1}Так обозначены ссылки на примечания. Примечания после текста.

Аннотация издательства: Книга лауреата Пулитцеровской премии Джорджа Кеннана, видного американского дипломата, посла в СССР с 1954-го по 1963 г., аналитика, советолога, автора многочисленных трудов по американской дипломатии и внешней политике, повествует о сложном с точки зрения развития ситуации в Европе периоде мировой истории: канун Второй мировой войны, крупные военные конфликты, послевоенный передел Европы и противостояние двух политических систем. Автор представляет свое мнение о происходившем, дает яркие, хотя отчасти спорные портреты Иосифа Сталина и Теодора Рузвельта, других выдающихся политических деятелей, знакомит с личными прогнозами развития России после войны, делает любопытные зарисовки из жизни сталинского окружения и сотрудников иностранных дипломатических миссий.

Содержание

Часть первая
Глава 1. О себе
Глава 2. Подготовка к работе в России
Глава 3. Москва и Вашингтон в 1930-х годах
Глава 4. Прага, 1938-1939 годы
Глава 5. Работа в Германии в военное время
Глава 6. Португалия и Азорские острова
Глава 7. Европейская консультативная комиссия
Глава 8. Москва и Польша
Глава 9. Москва и победа в Европе
Глава 10. От дня победы в Европе до Потсдама
Глава 11. Длинная телеграмма
Часть вторая
Глава 12. Национальный военный колледж
Глава 13. Доктрина Трумэна

Глава 14. План Маршалла
Глава 15. Статья "X" и "доктрина сдерживания
Глава 16. Япония и Макартур
Глава 17. Североатлантический альянс
Глава 18. Германия
Глава 19. Будущее Европы
Глава 20. Последние месяцы в Вашингтоне
Приложения
Примечания

Часть первая

Глава 1.

О себе

Конечно, разные люди в различной степени помнят свои детство и юность. Боюсь, что у меня сохранилось об этих временах не так уж много воспоминаний. К тому же в наш стремительный век человека фактически отделяет от его собственного детства большее расстояние, чем в более спокойные времена, когда не было ни таких технологических переворотов, ни демографических взрывов, ни других столь бурных перемен. Углубляясь в эти воспоминания, я вижу перед своим мысленным взором худощавого, тихого, погруженного в себя студента, затем, более смутно, - не очень опрятного кадета военной школы. И уж совсем немногое я могу вспомнить о школьнике, который путешествовал из дома в школу и обратно по улицам Милуоки на новом трамвае, поражавшем тогда его воображение, весьма неохотно, с большим неудовольствием посещал по субботам школу танцев и так глубоко погружался в собственные грезы, что мог иногда часами не замечать того, что происходило вокруг. Своего более раннего детства я совершенно не помню. Можно, конечно, утверждать, что этот ребенок был очень чувствительным и с опаской относился к окружающему миру (так как рано лишился матери); однако это по большей части известно по рассказам других или в результате моего собственного анализа в более зрелые годы, а не по моим собственным воспоминаниям.

Другая трудность, с которой я сталкиваюсь, когда пытаюсь рассказать о своей жизни с самого начала, состоит в том, что в моем юном сознании, в большей мере, чем это бывает у других, отсутствовала четкая граница между миром фантазий и переживаний и миром реальности. В детстве мой внутренний мир был моим и только моим, и мне и в голову не приходило разделить мои переживания с другими людьми (со временем это свойство постепенно уступило место большему реализму). Моя внутренняя жизнь в то время была полна волнующих загадок, смутных страхов и того, что принято называть откровениями.

Например, необычного вида темное и мрачное кирпичное здание с аркой над входом, неподалеку от нашего дома, казалось мне исполненным жуткой значительности, а в деревьях ближайшего к нам парка Джуно, по моему тогдашнему убеждению, жили эльфы (моя кузина Кэтрин рассказывала об этом моей сестре Фрэнсис, и я, конечно, поверил в этот рассказ).

С другой стороны, сами мои воспоминания отличаются неопределенностью и расплывчатостью. Может быть, в том таинственном и жутком кирпичном доме в конце нашей улицы действительно происходили какие-то страшные вещи, и смутные догадки об этом родились в чуткой детской душе. И как я могу быть уверенным, что в деревьях парка никогда не жили эльфы или иные чудесные существа? В жизни случались иногда вещи и более удивительные. Сейчас, конечно, в парке Джуно едва ли можно найти подобные чудеса, и все сказочные существа, должно быть, давно сбежали, напуганные обилием машин в Милуоки (из-за этих машин исчезло уже многое, составлявшее прежде прелесть этих мест). Но кто может сказать точно, что там было, а чего не было в 1910 году? Вещи таковы, какими мы их видим. Я тогда по-своему смотрел на этот парк, и мой взгляд предполагал существование эльфов. Что здесь было правдой, а что фантазией, и до какой степени, этого никто никогда не узнает. Возможно, подобные загадки можно прояснить с помощью психоанализа по Фрейду. Имело бы смысл это делать, будь я большим художником, крупным преступником или просто человеком исключительным в хорошем или дурном смысле. Но я не принадлежу к таким людям.

Здесь следует упомянуть о двух семейных обстоятельствах. Почти все предки моего отца (которые в начале XVIII столетия переселились в эту страну из Ирландии) были фермерами. Один из них стал пресвитерианским священником, другой - полковником революционной армии и депутатом первого законодательного собрания в штате Вермонт, но все они при этом продолжали заниматься и фермерством. Позднее мои предки переселились в штат Нью-Йорк, потом - в Висконсин. Их жены происходили также из фермерских семей.

Все это были люди грубоватые и не всегда привлекательные. Образование и светскость несколько больше интересовали женщин, нежели мужчин. Мой отец первым из них получил высшее образование. Прежде всего им было свойственно тогда жесткое своеволие и нежелание общаться с другими людьми (не считая церковных общин). Они всегда стремились освободиться от любого общества, которое могло бы ограничить их индивидуальную свободу.

Представители нашего рода не были ни богатыми, ни бедными, все они привыкли работать. Не имея капиталов, они никогда не сожалели об этом, не завидовали богатым и не обращались с упреками к властям. Главным для них была их страсть к самостоятельности. От правительства они требовали только, чтобы оно оставило их в покое. Когда бывало трудно (а так было не раз), они жаловались Богу, а не в Вашингтон. Человек, произошедший из такой семьи в XX столетии, должен быть лишен как чувства превосходства, так и чувства неполноценности, свободен от социального недовольства и готов воспринимать всех людей как равных, независимо от расы или национальности.

Такое положение интересно сопоставить с классическими основами марксизма: никто из моих американских предков не был, в сколько-нибудь значительной степени, нанимателем рабочей силы и сам не продавал своего труда работодателю. Трудно представить другую семью, столь далекую от того классического положения, которому Маркс и его последователи придавали существенное значение. Это обстоятельство сказалось, когда я, став уже взрослым, начал иметь дело с последствиями русской революции - первого крупного политического триумфа марксистов. Я никогда не придавал значения всеобщей истины классическому марксистскому противопоставлению капиталистов - кровососов и эксплуатируемых, попранных, но социально чистых рабочих. Однако если говорить о степени, в которой это положение отвечало реальности, то лично я не имел к этой реальности никакого отношения, ни по собственному опыту, ни по опыту моей семьи. Я не могу отождествить себя ни с эксплуататорами, ни с эксплуатируемыми. Если говорить о реальной социальной несправедливости и эксплуатации, которую имели в виду марксисты, то, по моему убеждению, это скорее трагическое недоразумение ранней эпохи индустриального развития, а не драматическое противостояние демонов и ангелов.

Дело в том, что уклад жизни первых фермеров, создавшийся в XVIII веке, фактически сохранился до 60-х годов XIX века (нечто подобное произошло на американском Юге или в России). Культура XVIII века, свойственная подобным семействам, не походила ни на культуру дореволюционной Франции, ни на культуру лондонского света. Это были пуританские устои Шотландии и Северо-Восточной Англии. Удаленность нашего края защитила нас от последствий наполеоновских войн, а сохранение фермерского уклада - от последствий индустриальной революции. Мой дед, достигший зрелости в эпоху Гражданской войны, воспринял манерность и аффектации Викторианской

эпохи и даже получал от них удовольствие. Моему отцу эти черты были тоже отчасти свойственны, но он воспринял их механически и сам понимал их искусственность. Начало нового века он встретил с тревогой и отчасти с неприязнью и стремился найти убежище в свойственной его юности атмосфере задержавшегося XVIII века (он родился в 1851 году). Эта духовная атмосфера до известной степени сказалась и на нашей домашней обстановке, когда мы были детьми. И поэтому я чувствую себя не очень уютно в качестве человека XX века.

Единственное преимущество, которое я могу извлечь из этого неудобства, - относительная независимость. При всех недостатках такого положения это чувство все же помогает мне быть если не хозяином, то гостем своего времени.

Второе семейное обстоятельство состоит в том, что есть другой Джордж Кеннан, очень известный человек, родившийся лет за шесть до моего отца. Многие считали (а некоторые и теперь считают) меня сыном того Кеннана. Это вполне объяснимая ошибка, поскольку он в действительности был кузеном моего деда. Кроме того, есть известное сходство моего жизненного пути и жизненного пути этого Кеннана-старшего{1}, дающее мне основания считать, что между нами существует некая общность, более глубокая, чем дальнее родство. Мы с ним не только были тезками, но и родились в один "день года. Мы оба бывали в России и занимались ее проблемами; оба были высланы российским правительством, каждый - в свою эпоху{2}. Оба мы были профессиональными литераторами и лекторами, оба играли на гитаре, оба любили парусный спорт, оба стали членами Национального института литературы и искусств. Наконец, мы оба, каждый в свое время, пытались в Америке выступать за лучшее понимание геополитических интересов Японии.

Своих детей Джордж Кеннан-старший не имел, и, хотя я считаю себя в полной мере духовным сыном собственного отца, вместе с тем у меня есть известное чувство долга, в том смысле, что мне следует по мере сил продолжать дело моего знаменитого тезки. Иначе говоря, я считаю нужным делать то, чего ожидал бы Кеннан-старший от своего сына, если бы он у него был. Насколько этот мой родственник одобрил бы мою деятельность - судить не мне.

Для полноты картины моей подготовки к дипломатической карьере упомяну о полученном мною высшем образовании.

В Принстонский университет я попал прямо из военной академии при не совсем обычных обстоятельствах. Здесь сыграли свою роль мое увлечение сочинением Скотта Фицджеральда "Райский уголок" в последнем классе школы, а также отчасти -

поддержка и участие Генри Холта, декана нашего факультета в военной академии.

Я прибыл в Принстон сентябрьским вечером 1921 года, проехав на такси по университетскому городку. Увидев сквозь окно автомобиля очертания готического Холдер-Холл, я дал волю своему богатому воображению. Это здание будто бы окружено ореолом таинственности и великолепия. Реальность оказалась, конечно, несколько иной. Я был последним студентом, допущенным к занятиям, и не знал ни души ни в университете, ни в городе. Я получил последнюю меблированную комнату в мрачном доме для студентов за пределами университетского городка, куда в то время отправляли запоздавших новичков. Я был на год моложе большинства студентов моей группы и еще более неопытен, чем можно предполагать, судя по моему возрасту. Типичный уроженец Среднего Запада, я совсем не знал, как общаться с ребятами с Востока.

Тогда я знал только два основных настроения - неуклюжее высокомерие и кипучий энтузиазм. Кроме того; мне всегда была свойственна известная пассивность и отсутствие любопытства к устройству той системы, в которую я попал. Застенчивость мешала мне расспрашивать людей, что здесь к чему, и поэтому я, находясь в Принстоне, завел очень мало знакомств.

Кроме того, мне очень не повезло. Из-за отсутствия денег я не мог поехать домой на Рождество, а беспокоить отца, который мог бы их выслать, я не хотел. Поэтому я устроился на временную работу почтальоном в соседнем Трентоне. Утром в первый день новой службы начальник вручил мне сумку со связками писем и сказал, что вся эта корреспонденция сложена в строгом порядке. Мне остается только найти начало нужной улицы, а дальше сами письма помогут мне доставить их по адресам. Мне предстояло отправиться с письмами на трамвае в южную часть Трентона, в городские трущобы. В тот день с утра шел снег. Доехав до нужной остановки, я вытащил первую пачку писем и неловко спрыгнул на тротуар. При этом пачка вдруг развязалась у меня в руке, а письма попадали на пол трамвая и на проезжую часть улицы. Я стал их поспешно собирать, рискуя попасть под трамвай или троллейбус. Когда мне все же удалось выполнить свою задачу, я отправился в путь. Однако письма теперь были перепутаны, и ни о какой последовательности номеров домов не могло быть и речи. Целый день я метался по грязным, мрачным улицам, чтобы найти нужные адреса, беспокоя прохожих своими расспросами, постоянно звоня в двери и содрогаясь от запахов, доносившихся из жилищ, и зрелищ, которые передо мной открывались. Лишь поздно вечером я закончил работу и смог поесть, впервые за

целый день, в каком-то захудалом кабачке. Так прошло несколько дней, похожих один на другой, хотя уже и без таких происшествий.

Накануне Рождества мне удалось заработать 27 долларов, чтобы купить билет в общий вагон и отправиться в родной город.

Однако, то ли в трущобах Трентона, то ли в общем вагоне, я заразился скарлатиной. Болезнь, свалившая меня в постель внезапно, в один из вечеров перед Новым годом, стала потрясением для всей моей семьи. Пенициллин тогда еще не был внедрен в практику медицины, и мои домашние имели основания ожидать самого худшего. Я лежал в особой комнате на третьем этаже под надзором опытной медсестры. Карантин продлился почти до Пасхи. Выздоровев, я вернулся в университет в разгар весны, когда академический год подходил к концу. Студенты уже перезнакомились и подружились, образовались сплоченные компании, и попасть в одну из них было теперь очень трудно, особенно человеку, который был младше других, отставшему в учебе, временно выключенному из занятий спортом и слишком бедному, чтобы участвовать в большинстве общих развлечений.

Поэтому я тогда жил "на обочине" университетского городка, и меня мало кто замечал. На втором курсе, в дни начала составления клубов, я, из ложной гордости и желания быть "страдальцем", старался не появляться на людях. Когда же однажды вечером ко мне домой явились студенты, чтобы пригласить меня в один из немногих клубов, где еще не набрали членов, я так поразился этим внезапным вниманием к моей особе, что быстро принял предложение. Однако потом меня стали мучить угрызения совести в связи с этим поспешным согласием, и наконец я заявил о выходе из клуба. После этого несколько месяцев я обедал в особой столовой, вместе с другими "париями", не включенными в состав клубов.

Обедать в этом мрачноватом помещении было маленьким удовольствием. Лишь немногие из "отверженных" обществом не переживали по этому поводу, и мы даже избегали разговоров между собой, опасаясь как-нибудь невзначай задеть чувства собеседника. Из этого жесткого опыта я извлек для себя некоторую пользу. Именно в это время я вдруг осознал, что мне следует выработать самооценку, а не исходить во всем из стандартов окружающих, поскольку они вполне могут ошибаться, оценивая других людей.

Конечно, были и у меня приятели, такие же неприкаянные уроженцы Среднего Запада. В Бернарде Гафлере, интеллектуале-католике из Канзаса, я нашел товарища, с которым мы целыми вечерами вели философские дискуссии, оказавшиеся для меня

очень полезными. В дальнейшем наше товарищество укрепилось, поскольку мы оба стали служить в Госдепартаменте. Приятным и полезным было, конечно, мое общение и с моим кузеном и земляком Чарли Джеймсом, несмотря на его более молодой возраст. В течение одного академического года я сблизился со студентом, носившим запоминающееся имя Константин Николас Мемссолонгит, уроженцем Огайо, еще беднее меня и наивнее в смысле знания жизни американского Востока. Прирожденный журналист, он впоследствии стал одним из редакторов газеты "Нью-Йорк геральд трибюн". Его эллинский гедонизм представлял собой хороший противовес моей нервозности. С этим человеком я чувствовал себя хорошо. Летом мы общими усилиями оплатили нашу поездку в Европу. Однако теперь я вспоминаю об этом без радости и удовлетворения. Мы видели мало и не запомнили ничего, зато доставили немало хлопот разным людям, которые по доброте своей помогали нам или вынуждены были заниматься нашими делами (как тот консул в Генуе, пытавшийся избавить нас от естественных последствий нашей собственной непредусмотрительности). К тому же генуэзские портовые кабачки оказались не лучше трущобных в Трентоне. Там я заразился дизентерией, последствия которой сказывались в дальнейшем долгие годы. Поэтому неудивительно, что Принстон не показался мне похожим на "райский уголок" в духе Фицджеральда. Я плохо знал своих педагогов и не могу даже вспомнить, встречался ли я с ними вне официальной обстановки. Значительного идейного влияния на меня они не оказали, но некоторых из них я очень уважал за силу ума и цельность. Их образы запечатлены в моей памяти.

Одним из таких людей был Раймонд Сонтаг, впоследствии - профессор европейской истории в Калифорнийском университете и издатель "Документов по внешней политике Германии". Я уже не помню его концепции истории дипломатии, но мне всегда импонировали его скептицизм и отсутствие иллюзий, что не мешало ему с интересом относиться к своему делу. Другим интересным человеком являлся профессор Грин, преподававший младшекурсникам дисциплину, именуемую "введением в историю". Этот очень требовательный педагог, не делавший поблажек студентам, которые не могли освоить курса, постоянно имел некоторые проблемы в деканате. Благодаря его ревностному отношению к делу, материал его курса я помню лучше других. Однако в памяти у меня остался прежде всего образ основательного ученого и принципиального педагога. Позднее этот профессор переехал в Вашингтон, стал работать в Госдепартаменте и проводить аттестацию государственных

служащих. При этом он сохранил ту же бескомпромиссность, суровость и неуступчивость, и я иногда задавался вопросом, не вызывал ли этот человек у своих руководителей такого же беспокойства, как в свое время у декана факультета. За свои труды он был впоследствии "вознагражден" тем, что его не только уволили, но и демонстративно не пригласили для консультации, когда в 1953 году пересматривали всю аттестационную систему. Однако этот бескомпромиссный человек, стоявший у истоков системы аттестации в Госдепартаменте, заслуживает признания, которого он, к сожалению, так и не получил.

Я благодарен и еще одному преподавателю (к сожалению, даже его имени я не помню). Из-за скарлатины мне пришлось на втором курсе изучать предмет, предназначенный для первокурсников, - английскую классическую литературу. Этот курс почему-то вызывал у меня раздражение, и я под разными предлогами пропускал занятия. Мне казалось, что литературу надо изучать вовсе не так, не определять в пьесах Шекспира сюжет, кульминацию и т. д., а анализировать чувства героев и философские проблемы, затронутые автором. Если же Шекспир кого-то не интересует, то тут не поможет никакой филологический анализ. Наконец молодой преподаватель, который вел этот курс, вызвал меня и вежливо, но настойчиво потребовал дать объяснения происходящему. Я признался ему в своем неприятии самого предмета и пообещал честно постараться исполнить его требования. Я сделал это в своеобразной форме, представив педагогу сочинение о том, что, по моему мнению, делается неверно в преподавании английской филологии в американских колледжах. Вернув мне сочинение с высшей оценкой, мой наставник преподал мне урок великодушия и таким образом пристыдил меня. Так скромные строители, чьи имена не сохранились в моей памяти, из года в год возводили педагогическое здание.

Я окончил университет так же незаметно, как и начал свое обучение там, и, не считая выдачи дипломов, не участвовал ни в каких заключительных церемониях.

Мне трудно воссоздать портрет того времени, и лучше было бы этого не делать, но порой это бывает необходимо. Я, по собственным воспоминаниям, был довольно обычным молодым человеком, с довольно обычными слабостями и страстями. Я помню себя слабовольным, несколько изнеженным мечтателем со свойственной повышенной чувствительностью, идущей от конституции и семейного воспитания. Многие люди более мужественно переносили неизбежную жесткость жизни. Моим достоинством был живой, гибкий ум, который я не был склонен

заставлять работать, будучи предоставленным самому себе, однако он позволял мне, когда нужно, хорошо решать поставленные задачи и правильно реагировать на ситуацию. У меня не было никаких заранее определенных, предвзятых идей. В Принстонском университете мои наставники хорошо поработали над развитием моих умственных способностей, исходя из образовательных возможностей своего времени. Прежде всего мне дали хорошие знания по классической литературе. Я с большим интересом изучал там современную историю и политологию. Однако для развития моих эстетических склонностей (как, например, к музыке) у меня было мало возможностей. В моей семье, как вообще в пуританских семьях, этому не уделялось большого внимания, а в Принстоне предметы по эстетике не входили в обязательную программу. Никто ко времени окончания университета не научил меня разбираться в живописи или в архитектуре.

Можно сказать, что я получил хорошее образование, но дух мой не был пробужден. Не формировали университетские педагоги у своих воспитанников и четких концепций или убеждений. Я только помню, что у меня были смутные представления о либерализме Вильсонов, сожаления, что Америка не вошла в Лигу Наций, вера в ценности свободной конкуренции и неприязнь к высоким тарифам. Помимо этого других концепций я не имел. Кто-то упрекнул бы за это университетских преподавателей, но, по-моему, это было правильно. Цель университета - подготовить человека к формированию у него собственных предубеждений, а не прививать ему предубеждения, свойственные университетской среде.

Чего мне, пожалуй, недоставало тогда, так это общения со старшими и более мудрыми наставниками. Мой 70-летний отец, человек честный и скромный, слишком хорошо понимал свою оторванность от современности, чтобы пытаться быть моим учителем. Он только иногда напоминал мне, чтобы я, находясь далеко от дома, все же не забывал ходить в церковь. Я любил этого застенчивого, одинокого и не очень счастливого человека и сочувствовал ему, но свободного интеллектуального общения между нами не было.

Окончив университет, я решил поступать на службу в ведомство иностранных дел, созданное только в 1924 году. До этого у нас в стране имелись две службы - дипломатическая и консульская, теперь же их решили заменить одной профессиональной организацией. Насколько теперь помню, я тогда принял такое решение, потому что не знал, чем еще смогу

заниматься, тем более что в колледже с большим интересом и довольно успешно изучал внешнюю политику. Я боялся серьезно ошибиться в своем выборе. Удивительно, но факт - мой тогдашний выбор оказался правильным. Это было первое и последнее самостоятельное решение, которое я принял относительно своей профессиональной деятельности. В те времена для поступления на эту службу следовало окончить курсы или получить необходимую подготовку самостоятельно, а весной сдать устные и письменные экзамены.

Летом 1925 года, сразу после окончания университета, я работал матросом на судне, курсировавшем между Бостоном и Саванной (Джорджия), и заработал немного денег. 1 сентября я приехал в Вашингтон и устроился на жительство в пансионе на Черч-стрит, после чего стал проходить курс обучения у одного педагога - шотландца, зарабатывавшего репетиторством.

Помню, я очень боялся экзаменационную комиссию, которой руководил помощник госсекретаря Джозеф Грью. Когда я только начал рассказывать о себе, мой голос от волнения и страха сорвался на фальцет, так что я не смог даже произнести название родного штата Висконсин, чем рассмешил всю комиссию К моему собственному удивлению, меня приняли на службу с указанием приступить к своим обязанностям с будущего сентября.

Лето следующего года я решил провести в Германии. Я посетил Гейдельберг, где осматривал достопримечательности, слушал публичные лекции и познакомился с приятной брюнеткой, с которой мы вместе не раз ходили гулять по вечерам за город, туда, где обычно прогуливались влюбленные. Однажды меня посетил мой германский дядя, уроженец старого Франкфурта, очень образованный и милый человек, с которым мы гуляли, осматривая развалины старинного замка, разрушенного французами в XVII веке.

Из Гейдельберга я переехал в Берлин, а оттуда - на курорт Банзин на Балтийском море. Там я с помощью словаря читал "Гете" Фауста и "Закат Европы" Шпенглера. Все это время я практически не говорил по-английски.

Давным-давно, когда мне было восемь лет, меня возили в Германию, где я жил с мачехой и младшей сестрой в пансионе в Касселе (летней резиденции кайзера). Мой отец, знаток немецкого языка, считал, что наиболее чисто говорят по-немецки именно в этой части Германии. Я очень смутно помнил в 1920-х годах свое первое пребывание в Касселе. Однако немецкий язык, который я в свое время воспринял ребенком, теперь, при специальном изучении, давался мне легко, и к концу лета я его вполне освоил.

Первые семь месяцев своей новой службы я провел в так называемой Школе иностранных дел, которая тогда находилась на первом этаже старого здания Госдепартамента и военно-морского министерства. Там мы, хотя и без особого внимания, слушали лекции о визах, паспортах и других дипломатических формальностях, а также время от времени участвовали в практических занятиях, как, например, когда нам дали задание представить себя на месте посла в Англии, покидающего свой пост. От нас требовалось написать проект письма к британскому министру с объяснениями обстоятельств его отзыва и просьбой об аудиенции для себя у короля, а для своей супруги - у королевы. На этом и других подобных примерах мы постигли, что составление дипломатических документов - особое искусство, которым необходимо овладеть. По окончании этого курса меня послали на первую, временную, службу - в наше генеральное консульство в Женеве. Людям, склонным к исканиям и нуждающимся в хорошей школе, дипломатическая служба предоставляет такую возможность. Постоянная смена обстоятельств действия, многочисленные интеллектуальные стимулы, знакомство с жизнью других народов и работой правительств помогают значительно расширить кругозор людей, желающих узнать о многом, но стесняющихся задавать вопросы.

Особенно помогает во всем этом вновь обретенное чувство ответственности. Я с большой радостью почувствовал, что на этой работе обретаю как бы новое собственное "я" взамен прежнего, погруженного в себя и склонного к бесплодным переживаниям вместо действий. В связи с этим я вспоминаю наш официальный прием по случаю 4 Июля в отеле "Бо риваж" в Женеве. В роли нового вице-консула я, вместе с другими должностными лицами, обязан был играть роль хозяина, принимающего гостей, постоянно являвшихся на прием. Вскоре я почувствовал, что занимаю свое законное место в этом церемониале и отвечаю за благополучное его проведение, а потому я уже не совсем принадлежу самому себе. Таким образом, я почувствовал себя полезным обществу. Благодаря этой роли гостеприимного хозяина, я впервые ощутил в себе силу и уверенность, которая в дальнейшем очень пригодилась мне в моей дипломатической карьере. После этого только в моей домашней жизни возвращались ко мне прежняя нерешительность и закомплексованность. Подобно актеру, играющему на сцене, я увидел себя самого как бы со стороны и усвоил свою новую роль в общественной жизни.

Моя женевская служба продолжалась до конца лета 1927 года. Я приобрел там опыт консульской работы и хорошую

практику во французском языке. По окончании срока службы меня перевели на постоянную работу в Гамбург.

Этот крупнейший порт континентальной Европы был социал-демократическим городом, где проводился великий эксперимент по реализации гуманного социализма. Но в то время в этом городе, как нигде, кроме разве самого Берлина, ярко проявлялась моральная и интеллектуальная агония Веймарской республики. Эта драма произвела на меня очень сильное впечатление. Впервые в жизни меня занимали события, не касающиеся моего собственного "я". Я стал посещать прекрасные муниципальные вечерние курсы для взрослых. Еще я любил Гамбургскую гавань (море всегда было моей страстью). Моя работа вице-консула прямо связана с американским флотом и моряками, и я нередко принимал у себя в кабинете капитанов и моряков, попавших в затруднительное положение.

У меня сохранились живые воспоминания о шести месяцах, проведенных на этой службе, и на их основе я составил себе представление о Европе после Первой мировой войны. В моем дневнике сохранилась запись о том, как в одно дождливое воскресное утро я впервые увидел коммунистическую демонстрацию передо мной прошли колонны бедно одетых людей с угрюмыми лицами, которые маршировали под намокшими от дождя плакатами и красными знаменами. Это зрелище очень тронуло меня - я почувствовал торжественную серьезность этих людей, в другие дни вынужденных униженно молчать, для которых сегодня - их день, и они полны решимости заставить себя услышать хотя бы только благодаря своим лозунгам и своей многочисленности. Сохранились у меня и записи о лекциях. Их читал невысокий бородач с глазами, постоянно выражавшими страдание. Он читал нам горькие стихи австрийского поэта Франца Верфеля о недавней войне, и тогда мне открылся весь трагический пафос послевоенной Германии. Этот человек был далеко не единственным из встреченных мной, кто думал и чувствовал подобным образом, пытаясь найти новую, более высокую философию для себя и для своей страны.

Все эти новые впечатления показали мне, как постыдно нелюбознателен я был до сих пор и каким, в сущности, поверхностным было мое образование. Мой новый опыт убедил меня: прежде чем продолжать работу, надо продолжить профессиональное и общее образование. Вот почему я объявил о намерении уйти в отставку и зимой 1927/28 года появился в Госдепартаменте, чтобы официально оформить уход со службы. К счастью, первым, кого я там встретил, был мой прежний начальник и преподаватель Школы иностранных дел У. Доусон.

Подобно ангелу-хранителю, он предостерег меня от этой глупости и объяснил, что если я желаю продолжить образование, то мне нет никакой необходимости увольняться со службы. Например, если я желаю стать специалистом по одному из сравнительно редких языков - китайскому, японскому, арабскому или русскому, - то могу стажироваться три года в одном из европейских университетов, не оставляя дипломатической службы. Я и поныне благодарен мистеру Доусону за то, что он помог мне решить эту проблему. Я выбрал русский язык отчасти потому, что у нас тогда не было дипломатических отношений с СССР, и логично предположить, что со временем в этой области откроются перспективные возможности для специалистов по языку. Но кроме того, мне хотелось продолжить родовую традицию Джорджа Кеннана-старшего.

Мое заявление о желании специально изучать русский язык приняли, и летом 1928 года я смог начать подготовительную и академическую работу в избранной области.

Глава 2.

Подготовка к работе в России

Пять с половиной лет отделяло начало моей профессиональной подготовки к дипломатической службе в России от моей первой работы в Москве. Эти годы я провел либо в Берлине, либо в Таллине и Риге. Об этих годах писать не так легко. Интересных событий в это время было немного, а для личной жизни в подобном повествовании остается мало места. Судя по моим дневниковым записям той поры, я находился чаще в окружении природы, чем в окружении людей; да так оно, пожалуй, и было. Мои поездки по балтийским странам многому учили меня самого, однако, если их описывать без беллетристики, читателю они скорее покажутся монотонными и скучноватыми.

Курс страноведения продолжался тогда от года до полутора, с последующей трехлетней стажировкой в одном из европейских университетов. Поскольку мы не имели дипломатических отношений с Советским Союзом, поле нашей деятельности такого рода представляли собой Таллин, Рига и Ковно, в то время столицы Эстонии, Латвии и Литвы, где у США были дипломатические представительства. Все эти страны - недавняя часть Российской империи, вскоре им снова предстояло войти в состав России. Во всех трех государствах находились люди, говорившие на русском языке, и существовали очаги русской культуры.

По причинам, которых я точно не помню (возможно, срочное занятие вакансии в Берлине), я не сразу отправился в

Прибалтику, а был временно прикомандирован к берлинскому генконсульству. Об этом периоде у меня сохранилось мало воспоминаний. Обязанности мои сводились в основном к администрированию в клубе для приемов, на которых бывали дипломаты и банкиры. В тот же период я изучил русский алфавит. По окончании командировки я уехал в Штеттин, а оттуда на корабле отправился к месту моего назначения. Должность вице-консула в Таллине - моя первая работа в период подготовки к службе в России. Таллин в то время (надеюсь, он остается таким и теперь) милый старый ганзейский город, северное напоминание о немецком Любеке. Он стоит на берегу Финского залива, в 60 милях по прямой от Хельсинки и в 250 милях от Петербурга. В то время таллинское генеральное консульство было единственным американским дипломатическим представительством в этой столице. Консул имел также ранг секретаря и таким образом аккредитовался при эстонском правительстве; я же имел только консульский статус. Консулом тогда был беспокойный человек средних лет, из тех, кто вечно не очень уверен в себе и постоянно боится сделать какую-то ошибку. Поэтому он в значительной мере полагался на своего эстонского советника. Последний, напротив, уверенный в собственной непогрешимости (качество, по моим наблюдениям, свойственное многим представителям мужского пола к востоку от Вислы и Дуная), претендовал на всезнание. При таких обстоятельствах я был практически отрезан от серьезной дипломатической работы и занимался в основном организационной: оформлением виз, ведением делопроизводства, защитой интересов отдельных лиц. Такая небольшая загрузка работой мне даже немного нравилась.

В то время, по моим воспоминаниям, в Эстонии проживало девять американских граждан; пятеро из них - в Таллине: консул с женой, супружеская пара - члены ИМКА{3} и я. Однажды консул пригласил меня провести уик-энд на даче на западном побережье. Почему-то там ко мне вернулись мои худшие невротические реакции студенческих времен. Я ни с кем не общался, сторонился людей и вызывал неприятное недоумение небольшого дипломатического общества, которое там собралось. Кроме того, я никогда не бывал в гостях у эстонцев, не старался изучить эстонский язык и вообще не очень интересовался Эстонией. Получилось так, что я жил там преимущественно в одиночестве, довольствуясь обществом кокер-спаниеля. Но у этого отшельничества были и положительные стороны. В компании той же собаки я совершил по выходным дням немало экскурсий - в Хельсинки, Нарву, университетский город Тарту (Дерпт), а также в русскоязычную провинцию на юго-востоке страны. Мне очень

нравились эти путешествия, оживлявшие мою жизнь в Таллине. Кроме того, в это время я начал основательно изучать русский язык.

Моим учителем стал один обедневший украинец, который никогда не преподавал языков, однако у него было одно достоинство: он, кажется, ни слова не знал ни на одном языке, кроме своего родного и русского.

Мой учитель принес мне буквари для первого класса русских школ в Эстонии. Мне пришлись по душе эти книжечки с красивым славянским шрифтом, включавшим и те буквы, которые большевики исключили из русского алфавита. Там можно было прочесть русские сказки и отрывки из русских классиков, восторженно писавших о зиме и о катании на салазках. Я даже заучил наизусть несколько таких стихов. С тех пор я увлекся великим русским языком, богатым интонациями, музыкальным, иногда - поэтичным, иногда - грубым, порой классически суровым. Любовь к этому языку не раз помогала мне в трудные периоды моей дальнейшей жизни. Признаюсь, я сознательно перефразировал одно тургеневское стихотворение в прозе о русском языке, прочитанное мною в одном из учебников. Русский язык я усваивал как-то естественно, будто когда-то в незапамятные времена уже знал его, а теперь вспоминал нечто давно забытое с чувством приятного волнения. Я даже совершил своего рода паломничество на Рождество в Псковско-Печерский монастырь, находившийся неподалеку от советской границы. Это был настоящий уголок России XVII века. Здесь все говорили только по-русски, и я значительно улучшил свои знания языка.

В начале 1929 года меня перевели в американскую дипломатическую миссию в Ригу - тогда более крупный город, чем Таллин, хотя и не такой центр общественной жизни, как до революции. Здесь проживали много западных европейцев, как дипломатов, так и постоянных жителей, в основном оставшиеся с царских времен представители британской торговой колонии. Приезжающие сюда были вовлечены в активную жизнь местного западноевропейского общества.

К стыду своему, я затрудняюсь вспомнить, чем конкретно я занимался на этой службе. Официально моя подготовка к работе в России еще не началась, и я не принимал участия в деятельной жизни русской секции дипломатического представительства. Однако занимался какой-то текущей работой и переводил статьи из местной русской газеты о политике Латвии.

Рига - космополитический город, где на международном перекрестке культур выходили газеты и ставились спектакли в театрах на латышском, немецком, русском и идише; где работали

лютеранские, католические, русские православные и иудаистские религиозные общества. Латыши, которым принадлежало политическое господство, в последний период своей независимости все больше становились шовинистами, решились наконец покончить с этим космополитическим разнообразием и действительно к 1939 году добились многого, в значительной мере лишив Ригу, прежде именуемую "Парижем Балтики", ее былого очарования{4}. Их усилия в 1940 году завершились самым неожиданным для них образом - русской оккупацией и включением Латвии в состав СССР, после чего великолепная многонациональная Рига погрузилась в сумрак изоляции за непроницаемыми стенами сталинской России, а латышский национальный шовинизм был наказан свыше всякой меры{5}.

В Риге в то время бурлила ночная жизнь, выдержанная во многом в петербургском стиле, - с водкой, шампанским, цыганами, катаниями на санях или на дрожках. Но все это веселье смешивалось с ностальгической грустью, тоской по ушедшим дням. Рига во многих отношениях - это уменьшенная копия старого Петербурга, один из тех случаев, когда копия переживает оригинал. В Риге еще сохранился уголок царской России, дававший представление о жизни при царе. В нашем посольстве еще работали люди, прежде сотрудничавшие в посольстве Петербурга, и я, основываясь на этих своих впечатлениях, пытался воссоздать картину жизни старого петербургского посольства в 1917 - 1918 годах в книге "Россия выходит из войны".

В Риге я жил вместе с другими несемейными мужчинами в специально отведенных апартаментах на верхнем этаже огромного здания в немецком стиле, которое почему-то называли Форбургом. Мои товарищи были людьми умными и образованными, большими любителями поговорить и поспорить. Погода здесь девять месяцев в году стояла ненастная и промозглая, и во время длинных, дождливых вечеров мы сидели у окон, любовались видом на порт, открытый для советской транзитной торговли, и вели бесконечные споры о Советской России, марксизме, капитализме, крестьянском вопросе и т. д. Новые люди приезжали и уезжали, подобно участникам игры в рулетку, и каждый из них вносил свой вклад в наши продолжительные дискуссии. Отсюда я тоже совершал экскурсии - в Ковно, Вильно{6} и Мемель.

Но больше всего нам полюбилось летнее Рижское взморье, где вдоль песчаного морского берега среди огромных сосен стояло множество дач в русском стиле. Я даже снял для себя один маленький однокомнатный домик на этом побережье и с

удовольствием купался в море в июньские и июльские дни. Но особенно полюбил я ночные купания в то удивительное, таинственное время сумерек, которое наступает здесь на несколько недель в разгар лета; в Петербурге оно называется белыми ночами.

Летом 1929 года я снова отправился в Берлин, чтобы формально начать академическое изучение России. Я стал аспирантом так называемого Восточного семинара Берлинского университета. Первоначально созданный Бисмарком для подготовки дипломатов, работающих на Востоке, этот своеобразный факультет к тому времени превратился в центр по изучению восточных культур. Русское отделение выдавало окончившим его дипломы переводчиков. Однако экзамены следовало сдавать не только по языку, но и по истории государства и права, и по экономической географии России.

Благодаря тому, что я уже узнал кое-что о России до приезда в Берлин, я смог сравнительно легко сдать экзамены в конце первого года обучения. Во время второго года обучения мы изучали русскую историю на университетском уровне, а также русский язык и литературу (с частными преподавателями). Я занимался на семинарах у двух выдающихся профессоров русской истории, Отто Герша и Карла Штелина. Герш был не только историком, но и консервативным политиком и политологом, депутатом рейхстага. Он занимался не собственно Россией, а историей Восточной Европы в целом. Его студенты и аспиранты поражали меня глубиной своих знаний. Из-за своей слабой подготовленности я не смог получить многого от его семинарских занятий, но считаю свое обучение у него очень полезным, как благодаря знакомству с академической методологией, так и благодаря общению с интересными людьми.

Штелин, создатель одного из лучших курсов по истории современной России, был настоящим самоотверженным ученым. На своих студентов и аспирантов он смотрел как на помощников в исследованиях и давал нам частные научные темы в соответствии со своими интересами. Я подготовил для него доклад на основе воспоминаний кремлевского библиотекаря о периоде оккупации Москвы Наполеоном. Не знаю, в какой мере эта источниковедческая работа оказалась полезной профессору, но для меня она явилась первым и постольку очень ценным опытом подобного исторического исследования.

Мои частные преподаватели русского языка были не профессиональными педагогами, а просто культурными русскими эмигрантами, с которыми я разговаривал и читал им вслух русских классиков из "Курса русской истории" Ключевского.

Основателем новой системы обучения русскому языку был тогда Роберт Келли, глава восточноевропейского отдела Госдепартамента. Смысл его программы состоял в том, чтобы дать нам русскую языковую среду, сравнимую с той, в которой жили образованные русские люди до революции; советологией же он не занимался. Однажды, во время учебы в Берлине, я написал ему, что в Берлинском университете организованы, пожалуй, лучшие на Западе исследования по советским финансам, советской политической структуре и т. д. Я спрашивал, не заняться ли мне какими-то из этих дисциплин, и он мне ответил, что делать этого не стоит. Сначала мне следует хорошо изучить традиционную русскую культуру, а остальное придет позднее. За это разумное решение проблемы я был ему признателен. К концу второго года обучения в Берлине я заметно продвинулся в изучении русской истории, литературы и языка. Языковые знания я продолжал совершенствовать в последующие годы в русскоязычной среде, но полученных в то время основ было уже достаточно для моих профессиональных целей. К этому времени я уже устал от учения и хотел вернуться к практической работе. Келли не возражал, и решили, что я, не пройдя третьего года обучения, вернусь в Ригу, для работы в русском отделе американского представительства. До установления дипломатических отношений между США и Советским Союзом оставалось еще два года, и это назначение являлось в то время последним звеном для тех, кого готовили к работе в России.

Не так уж много можно рассказать о моей частной жизни в период учебы в Берлине. Я жил в тесных, сверхмеблированных комнатах в немецком стиле. Однажды мне удалось опубликовать статью в либеральном немецком журнале. Были у меня друзья - немцы, американцы, англичане и русские. Среди них мне запомнилась одна нищая семья - мать, сын и дочь, - жившая в одном из подвалов в Шпандау. Никто из них не имел постоянного заработка. Сын пытался писать книги, дочь училась игре на пианино. Все трое были страшно непрактичными и беспомощными. Я, как мог, пытался помочь им, но они жили от одного кризиса до другого, и выжить им удавалось лишь каким-то чудом божьим, словно в награду за их совершенную невинность и терпение. Эти люди не признавали ничего регулярного, могли совершенно неожиданно прийти в гости, причем, когда у них была такая возможность, приносили даже небольшие подарки. Я был признателен за их привязанность ко мне, было приятно, что эти русские воспринимают меня как своего, а не как иностранца.

Атмосферу тогдашнего, догитлеровского, Берлина, как и мои впечатления об этом городе, может быть, лучше всего передает

одна из моих дневниковых записей от 7 февраля 1931 года:

"Наконец-то похолодало, и сухой снег падает в вечерних сумерках на проезжую часть Кайзераллее, смешиваясь с дорожной грязью. Над окнами, которые покрыты морозными узорами, висят малоподходящие в такое время рекламные плакаты с видами мест отдыха - Тегельзее, Мугельзее и других, причем на всех изображены озера, летнее солнце и яхты.

В Берлине не так важно, в каком именно районе вы живете, - в любом случае вы чувствуете себя не частью района, но частью города в целом.

На Луизенштрассе... Впрочем, это было давно, с тех пор город изменился. Да изменился и я сам.

Из окон комнаты на Мюленштрассе видна площадь перед магистратом, а кроме того, еще и уголок городского парка, в том месте, где находится конечная остановка автобуса номер 14. Там всегда стоят два или три автобуса, прежде чем отправиться в обратный путь, в восточную часть города. Здесь обычно шум от звонков трамваев смешивается с гулом автобусных моторов. Одинокая проститутка обходит вокруг квартала, словно птица в поисках съестного. Интересно, какую добычу может она найти здесь, в этой вовсе не эротической части города. Иногда на этой площади возникает что-то вроде небольшого базара, а иной раз по ней проходят политические демонстрации колонны вызывающего вида молодых людей в спортивных костюмах, со знаменами и барабанами

Окна комнаты на Гизебрехтштрассе выходят на маленький, жалкий дворик, именуемый садом. На этом дворике есть несколько деревьев, несколько контейнеров для мусора и огромное количество грязных кошек, орущих в летние ночи. В теплые воскресные дни жители дома выходят на балконы, читают газеты, пьют кофе, и во дворе стоит страшный шум, поскольку одновременно играет радио, звучит церковная музыка, и отрывки из опер Вагнера смешиваются с резкими звуками джаза. Недалеко от Гизебрехтштрассе находится Курфюрстендам. Там на углу есть кафе, где подают невкусную еду, но зато оттуда можно позвонить по телефону, не сделав никаких покупок, а это бывает очень полезно, когда нет ключа и нельзя попасть в квартиру. Однажды, когда и этот телефон не работал, мне пришлось ночевать в кредит в ультрасовременном отеле неподалеку от кафе. Вообще же этот бульвар - очень оживленное место, и транспорт ходит по нему в любое время дня и ночи.

На Гитцигштрассе стоят большие старинные здания, окруженные железными изгородями. Здесь также и днем и ночью ездят машины, лимузины и такси, будто напоминая, что это -

всего лишь участок дороги, связывающий между собой центры городской жизни.

Цельтен похож на сельскую местность. Там нет ни одного большого магазина. Этот пригород находится между берегом реки и городским парком, и здесь царит тишина, нарушаемая только звуками оркестров в Крольском саду. Но даже здесь, в столичном пригороде, чувствуешь, что общаться не с кем. Вдоль бесконечных улиц стоят мрачные виллы, все разные, но при этом - страшно похожие одна на другую. Весь облик этого места указывает на то, что здесь еще недавно рос сосновый бор. Днем в этих краях редко кто-то бывает, а по ночам тут стоит удивительная тишина, изредка нарушаемая шагами запоздалого прохожего, возвращающегося домой, или звонком одинокого трамвая, едущего по ночной улице неизвестно откуда и неизвестно куда".

В последний период моей берлинской учебы, летом 1931 года, я познакомился с молодой норвежкой Аннелизой Сэренсен, которая жила в Берлине у своей английской родни. Мы с нею были помолвлены. В июле она отправилась в Норвегию, чтобы сообщить эту новость своим ничего не подозревавшим родителям. Вскоре после этого и я совершил путешествие на север, чтобы представиться родителям своей невесты. Я поехал туда в элегантной открытой машине, которую приобрел за год до того (и очень ею гордился).

Для описания начала этого путешествия я снова обращаюсь к своему дневнику, чтобы передать атмосферу того времени:

"Дорога на Штеттин плохая. На полях идет уборка урожая. Сегодня суббота, 8 августа. На деревенской улице развеваются флаги, и какой-то оратор громко взывает к народу: "Ни у кого не осталось денег. Французы нас всех обездолили! Продолжение этой политики..."

В Штеттине я сразу направился в порт. Пока я ждал своего корабля, Володя и Шура, пришедшие меня проводить, куда-то ушли. Вскоре они вернулись с охапками цветов, купленных на последние деньги. Они очень серьезно отнеслись к моему отъезду. Не разум, а чувство подсказало им, что это конец моего пребывания в Берлине, а потому прощаемся мы всерьез.

Когда корабль уже отошел от причала, у берега остановилось такси и водитель дал резкий и длительный сигнал. Из машины вышла полная дама, нагруженная десятком свертков, и стала махать зонтиком в нашу сторону. Корабль дал задний ход и снова остановился. Пока дама взбиралась по трапу, мы с моими друзьями снова попрощались за руку, и Володя дал мне их новый адрес, записанный на клочке бумаги. Корабль снова отошел от берега и поплыл вниз по реке. Я стоял на корме и, как

стопроцентный немец, махал платочком, пока маленькие фигурки на берегу не исчезли из поля моего зрения.

Теперь это путешествие показалось мне значительно менее романтичным, чем три года назад, когда я уезжал в Балтийские страны. Очевидно, я с тех пор стал смотреть на вещи иначе, а возможно, я просто устал. Уже совсем стемнело, когда мы вышли в море у Свинемюнде. Глядя на удалявшийся берег, я думал о том, что прошлая берлинская жизнь теперь уже позади, у меня же осталось некое чувство пустоты".

Три дня я провел в Копенгагене и, вместо того чтобы отдохнуть, возился с машиной. Несмотря на летнюю жару, я простудился. Доехав до Фредериксгавна на севере Дании, я пересел на старый паром, который следовал через Скагерракский пролив в город Кристиан-станд на южном берегу Норвегии, где жила моя невеста. Во время этого путешествия я почувствовал, что заболеваю. Вечером я прибыл на место и оказался в гостях в милой патриархальной норвежской семье. По местным традициям, мы, несмотря на мое состояние, засиделись до поздней ночи, пили кофе с коньяком, курили сигары и вели неторопливую семейную беседу. Вечер этот все же оказался довольно приятным. Но мне страшно подумать, какое впечатление должен был произвести на это солидное норвежское семейство невзрачный, очень нервный и не очень здоровый американец, которого они встретили в порту. Родители моей невесты, очевидно, легли спать в еще большей тревоге, чем при ожидании моего появления.

И все же с тех пор и навсегда меня приняли в этой семье, как сына и брата, чьих недостатков стараются по возможности не замечать, а достоинствам воздают должное. Я навсегда сохранил чувство признательности к родителям жены: к ее матери, открытой, добродушной женщине, полной чувства собственного достоинства, и к ее отцу, сильному духом человеку, которого не сломило пребывание в нацистском концентрационном лагере, и чту их память. От них обоих я никогда не слышал грубого слова и не мог пожаловаться на какую-либо несправедливость. Эта семья подарила мне второй дом и даже вторую родину, которой стала для меня Норвегия.

В сентябре мы с моей невестой поженились и отправились в свадебное путешествие в Вену. Эта столица к тому времени утратила былое имперское великолепие, но сохранила былое гостеприимство, несмотря на затронувший Австрию тяжелый экономический кризис. По окончании медового месяца мы уехали в Ригу, где и начали семейную жизнь.

Мы приехали туда в пору осеннего ненастья, и Рига

показалась нам пустой и мрачноватой, по контрасту с тем столичным блеском, который запомнился мне в пору моей холостяцкой жизни в этом городе. Прежние мои товарищи теперь выглядели настороженными, недоверчивыми людьми, не склонными к дружескому общению. Мы с молодой женой почувствовали себя выключенными из общения с прежним кругом моих знакомых.

Сначала мы сняли два верхних этажа в бывшем доме фабриканта, в одном из рабочих предместий Риги. (Я заметил, что в царской России фабриканты имели обыкновение жить поблизости от своих заводов и на территории рабочих поселков, и, как я подозреваю, это обстоятельство - одна из причин распространения марксизма среди русских рабочих.) Дом находился рядом с парком, и зимой здесь было очень тихо. Но в мае, к нашему ужасу, в парке соорудили эстраду, на которой каждые субботу и воскресенье стали оглушительно играть духовые оркестры, и под эту резкую, негармоничную музыку плясала на танцплощадке латышская молодежь. Оркестры играли всего пять бесконечно повторяемых мелодий, сменявших друг друга, по выходным дням в течение всего лета. От этого шума невозможно было бы спрятаться, даже забравшись в чулан. Это испытание закончилось лишь осенью. Тяжело пришлось моей жене, забеременевшей еще во время свадебного путешествия. Однако наша дочка, которую мы назвали Грейс, благополучно родилась в июне, в сезон белых ночей.

В то время уже бушевал мировой экономический кризис. У меня имелась небольшая сумма денег, унаследованная от матери. Именно в это время я истратил все свои сбережения. Однако теперь я считаю, что во всем этом была и положительная сторона - по крайней мере, с тех пор я знал, какие деньги я сам заработал, а какие - нет. В то же самое время конгресс отреагировал на кризис, лишив нас рентных доходов и урезав наше жалованье с помощью следующего маневра: мы были обязаны взять месячный отпуск без оплаты. В целом, по моим воспоминаниям, наше официальное вознаграждение урезалось более чем на половину, притом без предупреждения. Мы ничего не могли изменить в семейных обстоятельствах до осени. На зимнее время нам пришлось покинуть прежнее жилье и снять квартиру в Форбурге, где жили холостяки.

К концу лета 1933 года я получил право на отпуск, чтобы съездить домой. Ребенка мы оставили у родных в Норвегии, а потом отправились в Копенгаген, а оттуда - на корабле в Нью-Йорк. Хотя я тогда еще не знал об этом, на службу в Ригу мне не суждено было вернуться.

Я обещал не слишком утомлять читателя, но сделаю исключение для одного из путешествий по Балтике в период великой депрессии, чтобы представить обстановку в то время. И имею в виду свою поездку вместе с бывшим однокурсником Бернардом Гаффером в порт Либау{7} (Лиепая) поздней осенью 1932 года. До Первой мировой войны Либава была процветающим портовым городом и промышленным центром.

Вот рассказ о нашем визите в этот город.

"Мы выехали из Риги на машине в ноябрьский день, уже далеко за полдень, когда стало смеркаться. На реках начался ледоход, в связи с чем убрали понтонный мост, и нам пришлось проехать по высокому железному мосту выше по течению реки.

Дорога на Митау{8} прежде была частью стратегической магистрали, соединявшей Петербург с немецкой границей. Сейчас она покрыта скользкой осенней грязью и никогда не высыхает. Мир вокруг нас погружен в ночную темноту. Кое-где можно увидеть крестьянские телеги и крытые повозки. Этим крестьянам приходится ехать несколько дней по скользкой дороге в промозглую погоду, чтобы продать свой товар в Риге за один-два доллара. Они ночуют на дороге, а их лошади проявляют философское равнодушие к сигналам автомобилей.

В Митаве мы сели на поезд и добрались до места назначения в вагоне второго класса в обществе двух спящих офицеров и двух немецких бизнесменов. Вечером следующего дня мы приехали в Либаву. Извозчик на дрожках довез нас до площади и остановился у гостиницы. Мальчик-слуга забрал у нас наши чемоданы, вошел вместе с нами в холодное здание и провел через темный вестибюль, который, насколько можно было судить по его виду, ранее имел гораздо более привлекательный вид.

Вечер мы провели в городском ночном кафе. Там же присутствовали и наши соседи по вагону, немецкие предприниматели, поселившиеся в той же гостинице, что и мы. Кроме нас, там было еще двое-трое гостей. За одним из столиков сидели евреи. Подавальщицы на кухне заглядывали в обеденный зал, заинтересованные присутствием приезжих. Евреи вполголоса обсуждали возможность обойти американский иммиграционный закон, отправившись сначала на Кубу, откуда можно будет с помощью контрабандистов попасть в Америку. Маленький оркестрик играл прошлогодние берлинские шлягеры. Вся эта "ночная жизнь" прекратилась около полуночи, когда евреи заплатили по счету, оркестранты стали собирать инструменты, а официантки - убирать со столов.

Мы решили прогуляться перед сном. Мы шли под моросящим дождем по узким улочкам, обычным для городов Северной

Европы. Откуда-то издали доносился гул моря. Дойдя до конца одной из улиц, мы увидели впечатляющее здание эпохи Ренессанса у входа в небольшой парк, где не было ни души. Мы быстро прошли парк до конца. Дальше идти, особенно в полной темноте, было невозможно начинались дюны, и мы прервали прогулку.

Утром следующего дня солнечный свет с трудом пробивался сквозь тучи. По-прежнему шел дождь. За завтраком мы просматриваем местные газеты, а после завтрака - гуляем по городу. Пройдя через базарную площадь, выходим к великолепному зданию католической церкви, построенной в XVIII веке в готическом стиле, свойственном Северной Польше и Восточной Германии. Либава - старый город, возникший на месте рыбацкой деревни после разделов Польши, когда балтийские провинции вошли в состав Российской империи. Здесь смешались культурные влияния немецкого лютеранства, польского католицизма и русского православия, поскольку эта земля не раз переходила из рук в руки. Настоящее экономическое развитие этого порта началось после строительства здесь в 1870-х годах железной дороги, связавшей Балтику с Украиной, житницей Российской империи. Город был рожден заново бурным экономическим развитием России в XIX веке. Но в нем нашло свое отражение как польское влияние (кирпичная католическая церковь и польское кладбище), так и влияние соседней Германии, проявившееся в облике и постройке вилл вдоль морского берега и в планировке городского парка.

Пройдя через дюны, мы попадаем на обширный пляж. До Первой мировой войны это излюбленное место отдыха представителей светского общества из имперского Петербурга и Москвы. Слава Либавы как курорта не уступала славе Крыма или Рижского взморья. Но сейчас, в ноябре 1932 года, этот пляж почти безлюден. Только у волнореза, в дальнем его конце, несколько крестьян собирают морские водоросли и грузят их на телеги.

В порту также царит тишина, хотя мы пришли сюда в будний день. Не видно ни одной живой души. Мы видим заброшенное здание таможни с выбитыми окнами. В зимнем порту стоит на приколе единственное грузовое латышское судно, словно пережидая зиму (а может быть, и кризис). В доках трава проросла между каменными плитами. Но гранит, вкопанный в землю посланцами Российской империи, еще долгие годы может ждать прибытия кораблей.

Мы проходим по фабричному району, примыкающему к порту. Над фабричными трубами не видно дыма. Большие дома, служившие резиденциями фабрикантам, теперь стоят почти

пустые, с темными окнами и заколоченными дверями. Только квартиры привратников кажутся обитаемыми, и в этом простом факте есть нечто символическое - будто все оставшееся население города переселилось в квартиры для привратников и слуг. Это отражение духа времени, когда люди должны вести относительно примитивный образ жизни среди руин, напоминающих о более высокой цивилизации. Только ли в войне и кризисе дело? Будет ли этот порт снова полон кораблей? Заработают ли фабрики, как работали прежде? Наполнятся ли вновь людьми дома и гостиницы? Будет ли снова запущен весь экономический механизм города? Или же эти здания, подобно уголкам средневековой Европы, превратятся в музеи для будущих поколений? Не будут ли они, как часто бывает в России, заселены людьми, для которых ценность и первоначальное предназначение этих зданий не имеют значения?

В узком трамвайном вагоне мы возвращаемся назад вдоль пустых улиц, мимо остановившихся фабрик. А вечером, когда поезд уже везет нас обратно в Ригу, мы снова встречаемся в вагоне второго класса с теми же двумя немцами, которые курят русские сигареты и стоят, сосредоточенно глядя в окна вагона, мокрые от дождя".

* * *

Русский отдел американской миссии в Риге, где я работал до осени 1933 года, представлял собой небольшой исследовательский центр, который получал и изучал основные советские периодические издания и другие публикации, чтобы составлять для правительства США доклады о положении в Советском Союзе, прежде всего - в советской экономике.

Советские власти тотчас заподозрили, что наше исследовательское бюро занималось шпионажем. Однако это было совершенно ошибочное заключение. Мы никогда не имели никаких секретных агентов и никогда не хотели их иметь. Опыт показывает, что научный анализ легальной информации, которым мы занимались, может дать больше сведений о любой стране, чем усилия секретной разведывательной службы. Конечно, последнее может хорошо дополнить первое, но никак не может его заменить. Мы не имели ничего общего со службой разведки, и нам доставляло большое удовольствие на основе фактов показывать нелепость мрачных сообщений об экономических условиях в России, получаемых различными западными правительствами от разведывательных служб и присылаемых к нам для комментариев.

Я сам занимался составлением докладов по экономике России и смог за это время приобрести немалые знания по

советской экономике и экономической географии. В 1933 году на Западе было всего три места с более или менее налаженным изучением советской экономики помимо нашего отдела: Бюро исследований русской экономики в Бирмингемском университете, Институт экономики России и стран Восточной Европы в Кенигсберге и Институт русской экономики в Праге (так называемый "Экономический кабинет"), которым руководил известный русский эмигрант Сергей Прокопович. Общими усилиями мы могли создать хорошую базу данных, чтобы получить, насколько возможно, верную картину советской экономики. Эта работа мне нравилась, однако быт в те времена кризиса, сокращение жалованья и общее состояние неопределенности не приносили особенных положительных эмоций. Отвлечься от этого в свободные дни и вечера после работы мне помогало мое увлечение Чеховым. Я собирал тогда материалы для его биографии. Биографию Чехова я так и не написал, зато изучил все 30 томов его сочинений. Это очень хорошее средство, чтобы получить представление о жизни дореволюционной России, и особое значение это имело в атмосфере Риги, где российская дореволюционная жизнь в какой-то мере еще сохранилась.

В целом же период моей службы в Риге можно расценить как завершение моего обучения. У меня тогда не было сколько-нибудь ответственных самостоятельных заданий, и я не имел отношения к реальной политике. Но в конце этого рижского периода я непосредственно столкнулся с американским политическим процессом. Понимая, что вопрос о "признании" советского правительства будет вскоре рассмотрен новой администрацией, я несколько недель изучал торговые соглашения, заключенные советским правительством с другими странами за последние годы. Меня прежде всего интересовало, в какой мере эти договоры реально защищают интересы других стран. Свой доклад на эту тему я отослал в Вашингтон в апреле 1933 года, чтобы привлечь внимание к двум примерам, когда формулировки соглашений, заключенных советскими властями, могли привести к тому, что интересы иностранцев в России совсем не будут защищены.

В одном случае речь шла о положениях советско-германского договора от 12 октября 1925 года, касавшихся ареста или задержания немецких граждан в СССР. Согласно соответствующему положению этого договора, в случае ареста немецкого гражданина немецкие власти получали уведомление об этом не позднее чем через неделю, и арестованный имел право на неотложное свидание с работником немецкой консульской

службы. В докладе, отосланном в Вашингтон, я указал, что эта формулировка в действительности не обеспечивает должной защиты прав немецких граждан в России. Там отсутствовало важное положение о том, что консул должен встречаться с арестованным наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. Напротив, в соответствующей статье говорилось, что подобные встречи с консулом проходят только в присутствии советских сотрудников правоохранительных органов. Это создает зависимость заключенного от властей, которые могут заставить его говорить в беседе с консулом только то, что их устраивает. Особенно неадекватность этих формулировок советско-германского договора была очевидна на примере "Шахтинского дела" 1928 года. Тогда часть немецких инженеров, работавших в Донбассе, обвинили во вредительстве, а представители Германии не могли эффективно защищать обвиняемых, так как указанный договор не создавал для этого правовой базы.

Второй приведенный мною пример касался советско-германских переговоров в 1928 году, уже после "Шахтинского дела", которые должны были прояснить некоторые недоразумения, связанные с пониманием договора 1935 года. Тогда советскую делегацию попросили разъяснить, как она понимает экономический шпионаж, после чего было сделано следующее разъяснение:

"Распространенное мнение, будто получение экономической информации о Союзе Советских Социалистических Республик разрешается лишь постольку, поскольку такая информация публикуется в газетах и журналах, ошибочно. Право получения экономической информации в СССР, так же как и в других странах, ограничено только в случаях, составляющих коммерческую и промышленную тайну, или в случаях применения запрещенных методов получения такой информации (подкуп, кража, мошенничество и т. п.). В категорию коммерческих и промышленных тайн, естественно, входят общегосударственные экономические планы, поскольку они не являются опубликованными, но не сообщения, касающиеся экономических условий по отдельным предприятиям.

Союз Советских Социалистических Республик не имеет оснований создавать препятствия критической оценке своей экономической системы. Отсюда следует, что каждый имеет право обсуждать экономические вопросы и получать экономическую информацию, кроме той, которая, на основе специальных указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий, не может быть сообщена

иностранцам"{9}.

Обратив внимание Вашингтона на формулировку указанного положения, я дал понять, что оно не гарантирует защиту от преследований иностранных граждан по обвинению в экономическом шпионаже. Я писал, что "в действительности иностранцы имеют очень ограниченные возможности получения экономической информации в России. Неопубликованная информация по общегосударственным экономическим планам, не предназначенная для иностранцев, может касаться большинства аспектов экономической жизни России. А на основании "указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий" часто многие простые и важные экономические данные не могут быть получены иностранными гражданами. Ограниченное знакомство с советской экономической прессой показывает, что в эту категорию могут попасть данные о сборе зерновых, о добыче золота и т. п. Отсюда сбор и получение подобного рода информации в России уже могут быть квалифицированы как экономический шпионаж"{10}.

Представьте себе мое удивление, когда после завершения переговоров с участием Литвинова в Вашингтоне в ноябре 1933 года я раскрыл газету и среди заявлений, подписанных Литвиновым в качестве предварительного условия американского признания, я нашел оба вышеприведенных спорных положения в неизменном виде. Очевидно, президент Рузвельт, которому Госдепартамент сообщил, что советское правительство уже подписывало документы с подобными формулировками, просто счел их убедительными и потребовал, чтобы Литвинов подписал новый документ с такими же положениями в качестве гарантий наших интересов. Я так и не узнал, или не был президент осведомлен, что на эти положения обратило внимание руководство США, как на не обеспечивающие интересы других стран, имеющих отношения с СССР, или же он был осведомлен об этом, но не обратил на это внимания, сочтя, что для не склонной к критическому анализу публики, в том числе для конгрессменов, указанных положений будет вполне достаточно. У общественности создалось впечатление, что американские дипломаты проявили в переговорах с Литвиновым достаточную бдительность и профессионализм.

Таким образом я получил урок, касающийся одной из характерных черт американских государственных деятелей, - их тенденции делать заявления и совершать те или иные акции, исходя не из последствий для международных дел (чего следовало ожидать), а из реакции на них американского общественного мнения и в особенности - конгресса. Политиков

интересует, выглядят ли они внутри страны достаточно профессиональными и отстаивающими национальные интересы, пусть их действия и не приносят особой пользы этим интересам.

Подобно вели себя в некоторых ситуациях многие американские государственные деятели. Так поступил Джон Хэй в инциденте с "политикой открытых дверей". Так же во многих случаях поступали Франклин Рузвельт (эта характеристика Рузвельта, конечно, остается на совести автора) и Гарри Трумэн, выступивший с универсальной и претенциозной патриотической самоидеализацией - доктриной Трумэна. Даллес поступил так же, когда говорил об "освобождении" и "массированном возмездии", хотя не намеревался проводить все это на практике. Такие примеры можно было бы продолжать до бесконечности. Однако я понимаю, что каждый руководитель вынужден идти на те или иные компромиссы, чтобы в конце концов проводить ту или иную внешнюю политику (лучше всего понимал подобные вещи Рузвельт). Но подобная тенденция существует и делает тщетными многие усилия американских государственных деятелей.

Пока американское общество и пресса не перестанут вести себя подобным образом, наша страна не будет иметь по-настоящему зрелой и эффективной внешней политики, достойной великой державы.

Возвращаясь к смыслу заверений Литвинова, я могу заметить: к счастью, политические интересы советских лидеров в тот период не предполагали каких-то преследований американских граждан в России. Настоящие американцы, приезжавшие в Россию на легальных неидеологических основаниях, как туризм или работа по контракту, редко (если вообще) сталкивались с этим. Гораздо больше советское руководство интересовали лица, родившиеся в России и претендовавшие на двойное гражданство, а также лица, как-то связанные с коммунистическим движением. В период чисток американскому коммунисту, прибывшему в Россию по партийным делам, угрожала большая опасность, чем обычному буржуа, никогда не проявлявшему симпатий к советской власти. Но если бы этого потребовали интересы советских лидеров, то самый невинный американский турист или специалист мог бы стать жертвой ареста или преследований в той или иной форме, а заявления не помешали бы этому, поскольку не давали американским властям юридических оснований вмешиваться в подобные дела. Вообще, во всем, что касалось судьбы иностранцев в России, советские власти брали на себя обязательства делать только то, что они и так бы делали в собственных интересах, даже если бы не существовало договоров. Кроме того, ГПУ, как тогда называлась советская секретная

служба, жило по своим законам, и российский МИД был бессилен на него повлиять, даже если бы захотел. Для представителей других стран в Москве существовали как бы две власти, причем апеллировать можно было только к тем, кто ничего не решал. Таким образом, эффективные средства защиты иностранных граждан в России отсутствовали, кроме разве политического вмешательства на высшем уровне.

Три предыдущие республиканские администрации США воздерживались от признания советского правительства прежде всего по двум важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по государственным, то по партийным каналам, поддерживало революционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств предыдущих русских правительств, ни возмещать убытки американским фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мнения относительно признания Советской России. Я заявил, что, по моему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указанных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить признание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же ответило большинство моих коллег.

Хотя наши мнения должны были изучить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если бы ознакомился. Они не решали стоявшей перед ним политической проблемы. Оба этих вопроса вызывали его интерес не сами по себе (и я думаю, он был прав в отношении долгов и претензий), а постольку, поскольку они интересовали американское общественное мнение и влиятельные группы населения. Для него было главное создать впечатление заботы об этих вопросах, а не на самом деле заботиться об их решении. Он дорожил восстановлением взаимоотношений с Советским Союзом ради отрезвления немецких нацистов и японских милитаристов.

Я не знаю, насколько верны были расчеты президента. Что касается меня, то я был настроен скептически. Никогда, ни в то время, ни позднее, я не считал Советский Союз подходящим реальным или потенциальным союзником для нашей страны. Особенно опасной казалась мне идея опереться на советскую мощь, вместо того чтобы развивать или мобилизовать наши собственные ресурсы.

Глава 3.

Москва и Вашингтон в 1930-х годах

Годы, последовавшие за установлением дипломатических отношений между США и Советским Союзом, я провел по большей части в России. Подобно рижскому и берлинскому периоду моей службы это были в первую очередь годы обучения и получения опыта.

В момент объявления о признании Соединенными Штатами Советского Союза я находился в отпуске в Вашингтоне. К этому событию я не имел почти никакого отношения, если не считать небольшого участия в подготовке докладов для участников переговоров с американской стороны. Но дня через два после окончания переговоров один из друзей представил меня Уильяму Баллиту, в то время - советнику президента в области отношений с Россией, впоследствии ставшему первым нашим послом в Советском Союзе. Узнав, что я говорю по-русски, Баллит проявил ко мне интерес и задал ряд вопросов, касающихся советской экономики. Когда он отправился в Москву для того, чтобы формально приступить к своим обязанностям и выбрать здание для будущего посольства, он взял меня с собой в качестве помощника и переводчика. Вместе с другим американским дипломатом, мистером Флэком, я ассистировал ему во время исторического вручения Калинину верительных грамот. Когда же он через несколько дней вернулся в США, чтобы набрать штат посольства, то оставил меня в Москве в качестве своего неофициального представителя для поддержания связей с советскими властями и выполнения некоторых хозяйственных функций. Таким образом, я стал первым американским дипломатом, регулярно жившим в Москве со времен отъезда оттуда нашего бывшего генерального консула Деуитта Пулла.

В ту зиму я жил в гостинице "Националь" по соседству с будущим зданием нашего посольства. Ко мне приехала жена. Кроме того, с нами работал секретарь - мужчина, живший в той же гостинице. В буфете "Националя" я случайно познакомился с молодым американцем Чарльзом Тэйером, который впоследствии также стал дипломатом и автором довольно живого описания будней нашего посольства в тот период. В то время он был туристом. Мне не хватало людей для работы, и я уговорил его устроиться к нам на должность рассыльного. Так мы, все четверо, и составляли фактически весь штат американского посольства в Москве. У нас не было ни специального помещения, ни оборудования, а для связи с американским правительством мы пользовались обычным телеграфным отделением. И все же, при отсутствии всякой бюрократии, нам за несколько недель удалось сделать больше, чем всему штату посольства, прибывшему в

Москву, за первый год его существования.

Сейчас я даже с удовольствием вспоминаю тот первый период работы в Москве. Сильные московские морозы оказывали на нас бодрящее действие. Помню, что тогда мне было достаточно поспать четыре-пять часов и чувствовать себя работоспособным. Гостиница наша стояла в самом центре, а старая Москва тогда еще в значительной мере сохранила свой облик. Люди ездили по городу на немногочисленных трамваях и троллейбусах, а строительство московского метро только начиналось. На улицах, примыкающих к "Националю", мы часто встречали молодых добровольцев-метростроевцев, парней и девушек, в грязной строительной спецодежде. Москва оставалась тогда многолюдным, но уютным и живописным городом, жить в котором, с нашей точки зрения, было скорее приятно. Американские журналисты, такие, например, как Уолтер Дюранти, Билл Стокнмэн, Уильям Чемберлен, приглашали нас на свои веселые вечеринки, посещаемые тогда и русскими. Я сохранил приятные воспоминания о том времени, ставшем примером того, какими могли бы быть советско-американские отношения при других обстоятельствах.

Когда штат американского посольства прибыл в Москву в марте 1934 года, меня назначили одним из секретарей, и я оставался на этой службе до лета 1937 года, за исключением пребывания в течение нескольких месяцев в Вене, где я лечился в 1935 году. За это время, помимо Чарли Тэйера, я приобрел много хороших друзей. Мы, американцы, завели друзей также среди дипломатов в других миссиях, прежде всего в посольствах Германии, Франции и Италии. Вообще воспоминания о друзьях играют главную роль в моем отношении к этому периоду своей жизни. Общение с ними многому научило меня. Как некогда в Риге, мы часто проводили время в оживленных и жарких дискуссиях, посвященных проблеме русского коммунизма. Споры наши носили вполне дружеский, но при этом и острый характер. Они во многом способствовали развитию моих представлений об этом явлении, тем более что все эти проблемы имели прямое отношение к нашей работе. Я хотел бы поблагодарить за это многих людей, но особенно надо выделить двоих.

Один из них - Лой Хендерсон, первый секретарь нашего посольства в 1934 - 1938 годах - человек большого ума и прекрасный профессионал, который не только отлично выполнял свои обязанности, но и очень хорошо ориентировался в политических проблемах, связанных с советским коммунизмом, и умел их решать.

Другой дипломат, заслуживающий особого упоминания, -

Чарльз Болен, известный впоследствии как советник Рузвельта во время войны и американский посол в СССР и во Франции. Мы с ним оба были в числе первых специалистов, подготовленных к работе в России, и оба долгое время работали в ней. Николай Бухарин как-то (кажется, на суде) заметил, что интеллектуальная дружба создает особенно прочные связи между людьми{11}. Не знаю, верно ли это в целом. Можно сказать, что это было верно в том, что касалось Бухарина. Надо отметить, что нас с Боленом, с самого начала нашей работы в Москве, связывала интеллектуальная дружба. Это был человек очень одаренный от природы, настоящий генератор идей, для которого всегда особый интерес представляли проблемы, связанные с русским коммунизмом, и все, что в то время происходило в России. Ко мне он всегда относился с дружеским расположением и особой заботой, даже немного покровительственно. Мы с ним провели немало времени в спорах, принимавших иногда настолько резкий характер, что у окружающих могло возникнуть впечатление, будто мы ссорились. Однако этот человек помог мне избавиться от многих заблуждений, и ему я прежде всего обязан своим пониманием концепции наших взаимоотношений с Советской Россией. Мы с ним духовно породнились, и эта дружба из всех моих дружеских связей имела для меня наибольшее значение.

К сожалению, в штате сотрудников посольства, которых собрал Баллит, недоставало квалифицированного администратора и хозяйственника, а потому у нас в тот период было еще много организационных трудностей. В первые месяцы нас поселили на двух верхних этажах здания, именовавшегося тогда отелем "Савой", в районе Кузнецкого моста. Резиденция посла, находившаяся в двух с половиной милях от посольства, была тогда еще не обустроена. Своего транспорта мы еще не имели, и нам приходилось (хотя это было недешево) пользоваться "линкольнами", предоставленными "Интуристом". Однако и они часто не требовались, поскольку мы работали без диспетчеров и должной системы связи. В резиденции посла не было своего телефонного узла, а имелись лишь два аппарата, напрямую связанных с городом и беспрерывно звонивших. В "Савое" положение с телефонами было еще хуже, а ресторан предназначался скорее для нужд помещиков прежних времен, проводивших часы за едой, а не для современного посольства, где людям нужно перекусить на скорую руку. Я упомянул далеко не обо всех трудностях такого рода, с которыми нам приходилось сталкиваться. И все же у нас было хорошее рабочее настроение, да и политическая атмосфера в России в то время была более спокойной и дружественной, чем в два последующих десятилетия.

---Зимой 1934/35 года мы переехали в постоянную резиденцию на Моховой, рядом с гостиницей "Националь". Период технических трудностей закончился, и мы перешли к нашей обычной дипломатической работе. Но в это же самое время произошли драматические события, знаменовавшие новый поворот в судьбах современной России. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров.

Сергей Киров, глава ленинградской парторганизации - один из самых влиятельных партийных лидеров, - считался возможным преемником Сталина. Сейчас мы имеем большие основания полагать, что осенью 1934 года в руководстве партии произошел серьезный кризис, связанный со стремлением Сталина организовать судебное преследование тех коммунистических лидеров, которые выступали оппозиционно по отношению к нему в период его борьбы за власть в предшествующие годы. Вероятно, Кирова, хотя он открыто не выступал против Сталина, многие в партии считали способным противостоять последнему, так что Киров мог стать надеждой тех, кто опасался террора как средства решения политических противоречий. Кроме того, его убили накануне предполагаемого перевода в Москву (хотя Сталин долго противился такому переводу). Этот перевод укрепил бы позиции Кирова в руководстве партии. Известно, что ленинградские органы безопасности имели какое-то отношение к этому убийству (по крайней мере, к убийце{12}. К тому же было много разговоров (основанных на намеках в "секретном докладе" Н.С. Хрущева на XX съезде), будто сам Сталин имел какое-то отношение к этому делу.

Как бы там ни было, убийство Кирова явилось отправной точкой для больших чисток 1930-х годов. С этого времени и атмосфера дипломатической работы в Москве изменилась в худшую сторону. "Медовый месяц" советско-американских отношений в Москве завершился.

Через три дня после убийства Кирова я серьезно заболел, и в январе 1935 года меня отправили лечиться в Вену, где я оставался до ноября того же года. Пролечившись два месяца в госпитале, я смог приступить к работе в нашей венской миссии под началом нашего посланника в Вене Джорджа Мессершмитта. Я уже служил вместе с ним в Берлине и хорошо его знал. Он считался сторонником жесткой дисциплины, но ко мне относился скорее снисходительно. Еще в Берлине я восхищался его мужеством и умением находить решения в трудных ситуациях. Сейчас, как в Берлине, так и в Вене, он использовал свою волю и целеустремленность, чтобы противостоять нацистам, которых ненавидел от всей души.

Я могу смело утверждать, что этот человек, сухой и насмешливый, но всегда проявлявший принципиальность в отстаивании своих убеждений, оказал на меня огромное влияние.

По возвращении из Вены в 1935 году я продолжил дипломатическую службу в Москве. Работа моя тогда заключалась в основном в составлении аналитических докладов о политическом положении. Она опять-таки имела для меня познавательное значение, поскольку оперативной работы в то время было мало. В мои обязанности входило следить за ходом политических чисток в Москве, исходя из данных советской прессы и слухов, распространявшихся в столице. Не меньшее значение, чем анализ политической обстановки, для меня имела и первая реальная возможность знакомства с самой Россией, ее культурой, бытом, жизнью обычных людей.

Могут спросить, как же я, будучи иностранным дипломатом в России в период сталинских чисток, вообще мог получать такого рода впечатления, несмотря на все те меры, которые советский режим принимал, чтобы изолировать от населения иностранцев, а особенно дипломатов. Но эти меры достигли своей цели только отчасти. Контакты между нами и советскими гражданами, основанные на взаимном интересе и симпатиях, продолжали существовать (хотя для этого, конечно, требовалась известная изобретательность и осторожность). Пообщаться с простыми русскими людьми можно было в театрах, во время спортивных соревнований и иных общественных мероприятий. Кроме того, была также возможность путешествий в Петербург, на юг, на Кавказ. Я продолжал интересоваться Чеховым и бывал в местах, где жил этот писатель, а также посещал и сельскую местность, чтобы посмотреть, в каком состоянии были красивые средневековые русские церкви. Многие из них тогда стояли разрушенные, и мало кого в столице интересовался самим их существованием. Следует заметить, что я действительно интересовался всем этим, отправлялся в дорогу не ради каких-то иных целей и совершал бы мои путешествия, даже если бы при этом не получил множества впечатлений о жизни людей. Однако таких впечатлений у меня было множество

Когда я оглядываюсь на Москву 1930-х годов, то думаю, что знание и понимание новой России, которая перенесла испытания, связанные с коллективизацией и индустриализацией, а теперь переживала период чисток, давались мне ценой большого труда. Самый большой недостаток в этом смысле, как я теперь вижу, - слабое знание истории русского революционного движения. К сожалению, в то время еще невозможно было воспользоваться прекрасными трудами Э. Картап, Леонарда Шапиро, Исаака

Дойчера, Франко Вентури. К этому следует добавить, что я никогда не питал симпатий к советской власти, и неприязнь к сталинскому режиму не явилась следствием разочарования в прежних иллюзиях. В отличие от многих профессиональных аналитиков советской истории я сам не прошел через "марксистский период". Может быть, как я иногда думаю, было бы лучше, если бы такой период у меня был - ведь именно таким путем формировались лучшие исследователи советского опыта.

Возможно, дело еще в том, что я всегда чувствовал глубокую неприязнь к русскому марксизму. Я не могу принять бессердечного фанатизма тех, кто считает, что можно преследовать или "ликвидировать как класс" большое число людей - буржуазию и значительную часть крестьянства - просто потому, что эти люди родились с определенной классовой принадлежностью. Эта жестокая классовая вражда кажется мне лишь отражением тех феодальных институтов, которые Россия недавно отвергла. Тогда тоже преследовали людей по критерию рождения, независимо от индивидуальной вины. Я не вижу смысла в преследовании человека и членов его семьи на том лишь основании, что они родились буржуа, нежели на том основании, что они родились крепостными или евреями. Не мог я также не заметить, что многие люди, вставшие во главе этих преследований, сами не были пролетариями по происхождению. Если исходить из того, что добродетелью является тяжкий физический труд, то большинство русской коммунистической интеллигенции следовало бы отнести к буржуазии, подлежащей преследованиям. Многие стороны советской жизни вызывали у меня уважение и восхищение, но я всегда отвергал эту идеологию в целом. Если я уважал советских лидеров за мужество, решительность, политическую серьезность, то мне всегда были глубоко неприятны другие их политические характеристики - фанатичная ненависть к значительной части человечества, чрезмерная жестокость, уверенность в своей непогрешимости, неразборчивость в средствах, излишнюю любовь к секретности, властолюбие, скрывающееся за идеологическими установками.

Поэтому я не имел иллюзий, еще даже до того, как встретился с феноменом сталинизма в его апогее в 1930-х годах, когда огромная нация оказалась беззащитной перед невероятной хитростью человека, во многих отношениях выдающегося, но безжалостно жестокого и циничного. Из-за этих моих политических взглядов, сформировавшихся в тот период, у меня возникли разногласия с официальными установками Вашингтона, по крайней мере, на ближайшее десятилетие.

Не ограничиваясь ретроспективным взглядом на свою работу

в Москве в 1933 - 1937 годах, я хотел бы сослаться также на некоторые документы, относящиеся к тому времени. Я счел, что только два из них представляют интерес. Первый доклад относится к 1936-му или 1937 году. Я совершенно не помню, с какой целью он был написан. Я уверен, что он никогда не публиковался. Этот документ находится в моей папке "Проблема войны и Советский Союз".

Я писал тогда о постоянной враждебности советского режима к некоммунистическим правительствам, которых он рассматривает как врагов, а на мирные отношения с ними смотрит только как на временное перемирие или "мирную передышку" в перерыве между конфликтами. Я писал о советском плане милитаризации, частью которого были и коллективизация, и пятилетние планы. Я утверждал, что советское правительство хочет лишь отсрочить враждебные действия до того времени, когда их военные приготовления будут завершены. Я писал, что именно поэтому Сталин заключает договоры с разными странами и готов признать обязательства, связанные с участием в Лиге Наций, но это делается не столько ради предотвращения новой мировой войны, сколько для того, чтобы войну вели другие, чтобы не было прочного мира между западноевропейскими державами. Признавая серьезность японской угрозы советскому Дальнему Востоку, я отмечал, что и сама советская политика в Азии способствовала появлению этой угрозы{13}.

Более скептически я оценивал реальность нацистской угрозы советским интересам. Я не отрицал, что нацизм угрожает другим странам, но рассматривал политику Гитлера как "пангерманистекую по преимуществу", с претензией на распространение власти рейха только на территории, прежде населенные или контролируемые немцами. Я писал, что это может относиться к соседним с Россией государствам, но не к России в границах 1936 года, хотя, полагал я, Гитлер может предложить Польше Украину в виде компенсации за потерянные западные земли. Но эти опасности я не считал реальными в ближайшее время и квалифицировал настойчивость, с которой русские твердят об этих опасностях, как свидетельство того, что они не вполне искренни, а их дипломатия может скорее обострить, чем смягчить эту ситуацию. По моей тогдашней формулировке, трудно предположить, что русскому правительству, занимающемуся прежде всего собственными делами, "в ближайшее время едва ли может угрожать опасность агрессии с Запада".

Вместе с тем мне казалось маловероятным, чтобы Советский Союз вовсе не подвергся ничьей агрессии. Как я отметил тогда,

"социальный фанатизм и шовинизм, циничная политика балансирования на грани войны в отношениях с соседями могут отсрочить войну, но не помогут ее избежать". Я был уверен, что в случае начала войны, когда ее участники ослабят друг друга, Россия едва ли удержится от вмешательства, "скорее всего, в качестве хищника".

Сейчас очевидна слабость этого анализа. Я, конечно, недооценил возможность агрессии нацистов против России, хотя на окончательное решение Гитлера о нападении на нее повлияло упорство советской дипломатии в отношении Болгарии и Финляндии (что проявилось во время переговоров с Молотовым в 1940 году), а также и огромная численность армии, которую Сталин сосредоточил на западной границе. Гитлер не решился смириться с подобной концентрацией войск на своем фланге, когда не смог вторгнуться на Британские острова, и ему пришлось перенести атаку на английские позиции в Средиземноморье.

В этом докладе я также не предвидел, что СССР может подвергнуться прямому нападению. Но мое предположение, что Сталин постарается извлечь выгоду из войны между другими странами, подтвердилось в случае с финской войной 1939 - 1941 годов, а также тем, что он организовал агрессию против Болгарии и Японии в последнюю минуту перед крахом этих держав{14}. Можно только догадываться, сколько подобных акций было бы предпринято, если бы Советская армия (как рассчитывал Сталин) оставалась вне большой войны.

Я не проявлял энтузиазма ни в том, что касалось развития советско-американских отношений, ни в отношении советской политики в целом. В 1936 году я подготовил аналитический материал по этой проблеме. Тогда я пытался заглянуть в будущее и оценить возможную перспективу двусторонних российско-американских отношений. Текста этого у меня нет. Сохранилось лишь резюме, составленное мною же в 1938 году, которое я кратко процитирую.

"В экономической сфере следует учитывать сходство географического положения обеих стран и то обстоятельство, что они во многих отношениях будут скорее соперничать, чем дополнять друг друга. Следует также учесть дух соперничества и ненадежность, свойственную политике русских лидеров, отличающихся подозрительностью, бюрократизмом и приверженностью к восточным приемам в своей деятельности. В культурном плане нужно учитывать не только стремление к взаимопониманию народов двух стран и безусловную ценность их потенциала друг для друга, но также свойственное российским

правителям стремление не допустить иностранного влияния на свой народ. В политическом плане нужно учитывать исторические традиции России, коварство и подозрительность части ее правителей, продолжительный контакт с азиатскими ордами, влияние Византии, взаимосвязь климата, характера и географического положения страны, не располагающих к организации нормального административного контроля и национальной солидарности.

В целом я не отрицаю возможности взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в ограниченных пределах. Но для этого американская сторона должна быть представлена людьми, у которых есть необходимые для такой работы квалификация и компетентность, готовность к сложностям русской жизни, достаточный уровень образования и особый дар терпения. При отсутствии таких людей с нашей стороны я не вижу особой перспективы развития советско-американских отношений, если не говорить о взаимном непонимании, разочарованиях, претензиях".

Эта оценка и сейчас, 30 лет спустя, не кажется мне пессимистичной. Но тогда она очень отличалась от взглядов самого Франклина Рузвельта, а особенно тех, кого он выбрал в качестве советников в своей политике по отношению к СССР.

Наряду со всеми этими событиями большой политики продолжалась и личная, семейная жизнь с ее заботами, радостями, волнениями. Это - не основная тема моих воспоминаний, но не коснуться ее нельзя.

К зиме 1936 года жена снова ждала ребенка. По какому-то американскому закону будущее гражданство ребенка ставилось под вопрос, если он рождался за границей, а один из родителей не был американцем. Поэтому мы решили, что Аннелиза поедет рожать в США, а вскоре после этого и я поеду домой, взяв отпуск. Ребенок родился в апреле в доме моей сестры в Хайленд-Парк (Иллинойс).

Я приехал туда в мае. К сожалению, я не очень хорошо помню то лето. Помню, как впервые увидел новорожденную, Джоан Элизабет, лежавшую в колыбели. Помню также наш отдых на даче сестры, на одном из Висконсинских озер, где я проводил лето в детстве. Вот уже лет десять я постоянно не жил в Америке и соскучился по родным краям. Словно заново увидел места, где прошли мои юные годы. С тех пор там многое изменилось. Я помнил еще старый Висконсин, до автомобильной эпохи. Теперь же, как я записал в дневнике, "эти места стали малолюдными. Совершив путешествие в 100 миль, я не встретил на шоссе больше ни одного велосипедиста, ни одного пешехода, ни одного

всадника. Люди, сидевшие в машинах, которые иногда мчались по дороге, явно не имели отношения к этим краям и были здесь посторонними. Они жили словно в другом мире, где существовало время без пространства. Для нас, живущих здесь, как и для всей живой природы, эти автомобилисты были чем-то вроде опасности, подобной грозе или наводнению, но никакой живой связи с нами они как бы не имели".

По контрасту я вспомнил оживленное шоссе в Англии, где тоже могли быть опасные для пешеходов моменты, но это все же не мешало ни прогулкам, ни общению. У меня возникло ощущение, что мы, живущие в этих краях, сами обеднили собственную жизнь из-за этой перемены, и сам я, прожив много лет в Европе, не смог привыкнуть к этому.

Этот летний визит дал мне почувствовать, что я перестал быть частью своего прежнего мира, оставшись как бы в стороне от него. Дело было не просто в том, что закончились мои детство и юность. Просто прежний мир ушел в прошлое, но произошло это постепенно, и те, кто остался жить на родине, почувствовали это в меньшей мере, чем я. Я почувствовал также, что перестал быть в настоящем смысле частью своей страны, хотя, конечно, сохранил ей верность, которая основывалась теперь на вере в ценности нашей цивилизации, но она была верностью вопреки (выделено мной. - Дж. К.) новому чувству утраты. Это была верность, основанная на принципе, а не на отождествлении с моим прежним миром.

В разгар летней жары мы с женой, двумя маленькими детьми и 19 багажными местами отправились в обратный путь, добрались до Нью-Йорка и сели на корабль, который должен был доставить в Германию, на Олимпийские игры, американскую олимпийскую команду. Примерно через неделю мы прибыли в Гамбург, откуда по железной дороге и морским путем добрались до Норвегии. По Дании нам пришлось ехать в сидячем вагоне, а путешествие по морю также было неспокойным из-за бурной погоды.

Проведя две недели в Норвегии, мы с женой и детьми отправились в Ленинград на корабле "Бергенсфьорд", совершавшем круиз по Балтийскому морю. Туда мы прибыли рано утром в конце августа. Пройдя мимо Кронштадтской морской базы, хранившей воспоминания о Гражданской войне и восстании 1921 года, наш корабль вошел в Ленинградский порт. День выдался по-осеннему мрачным и хмурым. В городе царили обычные суета и сутолока. На старом Николаевском вокзале возник очень неприятный момент, когда толпа разъединила нашу семью, и мы не сразу смогли вновь найти друг друга. Однако все

устроилось в последний момент, как часто бывает в России. В Москву мы прибыли на следующее утро. Поезд был настолько длинным, что наш вагон остановился далеко от перрона, и встречающие не смогли нас найти сразу. Когда мы наконец добрались до знакомого здания на Моховой, где нас радушно встретили друзья, я понял, что именно здесь мы по-настоящему дома, в большей мере, чем в Висконсине или Норвегии. Такова жизнь дипломатов.

Уильям Баллит, по моему мнению, которое разделяло большинство коллег, был прекрасным послом, и мы гордились им. Очень одаренный человек, получивший прекрасное образование и воспитание, умел и любил поддерживать интеллектуальное общение, в том числе с такими умнейшими представителями коммунистического движения, как Бухарин и Радек, которые тогда охотно посещали американское посольство в Москве. Он прекрасно знал немецкий и французский, что в значительной мере компенсировало его недостаточное знание русского языка. Баллит всегда поддерживал вокруг себя благоприятную психологическую атмосферу, за что мы все были ему признательны.

Его главной профессиональной слабостью был недостаток терпения. Он прибыл в Россию с большими надеждами и хотел их немедленного осуществления. Не то чтобы Баллит симпатизировал советской идеологии, но питал некоторый излишний оптимизм в отношении намерений советских лидеров. В этом случае его подвели воспоминания об общении с Лениным. Баллит приезжал в Россию во время Парижской мирной конференции в феврале 1919 года с молчаливого согласия президента Вильсона и премьера Ллойд Джорджа. Тогда Баллит встречался с Лениным и другими советскими лидерами. Вернулся он с советскими предложениями - не идеальными, но приемлемыми для западных держав, чтобы можно было прекратить невыгодную военную интервенцию в России и установить более или менее нормальные отношения с советским режимом. Однако с ним обошлись не лучшим образом. Вильсон и Ллойд Джордж проигнорировали привезенные им предложения и публично отрицали всякую ответственность за его поездку в Россию. В качестве советника по русским делам на конференции весьма неудачно выбрали Герберта Гувера, а Баллит в знак протеста на конференции сложил с себя полномочия американского представителя. В то время советское руководство еще не оценивало США однозначно как империалистическую державу, играющую лишь отрицательную роль в международных отношениях. Вернувшись в Россию в 1933 году, Баллит

рассчитывал, что линия правительства Рузвельта, свободного от предубеждений и жесткости, свойственных республиканским администрациям предшествующих лет, сразу встретит должное понимание советской стороны.

Однако посол был вскоре разочарован. Руководил страной уже не Ленин, а Сталин, и противоречия с советским правительством по ряду вопросов в 1934 1935 годах привели к тому, что Баллит стал сторонником жесткой линии по отношению к Москве. Все мы охотно поддерживали эту линию, однако она не отвечала общему направлению политики Рузвельта, который не только не оказал послу поддержки, но вскоре перестал прислушиваться к его советам по русским делам, конечно считая, что в ухудшении отношений между двумя странами виноват прежде всего Баллит, с его недостатком такта и выдержки.

Летом 1936 года Баллит ушел в отставку с поста американского посла в СССР и вскоре получил аналогичное назначение в Париж. В тот период посольством руководил временный поверенный в делах США в СССР Лой Хендерсон, очень опытный и компетентный руководитель. Тогда мы превратились в самую уважаемую и информированную дипломатическую миссию в Москве наряду с посольством Германии, которое всегда было на высоте. Наше посольство стало образцом для будущих американских дипломатических миссий. К примеру, мы первыми среди дипломатических миссий серьезно отнеслись к секретности, проблеме шифров и сохранению конфиденциальности наших внутренних переговоров во враждебном окружении. В целях безопасности Баллит доставил в посольство отряд морских пехотинцев в штатском. Но кроме того, мы впервые создали научный подход к своей работе, исходя из основы, созданной еще в Риге. Мы считали очень важным представить наш правильный анализ сути советского режима и разработать верный подход к отношениям с этим режимом. Те трудности и проблемы, с которыми мы сталкивались в нашей работе в Москве, давали нам лишь больше оснований гордиться нашими достижениями. Мы рассматривали самих себя как одинокий бастион американского государства, окруженный океаном враждебности советских официальных властей, и именно поэтому высоко ценили все, чего нам удалось добиться.

Исходя из всего изложенного, можно понять всю глубину нашего разочарования, когда на смену Баллиту в Москву прибыл новый посол Джозеф Дэвис, юрист по образованию и политик-демократ. Возможно, мы были несправедливы к нему - пусть рассудит история. Однако он с самого начала вызвал у нас неприязнь, не столько в личном плане, сколько в плане

профессионального соответствия своей миссии. Мы сомневались, понимает ли он, также как мы, важность советско-американских отношений. Мы были убеждены, что он принял свой пост из политических соображений, не вполне отдавая себе отчета в важности взятой на себя задачи. Мы подозревали, что он готов приспособить работу и функции нашей дипломатической миссии к нуждам собственной популярности на родине. Наконец самое худшее: у нас создалось впечатление, что президент не знает или не хочет знать о достижениях в нашей дипломатической работе, что для него пост посла - лишь средство вознаградить того, кто помогал ему во время избирательной кампании. В первый же день появления мистера Дэвиса в Москве мы собрались у Хендерсона, чтобы обсудить, следует ли нам всем уйти в отставку. Мы приняли правильное решение не делать этого, чтобы дать шанс новому послу себя проявить. Решено было скрывать наше глубокое разочарование и относиться к Дэвису лояльно, особенно перед лицом русских и других дипломатических миссий. Но последующие события не принесли нам удовлетворения. Президент не мог придумать ничего более оскорбительного для нас, чем подобное назначение.

Людьми, заслужившими доверие Дэвиса, с которыми он считался и перед которыми излагал свои взгляды, были не сотрудники посольства, а аккредитованные здесь американские журналисты. Тому было много примеров. Я помню, как в 1937 году во время одного из трех крупных процессов Пятакова - Радека - Крестинского - я был переводчиком мистера Дэвиса. В перерывах меня посылали за сандвичами для посла, а он в это время обменивался мнениями с джентльменами из прессы относительно степени вины жертв процесса. Я не помню, чтобы он обсуждал этот вопрос со мной. Судя по его докладам, он в значительной мере верил в обвинения, выдвигаемые против подсудимых.

Дэвиса прежде всего интересовало, чтобы в Америке советско-американские отношения выглядели дружественными, что бы ни скрывалось за их фасадом. Для этого требовался другой стиль докладов и донесений, другой анализ советских мотивов и намерений. Этому тогда мешали не только мы, сотрудники посольства, но и восточноевропейский отдел Госдепартамента, известный также как русский отдел. Он существовал с 1924 года, и возглавлял его мистер Келли, уже упоминаемый в связи с моей берлинской службой. Это был настоящий ученый по своей природе. Он основательно изучал Россию и русский язык и собрал лучшую в США библиотеку по советским делам. При этом его отдел, так же как и наш штат, весьма критически оценивал

советскую политику и придерживался жесткой линии в отношениях с Кремлем по многим спорным вопросам, не боясь открытых разногласий.

Поэтому для нас не было полной неожиданностью, когда, месяцев через пять после назначения Дэвиса послом, Келли вызвали к заместителю государственного секретаря и объявили, что отныне восточноевропейский отдел ликвидируется, а его функции переходят к западноевропейскому отделу (известному также, как просто европейский отдел). Замечательное собрание книг Келли передали в Библиотеку конгресса, а особые папки с документами отдела подлежали ликвидации. Теперь вместо прежнего подразделения работали две маленькие группы в европейском отделе - одна занималась Россией, другая - Прибалтикой и Польшей. Я так и не узнал реальных причин этой странной чистки. У нас ходили слухи о ревности сотрудников европейского отдела, которые утверждали, что в русском отделе слишком большое значение придают России, занимаясь ею больше, чем другие специалисты - своими странами. Возможно, в этом была доля правды, но дело, конечно, не сводилось к подобным объяснениям. Есть основания полагать, что это происшествие результат давления Белого дома. Меня удивило, что впоследствии, в 1950-х годах, маккартисты и другие правые не обратили внимания на этот инцидент. Если где-то и можно было найти следы значительного просоветского влияния в правительственных сферах, то именно в этом случае.

Так или иначе, русский отдел был ликвидирован с быстротой, характерной скорее для советской политики, чем для американских государственных дел. Келли отправили послом в Анкару, и вскоре он ушел в отставку. Моему другу Болену в Вашингтоне удалось собрать и спасти от забвения часть библиотеки Келли. Меня отозвали в Вашингтон, в Госдепартамент, а Болена направили в Москву, на мое место.

В так называемой русской группе я прослужил всего около года. Там я общался с моим коллегой и бывшим соучеником Гафлером, который занимался Польшей и Прибалтикой. Мы с ним нередко, как и в студенческие времена, проводили время в политических и философских дискуссиях. За это время, если мне не изменяет память, меня трижды вызывали к начальнику европейского отдела. Лишь однажды я побывал у самого государственного секретаря мистера Халла, которого тогда интересовала судьба каких-то американских коммунистов в России. Я пытался объяснить ему, почему русские коммунисты в период чисток арестовывали своих американских последователей. Таким образом, руководителям Госдепартамента консультация

эксперта по России понадобилась за это время лишь четыре раза. Это может быть показателем внимания к России официального Вашингтона в тот период. Европейский отдел действительно старался не принимать Россию слишком всерьез.

Моя отставка из русского отдела была, конечно, реакцией на мое прошение, в котором я ссылался на то, что трудно содержать жену с двумя детьми в Вашингтоне на 5 тысяч долларов в год. Я благодарен руководству за проявленное понимание. Вместе с тем я полагаю, что европейскому отделу было легче принять такое решение, так как мои взгляды на русскую политику расходились со взглядами новой администрации. По крайней мере, меня перевели не в Россию, а в Прагу. Прошло шесть лет, прежде чем я снова начал активно работать на русском направлении.

Глава 4.

Прага, 1938-1939 годы

Путешествие в Прагу нельзя было назвать спокойным. Корабль отплыл из Сэнди-Хук в 2 часа пополудни, и сразу же началась буря на море. Остальная часть поездки пришлась как раз на время мюнхенского кризиса. Европа снова находилась на пороге войны. Первоначально наш пароход направлялся в Гамбург, но вскоре поступило указание изменить курс и высадить пассажиров в Ле-Гавре, после чего растерянных путешественников посадили в специальный поезд и отправили в Париж. Там мы узнали, что члены семей дипломатов в Прагу не попадут, поскольку уже началась их эвакуация. Поэтому на следующее утро, как раз в день Мюнхенской конференции, я попрощался с семьей и улетел в Чехословакию последним регулярным рейсом до Праги. Как раз в это время в аэропорту готовили специальный самолет для Даладье{15}.

В день моего приезда уже стали известны результаты Мюнхенской конференции, и Прага находилась в состоянии подготовки к войне. Мне навсегда запомнились толпы людей на улицах со слезами на глазах: они оплакивали потерю независимости, которой их страна наслаждалась всего двадцать лет. Через несколько часов немецкие войска вошли в пограничные области Чехословакии, и над сердцем страны нависла угроза вторжения. Обстановка была военной, и война, по крайней мере для меня, уже фактически началась, с тем чтобы продолжаться почти восемь лет.

Резиденция нашей миссии находилась в Шенборнском дворце. После эвакуации оставался только мужской персонал. Вся наша миссия занимала лишь небольшую часть здания, остальные помещения пустовали. В огромном саду, который окружал нашу резиденцию, по распоряжению американского правительства уже

сооружали бетонное убежище - первое из числа сооруженных для американских представительств, причем его стали строить еще до войны. Интересно, однако, что Прага оказалась чуть ли не единственной из европейских столиц, которую почти не разрушили бомбежки.

Нашим посланником в Праге в то время был Вильбур Карр - один из создателей единой внешнеполитической службы США в 1924 году. Его имя стало в среде американских дипломатов почти легендарным. Долгие годы этот человек ведал в Госдепартаменте административно-хозяйственными вопросами. Теперь же он возглавил нашу дипломатическую миссию в Праге. Этот человек, будучи прекрасным профессионалом, очень хорошо справлялся со своими обязанностями, и трудно было найти для нас лучшего руководителя. Конечно, он не мог изменить к лучшему катастрофическое положение дел, сложившееся тогда в Чехословакии.

Мы все чувствовали себя беспомощными перед лицом надвигавшихся событий. Однако в профессии дипломата очень важно всегда понимать пределы собственных возможностей, и это качество присутствовало у мистера Карра.

Помню, как однажды вечером я долго и тщетно ждал дворецкого, который обычно звал нас к ужину. Наконец, желая понять, что случилось, я отправился в салон и увидел нашего посланника, безмятежно спавшего в кресле, а слуги почтительно стояли в отдалении, не решаясь его будить. Этот человек, который мирно спал в центре Европы во время грозных событий, знаменовавших начало войны, превратился для меня в символ бессилия сторонников порядка и чести перед лицом демонической мощи, вырвавшейся на свободу по воле истории.

Я вспоминаю два поучительных для меня случая, происшедших в тот период. Дипломатов тогда нередко обвиняли в самоуверенности и высокомерии. Мы сами склонны были относить подобные обвинения на счет людских предрассудков, считая себя безгрешными. Но так ли это всегда и было?

Однажды утром, кажется, на четвертый день после моего приезда, в наше здание ворвалась хорошенькая молодая американка, которая тут же, без всяких предисловий, начала обвинять нас в бездействии. Она говорила, что немцы уже захватили Судетскую область, оттуда бегут тысячи чехов. Никто даже и не думает о том, как накормить и где разместить всех этих беженцев. Нам пора бы уже обратить внимание на эту проблему. "Почему вы ничего не делаете?" приставала она к нам.

Мы со вторым секретарем нашего посольства отвечали ей с холодной вежливостью, что мы ничего и не можем поделать в

таких обстоятельствах. Никаких официальных решений об оказании беженцам материальной помощи не было; в нашем учреждении мы не имели практически никаких запасов еды и жилых помещений, а средств, выделяемых конгрессом, едва хватало на оплату четырех местных служащих. К тому же все эти страхи мы считали преувеличенными. Поэтому мы отнесли нашу посетительницу к категории невежественных и непрактичных "доброжелателей" и обрадовались, когда она наконец ушла. Однако случилось так, что эта дама, Марта Геллборн, впоследствии стала одним из лучших наших друзей, и мы восхищались ею именно за ее великодушие и силу характера, которые и послужили сначала причиной нашего раздражения. Таким образом, и я и мой коллега получили хороший урок.

Второй случай запомнился мне еще больше. В то время, когда немецкие войска готовились были войти в Богемию, перестали ходить поезда и летать самолеты, связывавшие оккупированную область с остальной страной. Как раз в это время из нашего посольства в Лондоне пришла телеграмма о том, что наш посол там, Джозеф Кеннеди, именно сейчас решил отправить одного из своих сыновей в Европу, чтобы тот на месте ознакомился с происходящим. Нам предлагалось найти возможности, чтобы этот молодой человек смог попасть в Прагу. Нас это разозлило. Джозеф Кеннеди считался в дипломатических кругах неприятным человеком, а его сын тогда не имел вовсе никакого официального статуса. Идея же, что он может "ознакомиться с ситуацией на континенте", с которой мы и так старались ознакомить всех, кого положено, была, с нашей точки зрения, полной нелепостью. С какой стати мы, занятые люди, должны были организовывать это путешествие? Все же, как того требовала служба, я позаботился о том, чтобы Кеннеди-младший попал в Прагу, несмотря на концентрацию немецких войск на границах страны, и смог бы осмотреть там то, что хотел. После этого я с удовольствием с ним распростился, как мне казалось, навсегда.

Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что этот "сомнительный" молодой человек станет в дальнейшем американским президентом, а я сам как дипломат буду с удовольствием служить ему, я бы в это ни за что не поверил. Это происшествие также оказалось для меня важным жизненным уроком.

Я находился в Праге всего около года - вплоть до официального объявления войны в Европе. Примерно в середине этого срока, в марте 1939 года, немцы вошли в Прагу и оккупировали всю Богемию и Моравию. Наша миссия формально была упразднена, но меня с двумя-тремя людьми оставили

присматривать за нашим зданием; кроме того, я продолжал работу политического обозревателя. Когда разразилась война, меня перевели в наше посольство в Берлине, под власть которого подпала Чехословакия и вскоре должна была подпасть большая часть остальной Европы.

В эти месяцы мое положение в Праге было почти уникальным. Большинство иностранных журналистов, наехавших сюда во время мюнхенского кризиса, теперь покинули эту страну, и я оставался едва ли не единственным западным политическим обозревателем, постоянно жившим в оккупированной Чехословакии.

Судьба этого народа в то время мало интересовала большие газеты европейских столиц, но она интересовала меня. Потрясенный всем увиденным, я посылал в Вашингтон одно донесение за другим. Может быть, только человек пять в Вашингтоне читали эти материалы. Но годы на службе в Госдепартаменте научили меня писать аналитические материалы даже без надежды на особую реакцию. Я пытался осмыслить чехословацкую драму, развернувшуюся перед моими глазами. Зная русский язык, мне было несложно освоить чешский и словацкий, а работая в Германии, я смог изучить немцев. Служба в Вене дала мне представление о том, чем была тогда Центральная Европа, частью которой являлась Чехословакия.

Я не питал никаких симпатий к нацистам и был тронут судьбой чешского народа, который стал жертвой гитлеровского империализма. Вместе с тем я был далек и от сентиментального энтузиазма английских и американских либералов в отношении режима Бенеша и вообще статуса Центральной Европы после Первой мировой войны. У меня сохранились неприятные воспоминания об узком национализме чехов после моего предыдущего визита в Прагу, а "Малая Антанта"{16}, на которой чехи пытались строить свою международную безопасность с помощью французов, казалась мне неэффективным, искусственным союзом, плодом нереалистичной французской политики в ту эпоху. К тому же мои симпатии были на стороне австрийцев, которые тогда не пользовались расположением других стран Европы, а чехи в период независимости относились к ним с особой враждебностью; между тем чехи, по моему убеждению, многим в своей культуре обязаны австрийскому влиянию.

Таким образом, моя интерпретация мюнхенского кризиса значительно отличалась от интерпретации большинства западных либералов. Кроме того, я не верил в готовность СССР прийти на помощь Чехословакии, даже если бы это сделала Франция. Советские лидеры понимали, что обоснованные опасения поляков и румын за свою территориальную целостность не позволят им пропустить через свою территорию крупные советские военные силы. Поэтому, если бы Франция и Англия начали войну, основное бремя военных действий пришлось бы, по моему

мнению, все равно нести им.

Поэтому, если я и сожалел, что во время этого кризиса Англия и Франция не смогли противостоять Гитлеру, то по другим причинам, нежели это было принято среди либералов Запада. Тогда я, сочувствуя трагедии чехословацкого народа, питал в то же время надежду, что у этих событий могут быть и некоторые положительные последствия. Некоторые из этих представлений нашли отражение в моих записях той поры, сделанных вскоре после прибытия в Прагу.

"Здесь, в перенаселенном сердце Европы, где столь обострен дух соперничества, трудно найти такое лекарство от местных болезней, которое бы всех устроило. Перемены всегда проходят болезненно, а теперешние перемены могут в конце концов принести больше экономической безопасности и расовой терпимости людям, которые, увы, нуждаются и в том и в другом.

Чехословакия, в конце концов, центральноевропейская страна, и ее судьбы, так или иначе, связаны с основными силами, действующими в этом регионе. Общепризнанно, что разрушение той меры единства, которое существовало в период империи Габсбургов, имело в этом районе отрицательные последствия для всех заинтересованных сторон. Теперь возникли новые силы, пытающиеся осуществить интеграцию там, где два десятилетия господствовали сепаратизм и разобщенность. Теперь произошло вовлечение Чехословакии в орбиту действия этих сил. Оно совершилось в болезненной, достойной сожаления форме. Но этот процесс лишил Чехословакию не только самостоятельности, но и ответственности. Более того, он не затронул сердца страны. Что самое важное, сбережено для будущего молодое поколение, дисциплинированное и умелое, которое было бы принесено в жертву в случае, если бы романтическое, но безнадежное сопротивление предпочли унизительному, но действительно героическому реализму".

К сожалению, долгое время сохранять подобный умеренный оптимизм было невозможно. Уже зимой стало ясно, что Мюнхенское соглашение поставило перед немцами новый выбор в отношении судьбы остальной части Чехословакии. Тогда, перед тем как немцы вошли в Прагу, я побывал в Словакии и Рутинии{17}, изучив положение в этих провинциях. В своих донесениях я писал, что ситуация там очень неустойчивая. Эти регионы обращались за помощью к Праге, которая и сама переживала множество трудностей, а на местах власть переходила к поддерживаемым Германией пронацистским элементам. Я писал в январе 1939 года: "Быстрое достижение Словакией автономии есть лишь временное следствие

происходящего сейчас перехода реальной власти в Центральной Европе от Вены и Будапешта к Берлину. Потеря ею автономии после завершения этого процесса будет возвращением к естественному порядку вещей". В марте того же года я писал, что Рутиния вновь обретет политическую и экономическую целостность в рамках Венгрии, как ее естественная историческая часть (это действительно вскоре произошло). В конце января я приготовил для нашего посланника Карра донесение, касающееся судеб Богемии и Моравии, исторического сердца Чехословакии:

"Положение в Богемии остается опасным. Немцы пока согласны на номинальную независимость этой территории, но только на условиях, ставящих любое чешское правительство в крайне затруднительное положение. Есть известный предел чешским уступкам в отношении Германии, и рано или поздно немцы должны будут выбирать: терпеть ли им независимое государство, которое никогда не отождествит себя в полном смысле с национал-социалистской идеологией, или же оккупировать Богемию, хотя это вызовет новые проблемы".

Через шесть недель Гитлер выбрал второе, оккупировал Богемию и Моравию, предоставив Словакии номинальную независимость. Рутиния отошла к Венгрии (автор забыл упомянуть, что в разделе Чехословакии приняла участие также Польша. - Примеч. пер.). Таким образом, прекратило свое существование Чехословацкое государство, созданное в 1919 году. Эта акция явилась одной из величайших исторических ошибок. Она разрушила мюнхенское урегулирование и вместе с тем - остатки доверия к некоторым европейским правительствам. Невиль Чемберлен был дискредитирован, а Англии ничего не оставалось, как дать гарантии Польше и силой противостоять любым дальнейшим поползновениям нацистов в их продвижении на Восток.

Вступление немецких войск в Прагу 15 января 1939 года явилось для нас, американцев, тяжелым и неприятным событием. Мы понимали: замышляется что-то зловещее, однако до этого дня мы точно не знали, что именно немцы имели в виду. У меня в дневнике сохранилась запись об этих событиях, передающая атмосферу того времени:

"Рано утром меня разбудил телефонный звонок, и встревоженный знакомый дрожащим голосом сообщил мне, что в шесть часов немецкие войска войдут в Богемию и Моравию. Я позвонил военному атташе и попросил его получить подтверждение этой информации от военных властей. Потом я позвонил в чешское пресс-бюро, и печальный женский голос сообщил мне, что информация достоверна. Когда я появился в

американской миссии, посланник уже сидел в кабинете. Постепенно собрались наши сотрудники. Светало. К нам явились два страшно бледных человека (чешские шпионы в Германии) с просьбой о политическом убежище. Люди из гестапо знали обоих. Их губы дрожали, когда я отправил их обратно. Вслед за ними пришли два немецких социал-демократа, беженцы из рейха. Оба были смертельно напуганы. Кажется, они поняли мои объяснения, что я ничего не могу для них сделать, но уходить не хотели. Им не верилось, что придется покинуть это здание, где они все еще в безопасности, и выйти на улицу, где они окажутся в положении дичи, за которой охотятся. Пришел один знакомый еврей. Ему мы сказали, что он может здесь оставаться, пока не успокоится. Все утро он, как потерянный, бродил по нашей приемной, а в полдень решил покориться судьбе и ушел.

Часов в семь утра я решил проехать по городу. К этому времени разыгралась метель, однако в центре на улицах было много народу. Часть прохожих и проезжих, очевидно, направлялись на работу, но многие суетились, словно делая какие-то последние приготовления. Некоторые женщины плакали. Видимо, последние новости были уже широко известны.

Когда я вернулся в наше представительство, там уже собралась толпа людей, охваченных отчаянием, и мы вынуждены были поставить у входа охранника, который бы отправлял назад тех, кого мы лично не знали. Но и оставшихся было слишком много. Часов в десять прошел слух, что немцы уже достигли королевского дворца. Мы с Пэрри решили проверить эти слухи, поскольку наша миссия находилась неподалеку. В районе Нерудовой мы действительно увидели немецкую бронемашину, остановившуюся посреди узкой улицы. Видимо, водитель в поисках посольства немецкого остановился около итальянского, чтобы узнать о дороге. Вокруг собралась толпа местных жителей, смотревших на немца со смешанным чувством страха и любопытства. Весь остальной день в город продолжали прибывать сотни немецких военных машин. К вечеру оккупация столицы завершилась, и в восемь часов начался комендантский час. Странно было смотреть на внезапно опустевшие улицы Праги. Завтра утром на них снова появятся люди, но былого оживления здесь уже не будет. Комендантский час, по-видимому, действительно знаменовал собой трагическую перемену".

После немецкой оккупации Чехословакии и формального закрытия американской миссии дел у меня почти не осталось. Единственное, что требовалось Госдепартаменту теперь, - политические донесения и аналитические материалы. Сейчас, хотя я посылал свои доклады с визой нашего генерального

консула, как того требовали правила, я фактически стал сам себе хозяином. Мне стало более понятно, что отношение Гитлера к чехам в период оккупации было для него важно не само по себе, а в контексте всей его политики в Восточной Европе и по отношению к Советскому Союзу. Теперь Гитлеру нужен был не только Польский коридор и Данциг, но и политическое господство над землями Востока, богатыми сырьем. У него было три основных способа добиться этих целей. Во-первых, он мог бы сыграть на украинском национализме, создав самостоятельное украинское государство под нацистским протекторатом. Это возможно было сделать лишь за счет Польши и СССР ценой войны с ними обоими, в которую почти наверняка были бы втянуты западные державы. Во-вторых, Гитлер мог совершить сделку с Польшей за счет Советского Союза, компенсировав потерю западных польских земель украинскими территориями. Это означало бы союз с Польшей против СССР, но такое едва ли было возможно. Наконец, Германия могла заключить сделку с Советским Союзом за счет Польши в надежде, что западные державы в этом случае не проявят активности.

Как и многие другие, я не смог предусмотреть последнего варианта развития событий, так как не был достаточно знаком с тем, что происходило в высших сферах европейской дипломатии. В своих докладах после оккупации Праги я писал, что сложившаяся здесь ситуация показывает: немцы едва ли пойдут в дальнейшем на создание марионеточного украинского государства. Как я писал, дальнейшая германская экспансия будет "осуществляться менее тонкими средствами, на более откровенной милитаристской основе". Я указывал, что немцы вовсе не стремятся к устойчивому положению созданного ими самими Протектората Богемии и Моравии; отмечал, что они совсем не пользуются симпатиями чешского населения, что чехи, ставшие немецкими марионетками в правительстве Протектората, слабы и изолированы от народа; я описывал бесстыдное ограбление этой земли новыми немецкими хозяевами. Наконец, я писал, что чехи теперь надеются, что освободить их может только новая мировая война (подобно тому, как они ожидали Первой мировой войны, чтобы вырваться из-под власти Австрийской империи).

Я не верил в успех немецкой гегемонии в этом регионе и писал, что немцы едва ли справятся с задачей управления этими землями, из них не выйдет наследников католической церкви и империи Габсбургов, которым эта задача была по силам. Как говорилось тогда в одном из моих докладов, "немцы будут вынуждены отказаться от видимости чешской автономии и силой

сокрушить чешский национализм, который они прежде пытались эксплуатировать.

Фактически это будет означать необъявленную войну в занятой немцами стране с репрессиями, расстрелами, депортациями, с одной стороны, с саботажем, заговорами, подпольной борьбой - с другой. Имея широкую социальную базу национал-социализма, немцы смогут без особых трудностей одержать верх, но в случае поворота исторической судьбы возмездие чехов может оказаться ужасным".

Летом политика немцев в Чехословакии зашла в тупик, но это их, кажется, не очень беспокоило, поэтому появились основания полагать, что дело здесь не просто в немецко-чешских отношениях, но в чем-то большем. В августе, незадолго до визита Риббентропа в Москву и заключения знаменитого советско-германского договора о ненападении, я писал в одном из аналитических материалов о Чехии:

"Лето подходит к концу, пожалуй, самое неприятное для этого края лето со времени Первой мировой войны. Символично, что этим летом были частые грозы и град, нанесшие большой ущерб будущему урожаю. Люди здесь продолжают работать. Крестьяне, подгоняемые немцами, пытаются убрать урожай, несмотря на частые ливни. Промышленность работает, чтобы удовлетворить ненасытные аппетиты рейха. Но в остальном жизнь людей замерла, они пребывают как будто в летаргическом сне. Никто не проявляет инициативы, не строит планов на будущее. Культурная жизнь здесь стала вялой и механической. Вечером люди предпочитают не ходить в театры, а сидят дома или в скверике и обсуждают разные слухи, в которые сами не очень верят. Все они ждут каких-то событий, о которых они сами имеют смутное представление, но уверены, что эти события изменят всю их жизнь".

В этом же докладе, последнем из написанных в Праге, я попытался представить себе будущее чешского народа. По моим словам, как бы ни сложилась ситуация, "в будущем Богемия и Моравия уже не останутся такими, какими они были при президенте Бенеше. И сам национальный характер чехов не останется неизменным. В случае поворота событий здесь возможны тяжелые антигерманские эксцессы. Несчастья оставляют глубокий след, ив частности, они учат людей сплоченности и дисциплине, необходимым маленькому народу, особенно - расположенному в самом центре Европы. Немногие будут желать возвращения прежнего порядка с его сварами между многочисленными партиями, мелкобуржуазными колебаниями и ограниченным материализмом, свойственным государственным

чиновникам. Будет настоящий расцвет чешского национализма, но в сочетании с требованием большей моральной и духовной ответственности для тех, кто претендует на управление государством".

В целом это было несчастливое время, полное грозных событий, дурных предчувствий и несбывшихся надежд. Но если бы я предвидел, чем все эти ожидания обернутся в послевоенный период, дурные предчувствия сменились "бы отчаянием.

Глава 5.

Работа в Германии в военное время

Цель Госдепартамента, пославшего меня в Берлин, когда началась Вторая мировая война, состояла в том, чтобы я и там продолжал посылать в США аналитические материалы. Но, как я вскоре узнал, перед нашим посольством в Берлине стояли серьезные административные проблемы, для которых Госдепартамент не мог предложить адекватного решения. К тому же работу посольства, естественно, осложнили и обстоятельства, связанные с состоянием войны. В связи с этим мы, в частности, взяли на себя представительство интересов Англии и Франции, вступивших в войну, отчего забот у нас существенно прибавилось. Просто из чувства симпатии к нашему временному поверенному в немецких делах я согласился взять на себя в тот период многие административные обязанности, с молчаливого согласия Госдепартамента, который не мог предложить другого решения и, похоже, быстро терял интерес к политическим донесениям из районов, подконтрольных немецкому правительству.

Бремя административной работы росло по мере продолжения войны. Летом 1940 года 10 наших консульств в разных городах были ликвидированы по требованию правительства Германии, а их функции, насколько это возможно, перешли к нашему посольству. Появились у нас и новые проблемы в связи с отчаянным положением евреев в Германии и на оккупированных ею территориях. Влиятельные круги в американском конгрессе требовали принять меры по их освобождению и принятию их в США, а Госдепартамент просто возлагал эти проблемы на нас, не решаясь сообщить конгрессменам, что можно, а чего нельзя сделать, чтобы помочь этим людям, в соответствии с законами (которые принимали сами конгрессмены).

По мере распространения нацистской агрессии увеличивалось число стран, чьи интересы мы представляли, и ко времени Пёрл-Харбора{18} их было, кажется, уже 11. В конце концов, наше посольство представляло и собственно американские интересы, и интересы значительной части западного мира в целом.

Со всем этим грузом проблем должны были справиться сотрудники посольства, которых, вместе с членами семей, насчитывалось 99 человек (и еще столько же немецкого вспомогательного персонала). Это очень мало, особенно по сравнению с нашими нынешними посольствами в Европе, в которых работают многие сотни человек, хотя задачи перед ними стоят менее сложные, чем перед нами в то время.

Эта напряженная обстановка усугублялась обычными трудностями и лишениями военного времени. Особенно трудной была зима 1939/40 года. Из-за нехватки топлива целые кварталы нельзя было отапливать, и приходилось эвакуировать оттуда людей при нулевой температуре. Распределение пайков, как и правила светомаскировки, было очень суровым. Поездки на частных автомобилях запрещались, и правила воздушной безопасности являлись более строгими, чем в Лондоне, где мне также довелось побывать в военное время. При воздушной тревоге, которая могла иногда продолжаться всю ночь, никому не разрешалось появляться на улицах. Это создавало особые трудности сотрудникам, которым надо было возвращаться после работы домой, а также курьерам и гостям, приезжавшим в ночное время. К тому же посольство не имело никакого государственного транспорта, и Кирку пришлось купить за свой счет небольшой "рено" с прицепом для перевозки багажа.

Трудно передать атмосферу жизни такого города, как Берлин, в военное время. Мне больше всего запомнилось, как я возвращался домой со службы в зимние вечера. Мне приходилось пробираться ощупью в темноте мимо Бранденбургских ворот, а затем я с трудом находил автобусную стоянку и ждал, когда из мрака появятся огни подъезжающего автобуса, в котором было тихо и сумрачно. Я удивлялся, как водитель вообще ориентируется на заснеженной, лишенной знаков дороге. Потом я, осторожно ступая по тротуару, в такой же темноте шел от остановки к дому и слышал приглушенные голоса других пешеходов, не видя их самих. Окна в нашем доме из-за светомаскировки были темными, так что создавалось впечатление, будто дом безлюден. И всегда с чувством некоторого приятного удивления я обнаруживал, что квартира освещена изнутри, там почти тепло и даже отчасти уютно, и был рад встретиться с семьей (если жена не увозила в этот день куда-нибудь детей).

В целом же я чувствовал себя в Берлине вполне нормально, несмотря на все подобные неудобства. Немецкий язык я знал, и быт города был мне знаком. За исключением редких визитов в МИД. Я не имел никакого касательства к нацистскому режиму,

как, впрочем, и люди, которых я знал. Обычные рядовые берлинцы из всех немцев, пожалуй, меньше всего походили на нацистов. Они не любили отдавать нацистский салют и вместо: "Хайль Гитлер!" приветствовали друг друга традиционными словами: "Доброе утро". Во время парада по случаю победы над Польшей я сам стоял на Паризен-плац неподалеку от нашего посольства и видел, что люди стояли молча, хмурые и безмолвные. Новость о падении Парижа также приняли без энтузиазма. В тот день я долго ездил по городу на автобусе и не слышал никаких разговоров об этом событии. Люди говорили о продуктовых карточках и ценах на промтовары.

Вообще я заметил за время своего пребывания в Берлине, что люди не чувствуют особой общности с режимом и его целями, а жизнь их идет своим чередом в обстановке трудностей и ограничений военного времени. Берлинцы (как, очевидно, и жители других крупных городов) жили в военной обстановке, но воспринимали эту войну как дело режима, а не свое собственное.

Поэтому мне трудно было согласиться с демониза-цией своего политического противника в американском общественном мнении, когда в американской прессе немцев изображали чудовищами, сплоченными вокруг Гитлера и одержимыми страстью разрушить или поработить остальную Европу.

В конце февраля меня командировали в Италию для встречи с мистером С. Уэллесом, заместителем секретаря Госдепартамента.

Рузвельт послал его в Рим, Берлин, Париж и Лондон для выяснения мнений ведущих европейских государственных лиц о возможности начать переговоры относительно заключения в Европе справедливого мира. До этого времени на Западном фронте не было активных боевых действий. Однако тогда стало ясно, что, если войну не прекратить до весны, она может вступить в новую фазу, и события примут очень серьезный и трагический оборот. Тогда и США не смогут уже оставаться в стороне. Поэтому президент искал любых возможностей предотвратить надвигавшуюся катастрофу.

Поскольку Уэллес не планировал посещать Советский Союз, кому-то в Вашингтоне пришло в голову отправить к нему человека, который бывал в СССР и мог бы ответить на вопросы главы делегации о возможных реакциях советской стороны на подобную ситуацию.

Меня удивил странный характер этой миссии. Я сомневаюсь, чтобы в беседах Уэллеса с государственными лицами в европейских столицах было выяснено что-либо и без того уже неизвестное в соответствующих американских посольствах. И моя

поездка не принесла ощутимых результатов. Мистер Уэллес явно не проявил интереса к моим взглядам на положение в России. Представители возглавляемой им делегации при отъезде из Рима в Берлине даже забыли обо мне, и я узнал об их отъезде лишь в самый последний момент. При таких обстоятельствах я едва ли был полезен Уэллесу, тем более что и не мог бы дать обнадеживающих ответов на интересовавшие его вопросы. Свои взгляды на этот вопрос я изложил на бумаге и вручил свой доклад мистеру Моффату, руководителю европейского отдела, который также принимал участие в данной поездке. Я сомневаюсь, чтобы он действительно прочел доклад, однако он выслал его мне обратно в положенный срок, и этот документ сохранился у меня как напоминание о моих взглядах в то время.

Я предупреждал, что в вопросах войны и мира не надо слишком полагаться на различия между Гитлером и немецким народом, поскольку "этот человек прекрасно играет на традициях немецкого национализма, а его представления о собственной миссии могут быть яснее, чем у его предшественников, потому что он не отягощен чувством ответственности за европейскую культуру в целом. Этот колосс сейчас противостоит французам и англичанам во всей своей разрушительной мощи, равной которой не знала история. Он полон решимости завоевать Европу или разрушить все до основания".

Исследуя возможности англичан и французов в этих обстоятельствах, я писал, что "они, быть может, смогут заключить перемирие с Гитлером. Он, вероятно, будет рад такой мирной передышке, чтобы закрепить уже достигнутые успехи и разработать источники сырья, доступные ему в Польше, Словакии и Румынии. Ему нужно перестроить свой подводный флот и продолжать перевооружение огромной армии. Конечно, ему нужно время и для того, чтобы свести на нет боевой дух союзников (англичан и французов), чтобы ослабить их и иметь возможность одержать над ними верх в перспективе. Вероятно, ради этого перемирия он пойдет на территориальные уступки в Польше, Богемии, Моравии, однако такие уступки могут быть лишь несущественными. Ни о какой "независимости" или "автономии" для этих стран, пока существует сильная Германия, не может быть и речи. Польша, униженная и полностью деморализованная, сейчас не смогла бы заново организовать свою национальную жизнь на усеченной территории и перед лицом двух мощных и беспощадных соседей, ее может контролировать только один из них.

Боюсь, что при таких условиях перемирие мало чем отличалось бы от нынешнего состояния войны. Гитлер ни на

минуту не забудет о своей конечной цели - разгроме Англии и Франции. Сейчас нельзя говорить о демобилизации войск. Нацистская система построена на принципе, что нормальным состоянием людей является война, а не мир".

Я предупреждал также, что не следует верить обманчивым речам таких немецких консерваторов, как Шахт и Папен, которые надеются низложить Гитлера и создать правительство "реалистов", с которыми можно будет "иметь дело", если союзники будут хорошо себя вести в их отношении. Не следовало также, по моим словам, переоценивать противоречия между Гитлером и армейским руководством, носившие скорее тактический, а не стратегический характер. Предупреждал я и о том, что не надо считать нынешнее германское государство неким анахронизмом. По моим словам, если бы немцы действительно перевели часы назад, как иногда утверждают, мы были бы счастливее, чем теперь, потому что в Европе каждый камень свидетельствует о превосходстве прошлого. Но в Германии произошел не откат к прошлому, а достижение глубокого внутреннего единства (процесс этот начался еще в XIX веке, во времена Наполеонов I и III, но остался незавершенным). Версальский договор подготовил почву для его завершения. Какими бы средствами это единство ни было достигнуто, оно является фактом и вполне может продолжать существовать после ухода Гитлера, поскольку, полагал я, останутся чувства национального унижения, вражды и, вследствие этого, жажды властвовать в Европе.

Поэтому я не видел смысла в перемирии ради перемирия. Продолжение войны, отмечал я, может быть ужасным, но если оно "приведет к восстановлению пусть и ослабленной Европы на более или менее здоровой политической основе, то никакое число жертв не будет слишком большим". Если же повторятся ошибки версальской системы, то война "не будет стоить и тех немногих жизней, которые уже утрачены". Я также писал, что желательно было бы не сохранять статус-кво с большим германским государством, а вернуться по возможности к практике XVIII столетия с небольшими "игрушечными" королевствами, с характерным для них местным колоритом.

Сейчас я не без удивления прочел доклад. Дело даже не в наивности последнего вывода, а в эволюции моих собственных взглядов. Впоследствии я сожалел как раз о том, что западные союзники упустили шанс на сотрудничество с германскими консерваторами и армейскими лидерами. А года через два-три я покинул Германию с чувством более глубокого понимания исторической судьбы немцев, чьи положительные качества, как

мужество или гуманизм, не были нейтрализованы общим деструктивным процессом.

На развитие моих взглядов повлияло новое знакомство. Вскоре после визита Уэллеса временный поверенный Кирк, прежде чем покинуть Германию в октябре 194! года, доверил мне поддерживаемую им связь с одним из немецких оппозиционеров, графом Гельмутом фон Мольтке. Этот человек, внучатый племянник знаменитого полководца XIX века, служил тогда гражданским консультантом в немецком Генеральном штабе. Кирк время от времени тайно встречался с Мольтке и именно от него приобрел убежденность, что, несмотря на все первые победы Германии, война закончится для нее неудачно. Встречи Кирка и Мольтке не имели никакого специального политического оттенка, и, Бог свидетель, Рузвельт или госсекретарь Халл вовсе не думали поручать Кирку установить политический контакт с немецкой консервативной оппозицией. Но встречи в военное время между американским временным поверенным в немецких делах, с одной стороны, и человеком, который занимал такой пост, как Мольтке, с другой, не могли вызвать одобрения у начальства последнего, а тем более у гестапо. Отсюда конспиративный характер этих встреч.

После отъезда Кирка я несколько раз тайно встречался с Мольтке. Когда началась кампания в России, он почему-то осмелел и однажды даже явился к нам в посольство среди бела дня и заявил, что желает меня видеть. Я вывел гостя на балкон, где шум уличного транспорта нейтрализовал работу подслушивающей аппаратуры, и спросил, как он осмелился это сделать. Он ответил, что, мол, гестапо никогда не заподозрит человека, который так открыто пришел сюда. Мольтке был аристократом в полном смысле слова, но одновременно - человеком глубокой религиозной веры, идеалистом и приверженцем демократических идеалов. Я считаю его самым высоконравственным и просвещенным человеком из тех, кого встречал по обе стороны фронта во время Второй мировой войны. К сожалению, Мольтке не дожил до конца войны. Его оппозиционность в отношении нацистского режима никогда не была секретом, а со временем стала все больше раздражать власти. Например, однажды он (хотя сам был протестантом) дал приют в своем особняке в Силезии местной католической школе, закрытой гестапо. Его арестовали по сравнительно незначительным обвинениям незадолго до неудачного путча в июле 1944 года. Мольтке не был вовлечен в этот заговор, но во время следствия по этому делу гестапо, очевидно, узнало больше о нем, чем раньше. Мольтке предстал перед нацистским

"народным трибуналом" и был повешен в тюрьме в начале 1945 года. Этот протестантский мученик наших дней остался для меня образцом высокой морали.

Познакомился я и с другим оппозиционером, Готфридом Бисмарком, внуком великого канцлера. В 1940 году они с женой пригласили меня на уик-энд в свое поместье в Западной Пруссии, и уже тогда это приглашение вызвало недовольство местного гестапо. Однако он пригласил меня снова через год, на Рождество 1941 года. Тогда из-за Пёрл-Харбора и объявления войны из этого ничего не вышло. Позднее (когда я уже покинул Германию) Готфрида и его жену арестовали. Его приговорили к смертной казни, но приговор отсрочили, однако нацистский режим пал прежде, чем его привели в исполнение. Жена его также осталась в живых. После войны я снова посетил их в бывшем поместье знаменитого канцлера близ Гамбурга. Правда, вскоре опасные дороги довершили то, что не довершило гестапо: оба они погибли в автомобильной катастрофе.

Позднее я был очень удивлен, когда встречался с президентом Рузвельтом и узнал, что он, как многие другие, считает прусское юнкерство опорой власти Гитлера, подобно тому, как прежде оно было опорой власти кайзера. В действительности опорой Гитлера были прежде всего низшая часть среднего класса и, до известной степени, нувориши.

Старая аристократия была расколота, но из ее рядов вышли некоторые самые стойкие и просвещенные представители внутренней оппозиции Гитлеру.

Как и ожидалось, весна 1940 года внесла оживление в военные действия на Западе. Наибольшее удивление вызвало то, что Германия напала на Данию и Норвегию. Мы сейчас знаем, что сами англичане несут большую долю ответственности за решение Гитлера вторгнуться в Скандинавию до начала войны против Франции. Англия планировала отправить свой экспедиционный корпус в Финляндию через Норвегию, а минируя проходы среди льда у норвежского побережья, англичане сами фактически покусились на независимость Норвегии. Тогда же все это было еще неизвестно. Однако мы, американские дипломаты в Берлине, получили предупреждение о том, что готовится нападение на Норвегию. Моя жена с дочерьми находились тогда у родителей в Кристианстанде, и мне удалось вызвать их в Германию за два дня до того, как немцы начали бомбардировку этого города. До начала осени дети с женой прожили в Берлине, но потом, прежде чем англичане начали ночные бомбежки города, я отвез Аннелизу и детей в Италию, а там посадил на корабль, чтобы отправить домой. Расставшись с ними, я вернулся через мнимый

швейцарский рай в Берлин, где мне предстояло работать последний год перед нашим вступлением в войну.

Вследствие весенних кампаний зона нацистской оккупации в Европе существенно расширилась. Получилось так, что я, по роду своей службы, посетил почти все оккупированные регионы. Я побывал в Богемии, Данциге, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, чтобы повсюду установить необходимую связь с нашим персоналом, который не успели эвакуировать до наступления немецких войск. Я видел опустевший Париж в июне 1940 года после панического бегства большей части населения. В конце того же года, к моему удивлению, немецкие власти разрешили мне отметить Рождество на родине моей жены, так что я проехал через оккупированную Данию и побывал в Норвегии.

Все эти путешествия произвели на меня тяжелое впечатление. Нацистские войска почти беспрепятственно продвигались все дальше, и при этом не было оснований рассчитывать на военный конфликт между Германией и Россией, а наш конгресс по-прежнему жестко придерживался нейтралитета. Поэтому трудно было не поверить в перспективу полной победы Германии. Тревожную обстановку того времени отчасти передают мои дневниковые записи о визите в Нидерланды вскоре после ее оккупации. Вот некоторые из них.

Гаага, 15 июня 1940 года

Здесь все в тумане и непрестанно идет дождь, словно в Англии. Пока я шел из Шевенингена на станцию, почувствовал, что весь промок до нитки. Набережная была пуста, а на море я не видел ни одного корабля. На железнодорожной станции темно. Пассажиров нет вовсе, и может показаться, что поезда уже не ходят, но это не так. В пригородном поезде до Гааги моими единственными попутчиками оказались школьники - младшеклассники, которые весело болтали между собой, не обращая внимания ни на серый день, ни на опустошение, царившее вокруг. Я же не мог не замечать всего этого. Я спрашивал себя, каково будущее этой страны под началом Германии; что получат теперь в экономическом смысле люди, жившие в центре нидерландской колониальной империи и транзитной морской торговли. Понадобятся ли теперь такие торговые страны, как Нидерланды или Дания, Европе, превращенной в замкнутое экономическое пространство, лишенной всех своих колоний, отрезанной от Англии. Роттердам, может быть, останется транзитным морским портом, но хватит ли этого, чтобы поддерживать здесь прежний высокий уровень жизни населения?

Их ждет не только разрушение культуры и традиционного

уклада, но и иностранный гнет, экономический упадок, а опустошенные нидерландские города, некогда процветавшие, превратятся просто в объект экскурсий для будущих немцев, которые, возможно, будут даже восхищаться былыми культурными ценностями, так легкомысленно разрушенными их предками.

Гаага, 16 июня 1940 года

Около полудня Элтинг, секретарь нашей дипломатической миссии, повез меня на машине к нашему консулу в Роттердаме. Здание консульства было разрушено во время бомбежки, и консул нашел временное пристанище в одном из пригородов. Мы застали его дома.

Оттуда мы с Элтингом отправились в Роттердам. Сначала наш автомобиль ехал по нормальной городской улице, по которой ходили трамваи и многочисленные пешеходы спешили по каким-то своим делам. И вдруг дома куда-то исчезли, словно провалились сквозь землю, и перед нами открылся огромный пустырь, заваленный кирпичами и мусором. Кое-где виднелись руины зданий, но в основном мы видели голое серое опустошенное пространство. На соседних улицах все оставалось по-прежнему, но этот район походил на загородную свалку, почему-то оказавшуюся в центре города. Больше всего нас поразили даже не страшные масштабы разрушений, а отсутствие переходов. В местах, где не было бомбежек, все находилось в полном порядке, места же после бомбежек превращались практически в голое место.

Мы возвращались из Роттердама в Гаагу по шоссе, на котором приземлялись немецкие военные самолеты в первый день вторжения. У въезда в Гаагский аэропорт стояла толпа местных жителей, собравшихся поглядеть на разрушенное бомбой административное здание. Мы тоже остановились, чтобы посмотреть, но разъяренный немецкий лейтенант ВВС заорал на часовых, чтобы они заставили американцев убраться, и мы подчинились.

17 июня 1940 года

Сегодня шестичасовым утренним поездом я возвращаюсь в Берлин. Пятичасовая поездка по оккупированным Нидерландам оставила гнетущее впечатление. Все так же идет дождь. В городах на улицах не видно ни души. Я прочел в немецкой газете пропагандистскую статью о "бессмысленности сопротивления" и подумал, что если, по-моему, в чем-то и есть смысл, так это в сопротивлении, свидетельством которого были разрушения в Роттердаме".

Постепенно изучение и анализ немецкой оккупационной

политики в Европе превратились для меня в нечто вроде хобби, средство отвлечения от моих административных обязанностей. Больше никто не занимался подобной деятельностью. Я написал ряд докладов по отдельным регионам и завершил эту работу большим аналитическим материалом весной 1941 года (когда мы еще едва ли смели надеяться на развитие германо-советского конфликта). Много позже, вернувшись в Вашингтон, я спросил у человека, ответственного за германскую группу в Госдепартаменте, получили ли они мой доклад. Он ответил, что доклад получили, но так как дискуссии по отдельным странам в европейском отделе не было, то подобные материалы не распределялись по группам. Поэтому никто не прочел его. Все же эта работа оказалась для меня полезной. Я неожиданно пришел к выводу, что, даже в случае полной военной победы нацистов, у них возникнут серьезные проблемы с организацией политической жизни и контроля в завоеванных странах. Нацистская идеология, основанная на возвеличивании доблестей, приписываемых немецкому народу, едва ли могла найти отклик у людей, живущих за пределами Германии, особенно у молодежи. Она не была вполне адекватна даже для марионеточных режимов, насаждаемых немцами и возглавляемых людьми, вполне субъективно готовыми принять германское владычество. Изучая германскую оккупационную политику, я отметил для себя, что немцам либо придется постоянно поддерживать в Европе режим военной оккупации (что чрезвычайно трудно и может вызвать недовольство даже в самих немецких войсках), либо как-то приспосабливаться даже к тем режимам, которые являются союзными, но основаны на несколько иных началах, чем национал-социализм, и по сути преследуют другие цели. Если бы я знал, с какими трудностями Гитлер уже тогда сталкивался во взаимоотношениях с испанцами, итальянцами и вишистским режимом во Франции, это мое убеждение стало бы еще крепче.

Позднее эти размышления оказали известное влияние на мой анализ притязаний советского руководства на роль создания имперской державы и контроль над другими странами, особенно в Восточной Европе. Эту проблему, полагал я, иногда возможно решить, когда подчиненная страна значительно меньше главенствующей и по своему географическому положению просто не может реально иметь полной независимости. Но чем больше страна и чем она дальше от страны, играющей роль протектора, тем вероятнее возникновение трудностей, подобных тем, с которыми столкнулись немцы, пытаясь укрепить свою власть в оккупированной Европе. Конечно, советские лидеры, в отличие от нацистов, несли идеологию, претендующую на универсальность;

она, по крайней мере теоретически, могла понравиться другим народам. Правда, эти проблемы в первые послевоенные годы были для меня не так очевидны, как позднее, когда я понял, что в мире национализм стал играть большую политическую роль, чем коммунизм. Но еще с начала 1940-х годов для меня все яснее становилось, что к современному миру вполне применимы слова Гиббона{19}: "Нет ничего более противного природе, чем пытаться удержать в повиновении отдаленные провинции". Ни одна нация не является настолько великой, чтобы установить мировое господство.

Летом 1940 года не произошло вторжения немцев в Англию, которого все ожидали и очень опасались. Мы, американские дипломаты в Берлине, не сразу поняли, что, согласно логике Гитлера, невозможность захватить Британию неизбежно означает необходимость вторжения в Россию. В одном из писем к своему другу, сотруднику Госдепартамента, я подошел к пониманию этой проблемы, отмечая, что, "по крайней мере, в вопросе .о Румынии нет тесного сотрудничества между советским и немецким правительствами. На румынской границе русские могут сосредоточить большое количество войск и военной техники, так что немцам при своем продвижении в Грецию и в направлении Турции придется учитывать это скопление войск на своем фланге".

Если бы я знал, что Гитлер, не сумев расколоть британский орешек, попытается решить стоявшую перед ним проблему, нанеся удар в Средиземноморье через Балканы, то еще лучше понял бы, почему Гитлеру потребовалось сокрушить советскую военную мощь, чтобы освободить свой фланг для операции, которая должна была подорвать основы Британской империи. К этому следует добавить, что я не знал также, с каким упорством Молотов настаивал во время визита в Берлин на полном советском военном контроле над Болгарией и на других, почти столь же неприемлемых для Германии вопросах.

Ситуация осложнялась нападением Германии на Югославию весной 1941 года. Эта акция была сомнительной со стратегической точки зрения. Отсрочив нападение на Россию, она, возможно, лишила Гитлера шанса добиться успеха в российской кампании и даже в войне в целом. Поэтому мы и не усмотрели в этом нападении на Югославию прелюдии к войне с Россией.

Однако к концу весны появились признаки, что Гитлер готовит крупную кампанию на Востоке. Мы посылали эти сведения в Вашингтон, а там тщетно пытались предупредить об этом Сталина.

Поэтому известие о нападении на Россию 22 июня 1941 года не совсем застало нас врасплох. Однако выяснилось, что начало этой войны создало коренное изменение во всей политической ситуации, и теперь требуется ни много ни мало как выработка новой политики по отношению к Восточной и Центральной Европе. В частности, предстояло определить, кого мы хотели бы видеть в качестве руководящей державы в Восточной Европе в послевоенный период. То, что Советский Союз предстал в качестве новой жертвы нацистской агрессии, не могло не вызвать некритических симпатий по отношению к нему в американском обществе. Однако при этом нам не следовало забывать: в настоящее время задачи России чисто оборонительные, но в случае победы ситуация может измениться. И не будем ли мы впоследствии сожалеть о том, что содействовали советской политике в Восточной Европе?

24 июня, через два дня после начала германской агрессии, я написал своему другу Хендерсону письмо, где изложил свои взгляды на особую ответственность, с которой мы должны подходить к нашим взаимоотношениям с Россией. (Через несколько лет он любезно переслал мне это письмо по моей просьбе.) Я писал:

"Я уверен, что нам у себя в стране никоим образом не нужно следовать за курсом Черчилля, который расширяет кампанию по моральной поддержке русского дела в нынешнем русско-германском конфликте. Мне кажется, что поддержка России как союзника в деле защиты демократии вызовет непонимание нашей собственной позиции и придаст Германии желанную для нее ауру нравственности ее действий. Я не понимаю, как, следуя подобному курсу, мы сможем не отождествить своей позиции с разрушением независимости балтийских стран, нападением на Финляндию или разделом Польши, с разрушением религии в Восточной Европе или с внутренней политикой режима, методы которого далеки от демократических. Не будет преувеличением сказать, что и в Норвегии, и в Швеции, и в Прибалтике Россию обычно боятся больше, чем Германию...

Очевидно, что вступление России в борьбу не связано с принципами, лежащими в основе дела союзников, и что, несмотря на участие в войне, Россия едва ли реально желает победы Англии. Россия безуспешно пыталась обеспечить свою безопасность за счет компромиссов с Германией и направить немецкие военные поползновения на Запад. Во время войны Москва проводила политику исключительно в собственных интересах и не пыталась помочь ни одной из воюющих стран. Я не вижу, почему у нас в стране не должны настоящее положение

России оценивать реалистически, как положение тех, кто вел опасную игру и должен в одиночку принять моральные последствия этого. Подобный взгляд не помешает материальной помощи, поскольку этого потребуют наши собственные интересы, но не позволит нам отождествлять себя с воюющей Россией политически и идеологически. Поэтому более правильно расценивать Россию как "попутчика", пользуясь принятым в Москве термином, но не как политического союзника".

В том, что я изложил за полгода до вступления в США в войну, заключалась суть моих разногласий с правительственным курсом в ближайшее пятилетие. Потом, когда маятник официальной политики качнулся вправо, в 1946 - 1948 годах мои взгляды на внешнюю политику стали очень близки к официальным; но я снова разошелся с ними после 1949 года, когда политическая линия в отношении России стала слишком упрощенной и милитаристской.

Я плохо помню период, предшествующий Перл-Харбору. Мне только запомнилось чувство, что ситуация вышла из-под контроля (именно из-под контроля вообще). День за днем я, глядя на большую карту России в моем кабинете, следил за продвижением гитлеровских армий к Москве, сравнивая эту кампанию с продвижением армии Наполеона в 1812 году (в некоторых отношениях сходство было нередко поразительным). Во время войны с Россией наши отношения с немецким правительством, и до этого достаточно прохладные, стали ухудшаться. Никто не знал, чем и как все это закончится.

В одно памятное декабрьское воскресенье, слушая на коротких волнах американское радио, мы узнали о Перл-Харборе. Я тогда же позвонил по телефону мистеру Моррису, нашему временному поверенному, а также другим нашим сотрудникам, которым мог дозвониться. Поздно ночью мы собрались в посольстве, чтобы обсудить создавшееся положение. Война с Японией уже началась, и ясно было, что за этим может последовать вовлечение нашей страны в войну с Германией.

Четыре дня мы жили в неизвестности. За это время от нас перестали принимать телеграммы, даже правительственные, а во вторник наши телефоны вдруг загадочным образом перестали работать. Таким образом, мы оказались отрезанными от всего мира.

В ночь со вторника на среду мы сожгли свои шифры и уничтожили специальную корреспонденцию, понимая, что это лучше сделать, чем не сделать, надеясь на то, что войны удается избежать. В четверг мы узнали, что Гитлер собирается выступать в рейхстаге с речью. После этого площадь перед посольством

почему-то заполнили грузовики и толпы народа. Мы ждали штурма, но он не последовал. Зато наш телефон вдруг снова заработал. Позвонили из германского МИД и сообщили, что сейчас явится сотрудник отдела протокола, чтобы доставить временного поверенного США в делах Германии к министру иностранных дел. Возбужденный Риббентроп вслух прочел Моррису и его спутникам ноту об объявлении войны и прокричал: "Ваш президент хотел войны, и он получил войну!" - затем повернулся и вышел из помещения.

Видимо не зная, что с нами делать дальше, сотрудники МИД решили проконсультироваться с Гитлером. Но тот уже отбыл в свою ставку, и мы два дня ждали ответа. Ответ, полученный в субботу, был лаконичным: "В конце недели американцев не должно быть в Берлине". За ночь нам кое-как удалось собраться, и к утру следующего дня мы подготовились к отъезду. В восемь утра 14 декабря наше здание заблокировали гестаповцы. И мы стали их пленниками. Нас посадили в автобусы и отвезли на вокзал, а оттуда на двух спецпоездах, под охраной гестапо, доставили в один из пригородов Франкфурта, где мы и провели около пяти месяцев. Лишь в конце апреля 1942 года правительство США связалось с нами, до этого же мы могли получать какую-то информацию только от самих немцев или от посещавших нас время от времени представителей Швейцарии.

Весь этот период я чувствовал ответственность за порядок внутри группы узников и был их представителем перед немцами, державшими нас под стражей. Заботы, ссоры и жалобы этих людей занимали почти все мое время. Особенно частыми были всякого рода жалобы, связанные с питанием, которые доставляли мне немало хлопот, поскольку волей-неволей приходилось говорить об этом с немцами. Правда, мы получали положенные в Германии гражданскому населению продуктовые нормы, которые были ниже принятых в мире для военнопленных; не имели мы, однако, и продовольственной помощи Красного Креста, которая военнопленным также полагалась. Таким образом, кормили нас скудно, и все мы чувствовали, что недоедаем.

Но в то время в Европе многие голодали по-настоящему, и на карту были поставлены более важные вещи, чем сытость.

В середине мая нас на двух поездах отправили через Испанию в Лиссабон, где обменяли на аналогичную по численности группу немцев. Когда мы проезжали через Испанию, то пришлось запирать двери вагонов, чтобы некоторые наши товарищи (особенно журналисты) не выбегали на станциях, растворяясь в толпе в поисках спиртного, с риском отстать от поезда. На первой же португальской станции нас встретил Тед Руссо, в то время

помощник нашего военно-морского атташе в Лиссабоне. Оставив своих подопечных в запертых вагонах, я вышел поприветствовать его. После обычных любезностей я спросил Руссо, можно ли на этой станции позавтракать. Получив утвердительный ответ, я, пять месяцев получавший жалобы на плохую еду, решил отомстить моим товарищам и отправился в буфет, где съел на завтрак несколько яиц. Остаток пути у меня ушел на сочинение прощальных стишков, посвященных тем, кто был моими спутниками в течение этих пяти месяцев. У меня сохранился этот набросок. Там упоминается "Гранд-отель", где нас поселили во время пребывания в Бад-Нохейме, под Франкфуртом, а также тамошняя речка с подходящим к случаю названием Юса{20}. Вот эти стишки:

Я буду помнить "Гранд-отель"
На Юсы берегах,
Где с вами я делил, друзья,
Надежды, радость, страх.
Случилось много пережить
За долгие недели,
Но никогда вам не забыть,
Как вы там мало ели.
Пришлось раз в жизни пояса
Вам затянуть потуже,
И каждый убедился сам,
Что ничего нет хуже.
Пусть мир пройдет через войну
И через голод тоже,
Но вам без мяса-посидеть
Хоть день - избави боже!

Мои литературные упражнения были прерваны, когда мы прибыли в Лиссабон, и мне сразу же захотелось найти ближайший хороший ресторан.

Как уже говорилось, Госдепартамент долго не пытался связаться с нами (хотя это можно было сделать через Швейцарию); мало того, перед нашим обменом пришла первая телеграмма с сообщением, что по решению начальника контрольного финансового управления нам не будут оплачены месяцы, проведенные в заключении, потому что мы, видите ли, все это время не работали. Во второй (и последней за это время) телеграмме говорилось, что первоначальное решение о нашем выезде пересмотрено и половина из нас должна остаться в Германии, чтобы освободить место на корабле для еврейских беженцев. Причина была проста - часть конгрессменов для удовлетворения части избирателей намеревалась перевезти этих

беженцев в США (хотя они и не являлись нашими гражданами). И это было важнее, чем все, что произошло с нами. Мы с мистером Моррисом справились с обоими этими испытаниями, но, конечно, не на такой прием мы надеялись после освобождения из пятимесячного плена. Это неприятное впечатление еще усилилось по прибытии в Лиссабон, где нас ожидали телеграммы с информацией о том, что часть из нас должна остаться на службе на Иберийском полуострове и приступить к работе со следующего дня. Похоже, в Госдепартаменте не имели ни малейшего представления о нашем нервном и физическом состоянии. Ни в этих приказах, ни во время встречи в США, когда туда прибыли те, кого не оставили на службе, нам, насколько я помню, не было высказано признательности ни за нашу службу, ни за те неприятности, которым мы подверглись в связи с ней.

Это не последний за время войны пример несправедливого отношения правительства и значительной части нашего общества к людям на государственной дипломатической службе. То же самое проявилось и в отношении призыва на военную службу{21}. Руководители Госдепартамента довели до сведения подчиненных, что они благодаря их квалификации принесут больше пользы на дипломатической службе, а потому должны ходатайствовать об отсрочке от призыва.

Сам Госдепартамент не стал брать на себя эту миссию (очевидно опасаясь критики со стороны конгресса), поэтому этим пришлось заниматься самим нашим служащим. Большинство из них так и поступили и получили отсрочку от призыва на военную службу. Их работа во многих случаях была не менее важна для войны, чем служба людей в форме. Больше того, на долю дипломатов в военное время выпадало не меньше опасностей и лишений, чем на долю военнослужащих. И все же это не спасало наших служащих от напоминаний, связанных нередко с упреками, об их гражданском статусе. В союзных странах они были лишены даже тех скромных привилегий, которые могли иметь рядовые военнослужащие. В американской прессе не раз появлялись обвинения по их адресу, нередко персональные, в уклонении от призыва. Как-то я обратился к руководителю одной из наших служб с просьбой предоставить отпуск некоторым служащим, явно нуждавшимся в отдыхе, но он ответил отказом, заявив, что, в конце концов, всем им следовало служить в армии. Это замечание задело меня за живое, и я не забыл этой обиды. Дело было даже не во мне - сам я уже вышел из призывного возраста. Но я продолжаю считать, что служба дипломатов в военное время во многих случаях ничем не уступала по значению службе военных.

Глаза 6.

Португалия и Азорские острова

Наш корабль прибыл в Нью-Йорк в начале июня 1942 года. К счастью, я получил большой отпуск, который мы с женой использовали, чтобы найти наш первый настоящий дом - большое, но заброшенное ранчо в Пенсильвании, где мы и поселились.

В августе я получил временную работу в Госдепартаменте - в группе личных дел. Мне поручили рассортировать кучу старых папок с документами, которыми никто не занимался. Я был неприятно удивлен, когда нашел среди них два своих доклада, написанных еще до отпуска. Один из них посвящался проекту дипломатической академии, а другой - необходимости значительного расширения штатов внешнего ведомства в связи с военными обстоятельствами и потребностями послевоенного периода. Никаких пометок на обеих бумагах не было, а значит, я один во всем Госдепартаменте должен был их прочесть и решить, что с ними делать. Я положил оба доклада в соответствующие папки, но не мог удержаться от того, чтобы сделать пометки "по-моему, это хорошая идея".

В пятницу перед Днем труда{22} поступил приказ о назначении меня советником посольства в Португалии, что означало возвращение к моей нормальной работе. Кроме того, я получил конфиденциальное, негласное поручение разобраться с той путаницей, которую создали наши сотрудники разведывательных служб во взаимоотношениях с англичанами и друг с другом, когда вмешались в сложную систему шпионажа и контршпионажа, уже сложившуюся к тому времени в Лиссабоне военной поры.

На этой новой работе я провел около полутора лет, и одна из моих основных задач состояла в том, чтобы добиться от португальского правительства разрешения на использование американцами Азорских островов как базы при перелетах наших самолетов из Америки в Европу во время подготовки к вторжению в Норвегию. Американским послом в Лиссабоне в то время был Берт фиш, маленький, толстенький, лысый человек, редко покидавший свою резиденцию в португальской столице. Большую часть времени он проводил у себя в спальне, сидя в кресле и слушая по радио передачи Би-би-си и других англоязычных каналов. Каждое утро я приходил к нему с докладом и выслушивал его распоряжения. Я вскоре заметил, что, несмотря на внешнюю пассивность и замкнутый образ жизни, этот человек внимательно изучал и хорошо знал события и основных действующих лиц политических драм, которые разыгрывались в Лиссабоне. Все шло вроде неплохо, только меня беспокоил

недостаток политических контактов с португальским правительством с нашей стороны. Я знал, что за время со вступления Америки в войну не было никаких обсуждений политических проблем между нашим послом и. португальским премьер-министром. Такое положение представлялось мне не просто неправильным, но и небезопасным. В условиях начавшейся войны требовалось заново определить характер американо-португальских отношений. Португалия официально была нейтральной, но в переменчивой военной обстановке от нее могли потребоваться какие-то новые решения, а на этот случай всегда должна существовать обстановка известной откровенности и доверительности между нашими странами. В начале 1943 года я отправил в Вашингтон длинное послание, напоминавшее историю англо-португальского союза, где содержались аргументы в пользу выгод подобной же политики и для США. Таким образом я надеялся привлечь внимание Вашингтона к проблеме американо-португальских отношений в целом, но реакции не последовало. Я также пытался уговорить мистера Фиша встретиться с Салазаром, по собственной инициативе, без получения инструкций, чтобы прощупать возможности совпадения интересов наших стран. Но мистер Фиш побаивался Салазара, которого считал слишком хитрым, и уклонялся от подобной встречи.

В июне 1943 года я ненадолго уехал в Вашингтон, чтобы забрать в Португалию младшую дочку, учившуюся тогда в столичной школе. В мое отсутствие мистер Фиш внезапно заболел и скончался. В итоге я, по возвращении в Лиссабон, автоматически стал временным поверенным в делах США в Португалии, впервые взяв на себя полную ответственность за большую дипломатическую миссию, притом в военное время. От своего друга У. Баттерворта, генерального директора Американской торговой корпорации, который вел свои дела в Португалии, я узнал о сверхсекретных англо-португальских переговорах о возможности использования Азорских островов для создания английских военных аэродромов. Переговоры только что начали английские дипломаты, тайно прибывшие в столицу Португалии. Таким образом, был создан наиболее прямой и короткий путь для английской (да и американской) военной авиации в период подготовки вторжения в Европу.

Эти переговоры стали возможными благодаря уже существовавшему англо-португальскому союзу. Нечто подобное происходило во второй раз в этом столетии. Еще во время Первой мировой войны португальцы дали понять, что предпочитают оставаться нейтральными, но могут вступить в войну, если их об

этом попросят англичане, просто ради союзнического долга. Безопасность Португалии уже не одно столетие зависела от заинтересованности англичан в независимости этой страны, и португальцы относились к таким просьбам серьезно. Однако, прежде чем предоставить англичанам какие-то военные возможности, португальцы должны были провести с ними основательные переговоры по этому вопросу, чтобы предусмотреть и возможные отрицательные последствия.

Летом англичане в Лиссабоне любезно держали Баттерворта и меня в курсе своих негласных переговоров с португальцами. 17 августа они успешно завершились, и стороны пришли к соглашению, что с 8 октября англичане получат доступ на некоторые из Азорских островов для создания там военно-воздушных баз. Деликатность этого предприятия как необходимость в особой секретности была очевидной. Если бы немцы как-то узнали об этих переговорах, они в лучшем случае осыпали бы угрозами Португалию, которая официально оставалась нейтральной, а в худшем могли бы начать в какой-либо форме агрессию против нее, например нападать на португальские корабли в открытом море. Кроме того, отсутствие подходящих гаваней в регионе означало, что первые английские военные корабли должны будут разгружаться вне портов, превратившись тем самым в удобные мишени для немецких подлодок. Вот почему о соглашении публично объявили только через четыре дня после начала высадки англичан.

Мы с Баттервортом послали в Вашингтон ряд совершенно секретных донесений об этих событиях, адресовав их лично секретарю Госдепартамента. Мы ожидали какой-то реакции, хотя бы сообщения о том, что правительство США знает о прошедших переговорах.

Возможные изменения в американо-португальских отношениях в связи с войной прямо касались нас обоих. Но мы не получили никакого ответа, и мне оставалось лишь надеяться, что англичане все-таки вели свои переговоры и заключили соглашение после консультаций с американской стороной.

За три дня до 8 октября, когда должна была начаться высадка англичан на Азорах, я получил из Госдепартамента секретную телеграмму, где мне предписывалось заверить португальского премьера, что США намерены уважать суверенитет Португалии во всех ее владениях, но только если он этого потребует. Я положил телеграмму в сейф и стал ждать. Уже утром 8 октября пришла новая телеграмма, предписывающая дать такие заверения португальской стороне даже без ее требования. Я отправился в португальский МИД, чтобы попросить о встрече с доктором

Салазаром. Глава американского отдела принял меня настороженно. Он сказал, что доктора Салазара сейчас нет в столице и вернется он через несколько дней. (Салазар в это время находился на португальско-испанской границе, где встречался с генералом Франко, чтобы информировать его о последних событиях.) Начальник отдела спросил, не могу ли я сообщить, зачем мне необходимо встретиться с премьер-министром. Сообщить я не мог, а лишь намекнул. Несколько месяцев назад мистер Фиш и я, по случаю ввода американских войск в Северную Африку, заверяли президента Португалии генерала де Фрагосо Кармона, что эта акция никак не затронет интересов и безопасности страны и ее владений. Я объяснил португальцу, что нынешний повод для встречи с премьером имеет нечто общее с тем случаем, и эти объяснения удовлетворили его. Он сразу отправил телеграфное сообщение об этом, и через несколько часов я узнал, что Салазар вскоре вернется и встретится со мной 10 октября в 10 часов утра.

10 октября в 9.30 утра, готовясь к намеченной встрече, я получил в посольстве сверхсрочную депешу, которую только что расшифровали. Там без всяких объяснений говорилось, что ни при каких обстоятельствах не следует давать премьеру вышеуказанных заверений, до получения новых указаний. Я не знал, что и делать. Мне удалось добиться встречи с политическим руководителем Португалии, который специально прибыл в столицу, прервав важные дела. Оставалось всего несколько минут до нашего свидания, и что-то изменить было уже невозможно. В полном отчаянии я отправился в скромный дворец, служивший Салазару резиденцией. Мне оставалось только признаться премьеру в получении мной инструкций, смысл которых, к сожалению, несовместим с предполагавшимся первоначально предметом нашей встречи. Однако, чтобы спасти положение, мне пришлось также сказать, что до сих пор, насколько мне известно, никто из американских дипломатов не обсуждал с Салазаром наших двусторонних отношений в военное время. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы попытаться это сделать. Салазар был явно весьма удивлен таким заявлением, однако согласился меня выслушать. Я решился изложить ему свои соображения о наших общих интересах в атлантическом регионе, и вскоре началось незапланированное, но небесполезное обсуждение этой проблемы. К концу моего визита мой собеседник, как я заметил, воспринял наш разговор не без некоторого удовлетворения, хотя по-прежнему был озадачен моим визитом.

Вернувшись в посольство, я отправил в Вашингтон донесение о том, что я должен был сделать и почему.

В понедельник, 11 октября, ничего особенного не произошло. На следующий день высадка на Азорских островах первых английских подразделений завершилась, и это событие стало достоянием гласности. Португальцы оправдывались перед немцами наличием англо-португальского союза. Однако немцы, естественно, ответили резкой нотой, и в течение недели португальские власти в тревоге ожидали военных акций со стороны Германии на суше или на море.

В следующее воскресенье, 17 октября, я вновь просмотрел телеграммы, поступившие в посольство, и снова обнаружил срочное послание, на этот раз довольно длинное. Там, в частности, говорилось:

"Вам даются указания по поручению президента, которые следует выполнить 18 октября или в любой день после этого, при первой возможности, если за это время не будет предпринято никаких военных действий Германии против Португалии. Как вам известно (мне это вовсе не было известно), мы временно прекратили некие переговоры, чтобы не мешать другим переговорам, которые завершились англо-португальским договором от 17 августа. Наш переговорный процесс имел целью создать возможность использования части Азорских островов для нужд нашей армии и флота. Теперь вам надлежит добиться встречи с д-ром Салазаром, чтобы переговорить с ним о следующих проблемах"...

Далее следовал перечень просьб, далеко превосходящий то, что получили от португальцев англичане даже при наличии у них союзного договора: военно-морская база, база военно-морской авиации, авиабазы на трех островах, прокладка кабелей и сооружение систем связи, создание радарной установки, возможность принятия американских военных кораблей во всех азорских портах и т. д. Такие требования были тогда даже технически неисполнимы для администрации островов и могли оказаться разорительными для их слабой экономики. Я понимал, что Салазар совершенно не готов к чему-то подобному. Возможно, англичане предупреждали его о том, что нам тоже понадобится использовать часть Азорских островов в тех же целях, но они, насколько я знаю, никогда не говорили о требованиях, подобных изложенным. Португальский премьер даже и англичанам уступил не очень охотно и был бы рад, если бы возникший теперь кризис обошелся без серьезных последствий для его страны. Теперь перед ним могла бы встать проблема превращения всего Азорского архипелага в большую американскую военно-воздушную базу даже без тех оправданий, которые предоставляло Португалии существование англо-португальского союза. В этом

таилась слишком большая опасность. Едва ли далее можно было бы говорить об официальном нейтралитете Португалии, к тому же принятие таких предложений могло бы вызвать непредсказуемые последствия в соседней Испании. Нельзя исключать и то, что в итоге испанцы могли бы даже принять участие в войне на стороне Германии. В такой ситуации, особенно если мы отказывались заверить Салазара, что будем уважать суверенитет Португалии, он мог даже обратиться за помощью к англичанам, основываясь на том же союзном договоре, и попросить защитить страну от нас, американцев. Черчиллю, с его уважением к традициям и обязательствам, было бы трудно не прислушаться к подобным просьбам.

Я передал это послание английскому послу в Португалии Хуго Кемпбеллу, своему опытному коллеге, с которым мы часто успешно сотрудничали. Прочтя его, он побледнел. Нам обоим ясно было, что создалась угроза серьезного нарушения взаимопонимания между нашими странами.

И снова я не знал, что делать дальше. С указаниями президента не шутят, особенно если они касаются армейских вопросов в военное время. В то же время и выполнить это распоряжение, по моему убеждению, означало бы открыть ящик Пандоры. Я лег спать, так и не решив проблемы, а на следующее утро отослал телеграмму в Вашингтон, пытаясь объяснить, почему я счел необходимым отложить выполнение этих инструкций. Я просил разрешения немедленно вернуться в Вашингтон, чтобы лично изложить свою позицию президенту. Я писал, что не желал бы принимать на себя прямую ответственность за возможные последствия выполнения этих указаний. Два дня я со страхом ждал ответа. Наконец он пришел. Президент не видел оснований для моего возвращения в Вашингтон, и мне предлагалось изложить свои взгляды по телеграфу. Я так и сделал, сочинив длинное послание, в котором описывал вероятные нежелательные последствия нашей позиции в этом вопросе для американо-португальских отношений, а также указывал, что у нас нет предложений, чтобы компенсировать португальцам нарушение ими собственного нейтралитета. Изложил я и условия, на которых, с моей точки зрения, мы могли получить согласие португальцев на использование нами тех же возможностей, которые они уже предоставили англичанам.

Ответ из Вашингтона принес мне чувство радости и облегчения. Президент оставлял на мое усмотрение, каким образом проводить данные переговоры с португальской стороной и какие условия представлять Салазару, помня, однако, что с военной точки зрения результат переговоров для нас весьма

важен. Также было изложено и мнение Госдепартамента о том, что мы можем многое предложить, чтобы компенсировать уступки со стороны Португалии, "а в первую очередь - заверения в уважении суверенитета Португалии, в том числе над всей ее колониальной империей, от чего мы до сих пор воздерживались".

Последние слова меня насторожили. Значило ли это, что мы гарантируем уважение суверенитета Португалии только в том случае, если она пойдет на должные с нашей точки зрения уступки? Если так, то захочет ли Салазар вести с нами переговоры под таким давлением? Баттерворт, с которым я посоветовался, разделял мое беспокойство. Однако выбора у меня не оставалось, и я снова попросил об аудиенции с португальским премьер-министром. На этот раз, однако, реакция португальской стороны была иной. Меня принял генеральный секретарь МИД доктор Луис де Сампайо, напомнивший мне о том, что произошло во время первого свидания с Салазаром. Известно, что я тогда намеревался говорить с ним о гарантиях суверенитета Португалии, но воздержался от этого, следуя инструкциям своего правительства.

Португальская сторона желает знать, как обстоит дело с этими гарантиями сейчас. Вопрос стоял ясно - без заверений о гарантиях не будет встречи с Салазаром. Снова мое положение оказалось крайне трудным, но надо было что-то делать, и я решил рискнуть. Я ответил, что мы действительно собирались сделать такие заверения, но затем решили, что это может вызвать известное замешательство португальской стороны, поскольку как раз в это время португальское правительство публично подчеркивало, что оно отступило от политики строгого нейтралитета лишь из уважения к британскому союзнику. Если это не вызовет возражений португальской стороны, я готов отправиться в наше посольство и доставить оттуда заверения в нашем уважении португальского нейтралитета в письменной форме. Сампайо с видимым облегчением сказал, что хотел бы именно этого.

В посольство я вернулся в субботу вечером. Секретарь уже ушел, и я сам напечатал на машинке (нарушение полученных инструкций) уведомление, что "в связи с заключенным недавно англо-португальским соглашением США заявляют об уважении суверенитета Португалии над всеми ее колониями". И тут же отослал в Вашингтон телеграмму с подробными объяснениями, что я предпринял и почему. На следующий день, 24 октября, мне сообщили, что Салазар готов принять меня через три дня. Я стал готовиться к встрече, но она в тот раз не состоялась. Пришла новая телеграмма из Вашингтона, в которой мне просто, без

всяких объяснений, предлагалось вылететь ближайшим рейсом в США.

В дороге я пытался, как мог, подавить тревожные предчувствия и успокоиться. В конце концов, уговаривал я себя, никаких дурных намерений у меня не было. Кроме того, я - гражданское лицо, а значит, меня едва ли можно отдать под военный суд. Прилетев в Нью-Йорк, я сел на поезд, идущий в Вашингтон. Там я сразу позвонил главе европейского отдела доктору Гаррисону Мэтьюсу. Не дав мне никаких объяснений, он просто сказал, чтобы я явился к нему завтра в 8.15 утра.

Когда на следующее утро я выполнил его указание, он снова не стал мне ничего объяснять. Мы просто сели в машину и поехали в Пентагон. Там мы встретились с одним из заместителей госсекретаря, мистером Эдвардом Стеттиниусом. Он не имел дипломатического опыта в прошлом, и его знакомство с этим сложным делом едва ли могло быть полным. Через несколько минут нас, все троих, пригласили в большой кабинет, как оказалось принадлежавший военному министру, мистеру Стинсону, сидевшему за своим столом. В кабинете сидели еще несколько человек, почти все военные. Среди них я узнал военно-морского министра, мистера Нокса, и генерала Маршалла. Были здесь, по-моему, и все члены Объединенного комитета начальников штабов. Таким образом, там собралось почти все высшее военное руководство США. Меня, однако, никому не представили, даже военному министру, и я не мог ни к кому обратиться официально. Мы, трое штатских, сидели в ряд у стены, словно арестованные. Об этом дне у меня сохранились самые неприятные воспоминания. Меня не покидало чувство страха и растерянности - ведь я и понятия не имел, для чего меня сюда вызвали. За все время, пока тянулась история с этими переговорами об Азорах, Госдепартамент не ввел меня в курс дела, не рассказал об американских официальных планах и замыслах, связанных с этой затеей. Некоторое время военный министр знакомился с картами, консультируясь со своими помощниками. Затем последовала дискуссия между военными о проблемах установления связи, слишком специальная по своему характеру, чтобы я мог следить за ней. Наконец вспомнили и обо мне, обратившись с вопросом: отчего я нахожу неразумными наши требования, касающиеся Азорских островов? Я, полагая, что они знакомы с моим докладом на эту тему, ограничился кратким повторением основных аргументов (впоследствии я узнал, что они не были знакомы с докладом, но никто не сообщил мне об этом). Я заметил также, что считаю возможным для нашей страны добиваться разрешения пользоваться аэродромом, оборудованием

которого занимались в это время англичане. Меня спросили, где он находится, и я ответил, что он расположен на Ладженс-филд, на острове Терсейра. "Черт возьми! - воскликнул один из военных, по-моему, командующий ВВС генерал Арнольд. - Да ведь там же сущее болото, и ничего больше!" Это было сказано так категорично, что я даже не знал, как возразить, хотя у меня сложилось другое впечатление. (Регулярное использование этого аэродрома американскими транспортными самолетами началось недели через три.) Военный министр, с трудом пытавшийся следить за ходом обсуждения, спросил у Стеттиниуса, кто я такой. Тот пошептался с Мэтьюсом и ответил, что я - американский временный поверенный в делах Португалии. "Кто?" - переспросил министр. Ему объяснили, что наш посол скончался и я его временно заменяю. "Ну, - заметил военный министр, по-моему, уже пора назначить туда настоящего посла, который уделял бы должное внимание нашим важным проблемам. Вы позаботитесь об этом, мистер госсекретарь? Стеттиниус сказал Мэтьюсу, чтобы он взял этот вопрос на заметку, а потом, повернувшись ко мне, сказал: "Я думаю, вы пока свободны".

Оказавшись за пределами Пентагона, я взял такси и снова отправился в старое здание Госдепартамента. Пообедав в маленьком ресторане на 17-й улице, я пошел к мистеру Мэтьюсу, который к этому времени также вернулся из Пентагона, и заявил, что хочу дать дальнейший ход своему делу, спросив, к кому могу обратиться по этому вопросу. Он посоветовал одного из советников президента - адмирала Лихи. Последний принял меня, терпеливо выслушал и направил меня к Гарри Гопкинсу{23}.

Гопкинс не терял времени на любезности. Почти час он допрашивал меня, словно подозреваемого. Его вопросы звучали резко и скептически. Окончив допрос, он подумал с минуту и спросил, где я остановился. Получив ответ, Гопкинс велел мне возвращаться к себе и не отходить от телефона. Вскоре после того, как я вернулся, он позвонил мне и велел немедленно вернуться в Белый дом. На этот раз меня долго водили по коридорам, пока наконец, к своему изумлению, я не оказался в большом кабинете, лицом к лицу с президентом США.

Рузвельт приветливо указал мне на место напротив него за огромным столом. Гопкинс уже ввел президента в курс дела, и мне не пришлось повторять своей истории. Не задавая мне вопросов, Рузвельт стал излагать свои мысли. Он сказал, что не понимает, отчего у Салазара могли возникнуть подозрения, что американцы не вернут им в полном порядке любые используемые

территории и объекты на Азорах после окончания войны. Разве сам он, будучи одним из португальских адмиралов, не контролировал эвакуацию американских морских баз на двух из этих островов во время Первой мировой войны?

- Вот что я вам скажу, - объявил президент, - приходите сюда снова завтра утром, и я вам дам свое личное письмо, чтобы вы в Португалии вручили его Салазару. А потом продолжайте работать и делайте все, что в ваших силах.

Я ответил, что ни о чем лучшем и не мечтал, но что у меня сложилось впечатление, будто в Пентагоне держатся совсем другой точки зрения на этот вопрос.

- О, об этих людях вы не беспокойтесь, - ответил Рузвельт, закуривая сигарету.

Признаться, я был немного озадачен, но вполне доволен таким оборотом дела. Взяв у президента письмо в условленное время, я благополучно вернулся в Португалию. Там я сразу добился встречи с Салазаром. Даже письмо президента не смогло полностью развеять его подозрения. Салазар был (и, я полагаю, остается) человеком принципа и стремился к ясности в делах. Он начал с того, что в американской прессе его называют фашистом, и спросил, что мы понимаем под термином "фашист". Но мы вскоре вернулись к нашей основной теме, и я смог послать донесение, что Салазар не только готов разрешить нам использовать те же объекты, которые контролировали англичане на Азорских островах, но и склонен разрешить авиакомпании "Пан-Американ" построить там новый аэропорт, который мы сможем использовать на благоприятных условиях.

Начало делу было положено, и с тех пор намеченная нами программа развивалась успешно, хотя и не очень долго под моим руководством. Вскоре в Лиссабон прибыл новый посол, профессиональный дипломат Генри Норвеб (просьбу военного министра, таким образом, удовлетворили). Я с уважением относился к мистеру Норвебу и при других обстоятельствах охотно работал бы под его началом. Но весь проект, связанный с Азорскими островами, был в такой степени "моим детищем", что и он сам, и все мы понимали это. И для него лучше было продолжать эту работу в мое отсутствие. Мне ничего не оставалось, как передать ему дела и отправиться домой еще до завершения переговоров по Азорским островам.

Большая часть документов, относящихся к этому событию, опубликована в сборнике "Внешняя политика Соединенных Штатов в 1943 году, Вашингтон, 1964". Те, кто хорошо знает всю историю вопроса, подобно мне самому, найдут там об этом достаточно сведений. Но никто из читателей сборника не получит

представления о том, как видел эту проблему американский временный поверенный в делах Португалии, имя которого иногда появляется на страницах книги. Поэтому я и пересказал вышеприведенную историю.

Впоследствии я узнал (это также нельзя понять из документов), что мой срочный вызов в Вашингтон вовсе не был связан с проблемой гарантий Португалии. Просто кто-то в Пентагоне прочел мой первый доклад, в котором я просил о встрече с президентом, но не прочел второго, в котором я выдвигал свои возражения против наших требований. Я вовсе не уверен, что они видели ответ президента, разрешившего мне действовать под свою ответственность. Госдепартамент, который в то время находился на подхвате у Пентагона, вызвал меня, вместо того чтобы разобраться, в чем дело. Что до гарантий Португалии, то предложение воздержаться от их объявления исходило, видимо, от Джона Винанта, нашего посла в Лондоне, решившего таким образом оказать давление на Португалию. И снова в Госдепартаменте некритически приняли это предложение. В Вашингтоне никто и не подумал объяснить мне суть всей этой запутанной проблемы, чтобы я точно знал, как следует действовать.

Глава 7.

Европейская консультативная комиссия

После моей службы в Португалии я получил назначение в наше посольство в Лондоне. Там я стал советником посольства, помощником нашего посла Винанта и членом вновь созданной Европейской консультативной комиссии.

Решение о создании этой комиссии приняли на встрече министров иностранных дел Англии, России и Америки в Москве в октябре 1943 года по инициативе английской стороны. Англичане хотели сделать это для разрешения всех европейских проблем невоенного характера, представляющих общий интерес для союзников. Но такая концепция была слишком широка на американский вкус. Она противоречила стремлению Рузвельта иметь свободу действий в отношении послевоенного устройства Европы, что он считал важным как для внешней, так и для внутренней политики нашей страны. Президент предпочел бы, чтобы такой комиссии вовсе не существовало, но резонное желание Госдепартамента выработать какой-то общий подход союзников к проблемам капитуляции Германии и ее судьбе сразу после войны нельзя было игнорировать, и он неохотно согласился на создание этого консультативного органа. Однако госсекретарь Халл, идя навстречу пожеланиям Рузвельта (а может быть, и своим собственным), настоял на значительном сужении функций

комиссии, чтобы они практически не выходили за пределы вопросов об условиях капитуляции, оккупационных зон и механизмов проведения решений о капитуляции в жизнь. Даже и эта скромная деятельность комиссии встречала яростное сопротивление со стороны отдела гражданских дел военного министерства США.

Консультативная комиссия была учреждена в Лондоне в конце 1943-го начале 1944 годов. Американское правительство, вместо того чтобы назначить туда специального представителя, который бы только этой работой и занимался, поручила ее нашему послу в Лондоне, и так имевшему множество других обязанностей. Советское правительство также сделало своим делегатом посла СССР в Лондоне. Только англичане, назначив в комиссию сэра Уильяма Стрэнга, замминистра иностранных дел, и дав ему хороший штат помощников, обеспечили себе адекватное представительство. Англичане рассчитывали, что этот международный орган станет независимой консультативной группой экспертов, вырабатывающей рекомендации для соответствующих правительств. Но как советское, так и американское руководство сделали своих представителей настолько зависимыми, что они, в отличие от Стрэнга, не могли выполнять подобных функций. Американский представитель не мог выдвинуть перед своими коллегами никаких предложений, кроме тех, которые уже ему прислали из Вашингтона в качестве инструкций, что, естественно, весьма ограничивало его свободу действий, тем более что, по-моему, у людей в Вашингтоне не было новых идей, а их предложения не поспевали за развитием событий. Таким образом, комиссия фактически была не совещательным органом, а лишь местом, где регистрировались официальные позиции правительств, с которыми другие правительства могли согласиться или нет. Поэтому выяснилось, что наш посол Винант, собственного мнения которого никто не спрашивал, мог предложить коллегам по комиссии только уже одобренное нашим правительством и при этих обстоятельствах сам не очень нуждался в советнике.

Помощник секретаря Госдепартамента Джеймс Данн, при назначении меня на должность советника, сделал специальное предупреждение, что в военное время Госдепартамент играет лишь совещательную роль в делах политики, а потому мы должны давать советы, только когда нас об этом просят. Видимо, он имел в виду недавнюю историю с моим участием в переговорах об азор-ских базах. Я прибыл в Лондон на первое рабочее заседание комиссии 14 января 1944 года. В дальнейшем произошли события, напоминавшие то, что случилось в

Португалии, хотя и не столь драматичные. О них я расскажу в самых общих чертах.

Англичане первыми положили на стол переговоров проект акта о капитуляции Германии и о будущих зонах оккупации. Мы, американские делегаты, конечно, еще не имели инструкций по этому вопросу. Нам пришлось отправить английские предложения в Вашингтон для согласования. Прошло несколько недель, но реакции Вашингтона не последовало, несмотря на наши повторные запросы.

Наши британские коллеги уже начали проявлять нетерпение. 18 февраля советский делегат представил ответ своего правительства на английскую инициативу. Русские прислали свой альтернативный проект акта о капитуляции Германии, британский же проект документа об оккупационных зонах они приняли в целом. Мы все еще не получили инструкций и могли только сообщить в Вашингтон о реакции советской стороны на английские предложения. Однако ответ русских нас озадачил. Нас не проинформировали официально о том, что происходило на Тегеранской конференции, и мы предположили, что уже тогда английская и российская стороны предварительно договорились по вопросу об оккупационных зонах. Впоследствии я узнал, что это подозрение было необоснованным. Свои предложения правительство Великобритании подготовило уже несколько месяцев назад. Они были известны нашим военным властям уже во время поездки нашего президента в Каир в ноябре 1943 года и широко обсуждались президентом и членами Объединенного комитета начальников штабов, а затем они стали предметом обсуждения на совместном англо-американском заседании начальников штабов в Каире. Но обо всем этом никто в Белом доме не поставил нас в известность, хотя сейчас мы вели переговоры с английским и советским правительствами по этому вопросу. В начале марта из Вашингтона, наконец, пришли инструкции. Сначала мы получили проект акта о капитуляции Германии, вовсе не похожий на предыдущие два. Нам оставалось только предъявить его двум остальным делегациям. 8 марта поступили инструкции, касающиеся будущих зон оккупации, оформленные не как предложения на международных переговорах, а как указание подчиненным от Американского объединенного комитета начальников штабов (которому, судя по тексту, и принадлежал этот документ). Он не сопровождался никакими комментариями и никак не отражал предложений английской и русской сторон по этому вопросу. Граница русской зоны, согласно этому предписанию, должна была проходить дальше к востоку, чем она проходит в действительности, а

американская зона, насколько я помню, должна была включать 46 процентов территории и 51 процент населения Германии. Было бы весьма трудно в этом случае убедить русских, уже согласившихся с британским проектом, принять значительно менее выгодные для них условия. Но директива не содержала никаких аргументов, и было неясно, почему мы должны выдвигать в комиссии именно такие условия.

Я решительно возражал против представления этого странного документа на заседании комиссии в качестве официальной позиции США, так как просто не мог поверить, что это настоящие дипломатические инструкции для проведения важных международных переговоров. Подозрения мои усилились, когда один военный, сопровождавший Рузвельта в Каир, по секрету рассказал мне, что эта "инструкция" воспроизводит запись, сделанную президентом по дороге на клочке бумаги. Видимо, кто-то из военных чинов решил преподнести эту запись как наши официальные предложения. Мой коллега, военный советник посла, генерал Уикершем, человек, отличавшийся здравым смыслом, с которым мне в целом приятно было работать вместе, в этом случае не мог не выступить в защиту документа. "Эта бумага, - возражал он, - вышла из Комитета начальников штабов, и мы должны бороться за нее, мой дорогой". На это я ему отвечал, что трудно бороться за нечто бессмысленное и непонятное тебе самому. Мы с генералом Викершемом решили отправиться в Вашингтон, чтобы разобраться в этой запутанной проблеме. Я выполнил это намерение.

И снова в Госдепартаменте мне не оказали никакой помощи. Опять мне не оставалось ничего, кроме прямого обращения к президенту, чтобы объяснить, почему инструкции, исходящие от наших военных властей, в данном случае практически неприменимы.

Если говорить о моем собственном мнении, то я бы предпочел такое разграничение оккупационных зон, чтобы советская зона не слишком далеко простиралась на запад, а западные зоны хотя бы непосредственно примыкали к Берлину. Но моего мнения никто не спрашивал, и единственное, чего я мог бы добиться, - показать, что наша позиция на этих переговорах имеет хоть какой-то смысл.

Рузвельт и на этот раз принял меня любезно. Правда, он не сразу понял, в чем суть вопроса, так как мысли его были заняты разногласиями, возникшими у нас с англичанами из-за разграничения наших оккупационных зон. Когда я объяснил президенту, что в данном случае речь идет о границах советской зоны, он удивился. Когда же я показал ему инструкцию, которую

мы получили в Лондоне, он громко рассмеялся и сказал: "Да ведь это похоже на записку, которую я однажды набросал по дороге в Каир на обратной стороне конверта!" Мои подозрения оказались обоснованными. Я спросил Рузвельта, сам ли он займется устранением этой проблемы и что я могу еще сделать в связи с этим. Он ответил, что я могу отдохнуть, а он возьмет решение этого вопроса на себя. 1 мая посол Винант получил инструкции утвердить проект границ восточной зоны согласно русским и английским предложениям.

Так закончились мои обязанности советника мистера Винанта в Европейской консультативной комиссии. Я действительно нуждался в отдыхе, и Госдепартамент, которому, видимо, надоели мои инициативы, рад был предоставить мне продолжительный отпуск и заверил, что мне не стоит больше беспокоиться о делах Европейской комиссии, куда вместо меня назначат другого человека. Пять благословенных недель я провел на своем ранчо и не возвращался в Вашингтон до начала мая.

Работа Европейской консультативной комиссии касалась почти исключительно Германии. В этой стране прошли мои студенческие годы и почти пять лет профессионального обучения. Здесь я служил во время войны. Однако я что-то не помню, чтобы со мной консультировались по какой-либо проблеме, касавшейся будущего Германии, в период моей работы советником в комиссии.

Когда я в 1943 году вернулся в Вашингтон из Португалии, мой друг и коллега по службе в Берлине Генри Леверич, теперь занимавшийся проблемами будущего Германии в Госдепартаменте, однажды пригласил меня на заседание Комитета по Германии, где рассматривались такие вопросы. Он показал мне одну официальную бумагу на эту тему, касавшуюся планов использования немецкого персонала будущей военной администрацией.

Это побудило меня составить и вручить ему памятную записку, где я изложил свое видение некоторых основных вопросов, связанных с будущим Германии в первые послевоенные годы. Не думаю, чтобы ее видел кто-то из лиц, ответственных за нашу политику по отношению к Германии в этот период. После 1947 года взгляды, подобные изложенным мной в этом документе, стали основой американской политики в этой области. Но в первые два-три года эта политика в целом не соответствовала моим взглядам.

Я считал, что разумная политика в отношении Германии должна быть основой реальной политической линии в отношении Советского Союза. Поэтому наша германская политика первых

послевоенных лет доставляла мне больше поводов для отчаяния, чувства беспомощности и подчас даже ужаса (я имею в виду Нюрнбергский процесс над военными преступниками), чем мои разногласия с администрацией по поводу наших двусторонних взаимоотношений с Москвой. Поэтому будет уместным привести здесь некоторые выдержки из этой моей памятной записки, чтобы показать тот единственный вклад, который мне довелось внести в наше политическое мышление в этой области.

Я исходил из положений того официального доклада по кадровым вопросам, который мне дали прочесть. Я отметил при этом, что, "считая своим долгом обеспечить, чтобы среди немцев, занятых на административной работе, не было врагов демократических преобразований, мы могли бы исключить из немецкой административной машины всех лиц, принадлежавших к довольно большим категориям, общим числом до трех миллионов".

Я выдвинул свои возражения против такого подхода.

"1. Во-первых, это непрактично. Для этого требуется такой объем и уровень знаний, компетенции и сотрудничества, которого не достигнуть на основе работы трехсторонней администрации. Трудно представить более неблагодарную работу в области внешней политики, нежели анализировать послужные списки массы людей в чужой стране. При этом неизбежны ошибки и несправедливые решения. Потребуется также громоздкий и непопулярный следственный аппарат. Едва ли подобная программа по силам и нашим разведывательным службам. Кроме того, попытки провести его на трехсторонней основе приведут к разногласиям между самими союзниками относительно категорий лиц, подлежавших исключению со службы. И англичан, и русских в отношении к иностранцам прежде всего занимают не идеологические моменты, а непосредственная возможность использовать того или иного человека в своих целях. Мы не достигнем целей, предусмотренных программой. Люди будут изворачиваться и находить всякие лазейки, чтобы избегнуть проверок, будут уничтожать документы, менять имена и т. д., а также пытаться сыграть на противоречиях между союзниками. Все это будет вызывать недоразумения и путаницу, от которых выиграют прежде всего сами немцы.

2. Во-вторых, даже в случае успешного выполнения этой программы, она все равно не достигнет поставленной цели. Мы не найдем новых людей, достаточно компетентных, чтобы выполнять обязанности тех, кого мы исключим из службы. Нравится нам это или нет, но девять десятых способных людей на службе в Германии, так или иначе, подходят под те категории,

которые мы имеем в виду.

Выполнение такой задачи потребовало бы создания некоего альтернативного административного механизма, созданного на основе наших оккупационных сил, при участии тех либеральных немцев, которые были бы приняты всеми союзниками. Даже если подобная задача разрешима, она создала бы для нас сильную и озлобленную оппозицию, пользующуюся авторитетом среди населения. Это могло бы дискредитировать западные державы в Германии, создать ореол мучеников вокруг националистических элементов и в конце концов привести к их триумфальному возвращению в качестве освободителей Германии. Не следует забывать, что силы либерализма в Германии страшно слабы и малочисленны. Взвалить на них все бремя политической ответственности значило бы, вполне вероятно, обречь их на конечную гибель.

3. Наконец, следует заметить, что с нашей стороны очищение от националистических элементов было бы не только непрактично и неэффективно, но и не необходимо. Ведь, как я понимаю, нашей целью является предотвращение возникновения в Германии новой системы военной агрессии, которая могла бы угрожать в дальнейшем нашей безопасности. Но я не нахожу, чтобы для этого требовалось искусственное устранение какого-то класса немецкого населения с занимаемых им в обществе позиций. Более правильно было бы признать, что националистическая Германия - тоже Германия и что ее представителей не нужно лишать своей доли социальной ответственности. Нужно лишь заставить их строго придерживаться поставленных перед ними задач и учиться тому, чему мы хотим их научить. По отношению к нынешнему правящему классу Германии более правильно было бы не отстранять его от дела управления, которое превратится в тяжкое бремя, но продемонстрировать ему, что Германия уже не имеет силы, чтобы угрожать интересам других великих держав, и любая попытка в этом направлении окончится неудачей и приведет к катастрофе. Это прежде всего должна понять правящая националистическая каста. Как только это произойдет, у их национализма не будет почвы. Но это произойдет естественным путем, а не вследствие внешнего вмешательства иностранных государств.

Пусть последствия их поражения будут огромными. Пусть впечатление от катастрофы будет столь ярким, чтобы оно навсегда вошло в национальное самосознание немецкого народа. Но вслед за этим давайте откажемся от концепции наказания Германии, потому что продолжительное наказание не может быть

эффективно в отношении целого народа. Мы должны сделать так, чтобы впечатление от поражения стало незабываемым. Немцы должны сами правильно отреагировать на это".

Из этих аналитических положений видно, почему я в последний период войны не очень верил в наши планы относительно послевоенного будущего Германии, поскольку они были основаны на предполагаемом сотрудничестве с русскими. Я сам считал, что подобное сотрудничество не могло быть успешным, а вместе с тем ради этой химеры мы могли пренебречь созданием конструктивных планов для западных зон Германии, таким образом упустив лучший психологический момент, чтобы направить немецкую жизнь в новое, лучшее русло. Особенно я подчеркивал необходимость конструктивных мер по восстановлению экономики и гражданской морали. При этом я, возможно, переоценивал негативные последствия поражения Германии в войне и слишком отрицательно оценивал политический климат, в котором предстояло работать военной администрации союзников.

Вообще же наша политика в отношении Германии была совершенно неадекватной, и если бы мы не отошли от нее в 1947 году, то многие мои опасения воплотились бы в действительность. Особенно неприятны мне были те наши планы относительно послевоенной судьбы Германии, которые касались наказаний за военные преступления. В меморандуме, подготовленном мной для нашего посла Винанта в период работы в Лондоне (он не просил меня составлять этот документ, и я, кажется, даже не показывал его послу), были такие слова:

"Немногие из тех, кто у нас занимается внешней политикой, знают о немецких зверствах столько же, сколько и я, мало у кого из них есть такие же личные основания ими возмущаться. Я видел немецкую оккупацию в ряде стран (кроме стран Восточной Европы), и люди, которых я близко знал, пали жертвами самых отвратительных форм жестокости гестапо. Но с тех пор, как мы приняли русских в качестве союзников в борьбе против Германии, мы молчаливо приняли как факт (даже если мы сами не делаем этого) обычаи ведения войны, принятые повсюду в Восточной Европе и Азии в течение веков и которые еще, вероятно, надолго останутся таковыми в будущем.

Я подчеркиваю, это общие обычаи, не являющиеся свойством только немцев.

История, вынося суд о жестокости тех или иных участников этой борьбы, не будет делать различий между победителями и побежденными. Если мы хотим, чтобы наши суждения выдержали испытание историей, не следует об этом забывать. Если при всем

этом кто-то желает высветить все зверства, совершенные в этой войне, пусть так и поступает. Уровень относительной вины, который могут выявить подобные разыскания, есть нечто такое, о чем я, как американец, предпочитаю ничего не знать".

Таким образом, весной 1944 года после кратковременной службы в Лондоне я был разочарован нашей германской политикой и не верил в реальность сотрудничества с Россией в управлении Германией. Отчасти по этой, отчасти по другим причинам я также выступал против развертывания программы денацификации Германии. Я уверяю, что не питал симпатий к нацистским лидерам, но мне не хотелось вместе с русскими организовывать суд над этими лидерами. Впоследствии я понял, что несколько преувеличивал, но не совсем без оснований. Все эти тревоги, связанные с американской политикой в отношении Германии, определили мои настроения в период предстоящей двухлетней службы в Москве.

Когда после долгого отпуска я вернулся в Вашингтон весной 1944 года, Чип Болен, представитель Госдепартамента в Белом доме, решил устроить мое назначение в Москву на должность советника посла Гарримана, поскольку его прежнего советника в это время перевели на другую работу. Болен познакомил меня с Гарриманом, и было решено, что я займу эту должность. Назначение состоялось, хотя я знал, что мои взгляды на политику Советского Союза во многом не совпадают со взглядами администрации. В то время на эту должность смотрели как на чисто административную. Посольство наше делилось на две части-миссии: гражданскую, которую предстояло возглавить мне, и военную во главе с генералом Дином. Посол разделял взгляды президента, что в военное время по всем существенным вопросам следует советоваться прежде всего с военными, а потому мало внимания уделял гражданской миссии. Ему нужно было просто, чтобы кто-то руководил там всей рутинной работой в условиях военного времени. Сыграли свою роль мой предыдущий опыт работы и знание русского языка.

В начале июня 1944 года я вылетел из Вашингтона в Лиссабон, где находилась моя семья. Я сказал своим родным, чтобы они отправлялись в Москву вслед за мной, сам же отправился в Москву через Италию, Каир и Багдад. Во время этого путешествия я сделал огромное количество путевых заметок и ознакомлю читателя лишь с некоторыми из них. Прежде я не бывал в регионах южнее Лиссабона, который находится на той же широте, что и Вашингтон. Конечно, именно с этим связаны по преимуществу мои отрицательные впечатления от пребывания в таких жарких южных районах, как Каир или Багдад. Конечно, они

были поверхностными и не вполне верными, но они, так или иначе, повлияли на мои размышления о международных делах, в частности о том, что следующее поколение назовет "помощью развивающимся странам".

19 июня я покинул Казерту в Италии, где гостил в резиденции нашего главнокомандующего. Уже в Бенгази, по пути в Каир, началась страшная жара. Наш самолет летел над Киренаикой и Западной пустыней. Здесь уже почти ничто не напоминало о недавних сражениях. В Эль-Аламейне еще сохранились полузасыпанные песком траншеи и места, где находились батареи, но года через два и здесь не останется следов недавней войны.

Лишь поздно вечером самолет сел в аэропорту в 30 милях от Каира. В 10 часов вечера я, ни живой ни мертвый от жары, стоял в вестибюле гостиницы "Шеферд". Здесь для меня не нашлось номера. Служители не хотели разменивать мои долларовые и фунтовые чеки, и мне нечем было даже заплатить носильщикам. Связаться с нашей миссией никто не мог или не хотел. Это был один из самых неприятных моментов в моей жизни. Лишь под утро, после многих испытаний, я смог прилечь на диван в квартире американского секретаря ИМКА, любезно пригласившего меня к себе.

Вот некоторые из моих путевых заметок, связанных с дальнейшим путешествием.

"20 - 21 июня 1944 года

Оба эти дня слишком похожи друг на друга. Египет, точнее орошаемая земля вокруг дельты Нила, страдает от горячих ветров. Повсюду здесь чувствуется жаркое дыхание пустыни. Жара не щадит ни жителей глинобитных домиков на окраине Каира, ни иностранцев в бетонных особняках. Люди не выходят из домов, а автомобили стоят в подземных гаражах, чтобы они не стали раскаленными.

Вечером первого дня стало попрохладнее. Пожилые англичане выбрались из жилищ, чтобы поиграть в гольф. Арабы-кочевники, днем лежавшие на мостовой в тени стен, поднялись, чтобы заставить своих упрямых ослов стронуться с места и продолжить бесконечное путешествие. Колонна военных джипов проехала по дороге, обогнав караван верблюдов. В гостинице "Мена" двери на террасу открылись настежь. И бармен начал торговать на улице спиртным. В музыкальной комнате польская беженка заиграла Шопена на пианино.

К вечеру следующего дня страшная жара закончилась песчаной бурей. Пальмовые деревья в садике гнулись и скрипели под ударами ветра. Люди сидели, закрыв ставни, включив свет, и

слушали бесконечные завывания бури. К утру она постепенно улеглась. На рассвете, когда я стал собираться в аэропорт, свежий ветерок принес прохладу. Но беспощадное солнце уже всходило в безоблачном небе, и я знал, что вскоре на этой земле снова воцарится страшный зной.

23 - 25 июня 1944 года, Багдад

Весь день мы сидели запершись в здании посольства. Температура, кажется, не опускалась ниже 90 градусов{24}. В такое пекло могут отважиться путешествовать, как сказано в песне Ноэля Коварда, "только бешеные собаки да англичане". Ночью становится значительно прохладнее, и можно спать в относительном комфорте. Однако и в это время покидать территорию посольства небезопасно, потому что по ночам из пустыни сюда являются настоящие бешеные собаки и шакалы. Лишь рано утром мы можем ненадолго выбираться на свободу. Воду приходится пить весь день, но все равно жара выматывает нервы. Здоровье здесь можно сохранить только путем жесткой самодисциплины.

Но довольно о наших неприятностях. Что можно сказать о работе в Багдаде? Это страна, в которой людской эгоизм разрушил почти все естественные ресурсы, в которой растения могут жить только по берегам больших рек, а климат неблагоприятен для здоровья людей. Население здесь лишено гигиены, ослаблено болезнями, склонно к религиозному фанатизму. Женская половина населения содержится под своего рода домашним арестом и выключена из общественной жизни. В целом весь жизненный уклад определяется психологией пастухов-скотоводов и потому столь отличается от земледельческой и промышленной цивилизации. Сейчас здешние жители поддерживают немало контактов с Западом, и у их правящего класса появилась потребность во многом из того, что можно получить только на Западе. Эти люди не любят англичан и не доверяют им, они были бы не прочь использовать нас как противовес англичанам, которые стесняют их жизнь. Если бы мы дали нужное им, то на время получили бы их расположение. При этом мы бы в какой-то мере ослабили английское влияние и взяли бы на себя часть ответственности за действия местных политиков. Если бы они стали предпринимать что-то не отвечающее нашим интересам, а англичане не смогли бы их уже сдержать, то часть вины лежала бы на нас самих, и нам бы пришлось как-то исправлять положение.

Желаем ли мы брать на себя подобную ответственность? Я, как и все американские реалисты, знаю, что мы не желаем этого. Наше правительство технически неспособно проводить на

долговременной основе определенную политику в этих слишком отдаленных регионах. Наши действия в сфере иностранных дел обычно являются конвульсивными реакциями политиков на нашу внутреннюю политическую жизнь. Те из американцев, которые помнят, как наши предки некогда осваивали нашу страну, могут задаться вопросом, нельзя ли в здешних краях изменить климат, сделать его более благоприятным для земледелия и экономического развития. Но это лишь мечты, не имеющие отношения к реальности. Не мешает вспомнить проблемы с сохранением земли в нашей собственной стране и необходимость завершения многих социальных улучшений, чтобы оставить надежды на возможности, связанные с Ближним Востоком, и обратиться к проблемам, которые надо решать у себя на родине".

28 июня я добрался до Тегерана, чтобы завершить свое путешествие в Россию. Вот запись, касающаяся этого путешествия:

"7 июля 1944 года

Мы прибыли в русский аэропорт в 5 часов утра. Еще час мы ждали, пока нас встретит сопровождающий. Сначала на летное поле забежала лошадь в седле, но без седока. Когда служащим аэропорта удалось ее поймать, русский лейтенант, которого мы ждали, еще не появился. Наконец за ним послали машину, он прибыл в аэропорт и смущенно принес извинения за свою оплошность. Сначала мы долетели до Баку, а оттуда уже прямо в Сталинград.

В Сталинграде оказалось разрушенным все, кроме здания аэровокзала, отстроенного заново. Вокруг аэродрома повсюду видны были обломки уничтоженных самолетов и танков. Мы пообедали в столовой, где был всего один стакан и не хватало стульев. Но все окружающие, настроенные доброжелательно, готовы были помочь. К русским начинаешь относиться с симпатией, когда забываешь о пропаганде их правительства".

Глава 8.

Москва и Польша

Первые недели, проведенные в Москве, были для меня странным временем. Во многих отношениях у меня возникло впечатление, будто я пришел из потустороннего мира. Я словно свидетельствовал жизнь на земле, но не решался напоминать остальным о своей былой жизни и прежних воспоминаниях. Ни в нашем посольстве, ни во всем дипломатическом корпусе не осталось ни души из тех людей, которые работали здесь во время моей первой службы в Москве. В свои сорок лет я уже был здесь старшим членом дипломатического корпуса. Мои коллеги представляли новое поколение людей с новыми интересами; особенно это касалось самого нашего посольства. Воспоминания

же о первых годах существования посольства стерлись в связи с войной, со многими кадровыми переменами, а также - в связи со свежими воспоминаниями о недавнем переселении в Куйбышев, где нашли убежище иностранные миссии, когда немцы подошли к Москве.

Первые четыре недели мой предшественник еще продолжал выполнять свои обязанности, и мистер Гарриман любезно разрешил мне поселиться в резиденции посла. Тогда, в условиях военного времени, помимо свиты посла, там размещалось также большое количество младшего военного и гражданского персонала, а роль хозяйки здания любезно взяла на себя дочь посла Кэтлин.

За пределами нашего дипломатического оазиса начиналась огромная и во многом загадочная страна Россия, интересная для меня как ни для кого другого в мире. Я сам не мог участвовать в жизни этой страны. Несмотря на военный союз США и СССР, как я понял, американские дипломаты по-прежнему жили в изоляции.

С точки зрения тайной полиции мы, хотя и считались союзниками, оставались все же врагами, которых не следовало подпускать к советским гражданам, наверное, для того, чтобы мы не попытались выведать какие-то секреты советской службы безопасности, продолжавшей хранить их даже от нас, представителей союзной державы.

Но все это не мешало мне бродить по городу, гулять в парках, ходить в театры, а иногда выезжать на отдых за город. Там я был среди простых людей и старался утолить свою жажду новых впечатлений. Я пытался общаться с окружающими на равных, но при этом мне не следовало рассказывать людям, кто я такой, потому что это бы их смутило или испугало. Однако, соблюдая инкогнито, я мог вступать в контакты с окружающими: ведь они не знали, кто я, а потому их и нельзя было бы осудить за общение со мной. Для советских властей, особенно в сталинское время, мое естественное любопытство иностранца в отношении русской жизни расценивалось, я не сомневаюсь в этом, как замысловатая форма шпионажа. Я привожу краткий рассказ об одной воскресной загородной поездке, которую я совершил вскоре после приезда в Москву, чтобы дать читателю представление об атмосфере московской жизни военного времени.

"9 июля 1944 года

В то июльское утро погода в Москве была прекрасная. Я встал пораньше, желая осмотреть две церкви в Московской области, говорят, построенные еще во времена Ивана Грозного.

Выйдя из метро, я смешался с толпой людей, направлявшихся на Брянский вокзал{25}. Многие несли примитивные мотыги и

другие странные инструменты. У пригородных касс выросли очереди и началась сутолока. На платформе стоял пригородный поезд. Хотя локомотива еще не было, все места в вагонах уже заняли. Впрочем, не было уже свободных мест и в проходах, и в тамбурах. Люди стояли даже на ступеньках, и новоприбывшие вроде меня метались по перрону, надеясь найти хоть одно место, где можно было бы стоять. Наконец я нашел ступеньку, где, как мне казалось, мог поместиться только один человек. Однако вслед за мной на эту ступеньку вскочила девушка и, ухватившись руками за перила, закричала, обращаясь к какой-то подружке на перроне: "Соня! Я нашла место!"

Вскоре локомотив загудел и поезд тронулся. Вдоль дороги повсюду тянулись огороды, где в основном выращивали картофель. На полях работали женщины, обрабатывая землю большими мотыгами. В одном месте я увидел окопы и противотанковые "ежи". Вероятно, здесь русские защищали железную дорогу в 1941 году от наступавших немцев. Среди полей тут и там возвышались одинокие деревья, а на горизонте темнела громада сосновых лесов. Пассажиры в тамбуре разговаривали на разные темы. Кто-то прочел в утренней газете известие о новом постановлении по вопросам семьи, и женщины оживленно обсуждали идею поощрения многодетных семей. Какая-то крестьянская девушка рассказывала о страданиях ее односельчан во время немецкой оккупации и о гибели ее мужа и всех родных. Я старался устроиться поудобнее, чтобы лучше слышать разговоры, но при этом случайно толкнул пожилую женщину надо мной. Она повернулась ко мне и закричала: "Что это такое, товарищ? Что за грубость! Вы толкаете меня уже десятый раз! А с виду вроде культурный человек". На это я не нашелся что ответить и промолчал.

Наконец поезд прибыл на нужную мне станцию. Церковь, в которой шла воскресная служба и пел хор, была видна с вокзала, и я без труда нашел к ней дорогу. Церковное пение здесь, однако, не самое лучшее, но слаженное и приятное. Интересно, кто в этом пригородном районе с его разношерстным населением взял на себя труд учиться григорианскому песнопению.

Я присел на бугорок, чтобы сделать несколько зарисовок церкви. Так прошли час или два. Служба продолжалась долго и завершилась к тому времени, когда я закончил рисовать. Прихожане, в основном пожилые женщины, вышли из церкви и разошлись по домам. На паперти остались старая нищенка и две женщины с детьми. Потом появился священник, явно пребывавший в дурном настроении, обошел вокруг церкви, прогнал женщин и ушел, бормоча, что дела идут плохо и даже на

кусок хлеба заработать трудно. Я отправился на станцию, чтобы узнать расписание поездов и найти что-нибудь попить. В небольшой лавочке продавали минеральные воды и квас, но только в свою посуду, поэтому мне пришлось уйти ни с чем.

Ехать назад было еще рано, и я решил погулять. Около церкви стояло кирпичное здание в древнерусском стиле, окруженное кирпичной стеной с башнями, словно все это сооружение было выстроено как подражание Кремлю. У входной двери стоял одноногий солдат. Я спросил его, что это за здание. Женщина в белом платье с сеткой для продуктов в руке вмешалась в разговор. "Откуда ему знать? - сказала она. - Это старинный дом, его еще при Иване Грозном построили. Тут раньше какой-то боярин жил. Теперь мы живем. Хотите посмотреть?" Она проводила меня наверх, на второй этаж. В комнате за столом сидел мужчина, также хромой, которого моя спутница представила как своего мужа. Это, очевидно, был ветеран, который никак не мог привыкнуть к будням мирной жизни. Комнату перегораживал большой шкаф, позади которого, видимо, жил кто-то еще. Та часть комнаты, где мы находились, служила и гостиной, и столовой, и спальней, и вся, заставленнная разными вещами, напоминала складское помещение. Толстые кирпичные стены и форма окон свидетельствовали, что здание это действительно старинной постройки, хотя, может быть, и не такое древнее, как считали хозяева. Я спросил у женщины, как ей нравится жить в боярском доме, и она ответила, что здесь сыро и печка никуда не годится. Я пытался расспросить ее поподробнее об этом доме, но она сказала, что сама мало знает. Когда-то он, как и эта церковь, были частью боярского поместья, а неподалеку стоял большой барский дом, выстроенный позднее, в котором давно, "еще в мирное время", располагался музей. Но потом дом сгорел. Она спросила, не художник ли я, поскольку видела, как я рисовал церковь. Я ответил, что не художник, просто иногда люблю порисовать, показал им свои эскизы и распрощался.

Я пошел на север по тропинке через лес, вышел к речке и перешел на другую сторону. На маленьком картофельном поле работали две крепкие, широколицые женщины с сильными, загорелыми руками. Рядом на траве лежал мужчина и смотрел на них. Женщины работали с шутками и смехом, и было видно, что они получают удовольствие от солнечного летнего дня. Я спросил у них, как пройти к Минской дороге, и, получив ответ, отправился в дальнейший путь".

Вообще следует заметить, что стремление советских властей изолировать дипломатический корпус особенно угнетало меня в период после моего приезда в Москву в последние месяцы войны.

Это мало соответствовало и внешнему духу добрых союзнических отношений, и чувствам многих из нас. Мы искренне сочувствовали страданиям русских людей в военное время и ценили их героизм.

Мы желали им только добра. Поэтому особенно тяжело было видеть, что на нас смотрели как на носителей какой-то инфекции.

В моем дневнике сохранилась запись, касавшаяся моего разговора с одним из московских знакомых в конце июля 1944 года. Тогда я говорил с ним о различии в советской и американской идеологиях и выразил недовольство по поводу того, что в их стране существует диктатура. Мой знакомый сказал: "Да ведь нам нельзя без диктатуры. Если наших людей предоставить самим себе, то они станут неуправляемыми".

Я ответил, что не стану делать комментариев по поводу их системы. Она, с ее сильными и слабыми сторонами, сложилась исторически, и это их внутреннее дело. Однако, продолжал я, "по-моему, вам не следует все время держаться на расстоянии от ваших друзей. Вернувшись в вашу страну, я нашел, что здесь существует та же нелепая система изоляции иностранцев, которая была и десять лет назад. Мы - ваши союзники, а у меня сложилось впечатление, что вы каждого из нас считаете чуть ли не шпионом".

Мой собеседник ответил: "Мы должны учить наших людей бдительности в отношениях с иностранцами. Только так можно воспитать самоконтроль, который им необходим".

Я заметил на это: "Вы слишком боитесь шпионов, так нельзя. Судя по этим вашим опасениям, вас можно принять за какую-то слабую страну, существование которой зависит от возможности исключить иностранное влияние. Разве ваши победы не принесли вам уверенности? Если бы мы были вам враждебны, зачем мы стали бы вам из года в год предоставлять помощь стоимостью в миллиарды долларов? Неужели, предоставляя вам такую помощь, наше правительство вместе с тем предписывало бы дипломатам плести какие-то интриги против вас?"

Мой знакомый ответил: "Нам не следует забывать, что мы живем в капиталистическом окружении, и сегодняшний друг завтра может стать недругом".

Я заметил: "Хорошо, вы можете вести себя так, как будто весь мир является вашим врагом. Но вы должны быть готовы принять и результаты такой политики - ту отрицательную реакцию окружающих, которую она не может не породить".

"Мы не боимся этого, - отвечал он, - нас это устраивает. Мы добились сейчас многих успехов, а чем больше у нас успехов, тем меньше обращаем мы внимание на мнение о нас за границей,

имейте это в виду".

На этом наш разговор закончился.

Еще в одно воскресное утро летом того же года я, стоя на бульваре у резиденции посла, стал свидетелем неприятного для меня зрелища. По городу, от одного вокзала до другого, проводили колонну немецких пленных, всего около 50 тысяч человек. Стояла сильная жара. У пленных был изможденный вид, и я не сомневаюсь, что они страдали от голода. Верховые конвоиры, очевидно из советских пограничных войск, постоянно подгоняли этих людей, заставляя двигаться быстрее. Некоторые падали, и их оттаскивали на тротуар, чтобы потом подобрать.

По военным меркам это была не очень большая жестокость. Известно, что сами немцы поступали гораздо хуже с русскими военнопленными в первое лето войны, когда сотни тысяч из них погибли в лагерях от голода и холода, а остальные подверглись всяческим притеснениям. Да и по сравнению с дальнейшей судьбой самих этих немцев, с ожидаемым их тяжелым принудительным трудом, испытание, которому они подверглись на этом бульваре, выглядело не очень суровым. И все же меня поразило и опечалило это зрелище. Пленные были очень молоды, по возрасту, как мне показалось, не старше студентов колледжа. Каждый из них жил в семье, знал любовь и заботу родных и близких, а политические дела от них не зависели. Даже отвращение к нацизму не позволяет забыть обо всем этом. Ведь у них никто не спрашивал, начинать ли эту войну, и никто не требовал от них одобрения разных злоупотреблений, связанных с нацизмом. Они не сами также отправились на фронт. Будучи фронтовиками, они вряд ли активно участвовали в зверствах гестапо, СС и немецкой военной полиции в тылу. Так правильно ли, спрашивал я себя, наказывать всех этих людей за деяния их правительства, которое пришло к власти, когда они были детьми и никак не могли противостоять его политике? Разве можно признать оправданной жестокую месть в ответ на жестокость врага? Кого в этой ситуации можно считать правым?

Я отметил про себя, что в этом случае, и так было и будет всегда, я встал выше страстей войны, свидетелем которых был все эти годы. Повсюду - в Берлине, в Москве, Вашингтоне - у меня возбуждали негодование лицемерие, искажение фактов, мстительность, слабодушие. Но негодование мое возбуждали средства, а не цели, поставленные людьми. Цели их я считал странными, амбициозными, даже едва ли реальными, так что мне их трудно было принять всерьез. Как я заметил, одна из человеческих слабостей состоит в том, что людям надо верить в какие-то цели. Средства же, применяемые людьми, реальны. И как в военное время, так и в дни мира, меня больше всего

интересовало не то, к чему люди стремились, а то, как они этого добивались. Связан ли такой подход со слабостью характера или более достойными качествами (об этом, я знаю, не может быть единогласного мнения), но я никогда не был человеком, для которого цель - главное.

Несмотря на благие намерения, посол, как и я, не мог полностью оставаться в стороне от политических проблем. В первую очередь это польская проблема, которая в то время создавала известные затруднения в советско-американских отношениях. Кратко напомню суть этой сложной проблемы.

В период действия советско-германского договора о ненападении советская и немецкая стороны достигли договоренности о разделе польской территории. Естественно, советское правительство игнорировало польское правительство в изгнании, которое отказывалось признать законность этих договоренностей. В то же время советские власти провели депортацию нескольких сотен тысяч человек из захваченных Советами районов Польши из Западной Украины и Западной Белоруссии во внутренние районы России и в Сибирь. Эти люди в большинстве не совершали каких-то особенных преступлений против советских властей, но они принадлежали к тем категориям населения, которые могли создать какие-то осложнения для укрепления советского режима в этом регионе.

В дополнение к этому советские власти, говорят, интернировали около 200 тысяч польских военных, пытавшихся всего лишь оборонять свою страну в 1 939 году. Из их числа около 10 тысяч польских офицеров, включая резервистов, советские полицейские подразделения расстреляли весной 1940 года, хотя польская армия не предпринимала агрессии против СССР и едва ли оказывала серьезное сопротивление советскому захвату польской территории. Не было это связано и с индивидуальной виной тех или иных офицеров. Их просто уничтожили "как класс". Это преступление получило известность после того, как немецкие оккупационные власти наткнулись на эти захоронения зимой 1943 года. О депортациях, конечно, знали и раньше, но о судьбе польских военнопленных и о деятельности советских полицейских властей в период действия советско-германского договора о ненападении общественному мнению стран Запада стало известно только теперь.

Летом 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, сталинский режим уступил требованиям западных союзников, согласившись признать польское правительство в изгнании, амнистировать поляков, арестованных или интернированных в СССР, и создать на советской территории

армию из польских военнопленных и вообще из поляков под началом генерала Ан-дерса{26}.

Остается гадать, знал ли Сталин, идя на указанные уступки, о том, что сделала его полиция примерно с 10 тысячами офицеров. Ведь при формировании указанных польских военных частей, конечно, должен был встать вопрос о возможности их включения в состав этого войска. Все же в тот период делались значительные уступки западным союзникам, но потом эта тенденция прекратилась.

Даже в самое тяжелое военное время Сталин не пожелал возвратить Польше районов, занятых советским войсками в 1939 году{27}. Англичане же, в первую очередь представлявшие интересы польского правительства в изгнании, не стали последовательно проводить этих требований, видя в борьбе русских армий единственный шанс разгромить Гитлера.

К концу 1941 года, всего через несколько недель после этих уступок полякам, Сталин, видимо, стал сожалеть о них и постарался лишить их реального содержания. Начиная с того времени, в последующие 15 месяцев были приняты меры в этом направлении. Советское правительство отказалось признать польское гражданство тех депортированных, которые не могли доказать, что они поляки по происхождению, и, не спрашивая их согласия, просто признало советское гражданство за всеми, кто был квалифицирован как евреи, русские, белорусы и вообще неполяки. Это, конечно, значительно ограничило число людей, с которыми могло связаться в России правительство в изгнании. Но все же сформированные польские военные части по общему соглашению были удалены из Советского Союза. На советской территории разрешили создать (и даже поощряли его создание) Польский коммунистический комитет{28}, который вовсе не желал признавать авторитета правительства в изгнании. Попытки этого правительства связаться с соотечественниками и помочь депортированным постоянно натыкались на препятствия и постепенно потеряли практический смысл. В январе 1943 года советское правительство объявило всех поляков, оставшихся в СССР, советскими гражданами. В апреле того же года, когда нацисты объявили о найденных в Ка-тыни захоронениях, польское правительство в изгнании потребовало расследования этого дела Международным обществом Красного Креста, после чего советское правительство совершенно прекратило отношения с польским правительством в изгнании.

Незадолго до моего возвращения к службе в Москве в 1944 году я беседовал с советником польского посольства в Вашингтоне Яном Вжилаки обо всех этих проблемах, и мы

пришли к соглашению, что враждебность Сталина к правительству в изгнании связана с желанием советского правительства иметь в Польше не просто дружественное правительство, как полагали многие на Западе, но полностью коммунистическое под советским контролем. Еще будучи в Тегеране по пути в Россию, я записал в дневник некоторые из своих идей относительно польской проблемы. Понимая, что на советской территории мои записи могут стать объектом пристального внимания советской тайной полиции, я постарался придать им дипломатичную форму, но суть от этого не изменилась. Я предлагаю читателю ознакомиться с некоторыми из этих записей.

"Будучи в Ираке, я имел случай поразмышлять о русско-польском вопросе. Это и понятно, ведь как человек, склонный к аналитическому мышлению, я не мог не понимать, что этот вопрос не раз возникнет в период моего пребывания в Москве, мешая развитию советско-американских отношений. Факт есть факт: для миллионов людей в нашей стране эта проблема остается пробным камнем в смысле желания России проводить гуманную и достойную политику, направленную на сотрудничество в Европе. Если желание есть, значит, у России и США есть и перспективы для развития плодотворного сотрудничества. Если же нет - то англосаксонским странам остается только поделить Западную Европу на сферы влияния и установить с Россией нейтральные отношения. Я понимаю, что сложность ситуации определяется в первую очередь не территориальными проблемами, а вопросом о польском правительстве. Советское правительство само для себя осложнило ситуацию в этом вопросе. Разумные люди понимают, что в настоящее время политика советского правительства, имеющая огромное значение для будущего всей Европы, не должна быть поставлена под сомнение из-за ошибок в прошлом, сделанных какими-то группами или лицами внутри советского правительства. Думаю, что польское правительство сможет также понять это обстоятельство в настоящее время. Существующие в России требования полного прекращения деятельности польского правительства и ликвидации его документов могут служить интересам определенных групп внутри советского правительства, ответственных за ошибки в прошлом. Они не служат интересам советского правительства или советского народа в целом. Ведь если свести деятельность польского правительства на нет, то люди, в нем работавшие, составят ядро польской эмиграции, которая годами будет вести пропаганду о предполагаемых эксцессах русских властей в отношении поляков в период

действия русско-германского пакта о ненападении. Если же будет достигнуто разумное соглашение именно с этим правительством, что не обязательно связано с решением каких-то территориальных проблем, то данное польское правительство отнесется с пониманием к ошибкам, имевшим место в прошлом. При настоящем же курсе все будущее международных отношений России окажется под вопросом".

В конце июня 1944 года Советская армия вступила на территории, которые и советское правительство признавало польскими. Вместо того чтобы дать возможность правительству в изгнании создать там какую-то гражданскую администрацию, советское правительство утвердило на освобожденной территории в Люблине Польский коммунистический комитет, который теперь превратился в Польский комитет национального освобождения.

Правительство в изгнании не могло не тревожиться по поводу такого оборота событий. Теперь и правительства стран Запада не могли не уделять внимания этой проблеме. Когда глава лондонского польского правительства Станислав Миколайчик встречался с Рузвельтом, тот, как и Черчилль, уговаривал польского премьера встретиться со Сталиным. Последний неохотно согласился на эту встречу. 27 июля Миколайчик вылетел в Москву, и в тот же день советские газеты объявили о заключении договора между советским правительством и Польским комитетом национального освобождения, согласно которому этому комитету передавалось "полное управление всеми гражданскими делами" во всех освобожденных советскими войсками районах. Это означало, что Сталин не собирается предоставлять правительству в изгнании никаких полномочий на территориях, контролируемых Красной армией.

Накануне опубликования указанного договора посол сообщил мне о предстоящем визите Миколайчика и спросил, должны ли мы дать какую-либо телеграмму в Вашингтон по поводу ситуации, связанной с этим визитом. На следующее утро, прочтя в газетах об этом договоре с Люблинскими поляками, как стали называть Комитет национального освобождения, я кратко изложил свои взгляды на создавшееся положение и передал эту записку послу. Я дал следующее объяснение, почему едва ли возможно согласие между правительством в изгнании и люблинской группой:

"1. Русские достигли беспрецедентных успехов в военной области. Они уверены, что смогут без особых затруднений уладить дела в Восточной Европе, и вряд ли сделают значительные уступки полякам или нам.

2. Миколайчика пригласили в Москву лишь по настоянию англичан. В лучшем случае Сталин примет польского премьера при условии установления контакта с поляками, контролируемыми Москвой. Это означает, что Сталин не заинтересован в данном визите и ничего не ждет от него.

3. В Москве дали понять, что реорганизация Лондонского польского правительства - предварительное условие нормализации русско-польских отношений. Такой реорганизации не произошло.

4. Новый Польский комитет национального освобождения уже занял враждебную позицию в отношении правительства в изгнании, и по соображениям престижа эта позиция едва ли может быть изменена".

Я также отметил, что Миколайчик может рассчитывать не больше чем на пост в новом польском правительстве, которое будет состоять в основном из членов Комитета освобождения и просоветских поляков за границей, таких, как Оскар Ланге. Это возможно лишь при условии разрыва Миколайчика со многими нынешними товарищами по изгнанию, включая президента и Соснковского.

По вопросу о границах я заметил, что они будут, очевидно, определены в соответствии с политическими и стратегическими соображениями Москвы, при использовании этнической формулы, содержащейся в манифесте Польского комитета национального освобождения, а это предполагает значительную свободу толкований.

Я не ставил вопроса об эксцессах русских властей в период действия советско-германского пакта о ненападении. Союзники не хотели заниматься проблемой действий советского правительства в этот период. К тому же примерно в это время посол отправил кого-то из личных помощников вместе с группой иностранных журналистов в Катынь, так как их пригласили туда для осмотра захоронений советские власти, желая доказать, что офицеров убили немцы. Со мной по этому вопросу никто не советовался. Поэтому я, по крайней мере в официальной корреспонденции, последовал правилу молчания в делах, которые касались сомнительных вопросов.

Я считал дело Миколайчика проигранным, поэтому испытывал неловкость при контактах с его людьми в Москве. Я рассматривал их как обреченных представителей обреченного режима, но было бы слишком жестоко сказать им об этом; к тому же такие мои высказывания, если бы на них обратили внимание советские власти, могли бы вызвать у них сомнения в целесообразности моего пребывания в Москве. В начале августа я

изложил некоторые из своих наблюдений в связи с визитом Миколайчика:

"Накануне в английском посольстве устраивали ужин в честь польского премьера Миколайчика и сопровождающих его лиц. Премьер встречался с Молотовым, но не встречался со Сталиным. Сам Миколайчик был воодушевлен после этой встречи, но его окружение приуныло. Английский посол провозгласил тост за успех их миссии. Мы должны были внешне сохранять оптимизм и веру в такой успех, поскольку Миколайчик прибыл сюда при содействии нашего президента и английского премьера.

Мне же, однако, на этом вечере пришлось нелегко. Кроме поляков, я был здесь единственным человеком, достаточно компетентным в делах Восточной Европы. Я знал, что вполне возможно заключение русско-польского договора, который будет содержать заверения в уважении Россией независимости Польши и невмешательстве в ее внутренние дела. Я знал, что Красная армия в самый период оккупации будет достойно относиться к полякам. Но я знал также, что в силу обстоятельств нынешний договор превратится в узду для Польши, что русская концепция "терпимости" в конечном счете определяется их собственными представлениями об этом, что русские будут неизбежно опосредованно влиять на польские дела, если сами поляки не примут эффективных мер противодействия, которые в Москве не могут быть восприняты иначе, как враждебные. Кремль в соседях России видит либо вассалов, либо врагов, и те, кто не желает быть первым, должны смириться с тем, что они будут играть роль последних.

Зная все это, я удивлялся тому легкомыслию, с которым великие державы дают малым странам советы в делах, касающихся их жизненных интересов. К сожалению, я сейчас сам в этом участвую. Нам лучше было бы, вместо проявлений официального оптимизма, посочувствовать драме народа - нашего союзника, которого мы помогли спасти от наших врагов, но теперь не можем защитить от наших друзей".

Через два дня, на этот раз на обеде в нашем собственном посольстве, я принял участие в разговоре с Миколайчиком и сопровождавшими его поляками. Мои заметки говорят сами за себя:

"Один из поляков прямо спросил меня, что я думаю об их шансах. Я ответил, что русские, по-моему, стремятся к договору, но едва ли отступят от своих условий ради его достижения. Я сказал, что будет хорошо, если поляки в изгнании смогут вернуться на родину и работать там ради ее будущего. Вместе с тем я предупредил их, что я вообще склонен к пессимизму".

Прежде чем Миколайчик уехал из Москвы, началось трагическое Варшавское восстание. Оно более всего должно было продемонстрировать правительствам западных стран, чему следовало противостоять в политике Сталина, касающейся Польши. Мало того что Красная армия на другом берегу реки (Вислы) пассивно наблюдала, как немцы убивают героев восстания, также Сталин и Молотов не дали нашему послу Гарриману разрешения использовать американскую авиационную базу на Украине для облегчения снабжения осажденных поляков оружием и другими нужными вещами. Более того, было выдвинуто требование, чтобы мы совершенно отказались от подобных баз. Никто из нас в Москве не сомневался в истинной природе позиции советских руководителей. Это был прямой вызов западным державам, означавший, что советские руководители собираются изолировать Польшу от внешнего мира, а также что их ничуть не заботит судьба польских борцов, не принимающих коммунистической власти, которые, с советской точки зрения, ничуть не лучше немцев. Это значило, что советским лидерам нет никакого дела до мнения американцев о польской проблеме и что они не намерены и впредь считаться с их мнением{29}.

Я полагал, что именно тогда Запад должен был поставить советских руководителей перед выбором: либо изменить свою политику и согласиться на сотрудничество в обеспечении реальной независимости стран Восточной Европы, либо лишиться поддержки и помощи западных союзников до конца войны. Мы ничем уже не были обязаны советскому правительству, если вообще когда-нибудь были ему обязаны. Второй фронт уже открыли, союзники воевали на Европейском континенте, территория СССР была уже полностью освобождена. Отказ советской стороны от поддержки Варшавского восстания давал Западу полное право отказаться от всякой ответственности за исход советских военных операций.

Надо ли говорить, что я с крайним скептицизмом и горечью следил за дальнейшим развитием советско-американских отношений в аспекте польской проблемы в 1944 - 1945 годах. Положения Ялтинской декларации о том, что польский коммунистический режим будет преобразован "на широкой демократической основе... при проведении свободных выборов на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании", показались мне просто пропагандистским трюком, попыткой обмануть общественное мнение стран Запада. Подобным же образом я реагировал на долгие переговоры, которые вело руководство нашего посольства весной 1945 года с Молотовым и Вышинским о том, кого из некоммунистов-поляков

можно пригласить для подготовки создания коалиционного польского правительства. Я считал, что все это совершенно пустое дело.

Мое последнее столкновение с польской проблемой относилось ко времени после кончины Рузвельта, когда Гарри Гопкинс посетил Москву, чтобы попытаться продолжить политику президента в отношении России и Польши. После первой или второй встречи со Сталиным Гопкинс вызвал меня в резиденцию посла и поинтересовался моим мнением по этому вопросу.

Я очень удивился, так как не очень хорошо знал его, не был поставлен в известность о его переговорах со Сталиным и не ждал обращения Гопкинса ко мне. Он изложил мне условия решения польской проблемы, выдвинутые Сталиным, и спросил, можем ли мы сделать в этом направлении что-то еще. Я ответил, что так не думаю. Он спросил, следует ли нам достигнуть договоренности на основе этих предложений. Я сказал, что мы не должны разделять ответственности за предложения русских по Польше. Гопкинс ответил: "Я уважаю ваше мнение, но принять его не могу".

Был и еще один аспект польской проблемы, которым мне пришлось заниматься в те месяцы в Москве, - западные границы будущей Польши.

18 декабря 1944 года я прочитал в "Правде" статью Стефана Йедриховского, руководителя отдела пропаганды Люблинского комитета, писавшего, что будущая западная граница Польши должна была бы пройти от Штеттина по Одеру - Нейсе до северной границы Чехословакии. Из материалов "Правды" было очевидно, что советское правительство поддерживает эти заявления. Я тогда не знал, что по этому вопросу в значительной мере уже достигнута договоренность на Тегеранской конференции год назад. Поэтому я позволил себе сразу же довести до сведения посла некоторые свои мысли по этому вопросу. Я начал с того, что у поляков нет ни людских, ни технических ресурсов для освоения вновь приобретенных территорий на Западе. Поляки не смогут также защитить эти земли своими силами, а оттого их зависимость от Советского Союза усилится. Русские об этом хорошо знают. Они понимают, продолжал я, "что граница по Одеру неизбежно, повлечет за собой превращение любого польского режима в региональный, зависимый от СССР, а сама западная польская территория неизбежно превратится в зону советской экономической, политической и военной ответственности. То обстоятельство, что статья Йедриховского занимает в "Правде" столь видное место, свидетельствует, что русские определенно решили, что граница

зоны их прямой политической, экономической и военной ответственности должна пройти на западе по Одеру и нижней Нейсе, и они, пользуясь случаем, оповестили об этом мировую общественность... Это лишает реальности всякую идею о свободной и независимой Польше, значит, что в Центральной Европе появится граница, которую можно будет защищать только с помощью постоянного присутствия значительных вооруженных сил. Несмотря на необоснованно оптимистичный взгляд Черчилля относительно того, что около 6 миллионов человек найдут себе новое место жительства в Германии, эта перемена создаст серьезные социально-экономические проблемы, трудноразрешимые и оставляющие незначительные возможности для стабильности в этом регионе. Этот процесс может протекать только за наш счет и за счет англичан.

Мы не сможем предотвратить реализацию этого проекта... Но я думаю, было бы нереалистично с нашей стороны не дать настоящей оценки этому процессу и тому влиянию, которое он окажет на будущее Европы. Не вижу, почему мы должны делить с кем-то ответственность за те осложнения, которые он за собой повлечет".

Этот меморандум был написан за шесть недель до дискуссии по польскому вопросу на Ялтинской конференции. Я цитирую его здесь, поскольку он дает представление о нереалистичности подхода Рузвельта к проблемам Восточной Европы в последние месяцы войны. Уже год назад, во время Тегеранской конференции, следовало понять, что, расширяя территорию Польши на Запад на две сотни миль за счет Германии, союзники тем самым соглашались на создание польского государства, которое могло быть только советским протекторатом. Неестественную границу по Одеру - Нейсе могли защищать только вооруженные силы, превосходящие по мощи вооруженные силы, созданные самой Польшей. Поляки также не могли в деле обороны этих земель положиться и на западные державы. Все это уже было известно по опыту 1938-го и 1939 годов. Даже тогда западные державы показали свою недостаточную силу. Ввиду границы по Одеру Нейсе немцы могли бы заявить гораздо более резонные претензии к Польше, чем выдвигал Гитлер в 1939 году. Польша, получив значительную часть немецкой территории, должна будет, в интересах собственной обороны, обеспечить поддержку русских и принять значительную часть их условий. В этих обстоятельствах не имело особого смысла обсуждать со Сталиным и Молотовым состав будущего польского правительства, как если бы могла существовать подлинная независимость Польши.

Все документы по польскому вопросу, на которые я ссылался в предыдущей главе, были или полностью приватными (я их вообще никому не показывал), или являлись памятными записками для посла. Он их обычно не комментировал, и я не помню, представлялись ли какие-то из них в Вашингтон. Кроме случая с Гопкинсом, я не мог обсудить свои соображения с кем-то из руководящих лиц. Но если бы такая возможность и появилась, то мне, скорее всего, ответили бы, что ни Польша, ни другие страны Восточной Европы не окажутся под протекторатом России, так как сейчас разработан план создания международной организации, которая защищала бы мир между народами и обеспечивала стабильность послевоенных границ.

Конечно, я знал о планах создания ООН, из чего Госдепартамент не делал секрета. Думаю, что с помощью такого рода планов послевоенного порядка наш госсекретарь компенсировал невозможность реально влиять на политику в военное время и стремился придать некую значительность своим действиям. Когда я вернулся в Россию, наше правительство, как и английское, стремилось склонить русских вступить в переговоры о создании этой международной организации. На мой взгляд, такая политика была лишена истинной мудрости и даже, по-моему, достойна сожаления, поскольку усиливала впечатление, будто это нам нужны были сотрудничество и дружба советской стороны, будто мы почему-то не можем решать послевоенные проблемы без демонстрации нашему общественному мнению сотрудничества Большой тройки (Сталина, Рузвельта и Черчилля). Это могло только усилить позиции русских на переговорах и повысить уровень их требований. Но мои размышления не имели в ту пору особой ценности в глазах моих руководителей в Вашингтоне.

Глава 9.

Москва и победа в Европе

Русские наконец согласились принять участие в указанных переговорах, и с 21 августа по 22 сентября 1944 года прошла первая фаза конференции в Дамбартон-Окс по вопросу создания международной организации. Помимо вопроса о роли России и сама идея создания подобной организации не казалась мне особенно плодотворной. 4 сентября 1944 года я кратко записал свои размышления по поводу сообщений в прессе о дискуссиях на этой конференции:

"Общая концепция организации международной безопасности исходит из положения о том, что при сохранении статус-кво удастся избежать войн в Европе и решать европейские проблемы в интересах нашей страны. Вместе с тем опыт Священного союза,

Лиги Наций и других подобных организаций, основанный странами, желавшими сохранения существующего статуса, свидетельствует о том, что подобные организации служат своей цели, пока их существование поддерживается интересами великих держав. Если они не соответствуют меняющимся интересам той или другой великой державы, в таком случае эти структуры не могут помешать этим державам изменить сложившуюся ситуацию. Международная политическая жизнь представляет собой некую меняющуюся реальность, и к ее эффективной долговременной регуляции способны только такие системы, которые являются по природе своей достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся интересам вовлеченных в них стран.

Международная организация по защите мира и безопасности сама по себе не заменит реалистичной внешней политики. Чем больше мы игнорируем реальную политику, стремясь создать некую систему, узаконивающую статус-кво, тем больше вероятность, что система распадется под давлением конкретных реальностей международной политики. Наши предложения, которые должны, по сути, предотвратить господство великих держав над малыми странами, отражают наивное и несовременное мышление. Мы игнорируем концепцию марионеточных государств, столь характерную для политического мышления Азии, России, а также отчасти для Восточной и Центральной Европы. Эта концепция может воспрепятствовать действию наших правовых формул, нацеленных на регуляцию международной жизни. Концепция введения закона в международную жизнь сама по себе заслуживает всемерной поддержки нашей страны, но она не может вытеснить силы, как реального фактора, действующего в значительной части мира. Эта реальность не может не влиять на создаваемые нами ради регулирования международной жизни организационные структуры. Международная безопасность будет зависеть от этих реалий, которые не могут не сказаться на работе подобных организационных структур. Мы проявим недопустимое пренебрежение правильно понятыми интересами нашего народа, если, занимаясь планированием создания международной организации, не будем серьезно рассматривать силовые факторы, определяющие взаимоотношения европейских государств".

Нельзя сказать, чтобы в 1944 году я был совершенно против создания новой всемирной организации. В ней не было особой необходимости, но при реалистичной политике, при понимании ограниченности ее возможностей она не принесла бы вреда. Меня прежде всего волновало, можно ли создать такую организацию,

которая смягчила бы последствия подчинения советскому влиянию Восточной и отчасти Центральной Европы, смогла бы скорректировать дисбаланс, сложившийся в Европе по окончании войны. Вильсон ожидал чего-то подобного от Лиги Наций, но был разочарован. На это возражали, что США не участвовали в Лиге Наций. Но даже американское участие не могло компенсировать слабости, свойственной подобным организациям, особенно когда американцы считали, что вся эта концепция будет основываться на дружественном и тесном послевоенном сотрудничестве великих держав. Между тем очевидно, что Сталин не ценил мир сам по себе. Если мир больше соответствовал его интересам, нежели война, то он ему был и нужен. Но яростная политическая борьба при этом продолжалась, и если бы его целям лучше служило насилие, а не мир, особенно насилие между другими странами, от которого Россия бы осталась в стороне, тогда существование международной организации не помешало бы ему вести поджигательскую политику как таковую. Международная организация интересовала Сталина как возможный инструмент сохранения гегемонии США, Англии и СССР, которая основывалась бы на политической гармонии между этими державами. Но эта гармония, в свою очередь, должна была бы основываться на признании двумя другими державами советских сфер влияния в Восточной и Центральной Европе. Поэтому неудивительно, что советские участники переговоров в Дамбартон-Окс получили инструкции возражать против американского предложения, чтобы тот или иной постоянный член Совета Безопасности не мог голосовать по спорным вопросам, в которых он сам был одной из сторон. Они указывали, что при политической солидарности великих держав в этом не будет никакой необходимости.

По одному-двум важным пунктам, включая этот, достичь договоренности в Дамбартон-Окс не удалось. В Госдепартаменте опасались, что весь проект международной организации подвергнется внутренней критике в США, если великие державы получат право голоса и право "вето" в подобных случаях. Президент направил телеграмму Сталину с просьбой уступить в этом вопросе, но 15 декабря пришел отрицательный ответ. Сталин заявил, что допустить это значило бы свести на нет договоренность, достигнутую на Тегеранской конференции о том, что планы послевоенного периода должны основываться на принципе единства союзников. Кроме того, и малым странам в их собственных интересах следует тщательно взвешивать возможные последствия, к которым могут привести нарушения согласия крупных держав.

Этот ответ вызвал беспокойство в Вашингтоне и дискуссию, следует ли продолжать настаивать на этом пункте. Посол Гарриман вместе с сотрудниками нашего посольства также обсуждали эту тупиковую ситуацию. Не помню, к чему свелась дискуссия, но, мне кажется, из Вашингтона поступило предложение просить Сталина войти в наше положение и помочь разрешить наши внутриполитические трудности, связанные с этой ситуацией.

Что касается меня, то я всегда был против того, чтобы наши государственные деятели выдвигали в качестве аргумента в дискуссии с другими правительствами наши внутренние проблемы. На следующее утро я составил для посла памятную записку, из которой привожу отдельные положения:

"Мы должны ясно и глубоко понимать создавшееся положение. Советское правительство рассматривает пограничные страны в категории сферы своих интересов. Оно хочет, чтобы мы поддержали его возможные акции в этих регионах, независимо от того, оцениваем мы эти акции позитивно или негативно. Я уверен, что при сохранении этой позиции оно само воздержится от моральных оценок каких-либо действий, которые мы можем предпринять, например в Карибском регионе. Наш народ не имеет в виду вышеуказанной особенности советского мышления и надеется, что советское правительство готово вступить в международную организацию по безопасности для предотвращения агрессии. Перспектива разочарования в этом отношении может повлечь за собой опасность появления у нас в стране резкой критики действий Москвы, что, возможно, окажет отрицательное влияние на наши взаимоотношения с Россией. Наша задача состоит в том, чтобы смягчить адаптацию к подобному положению дел, поскольку оно может сложиться в перспективе. Нам прежде всего необходимо сохранять хладнокровие и ясность мышления. Мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы русские почувствовали, что их позиция может иметь политический резонанс в нашей стране, и таким образом, чтобы мы оказались в положении просителей, уговаривающих их предпринять те или иные действия, которые бы благоприятно повлияли на нашу внутриполитическую ситуацию. Русские в этом случае могут слегка пересмотреть свою позицию по вопросу голосования в Совете или выдвинуть какие-то предложения, успокаивающие наше общественное мнение, но они потребуют за это значительных уступок. При этом они едва ли пойдут на принципиальное изменение своей позиции. Мы должны не выступать в качестве просителей, а сделать русским дружественное предупреждение в том смысле, что нам было бы

жаль, если бы пришлось разъяснить нашей общественности, что только Россия из всех великих держав не желает подчинить свои будущие действия воле международного сообщества. Это лишит наш народ иллюзий относительно возможности действительно эффективного международного сотрудничества и ненужных надежд на наши будущие взаимоотношения. Россию надо поставить перед выбором. Если американское общественное мнение неблагоприятно для нее, то при предлагаемом подходе ответственность за это несет только она сама".

Противоречия, возникшие во время конференции в Дамбартон-Окс, как известно, разрешились на Крымской конференции в Ялте с помощью проведения различий между процедурными и политическими вопросами. Но лично мне это, как и другие свидетельства успехов в подготовке новой международной организации, не принесло удовлетворения. В личностном и интеллектуальном плане мне был чужд духовный мир мистера Халла и его коллег по Госдепартаменту. Со скептицизмом и горечью я читал об успехах дискуссий в Ялте по этому и другим вопросам. Я считал, что это - недостаточно глубокое разрешение существующих проблем, и, следует признаться, надеялся, что все это закончится неудачей. Я уверяю, что не был противником международного сотрудничества и создания всемирных организаций как таковых, но я понимал, что из любых договоренностей с русскими, принятых на основе неадекватного, с моей точки зрения, понимания сути дела, не может выйти ничего хорошего.

Перед моим возвращением в Россию в 1944 году я проанализировал мою собственную позицию в отношении нашей политики в России. Для меня, как для человека, склонного к аналитическому мышлению, было очевидно, что она строится на отсутствии глубокого понимания сути дела. Вместе с тем я не был в России несколько лет и, самое главное, не был там во время войны. Возможно, там произошли значительные перемены. Тяжелый опыт войны и сотрудничество с западными союзниками в общем военном деле принесли советским лидерам понимание нереальности марксистской доктрины о социальных антагонизмах и того обстоятельства, что возможно сотрудничество и доверие между странами, которые называют себя коммунистическими, и странами, которые себя так не называют. Видимо, они поняли: различия в социальных системах не во всем определяют взаимоотношения между суверенными государствами.

Сам я не очень надеялся, что нечто подобное имело место. Однако мои коллеги, занимавшиеся в то время российскими

делами, придерживались гораздо более оптимистических взглядов на эту проблему. За время пребывания в Москве я понял, что изменений, которых я ожидал, там не произошло. Мне вскоре стало ясно, что наши планы дальнейшего сотрудничества с Россией в послевоенный период основаны на непонимании идеологических и политических особенностей, свойственных советскому руководству. Лично я понимал проблему, но в мои обязанности не входило делать какие-то разъяснения по этому вопросу, тем более что, уже принимая свой пост, я понял: он не связан с политической ответственностью. К тому же опыт моей работы научил меня тому, что в Вашингтоне никогда не проявляли должного интереса к моим оценкам, заключениям и выводам. Но в такой ситуации я не мог и безмолвствовать. В результате в. сентябре 1944 года я сочинил очерк на 30 страницах, озаглавленный "Россия семь лет спустя". Этот текст опубликован в полном виде в приложении к этой книге. В нем нашли отражения идеи, выраженные позднее в моей статье "X". В этом очерке я решил предоставить американским политикам свои обширные знания, касающиеся России вообще и сталинской России в особенности. В нем я дал анализ эволюции советской внешней политики, современному положению советского правительства, а также сделал ряд предсказаний в смысле будущего развития политических тенденций в послевоенный период

Очерк начинался с анализа влияния войны на взаимоотношения между советским режимом и народами СССР. Далее говорилось о демографических последствиях войны, а затем о расширении сферы интересов России в Восточной Европе, о соотношении сил между Россией и Западом. Я отмечал, что нельзя утверждать, будто вскоре утвердится господство России на континенте, однако происшедшие перемены означают значительное изменение соотношения сил в пользу России.

Говоря о перспективе российской экономической жизни в послевоенный период, я замечал, что советский режим будет распределять средства между тремя основными сферами - военными расходами, увеличением фиксированного капитала и улучшением уровня жизни народа, при этом исходя из главной цели "увеличения мощи и престижа Российского государства в мире в целом".

Советские лидеры будут, писал я, добиваться своих целей путем форсированного развития тяжелой промышленности. Что касается внешней торговли, то советское правительство не будет зависеть от нее и, во всяком случае, не будет склонно ради нее отказываться от того, что считает жизненно важным для

безопасности и прогресса России. Получая кредиты от иностранных правительств, русские будут считать, что правительства, выделявшие кредиты, действовали прежде всего в собственных интересах, а потому не должны вызывать в России чувства благодарности и энтузиазма.

Однако центральная часть моего аналитического очерка - вопросы внешней политики. Указав, что заботы о безопасности всегда доминировали в психологии советских официальных властей, я отметил также, что они надеялись решить проблему безопасности собственного режима с помощью распространения революционных движений в других странах, и напомнил, что после прихода Гитлера к власти Сталин стремился столкнуть между собой Германию и другие западные державы с целью обезопасить Россию от нападения немцев или, по крайней мере, ослабить мощь подобного нападения.

После того как в конце 1930-х годов выяснилось, что западные державы не собираются противостоять восточной экспансии Гитлера, Сталин смог разработать программу территориальной и политической экспансии, основанной во многом на опыте царизма, которая должна была бы обеспечить России защитную зону против нападения с Запада. Эта программа, указывал я, вдохновила заключение пакта о ненападении с Гитлером. Она же лежит в основе советских планов на первый послевоенный период. Если этого можно достичь путем сотрудничества с западными державами, тем лучше; если же нет, тогда для этой цели могут быть использованы другие средства.

Я также отметил, что, судя по успехам военных операций, Кремль располагает средствами для достижения своих целей, нравится это Западу или нет. Советские войска оккупируют почти все восточноевропейские регионы, когда война закончится.

В данных обстоятельствах, указывал я, не так уж важно, будут ли советские руководители насаждать коммунизм в странах, занятых советскими войсками. Для них важно получить власть как таковую, а форма этой власти может быть определена практическими соображениями. Для малых восточноевропейских стран, отмечал я в связи с этим, главной является не проблема коммунизма или капитализма сама по себе, а проблема выбора между реальной независимостью или прямой, или косвенной зависимостью от России.

Касаясь личности Сталина и его окружения, я выдвинул положение о том, что никто из этих людей не отождествляет свою политику и сотрудничество со странами Запада. Это те же люди, в свое время заключившие пакт о ненападении с Германией. Они

были тогда враждебны США и Англии, и трудно поверить, чтобы их взгляды претерпели радикальные изменения. Для них международная жизнь имеет значение лишь постольку, поскольку она связана с безопасностью России или с ее внутренними проблемами.

Они едва ли имеют реальные представления о самой природе международной жизни и международных отношений. Поскольку принятие решений в Кремле окружено глубокой секретностью, лидеры Запада не могут узнать заранее о неблагоприятных в их отношении акциях, предпринятых какими-либо советниками Сталина, которые могут убедить его принять недружественное решение, исказив информацию о международных делах. Политики западных стран, подчеркивал я, даже не будут готовы выдвинуть какие-то возражения в подобном случае.

Я завершил это исследование некоторыми философскими соображениями по поводу того, как трудно для американцев по-настоящему постичь реалии русской жизни и особенности русского мышления. Эта задача не менее трудна, чем восхождение на горную вершину, она требует больших усилий, и осуществить ее способны немногие.

Свой очерк "Россия семь лет спустя" я передал на рассмотрение нашему послу, так как ему принадлежала прерогатива решать, следует ли посылать подобного рода материалы в Вашингтон. Я и по сей день не знаю, прочел ли он его полностью или частично или не прочел вообще. В Вашингтон он его действительно отправил, поскольку в дальнейшем отрывок из этого моего исследования воспроизводился в одном из томов нашей дипломатической переписки, изданной Госдепартаментом. Помню, как меня тогда разочаровало отсутствие реакции со стороны посла на мой очерк. Я понимаю, что он мог воздержаться от комментариев на этот документ из-за его политического содержания. Вместе с тем мне интересно было бы узнать его мнение о том, как написан этот очерк. Когда я закончил работу, у меня сложилось впечатление, что я достиг технических и стилистических успехов в странном искусстве сочинительства для самого себя. Но меня интересовал и взгляд со стороны.

Здесь, пожалуй, было бы уместно сказать пару слов о нашем после в Москве Аверелле Гарримане, человеке, безусловно заслуживавшем внимания. Я был его ближайшим помощником в гражданских делах, и за два года совместной работы, по крайней мере в профессиональном аспекте, имел больше возможностей изучить его, чем кто-либо другой.

В то время, я думаю, он не придавал особенно большого значения деятельности дипломатов как таковой, следуя в этом

отношении примеру Рузвельта и Гопкинса. В военное время, с его точки зрения, гораздо большее значение имели военные кадры, и он, по крайней мере на первом этапе, советовался прежде всего именно с военными. За это посла трудно осудить, тем более что его военным советником являлся генерал Дин, человек скромный, умный и честный.

Но в остальном Гарриман смотрел на дипломатические дела в военное время почти как на роскошь и не интересовался социально-представительными функциями дипломатической службы. Для него важно было поставить усилия дипломатии на службу военным интересам Америки. Это был человек, преданный своему делу, весьма трудолюбивый и энергичный, способный работать по 18 часов в сутки. Личной жизни для него как будто не существовало. Он хотел знать все обо всем и требовал от меня в области моей работы не менее энциклопедических познаний, чем те, которыми обладал он сам. Гарриман не признавал обычного рутинного хода дипломатической работы, отдав распоряжение по какому-то вопросу, требовал его срочного исполнения. Я не раз думал о том, сколько хлопот, должно быть, я доставлял этому человеку, поскольку был постоянно занят разного рода философскими размышлениями и интересами, прямо не связанными с работой, а также любил перепоручать свои обязанности другим и приставал к послу с разными делами, которыми, как он считал, должен заниматься вовсе не я, а президент. Неудивительно, что он часто указывал мне на свое нежелание заниматься предложениями, о которых он не просил. Десятки раз, выходя от посла, я спрашивал себя: "Чем же мне все-таки нравится этот человек?"

Проблема состояла еще и в том, что, в отличие от меня, Гарриман был скорее не аналитиком, а деятелем. Он не проявлял особого интереса к аналитическим материалам и донесениям. Привыкший к большим делам, посол предпочитал общаться с вершителями людских судеб. Кажется, он считал (и не без некоторых оснований для страны, где власть была так персонифицирована), что в СССР он может узнать больше полезных вещей из беседы со Сталиным, чем мы все, изучая на протяжении месяцев советские публикации. Он сосредоточился на том, что и составляет главную функцию дипломатии - служить каналом хорошо отлаженной, четкой и гибкой связи между своим правительством и правительством другой страны. И с этими обязанностями он, надо сказать, справлялся прекрасно. Гарриман - выдающаяся фигура на московской дипломатической арене. Он никогда не пытался заслужить нашего расположения, но, как ни странно, ему это удавалось (по крайней мере, в

отношении тех из нас, кто общался с ним постоянно). Он пользовался нашим уважением. И то же можно сказать обо всех, кто его знал. Как-то раз я спросил одну русскую знакомую, что думают о Гарримане ее соотечественники. Она ответила: "Они смотрят на него и думают: "Вот это мужчина!"

Можно утверждать, что она высказала и наше мнение.

Во всяком случае, я благодарен этому человеку за терпение, которое он проявил во взаимоотношениях со мной, за то, что он служил мне примером, за все, чему я смог научиться от него.

Шла зима 1944/45 года, и военные действия русских быстро приближались к своему победоносному концу. Наши окна выходили на Красную площадь, где нередко по вечерам гремел орудийный салют по случаю победы на том или ином участке огромной линии фронта.

Для нас, сотрудников посольства, приближение победы означало появление новых проблем. В эти месяцы в Москве успешно был заключен мир с финнами, румынами и болгарами. Ко всем этим актам я, по роду работы, имел некоторое отношение. Я суетился и надоедал послу, разъясняя ему, что русские, вступив во владение нефтяными месторождениями в Румынии, принадлежавшими американцам, решили перевезти на Кавказ для использования в собственных целях американское оборудование, которое они обязались сохранить. Немало неприятностей доставляли нам и трехсторонние контрольные комиссии, созданные для временного управления в Балканских странах, занятых советскими войсками. Советские командиры, по межправительственному соглашению ставшие председателями соответствующих комиссий, сразу же оттеснили своих английских и американских коллег, не сообщали им должной информации, игнорируя их точку зрения, как и интересы их правительств. Между тем местные военные агенты НКВД старались изолировать американских и английских офицеров от населения.

Русские командиры имели право использовать свою власть таким образом, поскольку западные союзники делали нечто подобное в объединенных контрольных комиссиях по Италии. Но все же я не видел оснований, почему мы должны были при таких обстоятельствах сохранять свое представительство в этих контрольных комиссиях. Я уже отмечал в своей памятной записке от 5 декабря 1944 года, посвященной проекту мирного договора с Венгрией, что согласиться на представительство в комиссиях - значило бы для нас просто "взять на себя моральную ответственность за режим после заключения перемирия, хотя мы все равно не сможем повлиять на связанные с этим режимом процессы". Однако этот мой аргумент не произвел должного

впечатления на правительство США. Наши военные продолжали сотрудничать в контрольных комиссиях, хотя не могли оказать сколько-нибудь существенного влияния на жизнь в соответствующих районах, а наше правительство приняло на себя долю ответственности перед населением этих районов за политику, выгодную Кремлю, которому служили председатели этих контрольных комиссий.

В феврале - марте 1945 года, вследствие решений Ялтинской конференции, в Москве проводились бесконечные и бессмысленные, с моей точки зрения, дискуссии о том, кому следует участвовать в новом польском правительстве. В апреле появились признаки растущей озабоченности президента действиями советской стороны и произошел обмен посланиями между лидерами двух стран с выражением беспокойства по поводу развития их взаимоотношений. Затем вдруг пришло ошеломляющее известие о кончине нашего президента. Последние недели войны, закончившейся крахом Германии, пролетели, как нам показалось, очень быстро.

В середине апреля в Москву проездом прибыл наш посол в Китае генерал-майор Хэрли. Он был в Вашингтоне, где встречался с президентом, теперь же возвращался в Китай. Хэрли уже побывал в Москве в сентябре 1944 года. Вместе с мистером Нельсоном, председателем Совета военной промышленности, Хэрли встречался с Молотовым и изложил свои впечатления о советских намерениях в Китае в послании от 4 февраля 1945 года:

"1. Так называемые китайские коммунисты в действительности вовсе не коммунисты.

2. Советское правительство не поддерживает китайских коммунистов.

3. Советы не хотят раздоров и гражданской войны в Китае.

4. Советское правительство недовольно обращением китайцев с советскими гражданами, но искренне желает более тесных и гармоничных взаимоотношений с Китаем"{30}.

В апреле 1945 года, после Крымской конференции, мы уговорили китайских националистов согласиться на территориальные и иные уступки Советскому Союзу, предусмотренные решениями конференции. Русские, в свою очередь, согласились заключить договор о дружбе с националистическим Китаем. Наступило время прямых советско-китайских переговоров. Китайцы, однако, настороженно восприняли оптимистичные сообщения генерала Хэрли относительно советских намерений и хотели получить от нас дополнительную информацию, прежде чем начать переговоры. Посол был тогда в США, и я исполнял обязанности временного

поверенного в делах СССР. Хэрли 15 апреля встречался со Сталиным. На таких встречах по правилам должен был присутствовать лично я, но я не помню, чтобы от генерала поступали мне предложения принять в ней участие. Впрочем, я радовался тому, что держался подальше от генерала Хэрли, и не настаивал на этом. Зато я ознакомился с его докладом об этой встрече, который он оставил нам перед возвращением в Китай для передачи по нашим телеграфным каналам.

Содержание этого доклада вызвало у меня беспокойство, поскольку оно не соответствовало представлениям ряда наших сотрудников о характере отношения советского руководства к китайским делам. Я изучил доклад вместе с мистером Джоном Дэвисом, и мы оба пришли к выводу, что в таком виде он произведет неправильное впечатление. Кроме того, у нас не было полной уверенности, что доклад генерала соответствует взглядам посла Гарримана. Поэтому мы не могли оставить его без комментариев и составили от моего имени письмо Гарриману, чтобы указать ему на необходимость корректировки слишком оптимистичных взглядов Хэрли.

Я хочу остановиться на тех положениях, которые, по словам Хэрли, были высказаны Сталиным, то есть, что он: "1. В целом согласился с нашей политикой в Китае, как ее обрисовал Хэрли. 2. Что эта наша политика будет поддержана советским правительством. 3. Что он полностью поддержит в особенности меры по унификации китайских вооруженных сил и обещает полное признание китайского националистического правительства под руководством Чан Кайши...

В докладе посла Хэрли нет сведений о том, что именно он сказал Сталину и с чем тот согласился. Но следует иметь в виду, что русские и мы одни и те же слова понимаем по-разному. Сталин, конечно, готов подтвердить принцип унификации вооруженных сил Китая, поскольку знает, что подобная унификация практически возможна только на условиях, приемлемых для Коммунистической партии Китая...

Я утверждаю, что в будущем советская политика в Китае останется такой же, какой она была в недавнем прошлом - максимум контроля, при минимуме ответственности, над теми частями Азии, которые примыкают к советской границе. Для меня совершенно ясно, что цели Москвы в этом регионе состоят в следующем: 1. Возобновление (по сути, если не буквально) контроля над территориями и дипломатического контроля над всеми районами Азии, которыми Россия владела при царе. 2. Доминирование в районах Китая, прилегающих к советской границе. 3. Контроль над теми территориями Китая, которые

сейчас заняты японцами, с целью недопущения в этот район других иностранных держав, включая Америку и Англию...

Было бы трагично, если бы наше естественное стремление к помощи Советского Союза в этом регионе вместе с употреблением Сталиным выражений, которые можно трактовать как угодно, приведут нас к ненужным надеждам на советскую поддержку или даже на одобрение с их стороны наших долгосрочных целей в Китае".

В целом посол Гарриман положительно воспринял эту мою интерпретацию. Что касается мистера Дэвиса, то этот человек считался у нас знатоком китайской политической ситуации, и я сам многому у него научился. Он был предан интересам нашего правительства и никогда не имел никаких симпатий к коммунистам. И такой человек вскоре после описываемых событий годами подвергался унизительным допросам в различных комитетах конгресса по расследованию и советах по проверке лояльности во многом из-за обвинений, инспирированных тем же генералом Хэрли. Вот до какого состояния, похожего на дурной сон, могли дойти официальный Вашингтон и во многом также наше общественное мнение в то время, когда злость, страх и другие эмоции взяли верх над разумом.

Я не помню, чтобы испытывал восторг по поводу окончания войны в Европе. Как все, я радовался прекращению кровопролития и разрушений на полях битв. Но я абсолютно не верил в возможность трехстороннего сотрудничества в управлении послевоенной Германией. И все же мы, американцы, строили планы на будущее. У нас не было никаких реалистичных программ, и мы не смогли заключить адекватного соглашения с англичанами о создании западных оккупационных зон, а такое соглашение позволило бы нам, как мне казалось, эффективно противостоять политическому давлению, которое, как я ожидал, будут оказывать на нас немецкие коммунисты при советской поддержке. В то же время появилось множество слухов о жестокостях, творимых частью советских военнослужащих (правда, не из тех, кто сражался на передовой) на освобожденных немецких территориях. Я размышлял о том, к такой ли победе мы стремились и не теряет ли она свою реальность, будучи оплачена такой ценой.

Весть о победе достигла Москвы рано утром 8 мая, и в городе началось праздничное ликование, нарушившее его обычную будничную жизнь. На здании, где находились наша канцелярия и квартиры сотрудников, конечно, всегда был вывешен американский флаг, а на соседнем здании гостиницы "Националь"

тогда вывешивали флаги тех союзников, чьи миссии не имели в Москве собственного помещения и ютились в гостиничных номерах.

Около 10 часов утра на улице появилась колонна людей, преимущественно студенческой молодежи, которые маршировали со знаменами и пели песни. Заметив флаги союзных держав на здании "Националя", а также американский флаг на нашем здании, они стали выкрикивать восторженные приветствия и выражать свои дружеские чувства по отношению к нам. На просторную площадь перед нашим зданием все прибывали люди, и к демонстрантам вскоре присоединились тысячи новых участников шествия. Мы были тронуты этими проявлениями дружеских чувств. Наши сотрудники вышли на балконы и махали руками москвичам в знак дружеского приветствия.

В качестве жеста взаимности по отношению к людям, выражавшим нам свои симпатии, я послал одного из наших людей в гостиницу "Националь" за советским флагом, который был затем вывешен рядом с американским. Это вызвало в толпе новый взрыв восторга и энтузиазма. Однако, как временный поверенный в делах США в СССР (посла тогда в Москве не было), я счел нужным сказать хотя бы пару одобрительных слов, обращаясь к москвичам. Я прокричал им по-русски: "Поздравляю с Днем Победы. Слава советским союзникам!" Это все, что я счел подходящим для приветствия. После этого, в порыве радостного возбуждения, участники манифестации подняли на руках советского солдата так, чтобы он смог до нас дотянуться (мы стояли в это время на цоколе одной из больших колонн, украшавших наше здание). Солдат встал рядом с моим соседом, американским сержантом, обнял его (к изумлению последнего) и стащил вниз. Толпа москвичей тут же начала качать сержанта, и вскоре он исчез из нашего поля зрения (мне рассказывали, будто он вернулся только на следующий день).

Мне самому удалось избежать чего-то подобного и благополучно вернуться в наше здание. Конечно, советские власти не были довольны такой демонстрацией дружеских чувств москвичей по отношению к представительству страны, которая в Советском Союзе считалась буржуазной. Не трудно вообразить, какое неприятное впечатление все это должно было произвести на партийные власти. Специально, чтобы отвлечь внимание людей от общения с нами, на другой стороне площади вскоре соорудили помост, на котором начал выступать духовой оркестр, однако это не принесло ожидаемых результатов. Люди продолжали нас приветствовать. Бог свидетель, мы не делали практически ничего для привлечения внимания демонстрантов.

Нам не хотелось быть причиной каких-то затруднений в день всеобщего торжества. Но мы были еще более бессильны, нежели власти, помешать происходящему.

В тот же день произошел инцидент, имевший продолжение четыре года спустя, его можно считать образцом действия сталинской пропаганды. Мы с женой были тогда приглашены на прием в честь леди Черчилль, прибывшей тогда в Москву с визитом. Незадолго перед нашим уходом мне позвонил английский журналист Ральф Паркер, бывший корреспондент "Нью-Йорк таймс" в Праге, и спросил, можно ли им с его советской женой, коммунисткой, прийти к нам, чтобы посмотреть на демонстрацию с балкона. Паркера я давно знал, В 1939 году я помог ему покинуть Прагу, когда туда вошли нацисты, с которыми у него могли быть неприятности, поскольку он принадлежал к числу крайне левых. В Москве у нас были приятные, хотя и не близкие, взаимоотношения. За время военного союза с СССР мы стали относиться к коммунистам не хуже; чем к другим антифашистам. Я ответил, что они с женой могут прийти и побыть у нас на балконе в наше отсутствие.

Они пришли, когда мы собирались на прием. Паркер постоял на балконе несколько минут, затем вернулся в комнату, чтобы проводить нас. "Замечательно, не правда ли?" - спросил он меня. Я ответил, что это действительно хорошо, но в то же время печально. Он попросил меня объясниться. Я ответил, что эти люди на улице уже много перенесли в своей жизни и теперь надеются, что победа принесет улучшение жизни, хотя в мире все еще нет безопасности, в России предстоит трудное восстановление хозяйства, а мирное время едва ли будет похоже на мечты этих людей о нем.

Четыре года спустя в Москве вышла книга за подписью Паркера под названием "Заговор против мира". В то время он уже перестал работать с некоммунистической прессой Запада и связал свою судьбу с советским правительством. Не знаю, стал ли Паркер советским гражданином и вступил ли в коммунистическую партию, но этот человек был полностью под советским контролем. Его книга, представлявшая собой неприятнейший образец сталинской пропаганды, полна злобных нападок на американское правительство и особенно на наше посольство в Москве.

Рассказав в предисловии к книге о событиях на московских улицах и площадях, происходивших в День Победы по соседству с нашим посольством, Паркер так описывал свой визит в нашу квартиру:

"На Моховой улице я пробрался сквозь толпу проходивших

мимо москвичей и вошел в здание американского посольства. У закрытого окна стоял Джордж Ф. Кеннан, советник посольства Соединенных Штатов в Москве. Он молча наблюдал за толпой, встав так, чтобы его не было видно снизу. Шум на улице стал несколько слабее, превратившись в глухой, перекатывающийся гул.

Я заметил на лице Кеннана, наблюдавшего эту волнующую сцену, странно-недовольное и раздраженное выражение. Потом, бросив последний взгляд на толпу, он отошел от окна, сказав злобно: "Ликуют... Они думают, что война кончилась. А она еще только начинается".

Перед уходом из посольства я заметил, что вместо портрета Рузвельта его голова со сверкавшей улыбкой господствовала прежде над комнатой - на стене висел портрет Трумэна.

В тот день я не обратил должного внимания на слова Кеннана. Зато теперь, спустя четыре года, я вспоминаю их так же отчетливо, как все, что я видел и слышал в День Победы: потоки людей, влившиеся в Москву из пригородов, свидания тех, кто дал друг другу торжественное обещание встретиться, как только кончится война, искреннее и дружеское стремление советских людей к мирному сотрудничеству со своими бывшими военными союзниками.

События, прошедшие с того торжественного и светлого дня, показали мне, что смысл слов, произнесенных американским дипломатом в День Победы, заключался именно в отрицании мирного сотрудничества".

Я привел этот пассаж из книги Паркера, чтобы показать, до какого искажения фактов можно дойти под влиянием политических целей, присущих русской коммунистической пропаганде. Он писал о закрытом окне, тогда как в тот день окна у нас были открыты, а наши сотрудники выходили на балконы и возвращались в комнаты. Он упоминал о том, что я наблюдал за толпой из окна, но, видимо, согласно официальной версии, игнорировал тот факт, что до его прихода я выходил из здания и даже обращался к толпе. Он утверждал, что видел портрет Трумэна, но это ерунда. Портреты президентов висели у нас в канцелярии, но мы не имели обыкновения вешать их в квартире. Я полагаю, вопрос о портрете Трумэна возник потому, что Трумэну приписывалось саботирование политики сотрудничества, которую проводил Рузвельт, и проведение политики "холодной войны", начиная со Дня Победы. Подобное искажение действительности было вообще характерно для советской официальной партийной пропаганды. Изобразив таким образом события, которые будто бы происходили в Москве в День Победы

в Европе, Паркер просто выступил как функционер и агент партии в создании официально принятой версии, соответствующей образцам, культивируемым партийными пропагандистами, которые не имели ничего общего с реальностью.

Прекращение войны в Европе означало вместе с тем и поворотный пункт в истории советской дипломатии. Положение Советского Союза существенно изменилось благодаря продвижению Советской армии к центру Европы. Сбылась мечта Сталина о создании защитной зоны вдоль западных границ России. Эти новые условия работы советской дипломатии означали появление также новых задач и новых целей. Возвращение к довоенной ситуации было невозможным.

Вскоре после прекращения военных действий в Европе у меня снова появилась потребность изложить на бумаге проблемы, связанные с взаимоотношениями между Россией и Западом в этих новых условиях. В результате у меня получился документ, озаглавленный "Международное положение России при завершении войны с Германией". Этот очерк также прежде не публиковался и воспроизводится полностью в приложении. Материал очерка касался проблем, которые в дальнейшем стали именоваться проблемами "сателлитов". Я впервые выдвинул ряд идей, которые легли в основу моей концепции российских проблем в последующие годы.

В начале этого исследования я высказывал те же опасения, что и в разговоре с Паркером в День Победы в Европе:

"Мир, как и весна, наконец-то пришли в Россию, и иностранцу, утомленному российскими зимами и российскими войнами, остается лишь надеяться, что приближающийся политический сезон не будет слишком похож на русское лето, чересчур скоротечное и слабо выраженное".

Далее я отметил, что относительное усиление мощи России произошло не за счет внутренних источников (ее демографический и промышленный потенциал не очень сильно изменился по сравнению с послевоенным временем), а за счет "разрушения мощи соседних стран". Когда закончится война на Дальнем Востоке, продолжал я, Россия впервые в своей истории не будет иметь в Евразии ни одного соперника из числа великих держав и будет контролировать огромные территории за ее пределами, в том числе такие, на которые ее власть прежде не распространялась.

Для России это значительное расширение ее мощи, отмечал я далее, означает и новые проблемы, и новые преимущества. Как империалистическая держава, контролирующая малые страны Восточной Европы, Россия располагает, конечно, большой силой,

но у нее есть и свои слабые места. Существуют естественные трудности, связанные с управлением государствами, имеющими разные национальные традиции, в которых люди говорят на разных языках. Потребуются кадры для создания прокоммунистических правительств. Если эти люди будут русскими, то они могут попасть в зависимость от иностранного окружения. Если же они будут местными жителями, то в этих странах могут возобладать националистические чувства и произойдет утрата контроля над ситуацией. Кроме того, отмечал я в этом своем аналитическом материале, возникнут проблемы политического и идеологического характера. Земельная реформа по коммунистическому образцу в странах Восточной Европы на время привлечет на сторону русских симпатии крестьян, но это не может продолжаться долгое время.

Неизвестно каким образом русский контроль будет сказываться на экономической жизни. Успехи в промышленном развитии в самой России были достигнуты слишком высокой ценой. Достаточно ли, спрашивал я, одной идеологии для разрешения всех этих проблем? Советский марксизм, замечал я, как политико-эмоциональная сила, во многом иссяк даже в самой России. Кремль теперь имеет под своим контролем послушную, но лишенную энтузиазма массу последователей. Если это верно, указывал я, даже для самой России, то какую пользу может принести применение подобной идеологии в восточноевропейских странах?

Принимая во внимание эти слабые места, продолжал я, России будет трудно сохранять свою власть в Восточной Европе в отсутствие моральной и материальной поддержки Запада. Советские лидеры, отмечал я, вполне могут искать такой поддержки, поскольку на Западе, особенно в Америке, сложилось мнение, будто необходимо продолжать тесное сотрудничество между Россией и США для установления прочного мира во избежание новых военных конфликтов. На самом деле это, конечно, было не так. Но эти предубеждения, свойственные американцам, указывал я, очень выгодны советским лидерам. Поэтому они вполне могут надеяться, что страны Запада окажут материальную и моральную поддержку сохранению советской империи в Восточной Европе, без чего русским не удержать территорий, над которыми они недавно установили контроль. В случае неоказания такой поддержки советское правительство, отмечал я, даст Западу почувствовать свое недовольство в резкой форме, но, если Запад проявит политическую выдержку, советская акция не повлечет за собой катастрофических последствий. В своем анализе международного положения России

к концу войны с Германией я бы выделил следующие основные моменты:

1. Русские не смогут успешно сохранять свою гегемонию на всех территориях Восточной Европы, попавших под их контроль, без помощи Запада. Не имея ее, они утратят часть своих политических позиций.

2. Полноценное сотрудничество с Россией, которого ожидает наш народ, вовсе не является существенным условием сохранения мира во всем мире, поскольку существует реальное соотношение сил и раздел сфер влияния.

3. У Москвы нет оснований для дальнейшей военной экспансии в глубь Европы. Опасность для Запада представляет не угроза русского снабжения, а коммунистические партии в самих западных странах, а также иллюзорные надежды и страхи, присущие западному общественному мнению.

Внимательный американский читатель, очевидно, заметит, что эти три моих положения соответствуют основным элементам доктрины, о которой было объявлено через два года. Я хотел бы подчеркнуть, что мои верные или неверные взгляды на проблемы взаимоотношений Запада и СССР в послевоенные годы сформировались не в 1947 году, полном тревог и разочарований, когда они стали достоянием общественности, а еще под влиянием моей службы в Москве, вскоре после победы союзников, когда я предпринял попытку заглянуть в будущее взаимоотношений России и Запада.

Этот аналитический материал был также вручен мною послу и, как и прежде, насколько я помню, был возвращен мне без комментариев. Я не думаю, чтобы его когда-либо отправляли в Вашингтон. Возможно, этот материал прочел Гопкинс во время своего визита в Москву в мае 1945 года; однако в то время это был уже очень больной человек, не игравший особой роли в формировании внешней политики США.

Глава 10.

От дня победы в Европе до Потсдама

В аналитическом докладе посольства в Москве от 19 мая 1945 года, основанном на обзоре советской прессы, содержались следующие положения:

"Никто так хорошо не понимает критического характера настоящего военного периода, как советские лидеры. Они вполне отдают себе отчет, что именно в период всеобщей политической и социальной неустойчивости, последовавшей за мировой войной, могут быть созданы контуры будущего устройства мира, которые со временем обретут постоянный характер. Они придают большее значение решениям, будучи принятым в ближайшие недели, чем

даже возможным резолюциям будущей мирной конференции. Ведь с советской точки зрения решения последней во многом можно предопределить сейчас, если ковать железо, пока оно горячо".

Я сам также имел отношение к авторству этого документа и был, естественно, озабочен необходимостью для нашего правительства правильно проанализировать проблемы, связанные с послевоенной политикой СССР, и разработать политику, которая свела бы к минимуму ущерб, уже нанесенный европейской стабильности тем политическим положением, которое создалось вслед за окончанием войны на русском фронте. Поэтому я досаждал всем, кто готов был меня выслушать - прежде всего послу, - разного рода призывами, протестами и обращениями. Количество документов, вышедших из-под моего пера в этот период, слишком велико, чтобы включить их в эту книгу. Но так как идеи, выдвинутые в них, в дальнейшем нашли отражения в ряде моих заявлений, получивших известность, то я хотел бы в общих чертах изложить суть этих идей.

Анализ положения России содержится в основном в двух обширных докладах, на которые я уже ссылался.

Я был чуть ли не единственным человеком в высших эшелонах американской власти, который настаивал на признании де-факто разграничения сфер влияния, которое уже имелось в Европе. Это я делал по двум основным причинам. Во-первых, я был убежден, что нам незачем надеяться на возможность влиять на события в странах, уже вошедших в сферу гегемонии России, в которых доминировали коммунисты и народы которых были изолированы от Запада. В этом случае я не видел, почему мы должны облегчать задачи русским, действовавшим в этих/ регионах, и разделять с ними моральную ответственность. Нам, по моему убеждению, оставалось только заявить, что мы не имеем со всем этим ничего общего

Когда в феврале - марте 1945 года начались трудности в Румынии, связанные с визитом в Бухарест Вышинского и его жесткими мерами по реорганизации румынского правительства, я был против того, чтобы выражать протест по этому поводу, как мы делали в своих нотах. Я считал, что, если мы не предпримем в связи с этим конкретных мер, таких как отзыв наших представителей из Контрольной комиссии, русские едва ли будут считаться с нашими взглядами на этот вопрос и даже в случае таких акций с нашей стороны вряд ли изменят свой курс в Румынии.

Через месяц возник вопрос о Чехословакии. В отличие от Венгрии, Румынии, Болгарии Чехословакия не воевала с СССР и

имела статус "освобожденного союзника". По каким-то непонятным для меня причинам, возможно, из-за огромной популярности президента Бенеша, на Западе сложилось впечатление, что в этой стране создалось независимое правительство. Я не видел оснований для такого вывода. Первое же знакомство с чехословацким послом в Москве Зденеком Фирлингером убедило меня в том, что это не представитель независимой Чехословакии, а советский агент. Я был крайне скептически настроен в отношении к власти, которую мог представлять такой человек. Мы мало знали о том, что происходит на территории Чехословакии, оккупированной советскими войсками, но для нас не было сомнений, что там ведутся всякого рода интриги с целью установления в этой стране коммунистической монополии на власть. Это наше впечатление подтвердилось, когда советские власти стали чинить препятствия отправке американских представителей в столицу Чехословакии. Из Вашингтона поступила просьба, чтобы мы уладили это дело с советским правительством и чтобы представители смогли как можно быстрее нанести визит новому чехословацкому правительству. Я снова возражал против такой постановки вопроса. По моему мнению, если положение чехословацких властей по отношению к России таково, что они сами не могут принимать иностранных представителей без согласия советского правительства, то можно поставить под вопрос саму по себе целесообразность нахождения наших официальных представителей в Праге. Некоммунистов - членов чехословацкого правительства - я рассматривал просто как почетных пленников России и был уверен, что американские представители в этой ситуации будут бессильны.

Даже в случае с Югославией я не разделял озабоченности Вашингтона тем обстоятельством, является ли режим маршала Тито достаточно "представительным", как и желания установить с его режимом доверительные отношения, если окажется, что оппозиция ему не представит большинства населения Югославии. Такая постановка вопроса была, по моему мнению, неправильной. Я записал в дневнике в декабре 1945 года:

"Мы ведь не ставим вопроса, поддерживает ли Сталина большинство населения России. И было бы нелогично... с нашей стороны по-другому подходить к правительству, столь похожему на московское... Тито - человек, прошедший жесткую марксистскую школу, - будет поступать по отношению к капиталистическому миру только так, как этого требуют интересы коммунистической революции. На практике он будет руководствоваться не дружественностью представителей Запада в

Белграде, а силой и решительностью представляемых ими правительств".

Таким образом, я выступал за разграничение "сфер интересов" в Европе, поскольку не верил в возможность для нас эффективно влиять на события, происходившие в районах, контролируемых СССР. В возможность европейского сотрудничества как такового я не верил и опасался, что из страха обидеть русских, предпринимая без их участия какие-то важные акции, мы можем пренебречь возможностью способствовать положительным, конструктивным изменениям в той части Европы, которая реально открыта для нашего влияния. Мне казалось, что если мы теперь упустим время, то коммунистические партии в западной части континента, теперь страшно усилившиеся благодаря недавнему участию в движении, Сопротивления, извлекут для себя выгоду из этой ситуации.

Я не мог не думать также о действиях Управления ООН по делам реконструкции и помощи (ЮРРА), а также и о планах нашего министерства финансов создать Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции развития. Мне казалось, что мотивы интереса русских к ЮПРРА имеют очень мало общего с альтруистическими целями европейской реконструкции, которые ставит перед собой наш народ. Советские лидеры стали бы использовать участие в этой организации прежде всего в своих политических целях, что нам несвойственно. И даже если допустить, что цели русских подобны нашим целям, то они, с их закрытой экономикой, монополией внешней торговли и валютой, не имеющей статуса на мировом рынке, были бы подходящими для нас партнерами в международных валютных делах.

Но больше всего тревог у меня, как всегда, вызывал вопрос о Германии. Насколько я знал, даже теперь, после окончания войны, поведение и взгляды американских военных властей были в большой мере отягощены, как я это называю, антибританскими и просоветскими предрассудками, которые, по моим наблюдениям, появились во время войны у части наших военных руководителей. Помню, как однажды вечером, осенью 1945 года, я сидел в резиденции посла Мэрфи в Берлине вместе с одним высокопоставленным военным и выслушивал от него упреки в том, что мы, "люди из Госдепа", из-за нашего антисоветизма неспособны "поладить с русскими". Он имел в виду, что мы можем преодолеть эту неспособность, если будем брать пример с военных. Я же по-прежнему был озабочен тем, чтобы наши надежды на мнимое сотрудничество с Советами не помешали нам создать приемлемые условия в западных зонах Германии, где мы

имели власть действовать. Все это было на руку только коммунистическим партиям западных стран, которые ждали удобного случая, чтобы им воспользоваться.

У меня сохранился один набросок без указания даты, но составленный, очевидно, летом 1945 года, где содержались следующие положения:

"Идея управления Германией совместно с русскими есть химера, как и идея, будто в случае ухода нашего и русских сама по себе возникнет мирная, стабильная и дружественная Германия. Нам остается только дать нашей части Германии, за которую мы отвечаем вместе с англичанами, такую степень независимости, безопасности и процветания, чтобы Восток не мог ей угрожать. Это - грандиозная задача для американцев, но этого нам не избежать.

Пусть это назовут расчленением (Германии). Но расчленение уже стало фактом благодаря границе по Одеру - Нейсе. Сейчас не важно, будет ли советская зона воссоединена с Германией. Лучше расчлененная Германия, в которой Запад сможет противостоять силам тоталитаризма, чем единая Германия, которая снова воссоздаст эти силы в регионе Северного моря... Выполняя уже взятые нами на себя обязанности в Контрольной комиссии, мы не должны питать ложных надежд на возможность трехстороннего контроля... Русские - наши основные конкуренты в Германии. Нам не следует идти на компромиссы в Контрольной комиссии в делах, для нас действительно важных".

Неудивительно поэтому, что я следил за работой Потсдамской конференции с возрастающим скептицизмом и чувством, близким к отчаянию. Не могу припомнить, чтобы еще какой-то политический документ произвел на меня более тяжелое впечатление, чем коммюнике, завершившее все эти путаные и нереалистичные дискуссии, под которым поставил подпись президент Трумэн. Дело было не только в том, что я не верил в систему четырехстороннего контроля в управлении Германией, но и в том, что такие употребляемые в документах термины, как "демократический", "миролюбивый" или "справедливый", трактовались русскими по-своему, в таком смысле, который не совпадает с принятым у нас пониманием этих выражений.

Что до вопроса о репарациях, то решения Потсдамской конференции казались мне просто продолжением той нереальной программы, заложенной еще во время Тегеранской конференции и обреченной на неудачу. По моему убеждению, высказанному еще до появления решений конференции, было бы глупо надеяться на эффективное сотрудничество с русскими, поскольку репарации - это просто все, что каждый может взять в своей зоне.

Русские, полагал я, могут действовать, как найдут нужным, в своей зоне оккупации. Этот взгляд на проблему у меня сложился с 1944 года, я за прошедшее с тех пор время убедился в его правильности, а потому без энтузиазма смотрел на обсуждение проблемы репараций в Потсдаме.

Беспокоил меня и вопрос о суде над военными преступниками. По этому вопросу и до Потсдамской конференции велись трехсторонние дискуссии, но Потсдамское коммюнике с решением о совместном суде над рядом германских лидеров уже не оставляло пути к отступлению. Я только хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Нацистские лидеры совершили страшные преступления. Они сами сделали свое существование на земле не имеющим никакого положительного смысла. Лично я считал, было бы лучше, если бы союзное командование просто отдало приказ о том, чтобы каждый из этих людей, попавших в руки союзных сил, после установления его личности был немедленно казнен.

Совсем иное дело - публичный процесс над нацистскими лидерами. Эта процедура не могла ни искупить, ни исправить совершенных ими преступлений. По моему разумению, единственный смысл, который мог иметь процесс, осуждение правительствами и народами, проводившими суд, всякого рода массовых преступлений. Допустить на подобный процесс советских судей значило бы не только солидаризоваться с советским тоталитарным режимом, который они представляли, но и взять на себя часть ответственности за всевозможные жестокости и преступления, совершенные во время войны сталинскими властями против поляков и народов Прибалтийских стран. Это значило бы совершенно извратить цели данного процесса. Трудно предположить, чтобы западным лидерам не было известно об этих депортациях, казнях польских офицеров и других деяниях, совершенных от имени Советского государства. У них была возможность ознакомиться с соответствующими данными, и они могли бы, в случае каких-то затруднений, обратиться за консультацией ко мне и моим коллегам.

Я знаю, что эти мои умозаключения вызовут негодование в Москве и официальная советская пропаганда обвинит меня в гнусной клевете на советских людей, которая будто бы вызвана злобой и ненавистью к ним и ко всему русскому. Поэтому я хотел бы изложить свою позицию.

Я сомневаюсь, чтобы в западном мире нашелся человек, с большей симпатией и уважением, чем я, относившийся к страданиям и мужеству, с которым этот народ, подавленный деспотизмом, пробивался к обретению идеала человеческого

достоинства и социальной ответственности. Этот народ, как никакой другой, чувствителен к ценностям морали, а благодаря его литературе, философии, склонности к искренним политическим дискуссиям он особенно много сделал для прояснения фундаментальных проблем социальной и политической этики.

Советским людям необходимо правильное понимание своих политических проблем, чтобы идти дальше по историческому пути, на котором было создано все ценное в интеллектуальной и политической жизни России начиная со времени декабристов. Один из моих предков, Джордж Кеннан-старший, о котором я уже упоминал, также сочувствовал русскому народу и осудил несправедливости царских властей, совершенные по отношению к людям, находившимся на каторге в Сибири, подобно тому, как я считаю нужным осудить несправедливости и жестокости, совершенные советскими лидерами. Подавляющему большинству советских людей по их природе несвойственна жестокость. Они не более склонны к ней, чем остальные народы мира. Психологически им потенциально свойственны значительная мера доброты и человечности, а нравственное благородство их литературы оказало благотворное воздействие на значительную часть человечества. Если действия их лидеров приводят к тому, что, на взгляд внешних наблюдателей, эти замечательные качества оказываются искаженными, то советские люди сами должны решить эту проблему, найдя ответ на этот исторический вопрос. Я же, как иностранец, отображавший в своих исследованиях события и проблемы 1930 - 1940-х годов, не принес бы пользы ни русским, ни даже их правителям, если бы не высказывал своих мнений об этих обстоятельствах.

Не менее тяжелое впечатление на меня произвело решение Потсдамской конференции отторгнуть от Германии Восточную Пруссию и разделить ее между Польшей и Россией. Правда, за такое решение нельзя осуждать мистера Трумэна, так как оно, ранее согласованное, в принципе было одобрено Рузвельтом и Черчиллем. И все же мне трудно было бы простить равнодушие американской стороны к реальным экономическим и иным последствием данной акции и беспечность, с которой она проводилась. Непонятно специальное заявление в коммюнике о принадлежности отныне города Кенигсберга Советскому Союзу, когда этот факт был уже обозначен при описании новых границ; а главное, мне неясно, почему американские участники переговоров так легко приняли абсурдные доводы Сталина, которыми он подкрепил свои притязания на этот город, и даже довели эти бессмысленные утверждения до сведения

американской общественности как нечто заслуживающее внимания.

Сталин заявил на конференции, что все балтийские порты являются замерзающими, а потому необходимо, чтобы Россия получила за счет Германии хотя бы один незамерзающий порт. Между тем Россия включала в себя страны Балтики (а ее права на этот регион в Потсдаме никто всерьез не оспаривал), а значит, располагала тремя относительно незамерзающими портами (Вентспилс, Лиепая и Балтийск). Кенигсберг же находится в 40 с лишним километрах от моря, с которым он связан каналом, который зимой на некоторое время замерзает и пройти его, кажется, можно лишь с помощью ледоколов, "ели им вообще необходимо пользоваться. Кенигсбергский порт, насколько мне известно, может принимать только суда среднего и меньшего размера. В целом этот порт по своим качествам не так уж отличается от Рижского порта, который Советский Союз уже захватил при аннексии стран Балтики. И все же это заявление Сталина не было оспорено, Трумэн его принял и в докладе на конференции признал его обоснованность.

Лично мне эти территориальные изменения казались тем более пагубными, а легкомыслие американской стороны в этом вопросе тем более непростительным, поскольку они, как и другие территориальные уступки русским, просто изымали большие продуктивные регионы из экономики Европы, позволив русским извлекать из них военную и политическую выгоду, вместо того чтобы поставить эти ресурсы на службу общему делу европейской реконструкции. Хотя Сталин заявил, что Кенигсберг нужен России как порт, у меня нет доказательств, что этот город в дальнейшем использовался как порт в такой мере, как он использовался, когда принадлежал Германии. Восточная Пруссия в целом чрезвычайно пострадала от вторжения советских войск. Там, судя по имеющимся на сегодня данным, есть районы, где не осталось ни одного немца, и трудно поверить, чтобы им всем удалось бежать на Запад.

Экономика этих областей пришла с ужасное состояние. Я сам пролетал на самолете над этим регионом вскоре после Потсдамской конференции и замечал повсюду признаки страшных разрушений в этом краю, который теперь походил на безжизненную пустыню.

Думаю, трудно поверить заявлениям русских о том, что они действительно собирались заново развивать экономически эти некогда высокоразвитые районы (особенно подпавшие непосредственно под советский суверенитет), которые они опустошили подобно азиатским ордам. Однако те, кто

захватывает подобную территорию, принимают, по моему убеждению, ответственность перед всем миром за ее плодотворное использование. Особенно это должно было относиться к важным сельскохозяйственным территориям в то время, когда вся Европа переживала такие серьезные продовольственные трудности. Пусть для кого-то не представляют ценности судьбы более чем двухмиллионного населения Восточной Пруссии. Однако нельзя забывать и о процветавшем хозяйстве этой провинции, где некогда имелись 50 тысяч лошадей, 1,4 миллиона голов крупного рогатого скота, 1,8 миллиона свиней, что в этом районе ежегодно собиралось 4 миллиона тонн пшеницы, 15 миллионов тонн ржи, 40 миллионов тонн картофеля. Советские генералы, захватившие эту провинцию, меньше всего думали о ее производственном потенциале, об ответственности перед Европой за его сохранение. Такого рода заботы были возложены на нас, американцев, чтобы мы, если пожелаем, восполнили эти потери.

Я не мог понять безразличия к этой проблеме наших политиков и нашей общественности. Ведь одно дело - занять какие-то земли с целью их развития для собственных нужд, а другое - захватить плодородные земли ради их опустошения в своих военных интересах.

Другим вопросом, занимавшим в то время умы сотрудников нашего посольства в Москве, являлось будущее советско-американских экономических и финансовых отношений. Американскую администрацию не раз упрекали во внезапном прекращении поставок по ленд-лизу летом 1945 года и в непредоставлении СССР крупного займа, на который будто бы имели основание рассчитывать советские лидеры. Но эти проблемы тесно связаны с вопросом о будущей торговле между США и СССР и о том, в какой мере СССР должен получать помощь в рамках европейской реконструкции по программе ЮНРРА.

Следует отметить, что американское правительство подверглось критике за принятие жесткой линии в этом вопросе, я же подвергался критике за то, что давно советовал это сделать. Я был далек о того, чтобы не одобрять прекращения поставок по ленд-лизу сразу после прекращения нашего военного союзничества в 1945 году. Как отмечалось ранее, я считал необходимым, по крайними мере, существенно ограничить такие поставки уже в 1944 году, в период Варшавского восстания. Что касается российско-американской торговли и возможного кредита советскому правительству, то свои взгляды на эту проблему я изложил в меморандуме, составленном мною вместе с двумя другими нашими сотрудниками и переданном послу еще в

декабре 1945 года. Меморандум в конечном счете предназначался для рассмотрения в одном из вашингтонских комитетов по планированию, который рассматривал возможность выделения Советскому Союзу сразу после войны кредита в 3,5 миллиарда долларов.

Исходя из того, что советский экспорт в США в послевоенные годы, по самым оптимистичным прогнозам, не мог составлять более 100 миллионов в год, и оценивая экономическую ситуацию в целом, мы пришли к следующим выводам:

"Мы считаем, что 1,5 - 2 миллиарда долларов - предельный размер кредита, который может быть безопасно предоставлен сразу после войны с тем, чтобы сюда были включены и обязательства, перешедшие от сотрудничества военного времени (ленд-лиз и т. п.)...

Мы полагаем, что предоставлять кредит в размере 3,5 миллиардов долларов... было бы неразумно. Значительная часть этой суммы, вероятно, не может быть возвращена в срок, который придется продлевать. Это создаст проблемы с развитием советского экспорта в США в последующие годы и осложнит расчеты за будущие экспортные поставки из нашей страны в Россию".

Далее мы изложили свои соображения по проблеме советских тенденций в развитии внешнеэкономических связей вообще, а также о том, какое значение советский подход к этой проблеме имеет для нашего правительства с его экономическим планированием:

"Из анализа намерений советского правительства неясно, не будет ли в ходе дальнейшей милитаристской индустриализации СССР в послевоенный период создана военная мощь, которая, подобно тому как это уже было в случае с Германией или Японией, будет использована против нас...

Советское правительство в целом рассматривает внешнюю торговлю как политическое и экономическое средство, предназначенное для целей увеличения мощи СССР по сравнению с другими странами. Импорт из, нашей страны они будут рассматривать как орудие достижения военно-экономической автаркии Советского Союза. Достигнув же этой цели, советское правительство не обязательно сохранит заинтересованность в широком импорте из нашей страны, разве что на условиях, несовместимых с нашими интересами. С другой стороны, если организовать широкий вывоз в Россию продукции машиностроения, значительная часть наших частных заводов попадет в зависимость от советских заказов ради сохранения производства и занятости. В этом случае русские, если сочтут

нужным, будут не колеблясь эксплуатировать эту зависимость, а также использовать свое влияние на организованные группы рабочих, чтобы достигнуть целей, не имеющих ничего общего с интересами нашего народа".

Аналогичные положения содержались в моем черновом наброске меморандума, без даты, написанного летом 1945 года. Они дают представления о тех взглядах, которые я развивал перед нашим послом и Госдепартаментом:

"Я не вижу оснований экономических или политических для того, чтобы продолжать оказывать России помощь по ленд-лизу. Россия, не делая вклада в программу ЮНРРА, едва ли может получать экономическую помощь со стороны ЮНРРА или государственные кредиты США, если это не дает нашему народу адекватных политических преимуществ.

При этом следует иметь в виду, что:

1. Русские могут испытывать особую нужду в иностранной помощи, только если им необходимо экономическое напряжение с целью поддержания военной мощи, превосходящей их потребность в безопасности. Их экономические ресурсы позволяют им быстро восстановить хозяйство и без иностранной помощи.

2. Нынешняя советская экономическая программа представляет собой милитаристскую индустриализацию, цели которой совершенно расходятся с нашими интересами, и у нашего правительства нет оснований ее поддерживать.

3. Единственное реальное возмещение кредитов может быть достигнуто за счет русского экспорта в США. Но даже если он возрастет по сравнению с довоенным уровнем в несколько раз, то и тогда не сможет возместить долговременных кредитов и затрат на выплату процентов.

4. В СССР монополизирована внешняя торговля. Мы, выступая у себя против трестов и монополий, кажется, делаем исключение для монополии советского правительства. Я одобряю торговлю с Россией, но ее следует вести так, чтобы избежать зависимости части нашей промышленности от советской внешнеторговой монополии".

Посол Гарриман, делавший мне полезные указания критического характера, в целом поддерживал эти мои суждения, во многом тогда одобренные и в Вашингтоне. Значительный кредит советскому правительству в данных обстоятельствах был бы неразумным, и его предоставление вызвало бы в дальнейшем осложнения как в советско-американских отношениях, так и в нашей внутренней политике. Что касается ленд-лиза, то значительная часть наших поставок, отправленных в Россию,

которые можно оценить в 11 миллиардов долларов, включая и поставки на 244 миллиона долларов, согласно последнему протоколу от 15 октября (которые еще не были оплачены), в первую очередь использовалась для целей, не имеющих ничего общего с борьбой против наших врагов.

К тому же, в рамках ЮНРРА, русские, по моим сведениям, получили до 249 миллионов долларов, а также еще несколько миллионов в форме репараций из нашей зоны в Германии. Поэтому мы и так, по-моему, в первый послевоенный период сделали для русских немало, и я не сожалею о том, что благодаря моему влиянию удалось удержать нашу щедрость в известных пределах.

Мои взгляды на экономическую помощь России сложились под впечатлением поездки по Советскому Союзу, которую я совершил вскоре после окончания войны.

Глава 11.

Длинная телеграмма

Еще летом 1944 года я подал заявление в советский МИД с просьбой разрешить мне посетить Западную Сибирь, а в особенности металлургический центр Сталинск - Кузнецк. Этот огромный завод был одной из двух главных строек такого масштаба в 1930-х годах наряду с более известным Магнитогорским заводом. На последнем часто бывали иностранцы, а в Кузнецке гостей с Запада не было уже несколько лет. Я никогда не видел ведущих советских заводов и счел интересным посетить один из них, к тому же такой, на котором иностранцы редко бывают. К тому же мне хотелось увидеть и Сибирь, где в XIX веке побывал мой известный родственник. В течение нескольких месяцев после подачи заявления я не получал ответа из МИД и решил, что мое заявление постигла та же участь, что и многих других, которых советские власти, не желая удовлетворять, предпочитали оставлять без ответа. Весной 1945 года, когда я стал уже забывать об этой бумаге, из МИД пришел ответ, что поездка мне разрешена.

Я отправился в путешествие летом (не помню точной даты). Об этой поездке я составил, по своему обыкновению, подробный рассказ, однако я избавляю читателя от знакомства с ним в полном объеме, так как у меня не сохранилось ни одного экземпляра. До Новосибирска я ехал четверо суток в крайнем купе спального вагона, отделенный от других пассажиров двумя людьми в форме НКВД, которые "случайно" оказались в соседнем купе. Несколько дней я провел в Новосибирске, осматривая достопримечательности этого быстрорастущего сибирского Чикаго. В последний день перед отъездом в Кузнецк меня

пригласили посмотреть один пригородный совхоз. Это хозяйство, где было много скота, содержавшегося в очень хорошем состоянии, расположенное в удивительно красивом месте, произвело на меня довольно приятное впечатление. По окончании экскурсии я хотел пораньше вернуться в город и лечь спать, так как отъезд предстоял рано утром.

Однако меня пригласили на "чай", устроенный в мою честь в саду.

Меня усадили за большой деревянный стол под фруктовыми деревьями, буквально ломившийся от разнообразных кушаний. За столом сидели 20 человек. Мы ели и пили из больших стаканов очень хорошую водку. Праздник затянулся до вечера. Среди хозяев был молодой, энергичный партийный секретарь из Новосибирска, человек, хорошо знавший местную жизнь, явно обладавший большой властью и при этом очень общительный, так что в этом смысле он походил на жителя американского Запада. Он предложил отвезти меня в город на своей машине, и я принял предложение. Оба мы находились в прекрасном настроении и согласились, что ложиться спать сейчас не имеет смысла, а стоит лучше поездить по ночному Новосибирску. Я не очень хорошо помню эту поездку.

Сотрудники НКВД оставили меня в покое, вероятно благодаря моему спутнику. На один вечер я почувствовал себя членом советской государственной элиты. Мы посетили несколько театров, где сидели в правительственных ложах. Помню также, что мы были в цирке, где дама - укротительница - совала голову в пасть льва. Уже под утро мы разбудили какого-то начальника вокзала, и мой спутник обязал его показать мне железнодорожную станцию, по его словам, одну из крупнейших в России, чтобы достойно завершить экскурсию по городу.

В Кузнецке также меня принимали очень хорошо. Мои гостеприимные хозяева постоянно угощали меня разными вкусными вещами, от которых они отвыкли за время войны и которым сами очень радовались. Как и мой друг, партийный работник из Новосибирска, они были настроены радушно и очень дружественно.

Обратно в Москву я возвращался на самолете. Это путешествие заняло три дня, с посадками в Челябинске и Казани. В это время сотрудники НКВД, похоже, потеряли мой след. Возможно, в Новосибирске они мной уже не интересовались, а в Москве еще не успели обратить внимание на то, что я возвращался назад. Я чувствовал себя своим среди других пассажиров, обычных советских людей, не воспринимавших меня как иностранца, и мне казалась особенно абсурдной та изоляция,

которой советские власти в Москве подвергают иностранных граждан. В последний день своего путешествия, сидя в самолете среди русских пассажиров, дружелюбных и приятных людей, я предался размышлениям о проблемах американской помощи России.

Перед этим мы, сотрудники американского посольства, не раз анализировали вопросы, связанные с ленд-лизом, помощью в рамках ЮНРРА, возможностью предоставления крупных кредитов советскому правительству. Русские во время войны перенесли огромные страдания, причем отчасти и ради нашего блага. Положим, мы хотели бы им помочь, но могли ли мы это сделать? Если народ находится под контролем авторитарного режима, враждебно относившегося к США, то, как мне пришло в голову, американцы едва ли могут помочь этим людям, не помогая при этом и режиму. Если будет оказана помощь, например, в виде товаров широкого потребления, то режим обратит это в свою пользу, освободив для иных нужд соответствующее количество ресурсов, которые, не будь этой помощи, были бы направлены в гражданский сектор экономики. Если же оказывать на Россию экономическое давление, чтобы повредить режиму, это затронет и интересы гражданского населения, и режим использует это обстоятельство, чтобы доказать враждебность других стран России и необходимость собственного существования для защиты интересов населения. Таким образом, я пришел к заключению, что нельзя помогать народу, не помогая режиму, как и нельзя причинить вред режиму, не причинив вреда народу. При таких обстоятельствах я счел, что самым мудрым было бы с нашей стороны не помогать и не вредить, предоставив народ самому себе, чтобы он сам решал собственные проблемы.

В послевоенные годы, когда проблема помощи другим странам стала для нас одним из главных предметов дискуссий, я не раз возвращался к этим своим размышлениям, основанным на моем скептицизме в отношении возможностей иностранной помощи вообще, поскольку вмешательство извне, даже в благих целях, могло помешать правильному решению проблем, стоящих перед другими народами.

По окончании войны с Японией посла Гарримана не раз отзывали из Москвы по разным делам. В связи с этим мне во многих случаях приходилось самому представлять доклады непосредственно в Госдепартамент или заниматься американскими визитерами, число которых в советской столице значительна увеличилось.

В сентябре, в отсутствие посла, я встретился с группой наших конгрессменов, желавших видеть Сталина. Я сообщил об этом

советским властям без энтузиазма, поскольку знал, что такие разрешения обычно не даются. В этом случае дело осложнялось тем, что с подобной просьбой почти одновременно обратился и сенатор из Флориды г-н Пеппер. К моему удивлению, однако, на обе встречи были даны разрешения. Я сопровождал обе делегации и играл в обоих случаях роль переводчика.

Я не помню содержания беседы между Сталиным и сенаторами (наверное, его можно узнать из вашингтонских архивов). Однако я запомнил обстоятельства этой встречи, назначенной, помнится, на 8 часов вечера в кабинете Сталина в Кремле. Перед этим, однако, для конгрессменов устроили экскурсию по московскому метро. Я и так хорошо знал метрополитен, поэтому не стал участвовать в экскурсии, а договорился с членами делегации о встрече в центре Москвы в 5.30 вечера. Однако в это время и даже минут через десять никто не явился. Я встревожился и навел справки. Оказалось, что наших конгрессменов на какой-то из станций метро пригласили на "чаепитие". С трудом, через посредников, мне все же удалось собрать их в условленном месте без десяти минут шесть. К своему ужасу, я убедился, что гостеприимные хозяева, подобно тому как это было со мной в Новосибирске, угостили наших конгрессменов не только чаем, но и водкой. Мы поехали в Кремль на двух лимузинах; я сидел на переднем сиденье в одном из них. Когда мы подъезжали к воротам Кремля, я услышал в машине чей-то хриплый голос: "Черт побери, да кто такой этот Сталин? Почему я должен с ним встречаться? Я, пожалуй, выйду". Я знал о проверке всех кандидатур на участие во встрече, о представлении всех паспортов в советский МИД и понимал, что отсутствие хотя бы одного из нас вызовет осложнения. Поэтому я твердо сказал нарушителю спокойствия: "Не выдумывайте! Вы будете сидеть здесь и останетесь со всеми". Однако когда мы уже въехали в Кремль, сопровождаемые двумя машинами с вооруженными людьми, я услышал, как тот же голос произнес: "А что, если я щелкну этого старикана по носу?!" Не помню, что я ответил ему, но никогда в жизни я не говорил с такой серьезностью, как в этом случае. С помощью более трезвых членов нашей делегации мне удалось усмирить нашего товарища, и он во время встречи со Сталиным вел себя прилично.

Это был один из тех эпизодов, которые за время моей дипломатической карьеры развили у меня скептицизм в отношении положительного влияния личных контактов на международные отношения. Конечно, и среди наших конгрессменов были разные люди, в том числе очень опытные и умные, которые могли оказать нам ценную помощь по

возвращении в Вашингтон и чьи советы были полезны нам и во время наших с ними встреч в Москве.

Встреча Сталина с сенатором Пеппером также прошла нормально, хотя и не без некоторых затруднений. Когда я просил об этой встрече, то, естественно, имел в виду, что прошу за государственного деятеля, сенатора и члена одного из сенатских комитетов. Однако он признался мне, что прибыл в Москву для встречи со Сталиным не только как государственный деятель, но и как журналист - для публикации интервью в одной из газет Флориды.

Знай я об этом заранее, просьба о встрече была бы по-другому изложена и прошла бы по другим каналам. Не помню, как все же решили эту проблему, но мне трудно было бы объяснить русским, почему серьезный государственный деятель, обсуждая важные международные проблемы с руководителем зарубежной страны, должен одновременно выступать как репортер коммерческой прессы, тем более что я и сам это не очень хорошо понимал.

* * *

Здесь, пожалуй, уместно сказать два-три слова о Сталине. В 17-й главе своей книги "Россия и Запад при Ленине и Сталине" я уже высказывал свои взгляды о Сталине как государственном деятеле. Здесь пойдет речь о моем впечатлении от его личности.

Он был человеком невысокого роста, ни полным, ни худощавым (скорее уж второе). Великоватый китель, который носил Сталин, возможно, компенсировал недостаточную представительность его внешнего облика. Волевое лицо этого человека, несмотря на грубоватые черты, казалось даже привлекательным. Желтые глаза, усы, слегка топорщившиеся, оспинки на щеках придавали ему сходство со старым тигром, покрытым шрамами. Сталин был прост в обращении и выглядел спокойным и хладнокровным. Он не стремился к внешним эффектам, был немногословен, но слова его звучали веско и убедительно. Неподготовленный гость мог не догадаться, какая бездна расчетливости, властолюбия, жестокости и хитрости скрывалась за этим непритязательным внешним обликом.

Великое умение притворяться - часть его великого искусства управлять. В творческом смысле Сталин не был оригинален, зато он являлся превосходным учеником. Он был удивительно наблюдателен и (в той мере, в какой это соответствовало его целям) удивительно восприимчив. Дьявольское искусство тактика производило большое впечатление на собеседников. Пожалуй, наш век не знал более великого тактика, чем он. Его хорошо разыгранное хладнокровие и непритязательность были только

ходом в его тактической игре, продуманной, как у настоящего шахматного гроссмейстера. Мои коллеги, встречавшиеся со Сталиным чаще меня, рассказывали, что видели, как его желтые глаза вспыхивали от гнева, когда кто-то из его несчастных подчиненных попадался ему под горячую руку, или слышали, как он высмеивал кого-то из подчиненных во время приемов, произнося свои злые, насмешливые тосты. Сам я не был свидетелем всего этого. Но к тому времени, когда я впервые лично увидел Сталина, я уже достаточно долго жил в России и знал о нем немало. Я не сомневался, что передо мной один из самых удивительных людей в мире, что он жесток, беспощаден, циничен, коварен, чрезвычайно опасен, и вместе с тем один из подлинно великих людей своего века{31}.

Сразу же после того приема у Сталина я получил возможность ненадолго посетить Финляндию, где надеялся ненадолго отдохнуть от груза политических проблем. Я привожу отрывки из своего дневника, касавшиеся этого путешествия. Может быть, в них мне удалось передать чувство облегчения, которое испытывает каждый тонко чувствующий житель Запада, когда покидает Россию с ее напряженным политическим климатом и оказывается в более привычной и надежной атмосфере западной страны. Я уверен, что это чувство контраста между российской и нероссийской реальностью присуще всякому европейцу или американцу, живущему в России, даже если он этого не осознает, и оно не может не влиять на его отношение ко многим политическим проблемам. Обращаюсь к своему дневнику:

"6 сентября 1945 года

Единственным моим спутником-иностранцем оказался какой-то хмурый мексиканец, говоривший по-английски с техасским акцентом. Автобус, который должен был отвезти нас на вокзал, почему-то уехал без нас. К удивлению и огорчению нашего гида, девушки из "Интуриста", долгое время мы находились на площади перед гостиницей, ожидая, когда приедут за нами. У тротуара стоял какой-то пустой автобус, явно не наш. Пьяный солдат подошел к этому автобусу и стал колотить в закрытую дверь, а потом спросил у швейцара, когда будет отправление. "Это не ваш автобус, - ответил швейцар. - Куда вам ехать?" "На запад", - сказал солдат. В это время снова пришла наша девушка из "Интуриста" и увела нас в вестибюль гостиницы, где мы стали ждать, пока прибудет нужный нам автобус.

7 сентября 1945 года

Когда я проснулся на следующее утро, мы проезжали через разрушенный и пустынный Выборг. Лучи утреннего солнца, пробивавшиеся сквозь тучи, освещали руины зданий. В

разрушенном порту также не было ни души. Но море оставалось прекрасным, словно не существовало всех этих свидетельств разрушительной мощи человека. Выехав из Выборга, мы продолжали нашу поездку по этому опустошенному и заброшенному краю.

Примерно через час наш поезд пересек теперешнюю советско-финскую границу и остановился на первой финской станции. Здесь царили порядок и чистота: новое деревянное здание вокзала, выстроенное просто и со вкусом; на чистой, недавно отремонтированной платформе стоял свежевыкрашенный газетный киоск. Однако народу на станции почти не было, и продуктов никто не продавал. Русский паровоз уехал, и наш спальный вагон вместе с двумя вагонами, в которых ехали русские, направлявшиеся на новую военно-морскую базу в Порккала-Удд, остались на вокзале в ожидании финского локомотива. Лица русских пассажиров выражали то же стоическое терпение, которое написано на лицах пассажиров во всем обширном меланхолическом русском мире. По запасным путям ехали товарные поезда, в которых в Россию везли финские товары в качестве репараций.

Перрон по-прежнему почти пустовал. Молодой финн-стрелочник с плохо скрываемой ненавистью смотрел на русских пассажиров, сидевших в своих вагонах. К станции подъехала на телеге семья финских крестьян. Вполне возможно, сами эти люди недоедали, но их лошадь, сытая и резвая, отличалась живостью, не свойственной лошадям в России. На всем здесь лежала печать порядка и размеренности, свойственных буржуазной цивилизации, что всегда производит особенное впечатление на человека, отвыкшего от подобной среды.

Наконец появился финский поезд, к которому прицепили наши вагоны, и мы поехали вперед через лес, со скоростью, казавшейся удивительной после тяжелого, медленного хода русских поездов. В поезде теперь имелся хороший вагон-ресторан, а пассажиры были дружелюбными и чуждыми подозрительности. Целый день мы ехали по красивой северной стране, за окнами вагона леса сменялись озерами, фермами и пастбищами.

Русские пассажиры смотрели на все окружающее с выражением равнодушия или неодобрения. К вечеру мы приехали в Хельсинки".

* * *

Следует вспомнить, что Потсдамская конференция приняла решение создать Совет министров иностранных дел (СМИД) из представителей пяти ведущих держав, воевавших с Германией и Японией. В качестве одной из первых своих задач этот совет

должен был выработать мирные договоры с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. На первом же заседании СМИД в Лондоне в сентябре 1945 года возникли распри по процедурным вопросам, отражавшим более глубокие разногласия, прежде всего по вопросу об оценке правительств, созданных под русским давлением в Восточной Европе. Чтобы разрешить противоречия, приняли предложение американцев о встрече Большой тройки, и в декабре того же года в Москве встретились три министра иностранных дел Молотов, Бевин и Бирнс. Скажу откровенно, я воспринял эту встречу с таким же чувством скептицизма и отчуждения, как и другие встречи глав правительств. Я не верил в возможность добиться каких-то демократических решений в условиях откровенного сталинского господства в Восточной Европе. Я никогда прежде не встречался с мистером Бирнсом и не общался с ним. Я не находил смысла в попытках спасти все, что еще осталось от Ялтинской декларации об освобождении Европы. По моему мнению, не имело никакого смысла также участие некоммунистических министров в правительствах ряда восточноевропейских стран, находившихся под полным советским контролем. А потому для меня было совершенно абсурдным сохранение видимости трехстороннего единства. Отсюда чувство бессмысленности моих собственных действий по выполнению поручений, связанных с визитом нашего госсекретаря в Москву в декабре первого послевоенного года. Но некоторые мои дневниковые записи могут представлять известный интерес, как выражение атмосферы того времени и моих тогдашних впечатлений:

"14 декабря 1945 года

Этот день был беспокойным. Мы ожидали прибытия госсекретаря. Однако из-за страшной метели, как нам сообщили советские метеорологи, аэропорты не принимали самолетов. Около полудня кто-то из работников МИД сообщил нам, что самолет госсекретаря час назад вылетел из Берлина. Однако военные и работники аэропорта об этом ничего не знали. В 1.30 пришел Аткинсон и сказал, что ему сейчас сообщили из английского посольства, будто самолет повернул обратно на Берлин. Решив, что так оно и есть, я отправился обедать. А когда вернулся, то застал одного из наших атташе, беседовавшего по телефону с растерянным представителем МИД, который утверждал, что самолет госсекретаря вот-вот должен приземлиться в центральном военном аэропорту. Мне сообщили, что наш посол отправился в какой-то аэропорт, в 20 милях к югу от столицы, так как слышал, будто госсекретарь прибудет именно туда. Мы с Горасом Смитом сели в машину и отправились в

центральный военный аэропорт. На улице бушевала метель и видимость была скверной. Однако когда мы добрались до аэродрома, там уже стояло несколько русских автомобилей. Нас провели в какое-то служебное помещение. Через несколько минут мы услышали гул моторов и увидели четырехмоторный самолет, пролетевший над зданием, в котором мы находились. Мы побежали на летное поле. Метель улеглась, и видимость улучшилась. Мы увидели Деканосова, одного из заместителей министра иностранных дел, вышедшего встречать самолет с каким-то подручным, в сопровождении эскорта сотрудников НКВД. Самолет, каким-то образом все же приземлившийся, проехав по летному полю, остановился почти рядом с нами. Госсекретарь, в легкой куртке и легких ботинках, стоя в глубоком снегу, произнес в микрофон приветственную речь под вой ветра. После этого я усадил его в машину вместе с Коэном и военным атташе и тут же отвез в резиденцию посла, где его дочь угостила их обедом. Я же вернулся в канцелярию, чтобы заняться бумагами.

19 декабря 1945 года

Сегодня посол пригласил меня на конференцию. К сожалению, все заседание состояло из двух кратких совещаний, минут по десять каждое.

По лицу Бевина (министр иностранных дел Англии) было ясно видно, что ему глубоко неприятно все происходящее. Насколько мне известно, он и вовсе не хотел приезжать в Москву, понимая, что из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Зная о его позиции, русские старались, насколько возможно, извлечь из этого свою выгоду. Что касается Бирнса, то он заслужил у англичан репутацию человека, пренебрегавшего их интересами и англоамериканскими отношениями вообще. Идея этой встречи целиком принадлежала ему, и он решил этот вопрос с русскими, вовсе не посоветовавшись с англичанами. Кроме того, госсекретарь передал русским доклад Марка Этриджа, которого он посылал со специальной миссией в Румынию и Болгарию, но не передал этого доклада в посольство Англии. Наконец, Бирнс в Москве представил русским доклад, касавшийся атомной энергии, без консультаций с Англией и Канадой, которые наряду с США были заинтересованы в секретности работ такого рода. Когда же Бевин возразил против этого намерения, Бирнс дал ему всего два дня, чтобы сообщить об этом документе в Лондон и получить согласие английского правительства. Однако еще до истечения этого срока, вечером, накануне сегодняшнего заседания, Бирнс передал документ русским, не сказав ни слова англичанам. Бевин счел это вероломством и пришел в ярость.

По лицу Молотова, председательствовавшего на заседании, было видно, что он не скрывает чувства удовлетворения, поскольку знает о разногласиях между двумя другими министрами иностранных дел и понимает, что им трудно противостоять усилиям русской дипломатии. Он походил на азартного игрока, знавшего, что переиграет своих соперников. Это был единственный человек, получавший удовольствие от происходившего.

Я сидел позади Бирнса и не видел его лица. Я знал, что в этой игре он участвует без определенного плана и цели. Его слабость во время этих переговоров с русскими я усматривал в том, что ему нужно было просто достигнуть с ними какого-либо соглашения. Реальное содержание такого соглашения, по моему убеждению, мало интересовало Бирнса, поскольку оно касалось румын, корейцев или иранцев, о которых он ничего не знал. Его интересовал лишь политический эффект, который соглашение произведет в нашей стране, и русские знали это. За поверхностный успех своей миссии он был готов заплатить реальными уступками.

После заседания я отправился домой ужинать вместе с Мэтьюсом, а также моим коллегой из английского посольства Робертсом и его женой. Мэтьюс был в подавленном настроении, и мы пытались его развеселить. Тем, кто впервые попадал в Советский Союз, как он, всегда надо помочь приспособиться к новой обстановке.

21 декабря 1945 года

Утром говорил с болгарским министром (иностранных дел). Он начал порицать оппозицию за отказ от участия в выборах, сказав, что этим они сами исключили себя из участия в политической жизни страны. Я раздраженно заметил, что нас, американцев, занимают не вопросы представительства в парламенте и т. п., а то, что у них правящий режим полицейскими мерами подавляет права и свободы граждан, а в этой ситуации, по нашему убеждению, подлинная демократия невозможна. После этого он признал, что коммунисты представляют меньшинство населения, но указал, что очень желательно поскорее заключить мир и вывести русские войска из страны.

22 декабря 1945 года

Собирался спокойно провести вечер выходного дня, но пришел Пейдж и сказал, что послу требуется меморандум для госсекретаря по вопросу об экономическом положении Венгрии. Пришлось идти в канцелярию и работать до трех часов ночи вместе со Смитом.

23 декабря 1945 года

Утром я закончил работу над меморандумом, после чего отправился в резиденцию посла, чтобы организовать обед, на котором присутствовали Бевин и Молотов. Бевин удивил американцев и озадачил русских своим неформальным поведением. Например, когда предложили тост за короля, Бевин с юмором добавил: "И за остальных докеров" - и тут же рассказал какой-то анекдот, чтобы объяснить свою реплику. Молотов ушел сразу же по окончании обеда. Потом госсекретарь и посол занялись работой. Меморандум об экономическом положении Венгрии им так и не понадобился.

В тот же вечер в Большом театре специально для высоких иностранных гостей давали "Золушку". Я решил, что мы с Аннелизой должны быть там, и я взял два последних билета из поступивших в посольство. Когда мы приехали туда, театр был полон. В правительственной ложе пустовали места для гостей, а Молотов и его помощники ожидали их в фойе. Я поднялся в ложу, где сидели помощник и личный секретарь посла. Прождав еще около четверти часа, я с улыбкой заметил, обращаясь к секретарю посла, что наш госсекретарь, должно быть, просто забыл прийти в театр. "О нет, - ответил тот, - просто они сидят в посольстве у Гарримана, выпивают, рассказывают разные истории, и никто не решается их прервать". Я выскочил из ложи и побежал вниз, в комнату администратора, чтобы позвонить оттуда. Телефон был, к сожалению, занят, а когда он освободился и я уже собирался звонить в посольство, ко мне подошел человек в отличном синем костюме, похожем на те, которые носили сотрудники органов безопасности, и, едва заметно улыбнувшись, сказал: "Они только что выехали". Я вернулся в ложу, а через пять минут действительно появился мистер Бирнс, заставив ждать около получаса 5 тысяч человек, в том числе нескольких членов правительственной ложи.

Представление действительно было первоклассным, одним из лучших, на которых мне доводилось присутствовать, но публика держалась несколько напряженно. Я понял, что Сталин находится где-то в театре, хотя и не в правительственной ложе. Поэтому публика (кроме дипломатического корпуса), должно быть, состояла в основном из сотрудников органов безопасности, а они, я полагаю, боялись, что проявление излишнего восторга по поводу спектакля может выглядеть как отвлечение от выполнения их прямых обязанностей".

Одна из аксиом дипломатии состоит в том, что тактика и методика в ней не менее важны, чем стратегия и общая концепция. За 18 месяцев службы в Москве я испытывал неприятные эмоции не только из-за наивности идей, которые

лежали в основе наших отношений с советским правительством, но и из-за тех неправильных методов, которыми мы пользовались для достижения целей. Оба указанных аспекта нашей дипломатии были, конечно, взаимосвязаны. Методика была следствием нашей концепции взаимоотношений, но заслуживала внимания и сама по себе. Кажется, именно после визита в Москву госсекретаря Бирнса я почувствовал, что мое терпение кончилось, и я решил снова, как это не раз делал прежде, взяться за перо, чтобы изложить свои взгляды на этот вопрос. Я начал писать новый доклад, посвященный некоторым специфическим аспектам советско-американских отношений, который так и остался незаконченным. (Возможно, закончить его мне помешала большая телеграмма, о которой я расскажу особо.) Этому моему неоконченному труду так и не нашлось никакого применения. Отрывок из него я включил в приложение к данной книге под названием "США и Россия". Это сочинение представляет собой первую (насколько мне известно) попытку составить свод полезных правил для всех тех, кто имеет дело со сталинским режимом.

Я предварил эти правила анализом механизма принятия решений в СССР и объяснил, что на советских участников переговоров можно, по моему убеждению, повлиять, только указав, какое значение то или иное предложение может иметь для интересов их режима. Затем я изложил сами эти правила, исходя, повторяю, из особенностей сталинского режима, как единственного российского режима, с которым я лично имел дело. Полный текст можно найти в приложении. Вот к чему сводились эти основные положения.

1. Не ведите себя с ними (русскими) дружелюбно.

2. Не говорите с ними об общности целей, которых в действительности не существует.

3. Не делайте необоснованных жестов доброй воли.

4. Не обращайтесь к русским ни с какими запросами иначе, как дав понять, что вы на практике выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.

5. Ставьте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы русские несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.

6. Не поощряйте обмена мнениями с русскими на высшем уровне, если инициатива не исходит с их стороны по крайней мере на 50 процентов.

7. Не бойтесь использовать "тяжелое вооружение" даже по проблемам, казалось бы, меньшей важности.

8. Не бойтесь публичного обсуждения серьезных разногласий.

9. Все наши правительственные, а также частные отношения с Россией, на которые может повлиять правительство, следует координировать с нашей политикой в целом.

10. Следует укреплять, расширять и поддерживать уровень нашего представительства в России.

У человека, изучающего советско-американские отношения, который прочтет сегодня эти правила, возникнет, конечно, два вопроса: во-первых, применялись ли эти правила в последующие годы и продолжают ли они применяться сегодня; во-вторых, применимы ли они вообще в наши дни, когда Сталина уже нет и в мире произошло столько изменений. На оба эти вопроса я отвечу: "только частично". Но пояснить этот ответ более подробно значило бы забегать вперед.

В середине февраля 1946 года я простудился и заболел, причем болезнь протекала с высокой температурой и сопровождалась воспалением верхнечелюстных пазух и зубной болью. К этому следует добавить осложнение от применения лекарств. Посол снова отсутствовал - он уже готовился покинуть свой пост, а я опять замещал его. В таких условиях, конечно, я очень тяготился своими повседневными обязанностями.

Как раз в это время пришла одна официальная бумага, снова вызвавшая у меня отчаяние, но на этот раз причиной тому было не советское правительство, а наше собственное. Из Вашингтона поступила телеграмма с сообщением, что русские отказываются следовать рекомендациям Всемирного банка и Международного валютного фонда. Телеграмма, очевидно, была инспирирована нашим министерством финансов. У меня сложилось впечатление, что никто в Вашингтоне не был так наивен в своих надеждах на сотрудничество с Россией, как наши финансисты. Теперь они, похоже, поняли свое заблуждение, и послание из Вашингтона просто отразило жалобу, с которой, вероятно, обратилось в Белый дом наше министерство финансов.

Чем больше я раздумывал над этим посланием, тем больше понимал, что это именно то, что мне нужно. Полтора года я пытался разъяснить разным людям, в чем состоит феномен московского режима, с которым мы здесь, в американском посольстве, сталкивались постоянно. До сих пор я обращался в Вашингтон, будто к каменной стене. Теперь вдруг они заинтересовались моим мнением по этому вопросу. Учитывая то обстоятельство, что я замещал посла, подобное обращение ко мне было естественным, но его обстоятельства, безусловно, являлись необычными.

Я понимал, что для ответа на поставленный вопрос недостаточно просто изложить мои познания о взгляде советских

властей на Всемирный банк и Международный валютный фонд. В Вашингтоне должны были узнать всю правду об этом вопросе. Поэтому я, поскольку мне трудно было в то время писать самому, обратился к моей опытной и многострадальной секретарше мисс Хессман и составил телеграмму из восьми тысяч слов для отправки в Вашингтон. Подобно речи протестантского проповедника в XVIII веке, эта телеграмма делилась на пять частей:

основные черты советской послевоенной политики;

корни этой политики;

официальные аспекты ее проведения;

неофициальные аспекты ее проведения (через различные политические организации и подставных лиц);

значение всего этого для американской политики.

Свое злоупотребление каналом телеграфной связи я оправдывал ссылками на то, что в телеграмме из Вашингтона поставлены вопросы столь сложные, запутанные и деликатные, что на них невозможно ответить кратко, не рискуя впасть в чрезмерное упрощение. Текст этого документа воспроизводится в приложении, и я не буду пытаться привести здесь его краткое изложение. Я сам теперь перечитываю это свое послание с изумлением, поскольку оно очень напоминает появившиеся позже сочинения разных комиссий конгресса, озабоченных предостережением наших граждан против коммунистического заговора. Этот факт также требует объяснений, но об этом будет сказано ниже.

Не будет преувеличением сказать, что этот мой трактат вызвал тогда в Вашингтоне сенсацию. Наконец-то мое обращение к нашему правительству вызвало резонанс, который длился несколько месяцев. Президент, я полагаю, прочел мою телеграмму. Военно-морской министр мистер Форрестол{32} даже ознакомил с ней сотни наших высших и старших офицеров. Из Госдепартамента также пришел положительный ответ. Моему одиночеству в официальном мире был положен конец, по крайней мере на два-три года.

Полгода назад подобное послание вызвало бы в Госдепартаменте недоумение и неприятие. Оно показалось бы чем-то излишним, подобно проповеди, адресованной людям, и так твердым в вере. Все это доказывает, по моему убеждению, что для Вашингтона играет роль не столько реальность сама по себе, сколько готовность или неготовность ее принять. Возможно, это естественно и вполне объяснимо. Однако встает вопрос, занимавший меня на протяжении целого ряда лет: зачем подобному правительству предаваться иллюзиям, будто оно

способно проводить зрелую и обоснованную внешнюю политику? С годами я все больше и больше убеждался в том, что это закономерный вопрос.

Завершая описание своей службы в Москве в послевоенные месяцы, я хочу упомянуть еще об одном очень серьезном деле, которое омрачило этот период моей работы.

Читатель, возможно, заметил, что во всей структуре моих идей, касавшихся сталинской России, и тех проблем, которые этот феномен создавал для американских политиков, до сих пор почти не находила места проблема ядерного оружия. Те из нас, кто служил в Москве в 1945 - 1946 годах, конечно, знали о его существовании и применении в Японии. Но я не помню, чтобы эти знания как-то влияли, например, на мою концепцию наших взаимоотношений с Советским Союзом. Я не видел возможности, чтобы такого рода оружие могло сыграть положительную роль в наших взаимоотношениях с СССР.

В своих бумагах того времени я могу найти только один документ на эту тему, выдержанный в негативном тоне и отражающий мое опасение, что и в этом вопросе мы будем руководствоваться стремлением оказать любезность советскому режиму, которое, как мне казалось, вдохновляло всю нашу внешнюю политику того времени. Я воспроизвожу этот документ в полном виде, потому что это дискуссионный вопрос, способный вызвать ряд серьезных критических замечаний, и мне нужно изложить свои взгляды по этой проблеме.

Это мое послание в Вашингтон, датированное 30 сентября 1945 года. Я не помню, чем было вызвано его появление. Возможно, тем, что некоторые из наших руководителей в Вашингтоне считали нужным, в качестве знака доброй воли, предоставить Москве полную информацию об этом новом оружии и методах его производства. Вот что я написал:

"Я, как человек, имеющий примерно 11-летний опыт работы в России, категорически заявляю, что было бы весьма опасно для нас, если бы русские освоили атомную энергию, как и любые другие радикальные средства разрушения дальнего действия, против которых мы могли бы оказаться беззащитными, если бы нас застали врасплох. В истории советского режима не было ничего такого, я это подчеркиваю, что дало бы нам основания полагать, что люди, находящиеся у власти в России сейчас или будут находиться у власти в обозримом будущем, не применят, без всяких колебаний, эти мощные средства против нас, коль скоро они придут к выводу, что это необходимо для укрепления их власти в мире. Это остается справедливым независимо от того, каким способом может советское правительство овладеть такого

рода силой - путем ли собственных научно-технических исследований, с помощью ли шпионажа или же вследствие того, что такие знания будут им сообщены, как жест доброй воли и выражения доверия. Считать, что Советы..."

(Здесь текст документа обрывается. - Дж. К.)

Часть вторая

Я глубоко убежден в том, что передача советскому правительству каких-либо сведений, имеющих важное значение для обороны Соединенных Штатов, без получения соответствующих гарантий возможного контроля за их использованием Советским Союзом, может нанести существенный урон жизненно важным интересам нашего народа. Надеюсь, что Госдепартамент учтет это и внесет на рассмотрение наряду с другими проблемами в комитеты нашего правительства, несущие за них ответственность.

Вполне осознаю, что у прочитавшего эти строки может возникнуть и противоположное мнение - в какой-то определенной части или даже опосредованно, поскольку в Вашингтоне имеется достаточное число здравомыслящих и смотрящих на далекую перспективу людей. Готов согласиться с тем, что окончательный вывод по этому вопросу будет являться результатом симбиоза знаний и размышлений и отразит честную и серьезную реакцию на полученную информацию. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, вряд ли стал вообще писать об этом. Если бы я знал, сколь глубокой и ужасной была эта проблема, с которой я случайно ознакомился, к каким философским размышлениям она ведет и какими могут быть ответы на возникшие вопросы, а также степень неготовности всех нас к их восприятию, тяжесть на моей душе была бы еще большей с учетом той наивности в отношении могущества Сталина, которую мы испытывали в годы войны.

Глава 12.

Национальный военный колледж

Длинная телеграмма из Москвы изменила мою дальнейшую жизнь. Мое имя стало известным в Вашингтоне. Меня стали рассматривать в качестве кандидата на должность, резко отличавшуюся от той, которую я тогда занимал. В апреле 1946 года меня отозвали в Вашингтон и направили во вновь открытый национальный военный колледж в качестве инструктора-инспектора по вопросам международных отношений. Это заведение, рассматривавшееся как высшее по отношению к ряду существовавших до того учебных заведений среднего звена в Вооруженных силах США, в том году открыло свои двери для слушателей из числа офицерского состава. Что же касалось моего положения, то меня назначили одним из трех заместителей

начальника колледжа. В мою задачу входили организация и проведение занятий по политическим аспектам военно-политического курса.

В Вашингтон мы попали в конце мая. Весь июнь и июль занимались подготовкой и составлением программ и учебного плана обучения слушателей колледжа. В конце июля и начале августа я провел несколько лекций, получив указание от Госдепартамента, по Среднему Западу и западному побережью, охватив Чикаго, Милуоки, Сиэтл, Портленд, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Это было, по сути дела, моим первым опытом публичного выступления (и конечно же не последним). Затем я прочитал лекции по истории России, упомянув и о своем интернировании в Бад-Наухайме, когда находился в Германии. До этого мне, правда, приходилось выступать раза два перед небольшими аудиториями, сильно нервничая и мямля. Да и размах был, конечно, не тот. По своей неопытности я не готовил письменного текста своих выступлений, полагаясь на несколько цифр и фактов да на свою память. Поэтому я подчас не знал, о чем следует говорить. Как бы то ни было, лекции мои носили спонтанный характер и проходили за счет энтузиазма, будучи не очень-то логично связанными. Аудитория, однако, слушала мои сентенции со вниманием и пониманием. И реакция слушателей меня иногда даже удивляла. Вспоминаю, как на званом завтраке какой-то лиги борьбы за женских избирателей (или что-то в этом роде) в моем родном городе Милуоки священник, сидевший совсем рядом и смотревший на меня с улыбкой, подошел ко мне после выступления, пожал руку и сказал: "Сын мой, вы зря потеряли свое призвание".

Аудитории в своей готовности или способности понимать то, о чем я говорил, различались значительно. Самой лучшей аудиторией были бизнесмены, настроенные весьма скептически и критически, но слушавшие внимательно, погруженные в размышления и воспринимавшие мои слова диалектически, что позволяло мне видеть перед собой противника и вызывало желание разгромить его. В результате этого возникало понимание, что весьма серьезный советско-американский антагонизм можно устранить и не прибегая к войне. Наиболее трудной для меня являлась академическая аудитория, и не только из-за своей враждебности, а скорее из-за неготовности к восприятию того, о чем я говорил, и обеспокоенности за положение дел в этой области. Об их отношении к излагаемым проблемам я написал потом одному из официальных представителей Госдепартамента, который устроил нашу встречу.

Я отмечал, в частности, что у них преобладает нечто вроде интеллектуального снобизма и претенциозности, подозрительности и сдержанности, а также инстинкта осторожности, которые обыкновенно перерастают в коллегиальность как либерального, так и консервативного толка... К ним следует добавить еще два обстоятельства, которые еще более усложняли дело. Одним из них являлось предубеждение против самого Госдепартамента, другим - чувство географической изоляции, предполагавшее, что Восток совместно с Госдепартаментом относятся свысока к западному побережью, пренебрегая мудростью и проницательностью, обычно присущими центру... С этим связаны определенный невроз и обида, что все важнейшие дела происходили на Востоке, а район Тихого океана оставался не столь важным, как Атлантика. Это, несомненно, играло значительную роль при рассмотрении вопросов о России, поскольку я видел, что многие из моих слушателей рассматривали "коллаборацию" (сотрудничество) с Россией как возможность повышения роли и значимости именно этого района. Они возлагали большие надежды на развитие связей через Тихий океан между западным побережьем Штатов и... Сибирью. Всю вину за то, что эти надежды не были материализованы, они возлагали на Госдепартамент.

Я не мог отделаться от впечатления, что мнение академиков с западного побережья разделяло значительное число людей, если и не непосредственно членов коммунистической партии, то явно находившихся под ее влиянием. Полагаю, что именно мое недавнее пребывание в Москве позволило мне тогда разобраться в сложившейся ситуации, поскольку у меня уже выработалась привычка беспокоиться за интересы и безопасность государства.

Не испытывая более никаких сомнений, я написал в Госдепартамент, что каждое сказанное мной слово будет еще до наступления следующего дня известно советскому консулу. В этом нет ничего опасного, и я не стал бы ничего изменять в том, что говорил. Однако если Госдепартамент намерен послать туда своих представителей для разговоров на конфиденциальные темы, то целесообразно предварительно проверить тех, кого будут приглашать на такие встречи.

Ученые, занимавшиеся атомными проблемами и входившие в группу научно-исследовательского центра в Беркли, беспокоили меня в первую очередь.

"То, как они относились к интересующему нас вопросу, - писал я, - точно мне неизвестно. Но как представляется, они одобрительно восприняли предложение Баруха о создании международной комиссии по атомной энергетике и выразили

уверенность, что все будет хорошо, если им удастся показать советским ученым истинный характер атомного оружия. Как я думаю, они вряд ли понимали, что осознание характера огромной разрушительной силы атомного оружия заставит русских не активно включиться в международное сотрудничество, а, скорее всего, побудит их к поиску путей использования этой мощи в своих целях, не подвергая себя реальной опасности. В политическом плане эти люди соображали не более чем 6-летние дети. Пытаясь разъяснить им характер вещей, я чувствовал себя подобно человеку, бесполезно толковавшему о чистых идеалах молодежи, принимавшей все в штыки. Для них характерно, что они не верили в то, что я говорил и пытался доказать. Ими, как я полагал, владела убежденность: если и есть какой-то дьявол на земле, то он сидит в Госдепартаменте, который ничего не хочет понимать..."

Перечитывая эти строки, мне подумалось, что у читателя могло возникнуть предположение о моем намерении стать постоянным консультантом сенатора Джо Маккарти. Чтобы развеять это мнение и показать, что такое суждение о коммунизме было не только у меня одного, приведу несколько замечаний, когда-то сделанных в ходе подготовки к моему выступлению в университете Виргинии месяцев через шесть после моих писем в Госдепартамент.

Я отрицательно относился, в частности, к тому истерическому проявлению антикоммунизма, которое в нашей стране принимало все более широкий размах. Полагаю, что это связано с непроведением различия между несомненно прогрессивной социальной доктриной, с одной стороны, и чуждой нам политической машиной, злоупотреблявшей и присваивавшей себе лозунги социализма, - с другой. Я далеко не коммунист, но признавал, что в теории советского коммунизма (заметьте: в теории, а не на практике) имелись определенные элементы, являвшиеся, вне всякого сомнения, идеями будущего. Отрицать хорошее вместе с плохим - все равно что выплеснуть ребенка из ванночки одновременно с водой и, следовательно, оказаться в ложном положении на определенной странице истории.

...Исходя из этого, возвращаюсь к вопросу о необходимости подхода к проблеме России и коммунизма в целом весьма хладнокровно, софистически, очень хорошо все обдумав и взвесив.

Как уже отмечалось, я не готовил письменных текстов своих выступлений, разъезжая по стране с лекциями летом 1946 года. Но по возвращении домой я записывал кратко - делая своеобразную стенограмму - то, о чем говорил. Такую запись я

сделал и после встречи с Ливелин Томпсон - еще до выступления перед сотрудниками Госдепартамента 17 сентября 1946 года. Там я тоже говорил без предварительно написанного текста, но, судя по моей последующей стенограмме, в речи моей содержалось все то, о чем я упоминал в самых различных аудиториях страны.

А начал я с раскрытия определенной двойственности политических лидеров, с которыми мы встречались в Москве. Некоторые из них вызывали симпатию и в определенной степени наше восхищение, о других же этого сказать было нельзя. У первых проявлялась большая приверженность к идее и принципам, говорили они со спартанской прямотой, проявляя неподдельный интерес к Западу и желание поближе познакомиться с нами и обменяться мыслями и идеями. У них отмечалась смесь гордости и стыда за Россию и ее отсталость, что было для нас вполне понятным. Другая же группа отличалась болезненным самомнением, а в искренности того, о чем они говорили, приходилось сомневаться. И мы приходили к выводу, что их высказывания преследовали вполне определенную цель. Для нас было ясно, что в своей политике нам следовало принимать во внимание обе эти группы - с тем чтобы "поощрять и не вызывать антагонизма у одних, дискредитируя в то же время других".

С несговорчивыми же и непокладистыми можно разговаривать только с позиции военной мощи и политической силы.

Я не думаю, что мы могли влиять на них (советских лидеров), пытаясь убеждать их, приводя соответствующие аргументы и доводы типа: "Вот каковыми должны быть последующие шаги" и т. п. Не думаю, что это вообще возможно, тем более что некоторые попытки в этом плане уже предпринимались... Не считаю также, что наша политика не должна быть честной... но обязательно адекватной при любых изменениях ситуации... Полагаю, что нам следовало проводить свою линию, не надеясь, что они задумаются и скажут: "Черт побери, мы об этом раньше как-то не подумали. Придется изменить свою политику"... Нет, это люди не того сорта.

Я не имел в виду, что они вообще не слышат и не понимают того, что им говорится. Они просто этого не признают.

Когда вы разговариваете с каким-либо фанатиком, то у него, несомненно, возникает мысль: "Этот парень говорит о вещах абсолютно неверных, он пытается воздействовать на меня интеллектуально, поэтому моя задача состоит в том, чтобы устоять и противодействовать этим попыткам".

Считаю, что поведение советских лидеров могло измениться

только в том случае, если бы логика развития событий показала им, что отрицание сотрудничества с нами приведет к негативным последствиям для России, а более мягкая и гибкая политика дала бы неоспоримые преимущества. Коли нам удастся поставить их в такое положение, что им будет невыгодно выступать против принципов Организации Объединенных Наций и нашей политики, зная, что для них всегда широко открыта дверь и отчетливо указана дорога к сотрудничеству и мы при этом сумеем овладеть ситуацией, сохранив хладнокровие и нервы, не применив провокационных действий, но показав свою силу и твердость, без угроз и излишнего шума, то я лично уверен: они не смогут противостоять этому... и рано или поздно логика мышления возьмет верх в их правительстве и принудит их к изменению своей политики.

Здесь необходимо предупредить читателей о том, что этот взвешенный оптимизм не означал ликвидации в ближайшее время "железного занавеса", которая, однако, должна произойти еще при жизни нашего поколения. Думаю, что он все-таки - временное явление.

Полагаю, что, несмотря на значительную отсталость России и ее особенности, близость ее к Востоку и сложное отношение - от любви до ненависти - к Западу при боязни, что Запад окажется сильнее и попробует воспользоваться этим, несмотря на бедность и нищету... она сможет нас все же кое-чему научить и не упустит этого.

"Железный занавес" опущен, но если мы будем вести себя правильно, то сможем через определенное историческое время - лет через 5 - 10 - иметь гораздо лучшие отношения с русскими, чем ныне, в нормальных, спокойных условиях, когда люди не будут обеспокоены нынешними трудностями.

Советские лидеры в конце концов не намерены в настоящий момент вести с нами открытые переговоры. В этом я был уверен. Но мировое общественное мнение находилось на нашей стороне. К тому же мы обладали мощной силой, определявшей наше преимущество, которое позволило нам сдерживать их в течение длительного времени как в военном, так и политическом плане - при условии проведения взвешенной и мудрой политики и отсутствии провокаций.

По целому ряду причин я подчеркнул слово "сдерживать". Читатель, видимо, отметил, что использовал я его за несколько месяцев до того, как оказался в положении человека, способного в какой-то степени влиять на правительственную политику, как генерал Маршалл стал государственным секретарем еще до того, как сам я стал вхож в круги вашингтонской администрации.

Месяцы, проведенные мной в военном колледже, были весьма насыщенными. Жили мы тогда благодаря любезному вмешательству генерала Эйзенхауэра в одном из генеральских домов, вытянувшихся цепочкой на западной стороне форта Макейра, расположенного в юго-восточной части Вашингтона. Тыльная сторона дома выходила на Вашингтонский канал и реку Потомак. Отеческая забота армии, оплачивавшей аренду дома, обеспечивавшей транспортом и оказывавшей тысячу других мелких услуг, была приятной и придавала уверенность. Более того, мы впервые оказались совсем неподалеку от нашей пенсильванской фермы. Жизненной энергии, как и энтузиазма, у меня тогда хватало, чтобы заниматься сельскохозяйственными делами для поправки своего благосостояния. На ферму мы отправлялись практически в конце каждой недели, выезжая в пятницу после обеда и следуя по прекрасному ландшафту северного Мэриленда, примыкавшего к южной Пенсильвании. В эмоциональном плане такие поездки оказывали на меня умиротворяющее воздействие: повсюду виднелись процветающие фермерские хозяйства с пышной растительностью летом, тихо и спокойно пережидавшие зиму. Идиллию эту немного нарушало вторжение современной урбанизации, определенно негативно влиявшее на красоту и состояние континента. На ферме всегда находилась тысяча самых разных дел (многие из которых так и не делались). Субботы были полностью заняты разнообразными "проектами". Приезжавшие гости подключались к ним с неменьшим энтузиазмом, чем у нас. В воскресенье с утра мы занимались наведением порядка и подготовкой дома к следующей неделе. После обеда уезжали, попадая в совершенно иной мир, мир урбанизации с пухлыми пачками воскресных газет и непрерывными телефонными звонками людей, пытавшихся дозвониться до нас еще с пятницы.

Такой образ жизни имел, конечно, и свои отрицательные стороны, доставляя в то же время радость и удовлетворение. И пока я его придерживался за весь тот период времени, что находился в Вашингтоне, чувствовал себя абсолютно здоровым. Затем, однако, по целому ряду причин мне пришлось пропускать эти поездки на лоно природы, в результате чего стал чувствовать себя чуть ли не больным. Ведь контакты с нашими соседями по ферме, всегда готовыми прийти на помощь с дружескими и весьма полезными практическими советами, позволяли осознать чувство человеческой общности, еще глубже понять прелести жизни со всеми ее проблемами. Более того, это чувство общности воздействовало оздоровляюще, открывая новые, подчас интересные, перспективы в отличие от изнуряющей, действующей

угнетающе с ее разочарованиями и волнениями официальной действительности.

Моими коллегами по командованию колледжа были вице-адмирал Герри Хилл (начальник) и два его заместителя - генерал-майор Альфред Грунтер (представитель армии) и бригадный генерал Трумэн Лендон (представитель ВВС). Все трое с отличной служебной карьерой и не менее блестящим будущим. В последующем Герри Хилл стал начальником военно-морской академии, Грунтер занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а Лендон - командующим военно-воздушными силами в Европе.

Думаю, вряд ли у кого еще были столь отличные коллеги, как эти замечательные люди. Я уважал их, восхищался ими и с удовольствием с ними общался.

Колледж рассматривался как высшее учебное заведение, в котором давались знания по проблемам национальной и международной политики, военным аспектам. Поскольку колледж только что приступил к своей деятельности, программа первого года обучения в нем была, по сути дела, экспериментальной. Нам приходилось применять собственные идеи и методы в учебном процессе, что было, естественно, непростым делом. Возможности наши, однако, этим не ограничивались, поскольку мы могли, благодаря собственной инициативе и связям с Вашингтоном, быть в курсе всего происходившего на мировой арене в ту зиму, полную сомнений и неопределенности. Наши лекции посещали представители как военных, так и гражданских высших эшелонов власти, а также законодательных учреждений. Военно-морской министр, Джеймс Форрестол, благодаря инициативе и усилиям которого и был создан наш колледж, глубоко интересовался тем, как у нас шли дела, и лично присутствовал на целом ряде лекций (в том числе и у меня), оказывая нам всемерную поддержку. Офицеры военного министерства, генералы и сенаторы также охотно присутствовали на наших лекциях. Колледж со временем стал проводить нечто вроде академических семинаров для высшего эшелона правительственных чиновников.

При разработке направленности и вопросов политического инструктажа мне помогали три гражданских профессора - Харди Диллард из Виргинского университета, Шерман Кент и Бернард Броди, оба из Йела. Они были мыслящими людьми, хорошими наставниками и весьма интересными собеседниками.

Слушателями (а их было порядка 100 человек) являлись офицеры вооруженных сил в звании от подполковника до бригадного генерала и ему соответствующие да еще десяток

иностранных офицеров. Большинство из них имели награды за военные отличия, но не это одно являлось критерием их отбора на учебу. Будучи зрелыми и мыслящими людьми, весьма довольными, что попали в колледж, и имевшими большое желание учиться, они представляли собой аудиторию, перед которой было приятно выступать. Да и они также могли кое-чему научиться.

Ол Грунтер занимался административными вопросами в колледже, и благодаря его энергии в сочетании с заразительным юмором учебный процесс шел, как говорится, без сучка и задоринки. Могу признаться, что никогда ранее не получал такого большого профессионального удовлетворения.

Все семь месяцев моего пребывания в колледже, с сентября 1946-го по май 1947 года, были полностью заняты изучением литературы и отработкой красноречия. Оглядываясь назад, я с некоторым удивлением отмечаю тогдашнюю свою энергию и настойчивость, которых мне явно не хватает. Я не только преподавал в своем военном колледже, но и выступал с лекциями и докладами в целом ряде других мест - в морском и авиационном колледжах, морской академии и Карлисловских казармах (куда обычно приезжал в понедельник прямо с фермы в таком физическом состоянии, что засыпал сам и усыплял других), в Йеле, Виргинии, Уильямсе и Принстонском колледже, а также перед частными аудиториями в восточной части страны. В течение тех 35 недель, кроме моих публичных выступлений, носивших подчас импровизированный характер или базировавшихся на некоторых тезисах, я написал 17 лекций, а также статей, каждая объемом не менее 5 тысяч слов. Все они переписывались мной раза по три, прежде чем принять окончательный вид. Моя неистощимая в то время энергия вызывала восхищение у моего личного секретаря Доротеи Хессман, работавшей со мной еще в Москве и последовавшей в военный колледж. Она перепечатывала бесконечный поток прозы, не считая работы с текущей корреспонденцией.

В учебном курсе колледжа, в особенности в осеннее время, были сфокусированы все взаимосвязи как военного, так и гражданского характера нашей национальной политики того периода. Короче говоря, он отражал политико-стратегическую доктрину страны. Впервые мне пришлось вплотную заняться этими вопросами - не только как преподавателю, но и как исследователю одновременно. Да и правительство Соединенных Штатов впервые предоставило эту тематику для официального ознакомления и изучения в военных учебных заведениях всех трех видов вооруженных сил и Госдепартаменте. Дело

осложнялось тем, что эта проблема была абсолютно новой не только для нас лично: в истории Америки такой доктрины никогда не существовало, так что сравнивать ее ни с чем не приходилось и оттолкнуться в своих размышлениях и анализах было не от чего. Это свидетельствовало о слабости американского мышления в области международных отношений: за прошедшие 100 лет в американской политической литературе вопросу взаимодействия войны и политики никакого внимания не уделялось. Американское мышление в области внешней политики ограничивалось проблемами мира, уделяя основное внимание международному праву и интернациональной экономике. Размышления о войне прерогатива военных штабов и учреждений, но и они занимались, по сути дела, технической стороной этого вопроса - проблемами стратегии и тактики - для достижения победы исключительно военными средствами. Среди военных теоретиков выделялся Механ, значение которого не следует недооценивать, но и он рассматривал в основном аспекты морской мощи. К тому же его выводы и рекомендации потеряли свою актуальность в связи с появлением новых видов оружия и изменениями международной обстановки. Поэтому нам пришлось изучать труды европейских мыслителей прежних времен - Макиавелли, Клаузевица, Галлиени и даже мемуары Лоуренса Аравийского. Правда, в нашем распоряжении имелся сборник "Разработчики современной стратегии", составленный Е. Эрлем и изданный Принстонским университетом в 1943 году. Лично для меня он оказался весьма ценным. Однако было вполне очевидно, что размышления наших предшественников и их концепции не вполне соответствовали потребностям великой американской демократии в атомный век. Поэтому нам приходилось переосмысливать все их положения заново. Политико-стратегическая доктрина должна соответствовать величию страны, которая намеревалась использовать свою мощь для обеспечения мира и укрепления стабильности в международных отношениях и, в частности, для того, чтобы избежать катастрофы атомной войны. Я надеялся, когда мы приступили к этой работе в соответствии с указаниями правительства, что результат ее послужит основой подобной доктрины.

В какой степени наш колледж послужил тогда этой цели, я сказать не могу. Полагаю, однако, что целенаправленной разработке доктрины помешала происходившая как раз в то время частая смена командования высшего эшелона во всех видах и родах войск, не позволявшая заниматься постоянно ее концепцией и направленностью и лишавшая разработчиков глубины и качества исследований.

Что же касается меня лично, то конфронтация с проблемами того периода времени вызывала у меня повышенный интерес и в какой-то степени даже стимулировала работу. Сейчас я, оглядываясь назад и перечитывая свои прежние записи, могу утверждать: целый ряд тогдашних положений стали и остаются до сих пор базовыми для моего отношения к американской политике.

Одно из них касается целей ведения войны. Прецеденты нашей Гражданской войны, войны в Испании, наше участие в двух мировых войнах XX столетия показывают - и это мнение не только солдат и матросов, но и простых людей, что целью этих войн было тотальное сокрушение противника и лишение его способности и воли к сопротивлению и, в конечном итоге, - принуждение к безоговорочной капитуляции. Все остальное решалось просто. Такая победа предоставляла возможность требовать абсолютного подчинения от поверженного противника и открывала победителю путь к беспрепятственной реализации своих политических целей, какими бы они ни были.

Именно в год своего пребывания в военном колледже я пришел к выводу, что использование нашей страной вооруженных сил для решения международных проблем впредь ничего не даст. Сомневаюсь, что это привело бы к ощутимым результатам, даже если бы и не наступила атомная эра. Я считал, что даже несомненный военный успех в двух мировых войнах способствовал тем не менее усложнению проблемы установления справедливого мира. Такая концепция в отношении большой страны, как Россия, даже при одностороннем наличии у нас атомного оружия (сомнительно, что это преимущество будет сохраняться еще долгое время), была нереалистичной. Выяснялось, что применение атомного оружия в тотальной войне равносильно самоубийству, причем если даже у противника его не окажется, это все равно было бы столь дискриминационным, и нарушающим принцип гуманности при ведении военных действий, что восстановило бы против нас мировое общественное мнение. Но даже абстрагируясь от этого, следовало иметь в виду, что оккупировать Россию просто невозможно. Для этого у нас физически не хватило бы никаких сил - даже при самых оптимистических расчетах. Да и политических и моральных возможностей было бы также недостаточно. Мы не смогли бы даже временно управлять столь большим населением в другой части света. В этом отношении показателен опыт хотя бы Германии.

А это означало, как мне казалось, необходимость возврата к более ранним концепциям. Доктрина тотальной войны являлась

доктриной XIX и XX столетий. Следовало вновь использовать концепцию ведения ограниченных войн в XVIII веке. Исходя из нее, и цели войн становились ограниченными. Если дело дошло бы вообще до применения оружия, оно бы пошло в ход для того, чтобы умерить амбиции противной стороны или добиться достижения ограниченных целей вопреки ей, не ставя задачу уничтожения армии, смещения правительства или полного разоружения противника. По сути дела, это был бы возврат к точке зрения Талейрана: "...Народы должны приносить друг другу как можно больше добра в мирное время и как можно меньше зла во время войны". Вместе с тем нам пришлось бы согласиться с мнением Гиббона, когда он, рассматривая элементы прогресса европейской цивилизации XVIII века, отмечал, что "армии европейских государств готовились тогда к ведению военных конфликтов, имевших временный и не решающий характер". Таким образом, нам пришлось бы признать, что использование в будущем военной силы сыграет относительную роль - и ни в коем случае абсолютную - для достижения определенных политических целей.

Во втором положении я исходил из концепции, не нашедшей должного внимания у специалистов, хотя она и затрагивалась неоднократно в недавние годы. Речь в ней шла, хотели бы мы того или нет, о гипотетической возможности применения атомного оружия против нас. Эту мысль я высказал на заседании комитета по вопросам национальной обороны 23 января 1947 года. Я не ставил даже в связи с этим вопроса о необходимости дальнейшего совершенствования атомного оружия. Поскольку было достигнуто международное соглашение о выводе его из национальных арсеналов, запрещении его производства и использовании другими странами, то я считал, что в нашу святую обязанность должно входить поддержание своего превосходства в этой области как лучшая защита нашего населения от возможных атомных ударов вероятного противника.

Тем не менее я уточнил, сказав, что народ нашей страны никогда не даст санкции на неспровоцированное и агрессивное применение такого оружия против других народов мира.

Исходя из этих двух положений - необходимости принятия доктрины о ведении ограниченных войн и невозможности применения атомной бомбы в качестве оружия, - я приступил к разработке концепции об использовании наших вооруженных сил в мирное время, основу которых должны были составлять небольшие по численности, компактные и находящиеся в состоянии постоянной боевой готовности части, способные нанести эффективные удары даже на удаленных от нас театрах

военных действий. Конечно, это было еще не все, что нам требовалось. Мы должны поддерживать способность "к быстрой мобилизации всех сил и средств в случае возникновения опасности развязывания большой войны". Кроме того, нам необходимо иметь "небольшие мобильные силы" в качестве отрядов особого назначения, сформированных из всех трех видов вооруженных сил, способных вступить в боевые действия уже через небольшой промежуток времени.

При этом надо исходить из того, что передовая линия обороны Америки должна находиться на расстоянии нескольких тысяч километров от ее берегов. Мы уже имели к тому времени определенное число передовых баз, но, по всей видимости, потребуется создание новых - как на островах, так и полуостровах других континентов, которые можно было бы использовать в период военных приготовлений... Главная же задача вооруженных сил заключается в том, чтобы служить средством устрашения и сдерживания. Если мы не будем располагать такими вооруженными силами, то всегда найдутся непокорные люди, пытающиеся захватить изолированные объекты в надежде, что мы не сможем ничего против них предпринять, и, рассчитывая на безнаказанность, будут совершать другие дела, даже похваляясь потом ими...

Говоря более конкретно о вопросах совершенствования наших вооруженных сил, следовало исходить из необходимости укрепления корпуса морской пехоты, усиления взаимодействия всех видов и родов войск и формирования частей повышенной боевой готовности. Об этом говорилось почти за три года до вероломного начала коммунистами военных действий в Корее. А в 1947 году приняли решение о сотрудничестве военного колледжа, министерства иностранных дел, комитетов конгресса и командования Пентагона в деле контроля за осуществлением реальных мер по укреплению вооруженных сил.

Глава 13.

Доктрина Трумэна

Как-то в начале 1947 года, когда я еще был в военном колледже, Дин Ачесон, недавно назначенный заместителем государственного секретаря, пригласил меня к себе и сказал, что генерал Джордж Маршалл, ставший госсекретарем, намеревается создать в своем департаменте нечто вроде отдела планирования, наподобие оперативного управления, к которому он привык в военном министерстве. Вполне возможно, намекнул Ачесон, что возглавить его предложат мне. Я не совсем понимал, каковыми будут задачи этого отдела, но и тот этого не знал.

Когда 24 февраля Ачесон снова позвонил мне, я уже не

слишком удивился. В своем кабинете он рассказал мне о политическом кризисе, разразившемся в результате решения британского правительства прекратить помощь Греции, и попросил меня принять участие в работе специальной комиссии, которую создадут для изучения проблем оказания помощи Греции и Турции.

Комиссия собралась в тот же день и приступила к работе под председательством моего старого друга и коллеги по Риге и Москве Лоя Хендерсона, ставшего к тому времени начальником ближневосточного отдела министерства иностранных дел. Недолго размышляя, я пришел к выводу, что вопрос должен пойти либо об оказании помощи Греции и Турции, либо об оставлении их одних. Хендерсон заявил, что вопрос в принципе уже решен исполняющим обязанности госсекретаря (Маршалл находился в это время с визитом в Москве), поэтому в задачу комиссии входила разработка деталей и рекомендаций для президента и генерала Маршалла, а также объяснений и обоснований для других ведомств, конгресса и общественности. Я высказал свое мнение о целесообразности оказания помощи этим странам, поскольку другого выбора не было. К такому консенсусу пришли и все остальные, и мы подготовили необходимые рекомендации. Домой я возвратился довольно поздно с чувством удовлетворенности, что участвовал в решении исторической для Америки проблемы. Правда, я несколько переоценил значение своего влияния на коллег в тот вечер, однако последующая моя работа убедила меня, что я действительно обладал способностью реально влиять на принятие тех или иных решений.

Джозеф Джонс в своей отлично написанной книге "Пятнадцать недель", опубликованной нью-йоркским издательством "Харкот, Брейс и компания" в 1955 году, подробно описал проходившие тогда дискуссии, консультации, уточнения и самую настоящую борьбу, развернувшуюся в правительстве, пока президент не представил через две недели в конгресс свое послание, получившее позднее название доктрины Трумэна. Как известно из книги Джонса, за день до этого из Госдепартамента в Белый дом поступил окончательный текст этого послания. 6 марта я отправился в департамент, чтобы ознакомиться с документом. То, что я увидел, меня нисколько не обрадовало. Язык и слова, которыми он был написан, не исходили из-под пера Хендерсона и его помощников. Текст составили по инициативе отдела департамента по общественным связям в подкомиссии государственного военно-морского координационного комитета, исходившей, видимо, из соображений придать посланию президента более грандиозный и радикальный характер. (На этом

вопросе я остановлюсь ниже.) Направившись к Хендерсону, я опротестовал этот документ (Джонс упоминает об этом в своем книге), представив ему свой альтернативный проект, текст которого у меня, к сожалению, не сохранился. Нашел ли мой протест необходимую поддержку, не помню. Во всяком случае, было уже поздно. Заниматься коллективной отработкой документа никто не захотел, хотя он и имел историческое значение.

Боясь допустить неточности в изложении фактов, я внимательно просмотрел все свои бумаги и нашел, к счастью, некоторые записи, позволяющие детально осветить кое-какие вопросы моего отношения к сложившейся тогда обстановке. Мы в военном колледже использовали, например, кризис, разразившийся в то время в Греции, в качестве основы для рассмотрения сути самой проблемы. Слушателям предлагалось, в частности, изложить свое мнение по принятым президентом решениям. Кроме того, я рассматривал с ними весь комплекс вопросов в связи с представлением президентом своего послания в конгресс. 14 марта, через два дня после направления послания, я прокомментировал его, увязав с проблемами, стоявшими перед колледжем, а 28 марта - обосновал правильность принятого решения в связи с действиями англичан. В найденных мной записях речь об этом и шла.

Прежде всего я одобрил вывод, к которому пришли многие члены правительства, о том, что "если не принять никаких мер для поддержки некоммунистических сил в Греции в сложившейся ситуации, то коммунисты смогут очень быстро прийти к власти и установить там такую же тоталитарную диктатуру, как и в других Балканских странах". Я не разделял взгляда на такое развитие событий, при котором приход коммунистов к власти "имел бы немедленные катастрофические последствия для западного мира". Я полагал, что русские и их западноевропейские союзники сами находились в столь бедственном положении, что не могли не только управлять Грецией, но и оказывать ей экономическую помощь. А вследствие этого подобная ситуация обернулась бы для них бумерангом, что проявилось бы в форме серьезных экономических трудностей и целого ряда проблем, которые Запад мог бы успешно использовать в своих интересах. Вместе с тем я считался и с возможностью, что коммунистическое правление там может оказаться "успешным и длительным, что в конечном итоге усилит позиции Советского Союза как нашего вероятного противника". Но более важным было, однако, то, какое влияние подобный ход событий мог оказать на соседние страны.

В этой связи я рассматривал ситуацию в Турции, которая

коренным образом отличалась от положения в Греции. Серьезного коммунистического проникновения в Турцию не отмечалось, не наблюдалось там и широкого партизанского движения во время войны. Туркам фактически нечего было опасаться. И я считал, что "если турки сохранят спокойствие, проводя свою внутреннюю политику достаточно правильно, то не будут втянуты в переговоры с русскими на двусторонней основе, не затрагивая никаких сложных вопросов, как, например, проблему проливов; они, скорее всего, сохранят иммунитет к русскому давлению, пусть даже временный и непрочный". Но если они окажутся в окружении стран, подверженных коммунистическому влиянию, то сохранить свой статус для них будет трудно. Поэтому оказание помощи Греции было необходимо и с точки зрения сохранения стабильности в Турции.

Следует подчеркнуть, что при этом не предусматривалось оказания специальной помощи самой Турции. Акцент делался на моральном и дипломатическом аспектах, и ни о каких военных приготовлениях речи не шло. Вот поэтому я и был недоволен тем, что в послании президента конгрессу предлагалась помощь не только Греции, но и Турции. Я подозревал, что под этим подразумевалась в первую очередь именно военная помощь. Пентагон явно намеревался воспользоваться сложившимися обстоятельствами, чтобы протащить программу оказания Турции военной помощи, тогда как для Греции предусматривалась только политическая и экономическая помощь. По моему мнению, следовало, конечно, учитывать советскую угрозу, но в первую очередь в политическом плане, а не в военном; тут же просматривалась совершенно иная картина.

Однако возвратимся к моей деятельности в военном колледже. С Турции я перешел к рассмотрению проблем Среднего Востока. Как может повлиять на этот регион тот факт, что власть окажется в руках коммунистов Греции? И здесь мои выводы отличались от выводов других аналитиков. Я не недооценивал серьезность проникновения коммунистической идеологии в умы интеллигенции мусульманских столиц. Но мне представлялась сомнительной способность России стать доминантой в мусульманском мире. Дело в том, что коммунистическая идеология вступала в конфликт с мусульманской религией - исламом и попросту не воспринималась. Даже в Северном Иране и среди курдов российская политика оказалась мало эффективной. Если коммунисты попытаются проникнуть в этот регион, то, как я полагал, "скоро окажется, что арабы достаточно сплоченны в политическом плане, что огонь мусульманской идеологии горит ярким и сильным пламенем и что

сопротивление коммунистическому политическому давлению там будет носить более непреклонный характер, чем в странах, расположенных севернее и восточнее". Поэтому я не опасался возможности советского проникновения на Средний Восток, но был вынужден все же признать, что предстоящие события в Греции могут-таки повлиять на стабильность этого региона. И в свою очередь это может сказаться на ситуации в регионе, более важном для нашей безопасности, - Западной Европе.

В те дни, полные неуверенности и экономических трудностей, нелегко было переоценить значение кумулятивного эффекта происходивших сенсационных политических событий. Люди тревожились, как я отметил в одном из своих выступлений в военном колледже, не столько тем, что должно было произойти, сколько тем, что может произойти. Народы Западной Европы не хотели установления коммунистического контроля. Но они не станут противиться неизбежному. Поэтому-то и нельзя было идти на риск допуска победы коммунизма в Греции.

В самой Западной Европе, считал я, коммунистическое господство не может длиться неопределенно долго, но коль скоро оно существовало в ряде стран, то могло нанести большой вред человечеству.

Поскольку в низинных местах время от времени по законам природы случаются наводнения, это не означает, что с ними надо мириться... У нас нет никаких причин сомневаться в том, что Европа - насколько мы ее знаем освободится от установленного в ней контроля России, ослаблявшего ее традиции и институты... В один прекрасный день коммунистическое иго закончится, но не следует думать, что американский престиж и влияние окажутся все это время невостребованными...

Продолжая размышлять далее, я подчеркнул: если нам придется предоставить Европу коммунистам, то проблемы, которые встанут перед Соединенными Штатами, будут заключаться не только в безопасности.

В случае оставления Европы мы потеряем не только первоисточники собственной культуры и традиций, но нам придется покинуть и другие регионы мира, управляемые прогрессивными правительствами. Мы поставим сами себя в положение одинокой страны, и не только в культурном, но и политическом отношении. Для сохранения традиций и институтов нам тогда придется, образно говоря, подавать громкие свистки в темноте. Но я не уверен, что эти свистки будут достаточно эффективными, чтобы не сбиться с пути.

Понимаю, что найдется достаточное число людей, вероятно, даже среди читателей, которые скажут: вот, мол, он рекламирует

силу и законность своих институтов, а также тех, кто считает: американской демократии нечего бояться европейских потрясений, а европейский опыт вообще ничему новому не научит.

Мне хотелось бы поверить, что это действительно так, что кошмары тоталитаризма касаются других народов, а американцы застрахованы от этого самим провидением. К сожалению, это не соответствует истине. В конце концов, большинство из нас - европейцы во втором или даже первом поколении. К тому же тоталитаризм ведет свою работу и в нашем обществе. Вы что же думаете, он не сумеет воспользоваться благоприятными моментами складывающейся обстановки? Ведь основная опасность заключается не в небольших группках экстремистов. Дело в том, что в каждом из нас имеется определенная, пусть даже небольшая доля тоталитаризма, укоренившаяся более или менее глубоко. И только благодаря принимаемым мерам безопасности эти дьявольские частицы остаются где-то в невидимой и неосязаемой глубине. И не думайте, что они не всплывут, если исчезнут доверительность и меры безопасности. Найдутся и такие, кто будет спать спокойно, убедив себя, что строительство здания свободы в стране завершено нашими предками раз и навсегда. Лично я предпочитаю придерживаться слов великого европейца, немецкого поэта Гёте, о том, что за свободу надо идти на бой каждый день. И в этом бесконечном процессе я не хотел бы видеть, как наша страна потеряет всех своих союзников.

Вот каковы причины нашей ограниченной интервенции в Греции. Почему же, одобряя эту акцию, я высказал недовольство языком президентского послания?

А вызвано это было прежде всего огульным характером принимаемых на себя обязательств. Суть послания заключалась в следующих, наиболее часто цитируемых постулатах:

"Считаю, что политикой Соединенных Штатов должна стать поддержка свободных народов, выступающих против подчинения вооруженному меньшинству в своих странах или же давления извне.

Считаю также, что мы должны помогать свободным народам в определении их судьбы в соответствии с принятыми ими решениями".

Такие высказывания ставили нашу помощь Греции в рамки универсальной политики и специального решения, принимаемого в специфических обстоятельствах. А это означало: так, как мы собирались поступить с Грецией, мы готовились поступить и с любой другой страной - в случае, если ей будет угрожать захват

власти вооруженным меньшинством населения или давление извне.

Мне казалось весьма сомнительным, что мы, исходя из своих интересов и возможностей, станем оказывать помощь всем странам, находившимся в экстремальной ситуации. В качестве критерия, определявшего необходимость наших действий, становился лишь факт их пребывания в такой ситуации. Но ведь выяснение наличия подобной угрозы являлось только началом, но не концом процесса принятия решения. Находясь все еще в стенах военного колледжа, я обосновал необходимость оказания помощи Греции следующими обстоятельствами:

1. Рассматриваемая проблема не выходит за рамки наших экономических, технических и финансовых возможностей.

2. Ситуация, которая может сложиться в случае, если мы не предпримем такой акции, пойдет наверняка на пользу нашим политическим противникам.

3. С другой стороны, если мы предпримем такую акцию, то есть все основания полагать, что ее положительные результаты не ограничатся пределами только одной Греции.

Вместе с тем я подчеркнул, что эти соображения не обязательно касаются других регионов. Сомнения в этом плане вызывал, например, Китай. И коль скоро это так, то зачем заявлять, что единственным доказательством и критерием необходимости нашего вмешательства было наличие угрозы "захвата власти вооруженным меньшинством населения или давления извне"?

Если бы я рассматривал послание Трумэна сегодня, то к перечню требований я отнес бы обязательное согласие и способность народа страны, которой угрожают, принять и опереться на предлагаемую помощь при отражении прямой и косвенной агрессии, а не сидеть сложа руки и не возлагать тем более ведение самой борьбы на нас. В тексте послания следовало бы подчеркнуть, что мы намеревались защитить в Греции демократический характер институтов страны. В последующие годы мы считали необходимым помогать целому ряду режимов, которые вряд ли подходят под квалификацию истинно демократических. Было бы глупо полагать, что они целиком соответствовали названному выше критерию. Подобные упущения лишь подкрепляют мое критическое отношение к языку послания, вольно его трактовавшему.

В своих опасениях я был не одинок. Ачесон, например, попытался разъяснить членам конгресса, что сказанное президентом является, по сути дела, незаполненным бланком. А на заседании сенатского комитета по иностранным делам 24

марта 1947 года он заявил: наша готовность оказывать помощь другим странам не означает, что она будет такой же, как это предусмотрено для Греции.

"Любой запрос иностранного государства об оказании ему помощи, пояснил он в своем выступлении, - должен рассматриваться в соответствии со сложившейся там реальной обстановкой". И нам придется выяснить, действительно ли эта страна нуждается в помощи, совпадает ли ее запрос с американской внешней политикой, является ли он искренним и насколько эффективной окажется помощь Соединенных Штатов в решении проблем, вставших перед страной. Поэтому я не могу сказать с уверенностью, что наше правительство сочтет необходимым обязательно помогать какой-то другой стране, оказавшейся в ситуации, похожей на греческую.

Тем не менее недостатки, о которых упоминалось, исправлены не были. В течение двух последовавших декад среди большинства членов правительства преобладало мнение, что страны, обратившиеся к Америке за помощью, должны доказать, что им действительно угрожает коммунистическая опасность. А поскольку почти в каждой стране имелись пусть даже немногочисленные коммунистические партии, подобное утверждение могло завести нас слишком далеко. С течением времени отношение не только правительства, но и народа к упомянутому утверждению практически не изменилось. В 1960-х годах события в Юго-Восточной Азии показали реальное наличие коммунистической угрозы, вызвавшей ответную реакцию американцев, связанную с ужасными последствиями, которые мы в 1947 году себе даже не представляли.

Во многих случаях как до, так и после эпизодов, связанных с Грецией и Турцией, меня поражала та антипатия американцев, с которой они принимали решения по специфическим проблемам, и их постоянное стремление к выработке универсальных формулировок или принятию доктрин, призванных прикрыть и оправдать некие конкретные действия. Нам, естественно, не нравится дискриминация, но мы стремимся установить такие общие нормы, при обращении к которым даже не требуется индивидуального решения. Оно принимается автоматически в зависимости от того, в какой степени те или иные обстоятельства соответствуют этим нормам. Мы предпочитаем придать общий смысл решениям, считая, что они подойдут и к различным мелким и ограниченным случаям. Нам было недостаточно того, что обстоятельства потребовали нашего вступления в Первую мировую войну, понадобились (видите ли) специфические причины для этого: наше военное участие преследовало цель

сделать мир (и не менее того) "безопасным для демократии". И во Вторую мировую войну нападение на нас японцев в Перл-Харборе и даже объявление нам войны японским и германским правительствами побудили нас сначала разработать Атлантическую хартию, прежде чем приступить к военным действиям. Нечто подобное произошло и в послевоенный период, когда многие американцы просто разделили мир на компоненты коммунистического и "свободного" мира, чтобы избежать специфической идентификации каждой отдельной страны в обоих лагерях, и подобрать общие формулировки для определения отношений с ними. В этой связи мне представляется, что периодические пререкания и споры в конгрессе, связанные с ежегодными биллями по оказанию помощи и решением вопроса, стоит ли продолжать помогать тем или иным странам, а также о формах помощи и отношению к странам "коммунистическим" и в которых "отмечаются признаки тайного сговора с коммунистами", преследовали цель определения категории этих государств и нахождения единообразного подхода к отношениям с ними. Конгрессменам редко приходила мысль, что президент и госсекретарь также могли бы поломать свои головы над решением этих проблем.

Ныне я не могу сказать с полной уверенностью, где находятся истоки непременного стремления американцев к универсализации и обобщениям. Полагаю, это является отражением того обстоятельства, что мы, как народ, подчинены правительству установленными законами, а не свободой исполнительных действий. Законы же представляют собой обобщенные нормы, и конгресс, привыкший руководствоваться ими внутри страны, переносит эту практику и на международную политику. Конгрессмены и сенаторы, неспособные к контролю за исполнением решений по текущим вопросам, как мне кажется, стремятся принять обобщенные требования и положения, чтобы не допустить свободы действий.

Каковы, однако, бы ни были истоки этой тенденции, она действует. И вносит большую путаницу в вопросы понимания общественностью международных проблем. Она не только сковывает, но и нарушает процесс принятия решений. Возникающие вопросы, подчас вообще не относящиеся к делу, рассматриваются на основе имеющихся критериев лишь частично. В результате во многих случаях происходит тенденциозная дискриминация мнений и взглядов, а язык принимаемых документов не носит благоразумного характера, ожидаемого от великой державы.

Глава 14.

План Маршалла

28 апреля 1947 года госсекретарь Маршалл возвратился из Москвы, где принимал участие в заседании европейского совета министров иностранных дел, на котором обсуждался вопрос о бедственном положении Западной Европы. Возрождения ее экономики, как ожидалось, не произошло, и налицо была экономическая дезинтеграция. В результате переговоров с русскими он понял, что план решения европейских проблем в сотрудничестве с Россией оказался, по сути, фикцией. Стало очевидным, что советские лидеры видели причину падения экономики западноевропейских стран в чем угодно, но только не в коммунистическом руководстве. Генерал пришел к выводу, что любая акция в рамках "сотрудничества" великих держав в деле укрепления экономики Западной Европы была бы на руку коммунистам. Мы и так долго мешкали, и время проходило бесцельно.

"Пациенту становится все хуже, - выступил он по радио в обращении к нации в день своего возвращения, - потому что доктора слишком осторожничают и медлят".

На следующий день он вызвал меня к себе. Мне не придется заканчивать этот год в военном колледже, как я планировал, сказал он мне. Я должен безотлагательно возглавить группу (бюро) политического планирования Госдепартамента. Европа находится в беде, поэтому надо

'План Маршалла - программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны путем оказания ей американской экономической помощи. Преследовал цель поддержания позиций капитала в Западной Европе, воспрепятствования прогрессивным социальным изменениям в западноевропейских странах, создания объединенного империалистического фронта против освободительного движения в мире и Советского Союза. Согласие на участие в нем дали 14 европейских государств, а также Греция и Турция. Действие плана началось в апреле 1948 г. Для контроля за его исполнением создали администрацию экономического сотрудничества, возглавлявшуюся американскими финансовыми и политическими деятелями. Помощь предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов (было израсходовано около 17 млрд. долларов). В декабре 1951 г. план заменили законом "о взаимном обеспечении безопасности", предусматривавшим оказание кроме экономической еще и военной помощи.

срочно что-то делать. Если мы не проявим инициативы, это сделают другие. Члены конгресса начнут наверняка вынашивать

свои планы и идеи о том, что необходимо сделать для Европы. Тогда ему придется лишь обороняться, а этого он хотел по возможности избежать. Он пожелал, чтобы я немедленно сформировал группу и занялся этой проблемой. Времени у меня было мало (я не помню точно, десять дней или две недели) на выработку рекомендаций, которых он требовал от меня. Прощаясь со мной, он добавил в присущем ему духе (что отмечали многие историки): "Избегайте рутины и обыденщины".

Суть концепции плана Маршалла хорошо и детально изложена в книге упоминавшегося мной Джонса, поэтому я не стану ее пересказывать. Остановлюсь только в общих чертах на моем непосредственном участии в его разработке.

Распоряжение генерала Маршалла поставило меня в затруднительное положение. Ведь группы как таковой еще не существовало. Три человека, которых я хотел включить в ее состав, проживали за пределами Вашингтона, и я тут же вступил с ними в переговоры. К тому же необходимо было провести несколько уже запланированных лекций, от которых мне отказываться не хотелось. К этому времени уже закончилось строительство нового здания Госдепартамента, куда начали переселяться его сотрудники. И мне пришлось заниматься оборудованием отведенного группе помещения.

Вместе с собранными в спешке сотрудниками я должен был просмотреть все имевшиеся материалы по европейской экономике в их совокупности, отобрать предложения для использования, затем составить проект рекомендаций для госсекретаря, подготовиться к защите предлагаемых мер ("критиканов" в правительственных кругах было предостаточно) и отражению наскоков со стороны лиц, не терпящих вмешательства человека, вторгшегося в их бюрократические сферы и прерогативы.

Группа окончательно сформировалась 5 мая 1947 года. В соответствии с распоряжением по департаменту на нее возлагались следующие основные задачи:

1. Осуществлять разработку и формулировку долгосрочной программы США в области внешней политики.

2. Предвидеть проблемы, с которыми департамент может столкнуться в своей деятельности.

3. Изучать и готовить доклады по широким военно-политическим проблемам.

4. Анализировать проблемы и события, которые могут влиять на внешнюю политику США, и готовить рекомендации по принятию адекватных мер.

5. Координировать планирование работы в отделах

Госдепартамента.

Вряд ли можно полагать, что я за такое короткое время и при весьма чрезвычайном давлении мог собрать боеспособную команду из людей, не сталкивавшихся ранее с подобными делами и фактически мало компетентных в них, а посему не имевших веса в обществе. Да и госсекретарь хотел видеть другое. Ведь мнение и взгляды такой группы имели большое значение для него самого и президента, не располагавших подчас возможностями для собственной оценки тех или иных проблем. Было ясно, что в состав группы необходимо привлечь людей с соответствующей квалификацией и пользующихся авторитетом и известностью. Вполне уверен, что многие другие группы были бы забракованы руководством департамента, если бы к ним предъявлялись такие же требования, как к нам. Отмечая степень действенности американской политики, можно сказать, что она в значительной степени была в то время обязана компетенции людей нашего ранга.

Мои помощники в несколько обновленной группе показали себя в дальнейшем людьми способными, добропорядочными, думающими интеллектуалами, хорошо знакомыми с работой департамента. Они приводили толковые аргументы в поддержку того или иного положения, помогали убирать клише и слишком упрощенные подходы, заставляя меня напрягать свой интеллект. (В нашем небольшом коллективе, особенно в первые весьма напряженные дни и даже ночи, постоянно шли интенсивные дебаты. Мне вспоминается, как однажды поздно вечером, чтобы успокоиться и восстановить самообладание, я выбежал из кабинета и, едва не плача, прошагал по коридорам чуть ли не всего здания.)

В мою группу входили Иосиф Джонсон - бывший преподаватель Уильямского колледжа, ставший впоследствии президентом общества Карнеги, занимавшегося проблемами международного мира; полковник Чарльз Хартвел (Тик) Бонестил очень талантливый кадровый офицер (бывший затем командиром одной из частей, действовавших в Южной Корее), ставший ассистентом помощника госсекретаря; Жак Рейнштайн - способный экономист, занимавшийся проблемами экономики оккупированной Германии; Уэр Адаме - бывший сотрудник международного управления с большим опытом работы, служивший в Вашингтоне, и Карлетон Севидж - бывший помощник Корделла Халла, хорошо разбиравшийся в общественном мнении и настроениях членов конгресса.

Вполне осознавая ответственность, лежавшую на нас, мы анализировали проблемы Европы и возможности нашей страны

по оказанию ей помощи. В этом нас поддерживали и давали советы многие организации. Мы не считали себя единственными представителями официального Вашингтона, которые должны были заниматься этими вопросами. Кроме всего прочего, нам предоставлялся доступ к работам, проводимым экономистами департамента. (Уилл Клейтон, бывший тогда помощником госсекретаря по экономическим проблемам, находился до середины мая в Европе, поэтому меморандумы, присылаемые им по вопросам восстановления европейской экономики, доходили до нас с опозданием, тем не менее его точка зрения была нам известна.)

Определения и оценки, прозвучавшие в выступлении Ачесона 8 мая на заседании окружного совета в Кливленде (Миссисипи), нам очень помогли в нашей работе. Мы ознакомились с анализом, проведенным военно-морским координационным комитетом за несколько недель до этого, в котором рассматривалось экономическое положение различных европейских стран. Вместе с тем мы воспользовались личными консультациями со знающими людьми как в самом департаменте, так и в других правительственных учреждениях. В результате нам удалось собрать воедино все более или менее важные сведения, касавшиеся интересующей нас проблемы, в том числе и существовавшие мнения в правительственных сферах.

Когда я писал эти строки, я не имел под рукой никаких записей о дискуссиях и консультациях, предшествовавших представлению госсекретарю наших предложений. Но у меня остался текст лекции, которую я прочитал в военном колледже по вопросам восстановления европейской экономики 6 мая, то есть на следующий день после официального оформления моей группы. Поскольку картина, нарисованная мной в этой лекции, несколько отличалась от официальных представлений того периода времени, приведу некоторые примеры.

Свое изложение я начал с анализа причин, почему русские не посчитали необходимым прийти к какому-нибудь соглашению с нами на недавнем заседании комитета министров иностранных дел. Они, как мне представлялось, исходили из двух соображений: во-первых, были уверены, что у нас самих скоро начнется экономический кризис, в результате которого мы потеряем не только свой вес в международных делах, но и интерес к ним; во-вторых, предполагали, что мы одни будем не в состоянии остановить экономический спад, происходящий в Западной Европе, который скоро сыграет там на руку коммунистическим элементам в политическом плане.

Следующей причиной была их мысль, что мы, американцы,

скорее всего, не сможем как нация сохранить свое лидирующее положение в мире, что у нас не хватит политической воли, материальных ресурсов и национальной самодисциплины, чтобы принести в Западную Европу материальную стабильность, уверенность и надежду на лучшее будущее - в особенности в странах, сильно пострадавших от войны. Русские считают, что экономические проблемы в этих странах не могут быть решены без помощи и ресурсов тех регионов Восточной и Центральной Европы, которые находятся сейчас под их контролем. Они полагают, что необходимо и далее не пускать в ход эти ресурсы, дожидаясь, пока настанет время, когда они смогут назвать политическую Цену за их использование.

...Говоря другими словами, они считают, что Европа уже принадлежит им, хотя та об этом ничего не знает, как не знает и о том, что над гордыми народами континента наброшена невидимая сеть экономической зависимости и что им остается только терпеливо ждать начала экономического кризиса в Америке, когда эта сеть станет затягиваться и западная часть Европы окажется в полумраке, в котором уже пребывает ее восточная часть.

Затем я перешел к обстановке, сложившейся в Италии, Франции, Австрии и Германии.

В Италии началось (правда, очень медленное) восстановление экономики в ряде областей народного хозяйства. Там не хватает уверенности и свободного капитала. Страна нуждается в долгосрочных иностранных займах и наведении порядка в финансовой и социальной дисциплине.

Коммунистическая партия там насчитывает более 2 миллионов членов и имеет 19 процентов мест в парламенте. Она контролирует ключевые позиции в рабочем движении. Располагая столь сильными позициями, она в состоянии серьезно противодействовать любым мерам, направленным на установление некоммунистического будущего страны.

Обстановка во Франции несколько иная и в ряде аспектов выглядит лучше.

Из всех стран, с которыми мы имеем отношения, только во Франции имеется четырехлетний план общего экономического развития, известный как план Монэ. По нему предусматривается, что страна к концу 1950 года будет вообще в состоянии обходиться без любой помощи извне.

Финансовая сторона плана, поскольку средства поступают из внешних источников, никаких непреодолимых трудностей не имеет. Стране необходимо порядка 1,5 миллиарда долларов, третью часть которых она уже получила. Однако для успешного

завершения плана необходимо увеличение импорта из других европейских стран и, прежде всего, из Италии и Германии, но это станет возможным, когда и там начнется подъем экономики. Поэтому начавшийся прогресс, связанный с осуществлением плана Монэ, не слишком-то обнадеживает. Многое зависит также и от политической поддержки. Так что если все ведущие политические силы Франции будут настроены на успех плана, то серьезных трудностей она не встретит.

Что касается коммунистической партии, имея 28,5 процента голосов избирателей и контролируя рабочее движение в стране, французские коммунисты, как в парламенте, так и вне его, смогут, по-видимому, оказать решающее воздействие на выполнение плана Монэ.

Вместе с тем я подчеркнул, что французские коммунисты должны вести себя весьма осмотрительно в связи с проблемой восстановления экономики. Дело в том, что они не могут открыто встать ей в оппозицию. И в этом заключается их слабость.

Какая же мораль вытекает из всего этого для нас? Думаю, что дело обстоит в принципе так же, как и с Италией. Любая помощь, оказанная нами Францией, прямая или косвенная, должна в определенной степени привязать к нам правительство да и трудящихся, находящихся на распутье.

Перейдя к вопросу об Австрии, я указал, что мы ждали целых два года в надежде достичь определенного соглашения с русскими, прежде чем заняться непосредственно проблемой восстановления ее экономики. Однако это ожидание ничего не дало ни нам, ни австрийцам. Конечно, можно было все же начать вести переговоры и хоть чего-то достичь ими: в международной жизни все возможно.

Думаю, исходя из опыта общения с русскими, следует констатировать: сотрудничать с ними могут успешно лишь народы, доказавшие, что в состоянии обходиться и без них. Поэтому мы не допустим никакой ошибки, если спланируем восстановление экономики трех западных оккупационных зон Австрии без вовлечения в этот процесс советской зоны. Отметим, что в нашем правительстве, к сожалению, эта идея не нашла еще своего воплощения. Вне сомнения, осуществить такое планирование гораздо труднее, чем для всей Австрии. Неразрешимой эта проблема, однако, не представляется. И стоить это будет значительно менее 0,5 миллиарда долларов. Может все-таки настать время, когда цена эта резко возрастет.

В заключение я остановился на вопросе о Германии. Полагаю, что по проблемам необходимости корректировки нашей оккупационной политики и принятия мер по восстановлению

экономики Германии да и Европы в целом у меня были значительные расхождения с правительственными кругами. Поэтому хочу более подробно остановиться на тех аспектах, которые были мной подняты в упомянутой лекции 6 мая. Я все еще находился под впечатлением тех мыслей, владевших мной по возвращении из Германии в 1942 году, - необходимости использования немцев в послевоенном процессе восстановления Европы, печального опыта работы Европейской консультативной комиссии и бессмысленных условий Потсдамской конференции по установлению администрации и четырехстороннего контроля великих держав в Германии, в результате чего было потеряно почти два года ценного времени.

Попробуем мысленно восстановить тогдашнюю ситуацию. Мы довели войну до победного конца и безоговорочной капитуляции Германии, в результате чего получили право контроля и ответственности за ту ее часть, которая никогда не была самообеспечивающейся экономически, да и ограниченные ее возможности в этом плане значительно сократились в результате войны и поражения. В то время мы не имели никакой программы восстановления экономики нашей зоны, исходя из ожидавшегося международного соглашения. Не было у нас и никаких договоренностей с нашими союзниками по вопросам восстановления экономики Германии как во всей стране, так и по регионам. Да у нас и самих еще окончательно не сложилось мнения, нужна ли нам восстановленная экономика Германии.

Экономической ситуацией в нашей зоне мы поэтому не занимались, обращая основное внимание на политику - проведение денацификации и демократизации общественной жизни. Конечно, мы не хотели, чтобы люди там умирали от голода, и выделяли значительные средства за счет собственных налогоплательщиков для поддержания жителей зоны. Международного соглашения с русскими еще не было, и мы не предпринимали решительных шагов для восстановления немецкой экономики, что могло бы сыграть большую роль в решении экономической проблемы всей Западной Европы и сняло бы с нас заботу о поддержании необходимого уровня жизни в этих регионах.

Ныне мы осознаем, что восстановление экономики Западной Европы имеет первостепенное значение. Начавшийся выпуск продукции хотя бы в части Германии положил бы начало восстановлению ее экономики. Ожидать согласия русских на это мы уже не могли. Необходимо было бы снять все препоны для достижения высокого уровня производства во всей Западной Германии.

К тому времени даже Франция согласилась на принятие подобных мер. Тогда мы предприняли шаги, чтобы получить принципиальное согласие Англии на экономическую унификацию наших двух зон и разработку общей программы их развития, чтобы года через два-три перейти к "тризонии" в рамках Большой тройки.

К сожалению, я не увидел убедительных доказательств того, что этой программе приданы необходимые приоритеты для преодоления возможных препятствий, которые могут встретиться на пути. Многие из этих препятствий связаны с немецкими политическими концепциями. Но пока незаметно, чтобы хотя некоторые из них были модифицированы с учетом потребностей экономической программы.

Наконец, хотя мы и достигли соглашения с англичанами об унификации обеих наших зон в области экономики, мы зашли в тупик, поскольку никак не можем прийти к единому мнению о путях осуществления этой программы.

Я не предъявляю претензий к нашим представителям в Берлине за то, что им не удалось достичь полной договоренности с нашими союзниками. Полагаю, что в этом вина не только нас, американцев. Но ведь речь-то идет об экономической программе чрезвычайной важности и срочности: ее ожидают с нетерпением десятки миллионов людей, поскольку она должна решить вопрос их жизни или смерти и обязана установить баланс сил в Европе. Поэтому достижение договоренности с англичанами должно находиться в центре внимания нашего правительства. Если же, несмотря на наличие доброй воли, такое соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, тогда придется сделать нелицеприятные выводы на будущее о нашей оккупации Германии и всей политике в Западной Европе.

По моему мнению, улучшение экономических условий и оживление производственных мощностей в западной части Германии приобретают сейчас чрезвычайно важное значение и должны быть поставлены во главу угла нашей политики в этом регионе и стать приоритетными в оккупационной политике. Этот принцип должен рассматриваться как генеральная линия действий нашего правительства, включая все департаменты и агентства.

Если это будет достигнуто, думаю, что каких-то особых трудностей сама экономическая проблема не представит, так как получившиеся в ходе анализа цифры не составили чрезвычайно больших величин. А при положительном решении этих вопросов нам наверняка удастся доказать русским, что их расчеты в отношении Западной Европы несостоятельны.

В свете последних событий план Маршалла оказался инструментом, положившим конец просоветским настроениям военного времени и благотворно воздействовавшим на наших европейских союзников, а также содействовавшим возрождению англофобии и прекращению карательной, хотя и вполне обоснованной и справедливой, направленности нашей оккупационной политики в Германии.

Таковы в общих чертах рекомендации нашей группы планирования по вопросам программы восстановления Европы, которые были представлены генералу Маршаллу 23 мая. В них включены и соображения различных источников, сам же документ составлен мной. Насколько мне известно, опубликован он не был. Однако наиболее значимые положения упоминались впоследствии в уже называвшейся мной книге Джонса, а также в статье Гарри Байярда Прайса "План Маршалла и его значение", появившейся в 1955 году в нью-йоркском издании университета Корнелля.

Полагая, что на разработку программы восстановления экономики Европы потребуется довольно длительное время, и учитывая психологическое воздействие наших предложений и рекомендаций, мы начали с разделения проблемы на кратко- и долгосрочные аспекты. В качестве первоочередных мер мы рекомендовали приступить к немедленной добыче угля, необходимого для покрытия потребностей западноевропейской промышленности в энергетике.

Что же касается долгосрочных проблем, то мы рассматривали их в связи с разрушительным воздействием войны на экономическую, политическую и социальную структуры Европы. Война привела к уничтожению заводов и фабрик, а также энергетики.

Хотя первопричиной этого и не была деятельность коммунистов, теперь они использовали создавшийся кризис в своих целях. Дальнейшие их успехи могли оказаться весьма опасными для американского общества. Тем не менее мы считали, что наши попытки оказать помощь Европе не должны привести к военному столкновению с коммунизмом, но быть направлены на реставрацию экономической и энергетической мощи европейских стран. Таким образом, наша цель - не развязывание войны с коммунизмом, а исправление уродливого состояния экономики в Европе, подверженной влиянию различных тоталитарных движений.

Вместе с тем мы подчеркнули необходимость проведения твердой линии и четкого разделения обязательств и процедур, повышения нашей роли в принятии решений по указанной

проблеме и скорейшему внедрению их в европейские страны.

Необходимо также, считали мы, провести четкую разграничительную линию между программой экономической реставрации Европы, с одной стороны, и программой американской помощи в деле ее оживления - с другой.

То, как мы представляли себе это разделение ответственности, нашло свое отражение почти дословно в выступлении генерала Маршалла в Гарварде:

"...Одностороннее и формальное провозглашение инициативы по разработке программы, которая сможет поставить Западную Европу на ноги в экономическом плане, оказалось бы действием, не только недостойным нашего правительства, но и малоэффективным. Это дело европейцев. Формальная инициатива должна исходить от Европы, и европейцы обязаны взять на себя основную ответственность за нее. Роль же нашей страны будет состоять в разработке европейской программы, а в последующем в ее поддержке финансовыми и иными средствами в соответствии с запросами европейцев".

Затем последовал перечень требований и условий, которые казались нам необходимыми для обеспечения успеха этого мероприятия.

Было бы желательно европейским странам собраться вместе и согласовать скоординированную программу возрождения экономики в масштабе всей Европы.

Программа, которую затем поддержит наша страна, должна быть общей и одобренной всеми европейскими народами. Хотя в нее и войдут отдельные национальные программы, наподобие французского плана Монэ, она должна быть международной, принимая во внимание психологические, политические и экономические соображения. Запрос о нашей помощи должен быть общим и исходить от группы дружеских стран, а не представлять собой изолированные и индивидуальные обращения.

Причина такого требования, думаю, вполне очевидна. Если не поставить условие Соединенным Штатам рассматривать национальные запросы в их совокупности, они, каждый в отдельности, будут перегружены ненужными подробностями и преследовать цель решения собственных экономических проблем в ущерб общеевропейской основе. К тому же это принудило бы нас принимать непопулярные в политическом плане решения, позволившие бы некоторым европейским правительствам переложить ответственность за особенности и недочеты программ на наши плечи, чтобы снять недовольство определенной части своего электората. Кроме того, у нас имелись серьезные сомнения

в успехе некоторых мероприятий по реставрации экономики Европы, если вдруг они будут исходить из нескоординированных национальных программ. Мы считали, что одними из главных недостатков европейской экономики были ее раздробленность, недостаточность коммерческого обмена и, в частности, отсутствие большого потребительского рынка. Настаивая на общности их действий, мы надеялись тем самым принудить европейцев думать как европейцы, а не националисты, имея в виду экономические проблемы всего континента.

Требование это было существенным и вполне современным, учитывая предполагаемую реакцию собственного конгресса.

Европейская программа должна позволить Западной Европе перейти в такое состояние, когда она сможет обеспечить приемлемый стандарт жизни населения за счет собственных финансовых средств и возможностей, осуществляя весь объем необходимых работ. Вместе с тем программа должна дать людям уверенность, что при нашей поддержке она станет последней в обозримом будущем.

Выяснялось, что мы не могли рекомендовать конгрессу другую программу, носившую бы временный характер и не касавшуюся сути проблемы. Дин Ачесон упомянул в своем выступлении в Делте о том вкладе, который мы внесли в дело экономического возрождения остальной части мира, выделив на эти цели около 3 миллиардов долларов. (Большая часть этой суммы была направлена в Европу.) Мы предоставили Великобритании заем в размере 3 3/4 миллиарда долларов. Мы были инициаторами создания международного банка реконструкции и развития и международного финансового фонда. Но этого оказалось недостаточно. Конгресс, разумеется, не согласится на дальнейшую поддержку подобных инициатив, пока не будет уверен, что они принесут положительный результат и не вызовут новых требований.

В дополнение к вышесказанному, мы обратили внимание на необходимость осуществления следующих мер: 1. Максимальное использование имеющихся международных средств и ресурсов.

2. Получение гарантий от европейских правительств, что они используют всю свою власть и авторитет для выполнения программ.

3. Получение, в случае такой возможности, определенной компенсации для нашей страны наряду с выгодой от успешного выполнения программ.

Проблему определения региона, на который должна распространяться программа восстановления экономики Европы, решили 23 мая, что нашло отражение в соответствующем

документе. Это было время, когда весь мир находился под впечатлением создания Организации Объединенных Наций и надеялся на ее ведущую роль в решении мировых проблем. Многие люди в Вашингтоне считали тогда, что было бы неправильным, если бы мы приступили к подготовке, а затем и осуществлению программы реставрации Европы, минуя соответствующую службу ООН, в которой были бы представлены Россия и коммунистические страны Восточной Европы. Подходящим органом, как нам казалось, и была недавно созданная экономическая комиссия по Европе, приступившая к работе под эгидой экономического и социального совета ООН. Комиссия как раз заседала в Женеве. Многие наши консультанты опасались, и не без основания, что если бы мы, начав разработку программы экономического восстановления Европы, миновали бы эту комиссию, то тем самым подорвали бы не только ее значение, но и роль ООН в вопросах всемирной торговли и экономики.

На этой проблеме я также останавливался в своей лекции в военном колледже 6 мая, подчеркнув, что экономическая комиссия по Европе уже начала распространять свое влияние на все организации, созданные для осуществления действенности различных фаз экономических проблем Европы. В некоторых из них участвует и Россия.

Но хотя Россия и воздерживалась от непосредственного участия в работе этой комиссии, у нас, по моему мнению, все же сохранялся хороший шанс рассмотреть на ней генеральный план общего сотрудничества западноевропейцев. Может быть, именно по этой причине Россия удивила всех, прислав в последний момент без всякого предварительного уведомления свою делегацию в составе 23 человек. Как бы то ни было, с мнением прибывших следовало считаться. Любое предложение по упорядочению экономической жизни в Западной Европе они рассматривали очень внимательно и с подозрением. Не думаю, что они могли себе позволить бросить открыто черный шар при рассмотрении эффективных и многообещающих проектов, зная, что люди понимают: от их принятия зависело будущее Западной Европы. Но они могли попытаться войти в состав руководящего органа и сделать так, чтобы этот проект не работал вообще или работал в том духе, который был нужен им.

Несмотря на эти опасения, я вначале думал, что комиссия сможет в конце концов разобраться в сути вопросов. Лучшим выходом из положения, как мне казалось, было бы представление западноевропейскими странами собственной экспериментальной программы в комиссию. Если она будет одобрена ею, то ООН смогла бы взять над нею шефство и направить ее нам в качестве

своего проекта. Но что будет, если комиссия эту программу не одобрит и не примет?

Задав в своей лекции вопрос, что же произойдет, если русским удастся отнести рассмотрение такой программы в разряд второстепенных проблем, или же они попытаются войти в состав администрации, или занять такую позицию, где могли бы осуществлять контроль за выполнением программы и использовать это в своих собственных политических интересах? Как нам следует тогда поступить?

Ответ, который я дал на поставленный мной же вопрос, определял суть подхода к нему, принятую через две недели и всей нашей группой.

В этом случае, по-моему, нам придется сказать "нет" и вообще отказаться от данного мероприятия любезно, но твердо, перейдя к рассмотрению необходимых вопросов с различными странами в индивидуальном порядке за стенами ООН, но исходя из тех же требований и условий, которые были нами представлены в европейскую комиссию.

Если какие-то страны не согласятся с нашими условиями, находясь под сильным влиянием коммунистов, и не смогут гарантировать бережного и экономного расходования наших денег на достижение тех целей, для которых они предназначены, тогда и давать их вообще не следует. Если народы Западной Европы откажутся от американской помощи на этих условиях, то это будет означать, что они окончательно голосуют за доминирующее положение России. В таком случае предпринимать что-либо там мы не будем, сделав соответствующие выводы.

Вопрос должен решаться на политической основе. Ведь если коммунистам удастся занять ключевые позиции в административных органах, они заблокируют осуществление программ, изображая их как попытку американцев установить свою гегемонию над народами Западной Европы. Единственным средством, которое может заставить их замолчать и принудить к согласию, является просвещенное общественное мнение, хорошо осведомленное о том, что это - единственный выход из грозящей катастрофы.

Как я уже говорил, эта точка зрения нашла свое отражение в документе, представленном нами госсекретарю 23 мая. Лучше всего, полагала наша группа, стало бы стимулирование инициативы европейской экономической комиссии, "чтобы восточноевропейские страны либо исключили сами себя из намечаемого процесса, отказавшись от предложенных условий и требований, либо согласились на, изменение замкнутых

ориентации своих экономик".

В заключение в документе содержалось предложение по корректировке двух основных, неверных на наш взгляд, положений, связанных с доктриной Трумэна:

1. Подход и отношение Соединенных Штатов к мировым проблемам - лишь защитная реакция на коммунистическое давление, а попытки восстановления здоровых экономических условий в других странах - побочный продукт этой реакции, в чем мы не были бы заинтересованы, не будь коммунистической угрозы.

2. Доктрина Трумэна представляет собой незаполненный бланк по оказанию экономической и военной помощи тем регионам, где наметились признаки успеха коммунистов. Нам следует поступать таким образом, чтобы всем было понятно: расширение американской помощи - вопрос политической экономии в буквальном смысле этого слова - такая помощь будет оказываться только в тех случаях, когда ее результаты будут соответствовать нашим затратам и усилиям.

Затем мы остановились на специфике сложившейся ситуации в Греции и успехах нашей ограниченной интервенции. По сути дела, это своеобразное отражение точки зрения, высказанной в моем выступлении 28 марта в военном колледже. Квинтэссенция ее заключалась в том, что "в других регионах мы должны были применять подобные же критерии".

Таковыми были наши основные рекомендации, представленные генералу Маршаллу. Копии направлялись, если я не ошибаюсь, Ачесону, Уиллу Клейтону, Бену (Бенджамину) Коэну - советнику Госдепартамента и Чипу Болену помощнику госсекретаря. На следующее утро Маршалл провел совещание, на котором, кроме вышеназванных, присутствовали многие высокие должностные лица департамента. Генерал попросил присутствовавших высказаться по представленному нами документу.

Прозвучал целый ряд критических замечаний. В частности, высказывалось мнение, что европейцы вряд ли смогут сами составить эффективную программу. Под вопросом было и рассмотрение Европы в качестве единого целого. Задавался также вопрос: как нам следует поступить, если русские согласятся?

Когда все желавшие высказались, меня попросили ответить на возникшие вопросы. В своих ответах я придерживался линии, о которой сказано выше: европейцы могут объединиться, получив удовлетворяющую их программу, если же этого не произойдет, то тогда мы не сможем ничего для них сделать. Что же касается русских, будем играть в открытую. Если они отреагируют

положительно, мы проверим их намерения, потребовав от них внесения конструктивного вклада в осуществление программы. В случае же отказа русских можно просто исключить из числа участников. Сами мы разграничительную линию в Европе проводить не будем.

Когда я закончил своё выступление, генерал Маршалл поблагодарил нас и отпустил с совещания, не выразив своего мнения (он всегда поступал так, пока не принимал решения после тщательного анализа). Сейчас я уже не помню, вызывал ли он меня в следующие дни для консультаций. Генерал был порядочным человеком: он потребовал дать ему рекомендации и получил их. Затем выслушал все критические замечания и сделал соответствующий вывод. Каким он был, я увидел в тексте его выступления в Гарварде, в котором отражались все наши основные положения с добавлением некоторых соображений различных экспертов.

Разные люди претендовали на авторство плана Маршалла или же просто, как говорится, примазывались к нему. Естественно, такие высокопоставленные чиновники, как Ачесон, Клейтон и Болен, приложили к нему руку. Главная задача нашей группы планирования заключалась в сборе всех имевшихся суждений и мнений и разработке на их основе принципиальных рекомендаций и несении за них полной ответственности, что мы и сделали. Целый ряд аспектов, а также идея об объединении европейцев на основе одной программы, не был нашей выдумкой. Конечно, мы использовали высказывания многих экспертов и аналитиков, но делали свой собственный вывод о целесообразности внесения их в число рекомендаций. Был, однако, и наш собственный вклад в разработку плана. Вот некоторые основные положения:

1. Европейцы должны сами проявить инициативу по составлению программы и нести общую ответственность за ее выполнение.

2. С предложением о помощи следовало обратиться ко всей Европе: если кто и намеревался разделить Европейский континент, то пусть это будут русские, демонстрировавшие свою отрицательную реакцию, а не мы.

3. Жизненно важным компонентом возрождения Европы должна стать концепция возрождения Германии с реабилитацией ее экономики.

Таким образом, непосредственная роль группы планирования сводилась к формулировке этих трех основных положений в плане Маршалла.

С исторической точки зрения авторство этого плана

принадлежит в первую очередь генералу Маршаллу и президенту Трумэну. На первом лежит ответственность за использование представленных ему рекомендаций и советов, сведение их в единый документ и передачу его, не побоявшись возможной критики, на рассмотрение президента и конгресса, а также на суд общественного мнения Америки да и всего мира, поскольку сам план связан с известным риском. Будучи человеком, не боявшимся ответственности за возможные ошибки, допущенные даже по посторонней рекомендации, он, вне всякого сомнения, заслуживает добрых слов за свою деятельность. Но и президент Трумэн достоин всяческой похвалы за правильное понимание сложившейся ситуации и политическую смелость, за назначение в качестве госсекретаря наиболее опытного, самостоятельного и пользовавшегося уважением в народе человека с предоставлением ему свободы действий и поддержкой его инициатив, которые в случае неудачи могли бы нанести громадный ущерб государству и запутать дела администрации.

Среди советников, которым генерал Маршалл выразил свою благодарность за участие в разработке концепции программы возрождения Европы, была и наша группа планирования, что мне особенно приятно сознавать. А через два года, в июне 1949-го, когда руководители миссий стран, принимавших участие в этом плане, давали званый ужин в честь президента Трумэна и генерала Маршалла в Вашингтоне, отмечая вторую годовщину его выступления в Гарварде, генерал попросил меня подготовить для него текст ответа на тост, который непременно будет произнесен в его адрес (он находился тогда уже в отставке). Меня также пригласили на этот ужин (что было, несомненно, результатом его тактичного предложения). Окончив ответ на действительно адресованный ему тост, Маршалл с присущей ему грациозностью обратился ко мне, подняв свой бокал. Через четыре дня после этого я получил от него письмо из Виргинии, где он в то время проживал в своем доме:

"Дорогой Кеннан!

Поскольку я поблагодарил Вас неформально за помощь в составлении текста моего выступления вечером прошлого воскресенья, хотел бы официально выразить свою признательность за потраченное Вами время и усилия на осмысление квалифицированных рекомендаций. Между прочим, это было очень любезно с Вашей стороны, поскольку нечто подобное было уже Вами проделано при подготовке более важного моего выступления два года тому назад.

С почтением

Ваш Д. Маршалл".

Считаю, что сейчас уместно сказать несколько слов о генерале Маршалле. Лично я знал его только в последние годы жизни - на заключительном этапе его длительного служения нации. Близок, однако, с ним я не был (да таковых у него было немного). За время же нахождения в Госдепартаменте, с мая 1947-го по конец 1948 года, наши отношения носили чисто служебный характер, хотя я и имел привилегию заходить к нему в любое время через боковую дверь, чем никогда не злоупотреблял. Встречались мы с ним довольно часто, так что я мог наблюдать за его работой в качестве госсекретаря.

На моей памяти нет другого человека, который бы менее всего нуждался в панегирике. Как и многие, я обожал его, даже в определенной степени любил за те качества, которые он имел. Некоторые из них были широко известны, о других же общественность знала мало: прямота натуры, обходительность и джентльментство, строгое отношение к своим служебным обязанностям, невозмутимость даже в случаях, связанных с

беспокойством, критический склад ума, взвешенность суждений и решений, настойчивость в отстаивании принятых решений, отсутствие амбициозности и мелочного тщеславия, индифферентность к капризам общественного мнения и высказываниям средств массовой информации, благожелательное отношение к подчиненным без выделения любимчиков (в Госдепартаменте не было ни одного человека, которого он звал бы по имени: ко всем без исключения он обращался по фамилии, без всяких титулов). Я не всегда разделял его политические взгляды и не считал его знатоком российских проблем, в особенности в ранний период. Были моменты, когда я с ним не соглашался и давал неприятный для него совет или нелицеприятную оценку. Но он никогда не вел себя как умудренный в политике муж. Официальное его отношение к политическим проблемам не являлось результатом его собственных инициатив или запросов.

У меня сложилось впечатление, что я был для него загадкой: ведь он не привык к людям, подобным мне. Но он понимал, что я давал ему все, что мог, исходя из отношений службы и лояльности, поэтому относился ко мне с определенной снисходительностью и уважением.

Строго говоря, он был скуп на похвалу. Кроме упомянутого выше письма, содержавшего несколько скупых слов признательности, я услышал от него своеобразную высокую оценку своей деятельности, когда он поручил мне выступить в роли хозяина на приеме им у себя в офисе двух-трех гостей, прибывших на официальный завтрак. Он попросил меня налить спиртного, что я и сделал, несколько нервничая. Посмотрев, как я кудесничаю, он сказал:

"Кеннан, они говорят мне, что вы - хороший руководитель группы планирования, что, собственно говоря, я и сам знаю, но... черт побери (сказано это было по-военному)... кто научил вас класть лед в бокал, не налив туда виски?

Мне вспоминается еще один эпизод, когда он проявил ко мне особое внимание. Стояла весна 1948 года. Успех плана Маршалла был настолько очевиден, что мы с Боленом посчитали: нашему правительству необходимо сделать примирительный жест в отношении советского правительства - показать, что мы не собирались его унизить или прижать к закрытой двери и готовы к переговорам по всем проблемам в любое время. И мы порекомендовали генералу Маршаллу сделать соответствующее заявление советской стороне. Эта рекомендация была принята, и посол Уолтер Биделл Смит получил необходимые инструкции, в соответствии с которыми заявил Молотову, что правительство

Соединенных Штатов заверяет: "Дверь всегда широко открыта для переговоров и дискуссий с тем, чтобы снять возникшие противоречия".

Этот гамбит обернулся для нас довольно болезненно. Молотов, получивший, вне всякого сомнения, указание хозяина Кремля, использовал эту оказию против нас, сделав вид, будто понял нашу инициативу как приглашение к переговорам на высшем уровне, и выразил на это согласие советского правительства, что вызвало бурю спекуляций и протестов. Наши западноевропейские друзья, застигнутые врасплох, стали обращаться к нам и лично к госсекретарю, требуя объяснений. Намеревались ли мы начать переговоры с Россией за их спинами? Администрация стала растолковывать, что не имела в виду ничего подобного, попав сразу же под перекрестный огонь критики со стороны обозревателей и издательств. Одни обвиняли ее в неуместности подобных предложений, другие почему мы не идем на переговоры, коль скоро сами же предложили их начать. Херблок в газете "Вашингтон пост" поместил карикатуру, на которой был изображен Гарри Трумэн с битой в руке и мячом, лежавшим у его ног, с призывом: "Нанеси удар!"

Я был напуган тем, что сделал. Два вечера подряд я прогуливался по улицам Фоксхолл-Виллидж, размышляя над событиями и пытаясь найти нашу ошибку. На третий день я направился к генералу, чтобы поделиться своими соображениями. Он сидел, обложившись газетами.

"Генерал, - произнес я, - мне известно, что настоящий мужчина должен учиться на своих ошибках, а не плакаться. Я целых два дня размышлял, пытаясь выяснить, что же мы сделали неправильно. Клянусь своей жизнью, но никаких ошибок я не вижу. Думаю, что мы были правы, а ошибаются критики. Однако, поскольку критики очень много, где-то все же был допущен промах".

Генерал Маршалл отложил газету, тяжеловесно повернулся ко мне и пристально посмотрел поверх своих очков. Я с трепетом ждал, что будет дальше.

"Кеннан, - сказал он, - когда мы высадились в Северной Африке в 1942 году и все вначале протекало успешно, мы были просто гениями в глазах прессы в течение трех дней. Когда же начались тяжелые бои под Дарланом, газетчики целых три недели называли нас остолопами.

Решение, о котором вы говорите, - продолжил он после небольшой паузы, было одобрено мной, обсуждено на заседании кабинета министров и получило одобрение президента.

Единственно, что меня беспокоит, так это отсутствие у вас

мудрости и проницательности обозревателя. А сейчас убирайтесь!"

Несмотря на большую занятость в Госдепартаменте, я старался, когда мог, принять участие в завершении учебного года в военном колледже. 18 июня я выступил в последний раз перед слушателями и рассказал им о характере деятельности группы планирования Госдепартамента в области внешней политики, исходя из шестинедельного опыта нашей работы. Для лучшего понимания сути вопроса я привел параллель:

"У меня довольно большая ферма в Пенсильвании. По этой причине вы никогда не видели меня здесь в конце недели (или, говоря по-другому, вы не увидели бы меня, если сами были бы в это время здесь), так как я постоянно уезжал на ферму. Ферма расположена на 235 акрах и имеет целый ряд строений. На каждом из этих акров что-то постоянно происходило: бурно росла сорная трава, образовывались овраги, падала изгородь, блекли краски, начинали гнить деревья, грызуны рыли ходы и норы. Казалось, ничто не пребывало в покое. Поэтому выходные дни, теоретически предназначенные для отдыха, проходили в каких-то делах. Там стал рушиться мостик, но не успевали вы приступить к его ремонту, как появлялся сосед с жалобой на свалившийся забор - в полукилометре от здания фермы. В это же время прибегала дочь, сообщавшая, что кто-то забыл закрыть дверь в свинарник и свиньи разбежались. По дороге к свинарнику вы обнаруживали, что гончая собака расправляется с котятами ваших детей. Спасая котят, замечали, что целая секция крыши амбара оголилась и требует срочного ремонта. Из окна ванной кто-то кричал, что насос, видимо, остановился и в доме нет воды. А к воротам подъезжал грузовик с щебнем и камнем, заказанными вами для укладки дорожки. Стоя растерянно и размышляя, что же надо сделать в первую очередь, вы видели маленького мальчика, сына соседа-фермера, появлявшегося перед вами с ухмылкой на своей рожице: "А бычок-то отвязался и сейчас орудует на клубничной грядке".

Вот так примерно выглядит и политическое планирование. Наш мир довольно велик. В нем, образно говоря, имеется не менее 235 больших акров. И на каждом что-то постоянно происходит. Быстро соображающая и проницательная личность, стремящаяся идти в ногу со временем, может предположить, что упреждает события на одном из этих акров месяца на три-четыре. Но пока это лицо изложит свои идеи на бумаге, разрыв сокращается до нескольких недель. Когда же его идеи получат одобрение, останется всего несколько дней. И вот в соответствии с одобренными идеями начинаются действия, но оказывается, что

запланированные события произошли еще вчера. Тогда у многих возникает вопрос, почему, черт возьми, они не были предусмотрены заранее.

Предположим, однако, - продолжал я, - что вы принимаете решение заняться каким-то определенным вопросом, чтобы не быть увлеченным стремительным потоком текущих событий, и концентрируете на нем все свое внимание. Возьмем, например, анализ состояния одной из дружественных нам европейских стран, которая не может восстановить свою экономику за счет только собственных ресурсов в результате последствий войны. И тут вы непременно столкнетесь с длинными языками и противоречивыми взглядами.

Вы говорите:

"Пожалуй, это не так уж и сложно. Почему бы нам не сказать этим людям, чтобы они составили план реконструкции своей экономики и представили его нам. Мы же посмотрим, сможем ли поддержать его или нет".

Этим вы положите начало дискуссии. Кто-то вам возразит:

"Так дело не пойдет. Они слишком устали от всего и не в состоянии подготовить такой план. Нам придется заниматься им самим". Еще один скажет:

"Даже если они и составят такой план, у них не хватит внутренней экономической дисциплины, чтобы его осуществить. Да и коммунисты расстроят их намерения". Найдется умник, который изречет: "Коммунисты тут ни при чем. Это сделают местные бизнесмены". Другой добавит:

"Может быть, план нам вообще и не понадобится. Может, мы в последнее время дали им недостаточно средств. Если мы предоставим их сейчас, все заработает как следует".

Третий произнесет:

"По всей вероятности, так оно и есть на самом деле. Но нам придется определить, сколько денег потребуется для этого. Конгресс не намерен просто так сорить деньгами".

Кто-нибудь скажет:

"Следовательно, нам нужна программа. Необходимо уточнить, на что конкретно потребуются деньги, и добиться уверенности в том, что план будет работать". На это последует реплика:

"Да, да, но будет большой ошибкой, если мы попытаемся составить программу сами. Коммунисты сразу же откроют по ней огонь наугад, и европейские правительства откажутся брать на себя ответственность за ее выполнение".

Еще один добавит:

"Это абсолютно правильно. Нам следует сказать этим

европейцам, чтобы они составили план и представили его нам, а уж мы решим, будем ли его поддерживать". Тогда вы скажете: "Но ведь именно об этом и шла речь с самого начала".

Этот придуманный разговор лучше всего показывает характер дебатов, развернувшихся перед окончательной формулировкой плана Маршалла в правительственных кругах.

Лекция моя не носила шутливого характера, ведь она состоялась буквально на следующий день после выступления генерала Маршалла в Гарварде. Успех его предложений пока не был гарантирован. Огромные проблемы, о которых шла речь, предстояло еще решать. Я лишь попытался в заключение обрисовать опасности, с которыми они были связаны. Счел целесообразным привести некоторые отрывки из этой лекции, напомнившие с сути проблем, стоявших перед нами в 1947 году и затронутых в так называемой "доктрине сдерживания".

"...Нет необходимости закрывать глаза на серьезность нашего положения. Мы выиграли войну в Европе - на поле боя. Она стоила нам гораздо больше того, что мы ожидали: не только огромные потери человеческих жизней, не только истощение национальных ресурсов, но и нарушение стабильности нашего международного положения, допущение временной потери силы, а также некоторых естественных союзников.

Самое же негативное заключалось в том, что победа не была полной. Наш англо-американский мир оказался недостаточно мощным, чтобы устранить все угрожавшие нашему существованию силы. Нас даже вынудили войти с частью из них в союз, чтобы ликвидировать главного противника. Слишком большой неудачи в этом не было, но мы оказались неспособными заключить его, не введя самих себя и наш народ в заблуждение в отношении характера этого союза.

Современные крупные демократические государства, по всей видимости, не в состоянии разобраться в тонкостях и противоречиях соотношения сил. Вам, здесь собравшимся, пришлось на себе испытать последствия военных решений. Могу сказать, что самым большим нашим упущением военной поры стала неспособность разобраться в реальном характере нашего российского союзника и честно объяснить народу суть нашего с ним военного союза. Эта ошибка и недостатки подготовки к послевоенному периоду привели нас по окончании военных действий к необходимости установления равновесия по результатам победы над Германией.

Ныне мы, американцы, оказались стоящими на краю поля развития всемирной истории, как говорится, в гордом одиночестве. Наши друзья истощились, пожертвовав собственным

благосостоянием на общее благо. За ними, разделявшими наш язык и традиции, виден мир, часть которого настроена к нам враждебно, а другая затаила злобу. Часть стран этого мира подчинилась и перешла на службу крупной политической силе, преследующей цель - наше уничтожение. Оставшаяся часть завидует нашему материальному богатству, игнорируя или относясь безразлично к ценностям нашей национальной жизни и подходя скептически к нашей судьбе и восприятию национального величия. Сами по себе эти страны не представляют для нас большой опасности, по меньшей мере в данное время, поскольку ставят перед собой узко национальные ограниченные цели. У них нет национального единства и достаточных материальных и людских ресурсов, чтобы мечтать о мировом господстве. Но башни Кремля отбрасывают длинные тени, которые пали на многие страны, до того относившиеся терпимо к нам как к великой державе. А это очень опасно: чем более я наблюдаю за жизнью мирового сообщества, тем более убеждаюсь, что именно эти тени воздействуют на умы и деяния государственных мужей".

Такова картина мира накануне выступления Маршалла в Гарварде. Именно эти тени и должна была разогнать разрабатывавшаяся программа по восстановлению европейской экономики. А упоминаю я об этом в связи с аргументами и толкованиями так называемой статьи "X" и "доктрины сдерживания", к которым я перейду ниже.

Представив свои рекомендации 23 мая 1947 года, группа планирования работу над проблемой реставрации Европы не закончила. Документ составлялся в спешке. Был целый ряд аспектов этой программы, которыми мы хотели заняться основательно. Так что мы работали еще два месяца, уточняя концепцию, после чего представили новый документ, гораздо обширнее предыдущего. Теперь это были уже не столько рекомендации госсекретарю, сколько изложение сути вопросов и руководство к действиям для людей, которые будут заниматься осуществлением проекта в целом. Документ, названный "Некоторые аспекты программы возрождения Европы с точки зрения Соединенных Штатов", закончили 23 июля.

В нем мы детально проанализировали заинтересованность Америки в возрождении Европы, показали, что даст восстановление ее экономики в случае успешного осуществления программы, и основные условия, из которых должна исходить Америка, работая с программой, а также требования к отдельным странам (прежде всего Англии, Германии и Австрии) и степени участия частного американского капитала в осуществлении

программы. Документ этот был настолько объемным, что процитировать и даже привести из него выдержки просто невозможно. Надеюсь, однако, что он будет все же когда-нибудь опубликован полностью, так как дает исчерпывающую картину официальных причин, которыми руководствовалось наше правительство, приступая к осуществлению программы.

Тем не менее на одном из аспектов я все же хотел бы остановиться. Речь шла о четкой линии раздела между возрождением экономики Европы и проблемой роста экономики в какой-то другой части мира.

В документе говорилось, что четко определенные потребности Европы могли быть разрешены за короткое время, а это имело большое значение не только для интересов нашей страны, но и мирового возрождения в целом. Вместе с тем они требовали специального подхода. И нет оснований полагать, что методы, использовавшиеся в Европе, могут быть столько же успешно применены в других местах.

За исключением Кореи и Японии, нужды стран других регионов фундаментально отличались от европейских. В Европе требовалось задействовать мощности, имевшиеся в наличии, для самообеспечения. И эта проблема была кратковременной. В других же местах следовало создавать все заново. А эта проблема была уже долгосрочной, поскольку для ее осуществления необходимо было запустить весь организационный процесс. В Европе, к слову говоря, большая часть потребностей могла быть удовлетворена путем передачи американской технологии и некоторых секретов производства европейцам.

С исторической точки зрения перспектива двух десятилетий, в течение которых развивалась бы экономика неевропейских стран, была слишком очевидной. Однако на протяжении всего периода времени подготовки законодательного акта по оказанию помощи Европе в восстановлении ее экономики, да и нескольких лет после этого, нам, принимавшим участие в разработке концепции плана Маршалла, предъявлялись требования со стороны ряда конгрессменов о необходимости разработки подобных же программ для Китая, Среднего Востока и Латинской Америки. Конгрессмен Уолтер Ядд из Миннесоты, в частности, настаивал на подготовке плана для Китая, а потом даже обвинял нас в падении китайского националистического правительства, поскольку, мол, мы не откликнулись на его предложение. Его мнение, да и мнение многих других людей, не изменилось от наших попыток показать разницу в проблемах и ситуациях этих двух различных регионов: примитивность индустриальной базы Китая, бесперспективность политических предпосылок,

возможность неэффективного использования там финансовых средств, нереальность и необоснованность универсализации принципов подхода к этой проблеме. Свойственные американцам антипатия к региональным подходам и стремление к универсализации были настолько сильны, что их не удалось устранить даже успешным осуществлением плана Маршалла. Наоборот, он их только стимулировал.

Глава 15.

Статья "X" и "Доктрина сдерживания"

Среди многих документов, написанных зимой 1946/ 47 года, был один, подготовленный не для чтения лекций и не для публикации в печати, а для личного пользования военно-морского министра Джеймса Форрестола. После того как я был принят им в Вашингтоне 22 февраля 1946 года по вызову телеграммой, Форрестол проявлял постоянный интерес к моей работе. Полагаю, что именно благодаря его влиянию меня назначили в военный колледж, а затем я возглавил группу планирования у генерала Маршалла.

Во время моего пребывания в военном колледже, а точнее, в декабре 1946 года, Форрестол прислал мне доклад с просьбой прокомментировать последний, посвященный марксизму и советской мощи, подготовленный кем-то из его ближайшего окружения. Моя задача оказалась не из легких, поскольку я был вполне согласен с целым рядом положений, выдвигавшихся в докладе, однако некоторые мысли я изложил бы по-другому. Тема была мне близка и соответствовала моему опыту и интересам. Я возвратил доклад Форрестолу, написав, что с большим удовольствием дал бы не комментарии, а сделал бы обзор, изложив некоторые аспекты по-своему. С моим предложением он согласился.

31 января 1947 года я завершил свой труд и отправил его министру для личного использования. Речь в нем шла о сути и истоках советской мощи и проблемах, вытекавших из этого для политики Соединенных Штатов. Это была экстраполяция моих собственных суждений и размышлений, изложенная литературно. Большинство из них высказывались мной в частном порядке еще два года тому назад. Даже термин "сдерживание", которым я аргументировал, не был новым.

Форрестол прочитал мою статью и высоко оценил ее 17 февраля, сказав: "Работа сделана просто великолепно. Буду рекомендовать госсекретарю, чтобы он ее тоже прочитал".

Выступая в начале января на заседании совета по международным вопросам в Нью-Йорке, я затронул неформально эти же проблемы. Издатель журнала "Международные проблемы"

Гамильтон Фиш Армстронг поинтересовался, нет ли у меня чего-нибудь написанного по тем вопросам, по которым я выступал на совете, для опубликования в журнале. Текста у меня под рукой никакого не было, но я подумал о статье, написанной для Форрестола. В начале марта я его спросил об этом, и он заверил меня, что не возражает против публикации статьи. Чтобы прояснить вопрос, я запросил 13 марта мнение комитета по неофициальным публикациям Госдепартамента. Я намеревался опубликовать статью анонимно. Комитет не нашел в статье ничего необычного или опасного и 8 апреля дал разрешение на ее публикацию. Зачеркнув свое имя, я проставил в конце статьи "X" в качестве символа анонимности и отправил ее Армстронгу, более не думая о ней, зная, что статья будет опубликована не ранее чем через несколько недель. Не задумывался я и о возможности изменения своей позиции по затронутым в статье вопросам и толкованиях, которые она может вызвать после публикации.

Статья появилась в июльском номере журнала под заголовком "Первоисточники советских действий и поступков". Вслед за ней (8 июля) в газете "Нью-Йорк тайме" появилась заметка известного публициста и обозревателя Артура Крока, подчеркнувшего важность постановки вопроса. Как я узнал позже, Форрестол показывал ему статью у себя в кабинете еще до ее публикации. Своим острым журналистским взглядом он сразу же узнал ее, как только она вышла из печати.

Прошло совсем немного времени, когда из его заметки всем стало ясно, кто был в действительности автором статьи. И кое-кто взялся за перо, увязывая мою статью с доктриной Трумэна и планом Маршалла, спекулируя на важности поднятой темы. Поднялся самый настоящий газетный водоворот. "Лайф", и "Ридер дайджест" перепечатывали отдельные выдержки. Термин "сдерживание" подхватили и даже возвели в статус "доктрины", являвшейся будто бы одним из основных направлений внешней политики нашего правительства. Таким образом и возник этот миф, ставший проклятием для историков.

Чувствуя себя в положении человека, неумышленно столкнувшего с вершины горы большой валун и беспомощно наблюдавшего с ужасом, как он стремительно падал в долину, круша все на своем пути, мне пришлось принять на себя удары прессы, публиковавшей самые различные комментарии. Ни о чем подобном я ведь не думал. Шокированный этим генерал Маршалл провозгласил один из своих основных принципов: "Планировщики должны помалкивать". Менее всего он ожидал, что программную статью, затрагивавшую одну из важнейших проблем внешней политики государства, подписал глава его группы планирования.

Вызвав меня к себе, он обратил мое внимание на эту аномалию и, нахмурив брови (что свидетельствовало о его возмущении), смотрел на меня поверх очков, ожидая ответа. Я объяснил ему историю возникновения статьи, подчеркнув, что добро на ее публикацию официально дал соответствующий комитет. Объяснение его удовлетворило. Он был, как я уже отмечал, порядочным человеком, привыкшим требовать и уважать соблюдение установленных порядков. Поскольку дело обстояло таким образом, ответственность за публикацию статьи лежала уже не на мне. Он никогда более не вспоминал об этом случае и не предпринимал против меня никаких шагов. Прошло, однако, немало времени, как я полагаю, пока он полностью оправился от странной неожиданности, связанной с руководимом им департаментом.

Исходя из толкований, вызванных этой статьей, и анализа, проведенного мной, могу отметить, что в ней содержались довольно серьезные недостатки. Некоторые из них я мог бы подкорректировать сразу же путем более тщательного редактирования и большей предусмотрительности, если бы у меня была хоть какая-то идея, как это следовало сделать. Однако я не могу отнести эти недостатки только за счет вполне невинной манеры изложения. Некоторые аспекты реакции общественности я просто не предвидел.

Одним из серьезных недостатков статьи было то, что я не упомянул советских сателлитов в Восточной Европе и не показал условий и методов советского влияния на них. Читатель мог подумать и имел на это полное основание, что я говорил якобы только о самой России, будто слабости советской системы, на которые я указывал, касались непосредственно только ее территории, а географическое расширение советского влияния, достигнутое в результате продвижения советских армий в Восточную Европу, и политическое использование этих успехов в своих интересах не имели никакого отношения к слабостям, упомянутым мной. Очевидно, если бы я упомянул о сомнительности положения Советов, в частности, об усталости населения и низкой морали, слабостях конституционных мероприятий в самой партии и тому подобном, дал бы характеристику империалистических устремлений советских лидеров в отношении Восточной Европы, а также показал бы маловероятность успехов Москвы в этом громадном регионе уже в ближайшей перспективе, статья была бы более весомой.

Ныне я не могу с уверенностью сказать о причинах такого моего упущения в то время. Думаю, что в момент подготовки материала для Форрестола я ограничился изложенным в силу

своей большой занятости. К тому же затрагивать проблему сателлитов (по-моему, совсем другую тему) я не стал, чтобы не отходить в сторону от задуманного. Но каковы бы ни были причины, я уже тогда ясно видел трудности, с которыми приходилось сталкиваться советским лидерам в осуществлении политики поддержания своего доминирующего положения в Восточной Европе. В главе 9-й, например, я отмечал, что за два года до того высказывал мнение: русские переоценили свои силы в этом регионе.

Уже тогда я говорил, что без поддержки Запада Россия не сможет в течение длительного времени сохранять свое влияние на территориях и предъявлять там свои претензии. Такому положению непременно придет конец.

Одновременно в телеграмме, посланной мной из Москвы в Вашингтон в феврале 1946 года, я подчеркивал, что советская внутренняя система, поддерживаемая сейчас территориальной экспансией, напряжена до такой степени, что должна неминуемо лопнуть.

Если бы я включил в статью "X" эти рассуждения и добавил бы описание внутренних слабостей Советов и деформационных процессов, инициированных Москвой и связанных с нехваткой материальных и финансовых средств в Восточной Европе, то у меня было бы больше оснований подвергать сомнению долговечность и прочность импозантного и внушающего всем страх фасада здания, выставляемого на обозрение внешнему миру сталинской Россией в те послевоенные годы.

Другим большим недостатком моей статьи и, пожалуй, даже более серьезным было то, что я упустил из виду необходимость истолкования угрозы, исходившей от Советов и заключавшейся не столько в военном, сколько в политическом плане. Употребленные мной выражения типа "необходимость постоянного, настойчивого и в то же время решительного и бдительного сдерживания экспансионистских тенденций России" и "искусное и осторожное применение контрмер в целом ряде постоянно меняющихся географических и политических аспектов" были в лучшем случае не совсем определенными и вели к неправильному толкованию проблемы.

Третий большой недостаток заключался в том, что я не показал различий между отдельными географическими регионами, в которых мы не всегда успешно могли противодействовать "угрозам", о которых я упоминал. Исходя из доктрины Трумэна, мне следовало бы выделить регионы, важные для нашей безопасности, и указать те, которые не подпадали под эту категорию. Правда, уже тогда да и в последующие годы в

своих беседах и лекциях я высказывал мысль, что в мире имеются только пять регионов - Соединенные Штаты, Великобритания, Рейнская область с прилегающими к ней промышленными районами, Советский Союз и Япония, - располагавшие значительной военной силой. И я подчеркивал, что только один из этих регионов находится под коммунистическим контролем, все же остальные под него не подпадают. Почему я об этом не сказал в той статье, для меня самого остается загадкой. Скорее всего, я полагал, что достаточно было сказать о необходимости конфронтации русских "в любом месте, где станут появляться признаки их посягательства на интересы миролюбивого человечества".

Эти недостатки были столь вопиющими, что могли привести к неправильному пониманию общей обстановки в мире. Об этом, в частности, говорил Уолтер Липпман{33} в своей серии из двенадцати газетных статей, опубликованных в конце лета и осенью 1947 года (впоследствии объединенных в книге "Холодная война. Анализ внешней политики США", выпущенной нью-йоркским издательством "Харпер энд браверз" в конце 1947 года).

Когда я недавно перечитывал эти статьи (они вполне заслуживают такого внимания), то обнаружил целый ряд неправильных толкований. Липпман, в частности, принял меня за автора некоторых положений доктрины Трумэна, против которых я на самом деле выступал в качестве оппонента. Вместе с тем он давал не совсем точную трактовку того, что было написано в статье, и пытался корректировать некоторые вопросы, изложенные в выступлении генерала Маршалла в Гарварде. Советскую же угрозу он рассматривал с чисто военной точки зрения (я-то ведь так не думал). Исходя из этих неправильных посылок, он выдвигал в качестве альтернативы концепцию американской политики, весьма близкую той, которой на самом деле придерживался я, как считали некоторые аналитики, будто бы под воздействием сказанного им. Он предлагал материально поддержать важнейшие страны Европы, выступал против одновременного вывода войск - советских, американских (а также и английских) из Европы, настойчиво подчеркивал опасность попыток включения Западной Германии в качестве союзника в любую антисоветскую коалицию. Всем этим вопросам я также уделял самое пристальное внимание в своих не только устных, но и письменных выступлениях. Но он все же затрагивал их ранее меня. Я же чувствовал за собой вину, что ввел его в заблуждение. Единственным моим утешением было то, что я, по сути дела, спровоцировал его на написание отличного и глубокого трактата.

Тем не менее это обстоятельство воздействовало на меня все

же болезненно, хотя я и испытывал к нему глубокое уважение. До сих пор не могу избавиться от чувства замешательства и расстройства, когда я читал газетные статьи по мере их публикации, содержавшие взгляды и мысли, направленные против меня, с которыми я в принципе соглашался, но на которые не мог ответить вследствие своего служебного положения. Через несколько месяцев (в апреле 1948 года), когда я лежал в военно-морском госпитале в Бетесде по поводу язвы желудка в подавленном настроении, усугублявшемся пронзительным холодным ветром, дувшим в окна, я написал Липпману длинное письмо, в котором выразил свой протест против искаженной интерпретации моих взглядов в его статьях. Но я так его и не отослал, поступив, скорее всего, правильно: ведь драматичный и жалобный тон письма отражал тогдашнее состояние моего тела и души. Через год или два я все же дал ему реванш, отомстив более жестоко, но не слишком серьезно, когда мы оказались вместе в одном купе поезда Пенсильванской железной дороги, следовавшего из Вашингтона в Нью-Йорк. В своем монологе я буквально не дал ему возможности вымолвить ни слова.

Перечитывая неотосланное письмо, хочу отметить некоторые моменты из статей Липпмана, затронувшие меня в то время в наибольшей степени.

Письмо я начал, указав на путаницу, допущенную им в отношении доктрины Трумэна и плана Маршалла. То, что он посчитал меня за автора доктрины, а план - за своеобразную корректировку моего юношеского недомыслия, оскорбило меня более всего.

Затем я раскритиковал приписываемую им мне идею сдерживания России путем стационарного размещения войск вдоль границ Советского Союза и недопущения любого проявления советской военной агрессии. Как и в течение последующих 18 лет, я опротестовал его трактовку, будто бы Россия намеревалась оккупировать новые районы, а задача американской политики заключалась в предотвращении этого.

"...Россия, - настоятельно указывал я, - не собирается завоевывать кого-либо. Она попыталась сделать это с Финляндией и обожгла пальцы. Войны русские не хотят ни в коем случае. И прежде всего они не хотят твердых обязательств, которые могут привести к военным столкновениям, поэтому предпочитают обходиться политическими средствами, используя марионеток. И прошу заметить: если я говорю "политическими средствами", это еще не значит "без насилия". Но насилие это будет носить номинально внутренний, а не международный характер. Если хотите, это - политическое, а не военное насилие.

Политика сдерживания вследствие этого должна преследовать цель вызова у народов стремления к противодействию такому типу насилия и поддержанию внутренней интеграции в самих этих странах".

Потом я попытался объяснить ему (мог бы сделать это, пожалуй, и лучше), что мря статья являлась не чем иным, как обращением, адресованным главным образом нашим отчаявшимся либералам, а не представителям правого крыла с их разгоряченными головами, чтобы убедить сомневавшихся в том, что, несмотря на весьма сложную проблему наших взаимоотношений с Россией, война не была неизбежной; и без войны мы не проиграем битву, поскольку существует срединное положение политического противостояния, находясь на позициях которого мы можем рассчитывать на успех. Фактически так оно и было.

Далее я с гордостью отметил (пожалуй, с излишним пристрастием), что Липпман, по сути дела, в своих статьях одобрил рациональный аспект плана Маршалла.

Привожу эти отрывки не в порядке корректировки Липпмана, поскольку они в действительности не были ответом на его аргументацию, а в качестве своеобразного эпилога дискуссии по плану Маршалла и статье "X".

Прошло уже более года, как генерал Маршалл приступил к своей работе в должности госсекретаря. Хотел бы попросить читателя вспомнить сложившееся в то время международное положение, чтобы взглянуть на мир его глазами. Весной 1947 года было почти невозможно представить себе, каким образом можно спасти Европу. В наших головах царила полная неразбериха с концепциями "единого мира" и "двух миров". Состояние экономики континента оказалось намного хуже, чем предполагалось, и быстро ухудшалось. В конгрессе превалировало мнение, что любая зарубежная помощь - не более как мышиная возня. Коммунисты держали Францию за горло. Завеса страха, растерянности и замешательства накрыла континент и парализовала всю конструктивную деятельность. Молотов проявлял непреклонность за столом переговоров в Москве, считая, что советской стороне не стоит платить американцам за то, что и так попадет в руки русских подобно созревшему плоду в результате естественного развития событий.

Сравнимо ли это положение с сегодняшним? Европа, по общему признанию, еще не совсем поднялась на ноги. Но и в руки Молотова тоже ничего не попало. Зато мы знаем: вот Запад, а вот Восток. И такое разделение была вынуждена сделать сама Москва. Возрождение Запада идет быстрыми темпами, порождая

надежды. Народы увидели возможность лучшего будущего. Позиции коммунистов во Франции сильно пошатнулись. Народы Западной Европы нашли общий политический язык, познав необходимость опираться друг на друга и помогать друг другу. Даже те, кто занимал нейтральное положение, осознали или начали осознавать, что они - на нашей стороне. Еще год тому назад коммунисты чувствовали свою устойчивость и силу. Ныне же в некоммунистическом мире с каждым днем растут непреклонность и сила сопротивления. Следует отметить, что разногласия продолжаются только в Италии. А год назад подобное положение наблюдалось во всей Европе да и у нас самих.

Вы можете возразить: это же не было результатом деятельности только американских политиков, тут руку приложили и другие.

Естественно, мы сделали это не одни, и у меня нет никакого намерения браться за распределение ответственности за эти события. Правда, мы успешно применили некоторую, как говорится, ловкость рук. В международных делах существует правило: не попробуешь - не узнаешь. Если бы развитие событий за прошедшие годы шло не в совсем желательном для нас направлении - то есть произошло бы ослабление наших позиций, не исключаю, что многие из вас возложили бы вину за это на руководство нашим государством. Ведь ответственность за любые допущенные ошибки предъявляется всегда правительству.

За годы, прошедшие с того периода времени, миф о "доктрине сдерживания" не потерял своей привлекательности. В целом ряде случаев меня просили объяснить значение доктрины, сказать, считаю ли я успешным ее применение и как это относится к Китаю, высказать мнение, сохраняет ли она свою актуальность и по сей день. Задавалась масса других вопросов и давалась самая различная интерпретация. Просоветские писатели рассматривали ее как маскировку агрессивных намерений против Советского Союза. Критики же с правого фланга нападали на нее как раз за отсутствие агрессивности, за пассивность и нехватку призывов к окончательной победе. Серьезные комментаторы считали, что она была хороша в 1947 году, но потеряла свое значение с началом корейской войны и особенно в связи со смертью Сталина и установлением биполярности мира.

Я затруднялся реагировать на всю эту критику. Ведь то, о чем я говорил в своей статье "X", я и не собирался рассматривать в качестве доктрины.

Когда я писал статью "X", то имел в виду серию, как мне казалось, уступок по отношению к Советскому Союзу как во время

войны, так и сразу же после ее окончания, - уступок, с которыми были связаны надежды на тесное сотрудничество наших правительств в послевоенный период. Вместе с тем я имел в виду тот факт, что многие люди, видя бесперспективность попыток добиться договоренности с советскими лидерами о послевоенном порядке в Европе и Азии, впадали в паническое настроение, считая новую войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами неизбежной.

Именно по этой проблеме я и начал дискуссию в своей статье, полагая, что знаю эти вопросы лучше многих других в Америке, не нуждаясь ни в чьих консультациях и считая, что роковой неизбежности войны нет. На мой взгляд, существовал другой (очень простой) путь решения этой проблемы - путь, обещавший неоспоримый успех, идя которым мы могли бы избежать нового всемирного бедствия и обеспечить западному сообществу наций такое положение, которое было бы не хуже нынешнего. Вместо того чтобы делать бессмысленные односторонние уступки Кремлю, надо было переходить к инспирированию и поддержке сопротивления попыткам Советов к расширению регионов своего политического влияния и установлению там доминирующего положения, ожидая ослабления советской мощи и обуздания советских амбиций и поведения. Советские лидеры, какими бы грозными они ни были, не являлись суперменами. Подобно правителям всех крупных стран, им приходилось решать вопросы, связанные с внутренними противоречиями и дилеммами. Поэтому нам следовало, не проявляя агрессии, но сохраняя хладнокровие и решительность, просто-напросто выждать, пока сработает время.

Вот, собственно, и все, чего я хотел добиться своей статьей. Я не считал, что ситуация, сложившаяся после окончания военных действий в 1945 году, будет продолжаться вечно. Более того, я полагал: когда советские лидеры подготовятся к обсуждению проблем, вытекавших из окончания войны, мы, в свою очередь, решим, что же конкретно может быть сделано для восстановления нормального положения дел. Я полностью разделял мнение Уолтера Липпмана о важности вывода советских войск из Восточной Европы, хотя и не придавал этому большого политического значения, как он. (Впоследствии оказалось, что он был в большей степени прав.)

Пожалуй, никто лучше меня в то время не осознавал опасности постоянного разделения Европейского континента. Целью сдерживания было не поддержание статус-кво, сложившегося в результате военных операций и политических договоренностей в конце Второй мировой войны, а стремление

помочь нам преодолеть тяжелое время и предоставить возможность обсудить с русскими все помехи и опасности, связанные с этим положением, для достижения мирным путем более лучших и здоровых условий существования.

Если политика сдерживания не сыграла своей роли, как утверждалось некоторыми аналитиками в последующие годы, то она и не провалилась. Провал произошел бы в случае, если бы она не смогла удержать русских от смертельно опасных действий, направленных "против интересов миролюбивых народов" (таких действий не последовало), или если бы не произошло ослабление советской мощи (а оно произошло).

Неуспех доктрины заключался в том, что наше правительство оказалось не в состоянии осознать политическую опасность как таковую и не смогло устранить ее невоенными средствами, неправильно интерпретировав к тому же значение корейской войны. Оно не сумело также использовать появившиеся благоприятные возможности в последующие годы для полезной политической дискуссии, будучи озабоченным военной стороной вопроса, закрепляя разделение Европы вместо того, чтобы ликвидировать его.

Таким образом, провалилась не "доктрина сдерживания", а намерение довести начатое дело до конца.

Используя в своей статье "X" термин "советская мощь", я имел в виду систему власти, инспирированную, организованную и руководимую Иосифом Сталиным. Ее монолитную структуру представляли практически почти во всех странах мира высокодисциплинированные коммунистические партии. В таких условиях любые успехи местных коммунистических партий следовало расценивать как влияние Кремля. А поскольку Сталин весьма ревниво осуществлял свой контроль над зарубежными коммунистами, они в то время неукоснительно являлись проводниками его воли. Он пользовался высочайшим авторитетом в коммунистическом мире, возглавляя четко действовавший, бдительный, с имперскими амбициями штаб, который не потерпел бы никакой оппозиции.

Разрыв Тито с Москвой, произошедший в 1948 году, - первая брешь в монолитном единстве руководимого из Москвы коммунистического блока. В течение длительного периода времени он оставался единственным. Но немедленного и существенного воздействия на коммунистический мир это не произвело. Однако когда в период с 1957-го по 1962 год противоречия между коммунистическими партиями Китая и Советского Союза, пребывавшие до того в скрытом состоянии, прорвались на поверхность и приняли форму главного конфликта

между двумя режимами, ситуация в международном коммунистическом движении резко изменилась. Коммунистические партии, находившиеся не только за пределами Восточной Европы, могли теперь ориентироваться на два, а если считать Белград, то и на три полюса. Такая свобода выбора сделала для них возможным приобретение независимости во многих отношениях. Ни тот ни другой центры коммунизма не могли уже добиться полного дисциплинарного контроля за ними, опасаясь бросить их в руки другой стороны. Сами же эти партии, вынужденные открыто примкнуть к тем или другим, лишались возможности маневра, в результате чего не могли думать и поступать самостоятельно, то есть реально воспользоваться своей независимостью. Таким образом, если в конце 1940-х годов все коммунистические партии (за исключением югославской) рассматривались как инструменты советской мощи, то в конце 1950-х никто из них (разве лишь болгарская и чехословацкая) уже не являлся ничьим инструментом.

Такое развитие событий изменило коренным образом международное положение, как это предусматривалось концепцией сдерживания и было показано в моей статье. Исходя из ее основных положений, можно констатировать, что китайско-советский конфликт был, по существу, как раз мерилом доктрины сдерживания. Он не только не аннулировал ее первоначальную оригинальную концепцию, но и расставил по местам все аспекты самой проблемы.

Попытки перечисления всех аспектов "доктрины сдерживания" применительно к ситуации, сложившейся после китайско-советского конфликта, и, в частности, к понятию "коммунизм" без рассмотрения всей его специфики, не дали бы правильного представления о проблеме в целом и потому предприниматься мной не будут. Нынешнее понятие "коммунизм" не соответствует этому термину времен 1947 года. В настоящее время осталось всего несколько национальных режимов, которые придерживались радикального марксизма и проводили свою политику, исходя из тех или иных марксистских концепций.

Поскольку меня считают автором "доктрины сдерживания" 1947 года, могу сказать, что она потеряла много рационального после смерти Сталина и развития советско-китайского конфликта. Решительно отрицаю свое авторство и считаю нецелесообразным и неправильным применение этой доктрины сейчас к ситуациям, к которым она не имеет да и не могла иметь прямого отношения.

Глава 16.
Япония и Макартур

Работа, проделанная группой планирования по подготовке программы возрождения Европы, носила, как мы видели, весьма срочный характер. Она охватывала потребности целого географического региона. Требования, предъявлявшиеся к нам, были такие, что мы до окончания ее не имели ни времени, ни возможности отвлечься на что-нибудь еще. Лишь в конце лета 1947 года мы смогли вздохнуть свободнее, осмотреться и попытаться разобраться в положении Америки, занимаемом ею в мире.

По прошествии некоторого времени мне стало ясно, что образовались два региона наибольшей опасности, ответственности и возможностей для нас Западная Германия и Япония, находившиеся обе под оккупацией. Это были центры и крупнейшие индустриальные комплексы соответственно - на Западе и Востоке. От их возрождения зависела реставрация стабильности в Европе и Восточной Азии. Для установления соответствующего равновесия сил в послевоенном мире было необходимо, чтобы они не попали в руки коммунистов, а их громадные ресурсы использовались бы только в конструктивных целях.

В этих двух регионах - в Японии, где верховное командование осуществлял генерал Макартур, и в нашей зоне, в Западной Германии, - правительство Соединенных Штатов несло за все полную ответственность. Мы не только взяли ее на себя в качестве победителей, и она носила характер диктатуры, но и сознательно сняли с бывших наших противников малейшую ответственность за происходящее. Вместе с нашими союзниками мы были теоретически в состоянии контролировать как внутреннее развитие, так и внешние связи обоих этих регионов. В отличие от других частей мира здесь нам не приходилось противостоять местным суверенным правительствам, которых было бы необходимо увещевать, обхаживать или оказывать на них давление, прежде чем мы добились бы того, чего хотели. Как говорится, "пирог тут был нашим" и нам оставалось только нарезать его.

Однако, смотря на происходившее в мире в 1947 году с позиций Госдепартамента, можно отметить несколько тревожных факторов.

Первый заключался в том, образно говоря, что две важнейшие наши фигуры на шахматной доске мировой политики оказались почти виртуально неуправляемыми ни Госдепартаментом, ни даже президентом. Командующие американскими войсками в оккупированных странах (Японии и Западной Германии) занимали весьма независимое положение, являясь законом

самими для себя. Политика Госдепартамента, направленная во время войны на всемерную поддержку военных, оказалась неизменной и в послевоенный период времени, когда они стали обладать наряду с силой еще и неограниченной оккупационной властью за рубежом. Если командующие и обращались в Вашингтон по каким-либо вопросам, то - в военное министерство и главным образом, как я полагаю, в управление по гражданским делам. Но как мы убедились, рассматривая его деятельность, связанную с работой Европейской совещательной комиссии, оно, пожалуй, более всех других правительственных агентств и учреждений было настроено на всемерное сотрудничество. Но даже и в этих редких случаях, как нам казалось, командующие обращались лишь тогда, когда чувствовали необходимость поддержки со стороны высших государственных инстанций при принятии щекотливых и противоречивых решений, за которые они не хотели брать на себя исключительную ответственность. Во всех других случаях контроль за их деятельностью осуществлялся военным министерством не намного лучше, чем Госдепартаментом.

Эта особенность исходила из того обстоятельства, что командующие "имели", образно говоря, по две шляпы - одну американскую и другую международную.

Они выполняли, с одной стороны, директивы американского правительства, а с другой - международные соглашения, принятые союзниками. Оказавшись под давлением обстоятельств, они быстро, как говорится, "меняли" шляпы. Такая быстрота и ловкость позволяли им не подчиняться некоторым приказам Вашингтона, если они противоречили их собственной точке зрения и склонностям.

Так что главная трудность заключалась не только в том, как указывать командующим на необходимость что-либо делать, но и выяснять, чем же они в действительности занимались. В Германии эта проблема выглядела несколько проще, так как Госдепартамент имел там своего представителя в лице посла Роберта Мэрфи, профессионального дипломата с большим опытом работы, способного непредвзято судить о делах и людях и обладавшего престижем. Поэтому нас постоянно и хорошо информировали о том, что там происходило. Значительно хуже обстояли дела в Японии. Макартур порой не хотел даже прислушиваться к советам и рекомендациям Госдепартамента по политическим проблемам своего региона. Все имевшиеся в то время линии связи шли через военное министерство. При штабе Макартура в Токио находился представитель Госдепартамента, но как бы в подчиненном положении - возглавляя нечто вроде

протокольного отдела. В связи с этим его доступ к информации, возможности выхода на связь с Госдепартаментом и иные аспекты были весьма ограниченными. Правда, эти недостатки отчасти компенсировались, насколько это позволяло, личными качествами человека, проработавшего в Японии с 1947-го по 1952 год, - Уильяма Зебальда, опытного и способного сотрудника нашего департамента, хорошо знакомого с японскими делами.

Трудности контроля за деятельностью командующих усугублялись еще и тем, что они напрямую обращались к общественности и конгрессу. К тому же они были радушными хозяевами для всех, кто посещал их "вотчины". Без их одобрения и поддержки работать там представителям прессы было трудно. Даже известные личности волей-неволей становились их гостями, находясь в полной зависимости от них в вопросах размещения и транспорта. Так что, покидая эти страны, они сохраняли чувство личной обязанности к командующим за проявленное по отношению к ним гостеприимство и обходительность. По сути дела, командующие чувствовали себя полновластными хозяевами и даже князьками, как в стародавние времена: их благожелательный кивок открывал многие двери, без чего журналисты, конгрессмены и официальные лица не могли никуда попасть и получить реальное представление о положении дел и характере оккупационной политики в этих странах.

Вместе с тем командующие чувствовали определенную моральную поддержку за счет восхищения, которое вызывали американские законодатели в военной форме, обладавшие властными полномочиями, в оккупированных странах. Американцы, выражавшие решительный протест против покровительственного и деспотического отношения к себе со стороны американского правительства на территории самих Соединенных Штатов, находили вполне естественным и даже вызывающим определенное чувство гордости положение, при котором американский командующий обладал неограниченной властью, не подверженной никакому контролю, в другой стране. Более того, они проявляли симпатию к этому командующему, несмотря на противодействие попыткам Вашингтона вмешиваться в его дела. Высказывая такое замечание, я не критикую всех генералов, ибо не они проявляли инициативу для получения тех постов, на которых теперь находились. Насколько я знаю, большинство из них использовали свою большую власть с высокой степенью ответственности и гуманности, пользуясь заслуженным уважением. Считаю даже, что по отношению к ним проявлялась примерно такая же симпатия, как в свое время к Белизариусу, навестившему Италию во время своей поездки по

Византии. Страна, находившаяся под его командованием, жила в мире и спокойствии, пользуясь его радушием. Ему самому, однако, приходилось жаловаться на попытки неуместного и невежественного вмешательства в его дела со стороны константинопольского имперского двора.

Суть вопроса заключалась в том, что некоторые военные администрации в оккупированных странах вмешивались в прерогативы суверенных правительств, требовавших соответствующего к себе обращения. Созданные в качестве инструментов проведения государственной политики, они зачастую превращались в центры проведения собственной политики.

Кто бы ни отвечал в Вашингтоне за создание военных административных структур за пределами собственных границ, в особенности если они получили неограниченную власть в решении гражданских проблем регионов, в которых располагались, главы таких администраций должны были помнить, что они в первую очередь проводили решения своего правительства, не создавая собственные бюрократические структуры власти, которые по-своему решали проблемы международной политики, исходя из своих собственных перспектив и интересов, а употребляли полученную власть для осуществления контроля за правильным использованием американских ресурсов в этих регионах.

Рассматривая положение, сложившееся в Германии и Японии в 1947 году, с точки зрения проведения там национальной политики, следует, конечно, отметить слабую степень контроля со стороны Вашингтона за тем, что там происходило. Однако надо иметь в виду характер директив как национального, так и международного планов, которыми руководствовались военные администрации и под влиянием которых они находились. В большей части эти директивы разрабатывались на заключительном этапе войны и содержали в основном утверждения общего характера, евангелический либерализм, фарисейский энтузиазм, просоветские иллюзии и нереальную надежду на сотрудничество великих держав в послевоенное время, исходившую из союзнической политики периода войны. Положения эти находились в стадии модификации с учетом накапливаемого опыта, но сами директивы ревизии не подвергались, не было и систематического подхода для приведения их в соответствие с новой ситуацией, сложившейся к 1947 году. В результате оккупационная политика того времени носила неопределенный характер переходного периода, пытаясь исходить в ряде случаев из реальной обстановки, но все еще в

значительной степени была связана с нереалистическими и полностью неадекватными директивами. Последние в какой-то степени отражали международные соглашения, в связи с чем их изменение было связано с труднопреодолимыми проблемами. Теоретически право их изменения принадлежало нашему правительству, формально же - военному министерству. Госдепартамент мог лишь высказывать свои предложения и поддерживать те или иные инициативы, не имея права и власти действовать самостоятельно.

Обстановка в Германии в то время не требовала проявления каких-либо инициатив со стороны нашей группы планирования. Провал в Москве последних переговоров министров иностранных дел положил конец иллюзиям о возможности создания четырехсторонней администрации для Германии. Вывод из этой ситуации сделали в форме достижения договоренности с англичанами об экономическом слиянии английской и американской зон оккупации, и соглашение это к середине 1947 года находилось уже в стадии реализации. Соглашение в сочетании с программой европейской реставрации вселяло надежду, что в недалеком будущем, по крайней мере, Западная Германия уже пойдет в нужном направлении - по пути своего выздоровления, что позволит ей внести свой вклад в дело восстановления остальной Европы и добиться собственной политической стабильности.

Ситуация же на Дальнем Востоке выглядела совершенно иначе. Китай, вне всякого сомнения, постепенно подпадал под коммунистический контроль. Мы не усматривали ничего, что позволило бы Соединенным Штатам воспрепятствовать этому. К тому же мы не были убеждены, что такое развитие событий серьезно повлияет на наши позиции. Конечно, наше правительство допустило здесь целый ряд ошибок, главная же причина, однако, заключалась в слабости националистического режима, к которой, по нашему мнению, можно было бы отнестись снисходительно и как-то подбодрить, но которую нельзя ни подкорректировать, ни исправить даже путем оказания помощи.

С другой стороны, ухудшение обстановки в Китае не казалось нам фатальным для американских интересов. Китай не был страной с сильно развитой промышленностью и не имел перспектив, как мы считали, стать индустриальной державой в ближайшем будущем. Он не будет, в частности, располагать крупными вооруженными силами, во всяком случае, за пределами континентальной части страны, просто не имея на то возможности.

В то время именно так я и полагал, хотя, как оказалось

впоследствии, мнение это было неправильным (о своих коллегах я не говорю). Вместе с тем я выяснил, что в случае их успеха (захват власти и распространение ее по всему Китаю) вряд ли китайские коммунисты будут в течение длительного периода времени оставаться под контролем России.

"Мне кажется, - сказал я в своей лекции в военном колледже 6 мая 1947 года, - если русские окажутся одни в Китае, то непременно столкнутся с проблемой, с которой сталкивались другие в предыдущие века. Представляя движение меньшинства населения, ведущего борьбу за свое существование... китайские коммунисты будут вынуждены поддерживать тесные отношения с Москвой. Когда же они установят контроль над основной частью территории Китая и окажутся в большинстве, полагаю, что их отношения с Москвой вряд ли будут значительно отличаться от нынешних отношений с Чан Кайши, поскольку, обладая большей самостоятельностью, займут позицию, которая позволит им проводить независимую от Москвы политику".

Если развитие событий в Китае не представляло видимой опасности для нашей страны, то иное положение складывалось в Японии, так как она представляла собой более важный потенциальный фактор политического развития международных отношений и располагала самым мощным военно-промышленным потенциалом на Дальнем Востоке. Американцы, общественное мнение которых всегда находилось под странным очарованием, производимым Китаем, завышали значение последнего и преуменьшали роль Японии. Я считал в те годы и не изменил своего мнения и сегодня, что, если бы советских лидеров в послевоенное время поставили перед выбором, осуществлять ли им свой контроль над Китаем или над Японией, они выбрали бы последнюю. Мы, американцы, чувствовали себя в достаточной безопасности, имея дружелюбную Японию и номинально враждебный Китай, считая, что такая комбинация не представляла для нас ничего плохого. Опасность же, которую таил в себе другой расклад номинально дружеский Китай и явно враждебная Япония, - продемонстрировала война на Тихом океане. Хуже всего было бы наличие враждебного Китая и враждебной Японии. Триумфальное шествие коммунизма в Китае неминуемо будет связано с оказанием коммунистического давления на Японию, что должно привести, как на это надеялись в Москве, к тому, что Япония настроится враждебно по отношению к нам.

Такие соображения привлекли в конце лета 1947 года внимание группы планирования к ситуации в Японии и состоянию оккупационной политики, которая там проводилась.

То, что мы обнаружили, вызывало на первый взгляд беспокойство. Теоретически после достижения целей оккупации - проведения первичной демилитаризации и получения репараций - оккупация страны должна заканчиваться подписанием мирного договора. Генерал Макартур официально заявил 17 марта 1947 года, что Япония готова к заключению мирного соглашения. 11 июля Госдепартамент разослал приглашения одиннадцати странам-участницам дальневосточной комиссии (союзное представительство ее располагалось в Вашингтоне, которому генерал Макартур подчинялся в вопросах осуществления условий капитуляции Японии) на предмет проведения предварительной конференции по подготовке проекта мирного договора. Эта инициатива, однако, натолкнулась на невосприятие предложенного со стороны России и националистического Китая. Выяснилось, что в данный момент из этой затеи ничего не выйдет. Тем не менее у нас сложилось мнение, что при согласии других стран мы могли бы все же подписать мирный договор, после чего эвакуировать из Японии свои войска и предоставить ей свободу действий.

Неудивительно, что, разобравшись летом 1947 года в ситуации в Японии, я приступил к реализации напрашивавшихся решений. Если правительство Соединенных Штатов намеревалось оградить Японию от коммунистического влияния, то было бы глупо оставлять ее одну, полностью разоруженную и демилитаризованную, в сложившихся обстоятельствах. После передачи Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов да при наличии советских оккупационных войск в Северной Корее Япония фактически находилась в полуокружении СССР. Наш же оккупационный режим не предпринял никаких мер для обеспечения ее будущей безопасности. Более того, никто в нашем правительстве да и руководстве союзных государств не подумал в ходе подготовки к заключению мирного договора, какие же шаги должны быть сделаны в этом направлении после его подписания. А ведь центральное управление японской полиции было ликвидировано. Япония практически не располагала никакими эффективными средствами противодействия коммунистическому проникновению и политическому давлению даже при наличии американской оккупации. Перед лицом такой опасности администрация генерала Макартура должна была действовать, чтобы обезопасить японское общество от политического давления и перекрыть возможные пути прихода коммунистов к власти.

Естественно, мы не были полностью уверены в своих оценках. Да и не имели возможности получить точную информацию по

действующим правительственным каналам связи о том, что сделано и делается администрацией Макартура. Но по данным, которыми мы располагали, и в результате проделанного анализа напрашивался вывод, что наше руководство подошло к опасной черте, взяв на себя инициативу начать переговоры о заключении мира с Японией. Однако отказ России и Китая принять в них участие значительно упростил решение вопроса, чего мы даже не ожидали, получив возможность еще раз проанализировать сложившуюся ситуацию и тщательно продумать генеральное направление нашей политики в отношении Японии. Таким образом, группа планирования получила, как говорится, карты в руки. Но в своей работе мы должны были исходить из общих направлений американской внешней политики в целом. Вместе с тем требовалась более точная информация о положении дел в Японии, чем та, которая поступала опосредствованно по каналам связи военного министерства. К тому же было бы трудно подготовить толковые рекомендации и выдвинуть новые идеи без переговоров и консультаций с генералом Макартуром лично.

Эти соображения нашли свое отражение в документе, представленном мной генералу Маршаллу 14 октября 1947 года, где говорилось об опасности преждевременного снятия нашего контроля над Японией. Кроме того, я указал на то, что оккупация, как она осуществлялась ныне, теряла свое значение. Попытки применения существующих концепций и директив вряд ли дали бы возможность Японии после заключения мирного договора с н'ей спокойно воспользоваться обретенной независимостью. Поэтому возникла необходимость, прежде чем предпринять дальнейшие шаги по заключению мирного договора с Японией, переговорить лично с генералом Макартуром по всем проблемам и тщательно изучить соответствие директив, которыми руководствовалась его администрация, современным требованиям.

В последовавшие недели я неоднократно дискутировал с госсекретарем по затронутым мной вопросам, в результате чего он принял решение о моей поездке в Японию, и как можно раньше, для изучения положения дел на месте и детального обсуждения с генералом Макартуром всех сложностей и деликатностей политики, которую он там проводил.

Еще до своего отъезда в Японию в конце февраля 1948 года я подготовил и передал генералу Маршаллу два документа, в которых рассматривал международную ситуацию и проблемы, вытекающие из нее для Соединенных Штатов. Считаю, что читателю будет интересно познакомиться с их обзором, так как они хорошо иллюстрируют картину того, как в то время выглядел

мир, и дают представление, каким образом формировалась американская внешняя политика.

В первом документе, представленном мной 6 ноября 1947 года, речь шла о международной ситуации. Свое изложение я начал с рассмотрения нашей политики сдерживания коммунистической экспансии и оценил ее как весьма успешную. Расширение регионов советского политического доминирования остановлено. Если программа европейской реставрации осуществится так же успешно, коммунисты, по всей видимости, не смогут закрепиться там на своих позициях. Однако американский вклад в разработку и осуществление этой программы значительно истощил наши ресурсы. Поэтому было бы неразумно продолжать проводить политику сдерживания и выполнять программы оказания помощи Европе в одиночку. В связи с этим необходимо восстановить баланс сил путем укрепления независимости различных стран и предоставления им возможности большего участия в решении возникших проблем.

Остановка дальнейшего глобального продвижения коммунизма вызовет, по моему мнению, необходимость консолидации коммунистических сил в Восточной Европе. А это приведет, как говорится, "к зажиму гаек", в особенности в Чехословакии. До тех пор, пока коммунизм сохранял поступательное движение в Европе, Россия предоставляла чехам видимость свободы. Теперь же она не сможет позволить себе подобной роскоши. Чехословакия могла бы легко оказаться под влиянием истинно демократических сил. С учетом этого следует в ближайшее время ожидать там ликвидации демократических институтов и укрепления власти коммунистов.

Установив раздел Европы по линии Любек - Триест, русские, по всей видимости, смогут удерживать свою власть к востоку от нее в течение какого-то определенного времени исключительно политическими методами. Но это окажется непростым делом, причем трудности будут постоянно нарастать. И вряд ли им удастся длительно удерживать свой контроль над сотней миллионов людей.

Что же касается Германии, то русские, скорее всего, предпочтут сохранение раздела страны ее объединению не под коммунистическим контролем. Поэтому американцам придется попытаться извлечь возможную выгоду от этого раздела. А значит, что нам надлежит найти средства и пути сближения западной части Германии с остальными европейскими странами.

Таковыми были основные положения этого документа. Прошу обратить внимание на то место, где говорится о Чехословакии. Мой прогноз оказался правильным. Кризис там произошел через

три с половиной месяца, кульминацией которого явились, как известно, отказ от последних институтов истинной демократии и установление чистейшей коммунистической диктатуры. Подобное развитие событий, предвиденное нами, подтвердило правильность американской инициативы с планом Маршалла. Но, как ни странно, этого не поняли ни американское общественное мнение, ни представители правительственной бюрократии. В результате события в Чехословакии были восприняты как новый успех коммунистов - что служило доказательством неадекватности наших методов сдерживания на тот период времени. Но, как мы увидим в следующей главе, это дало толчок к созданию НАТО, привело к милитаризации настроений официального Вашингтона и положило начало "холодной войне".

Во втором документе, переданном госсекретарю в день моего отъезда в Японию, содержался анализ глобальных проблем американской политики. Он слишком объемный, чтобы процитировать хотя бы отдельные его положения, но на некоторых моментах я все же остановлюсь.

Во-первых, в нем затрагивались наши отношения в Советским Союзом. Если в результате использования программы возрождения Европы и применения других средств удастся остановить коммунистическую экспансию в Европе, говорилось в этом документе, то советские лидеры будут вынуждены впервые после капитуляции Германии начать с нами серьезные переговоры о судьбе ее и Европы в целом. А это явится большим испытанием для американских государственных деятелей, так как мы должны продемонстрировать полезность таких переговоров, поскольку снятие напряженности в Европе и на Среднем Востоке позволит обеим сторонам вывести свои войска из Европы и установить на длительное время стабильное положение на континенте.

Но для этого потребуется проведение целого ряда частных, секретных и неформальных дискуссий с советскими лидерами.

(Я специально останавливаюсь на этом вопросе, ибо в такой своеобразной криптографической формулировке скрыты не опознанные еще в то время зародыши серьезных разногласий, которые вскоре возникнут между мной и некоторыми правительственными чиновниками, включая преемника генерала Маршалла, а также руководством нашей военной администрации в Германии относительно методов достижения успешного осуществления программы возрождения Европы и возможностей извлечения из этого максимальной пользы.)

Значительная часть документа посвящена опасности, связанной с дальнейшим советским экспансионизмом в

Восточном Средиземноморье и на Среднем Востоке. Успех нашей мирной интервенции в Греции убедительно свидетельствовал об этом. Образование государства Израиль (я выступал против оказания ему американской военной поддержки), кажется, усиливает опасность коммунистической инфильтрации в арабские страны. В этом разделе документа я рассматривал вопрос (являвшийся в ту пору гипотетическим, но принявший в последующие годы практическую форму), как следует поступить, если коммунистам удастся успешно проникнуть в новые регионы, используя только политические средства и методы, без применения вооруженных сил. Я считал, что в подобном случае было бы глупо реагировать на это, применяя собственные вооруженные силы.

"Использование регулярных войск США, - утверждал я, - для противодействия успехам местных коммунистических элементов в иностранных государствах было бы связано с большим риском и принесло бы больше вреда, нежели пользы".

Целесообразнее всего, по моему мнению, развертывание в соответствующих географических регионах наших военных баз и опорных пунктов. Тем самым мы могли бы дать понять русским, что их методы проникновения и ведения подрывной работы в этих странах непременно повлекут за собой усиление там вооруженных сил и более жесткую реакцию властей. Ослабление же коммунистической угрозы создаст условия для вывода из этих регионов американских военных контингентов. (Я полагал, если бы коммунистам, например, удалось консолидировать свою власть в Греции, то нам бы пришлось при согласии наших союзников создавать военные базы в других странах Средиземноморья.)

Возвращаясь к вопросу о Дальнем Востоке, я высказал мысль, что мы там слишком распылились. Положение дел в этом регионе было плохим, и мы ничего не могли поделать для его улучшения. Приходилось проявлять сдержанность. Наши средства оказания необходимого влияния - военная сила и экономика. Япония и Филиппины могли стать краеугольными камнями тихоокеанской системы безопасности, способной обеспечить наши интересы. Если мы сможем сохранить эффективный контроль над этими двумя архипелагами и обеспечить их дружелюбное отношение к нам, то в обозримое время Восток не будет представлять большой угрозы для нашей безопасности. Поэтому нашими целями в предстоящий период времени должны быть:

ликвидация ненужных обязательств в отношении Китая и попытка восстановления нашей беспристрастности и свободы действий с учетом складывавшейся ситуации;

выработка политического курса для Японии, обеспечившего бы безопасность страны. Следует оградить ее от проникновения коммунизма и установления там доминирующего положения, а также от военных посягательств Советского Союза и вместе с тем позволить восстановить японский экономической потенциал, в результате чего она вновь стала бы важной составляющей силой в регионе, внося ощутимый вклад в поддержание там мира и стабильности;

предоставление Филиппинам независимости, но таким образом, чтобы архипелаг оставался бастионом американской безопасности в тихоокеанском регионе.

Как явствует из этих положений, для обеспечения нашей национальной безопасности какие-либо специальные военные меры на Азиатском континенте не предусматривались.

26 февраля 1948 года я вручил второй документ, после чего вылетел в Японию. Миссия моя носила деликатный характер, поскольку отношения между генералом Маршаллом и Макартуром были довольно прохладными и, как мне казалось, без взаимного расположения. Этому способствовали трения военного периода, когда между европейским и тихоокеанским театрами военных действий шла самая настоящая борьба за получение резервов личного состава, техники и материального обеспечения. Преимущество отдавалось генералу Маршаллу. К тому же он с большой неохотой шел на обмен мнениями с генералом Макартуром. А тот, как мы знали, относился с предубеждением к Госдепартаменту, выступал против любой попытки с его стороны вмешаться в дела, связанные с оккупацией Японии, и стал бы рассматривать приезд любого представителя Госдепартамента не иначе как подобную попытку. Связи между двумя институтами Госдепартаментом и американской военной администрацией в Японии - были настолько слабыми и отдаленными, да еще наполненными взаимным недоверием и настороженностью, что моя миссия напоминала скорее задачу некоего посланника, намеревавшегося установить связи и дипломатические отношения с враждебным и относившимся с подозрением правительством иностранного государства. Предпринимая такую поездку и учитывая негативное отношение к этой проблеме генерала Маршалла, а также нескрываемый скептицизм дальневосточного управления нашего департамента, я рассчитывал только на себя.

Военное министерство, как я подозревал, было не только взбудоражено, но и заинтриговано моей поездкой. Правда, некоторые сотрудники понимали необходимость ревизии концепций и директив, которыми военная администрация

руководствовалась в своей деятельности в Японии, но были здорово запуганы Макартуром к лишь плотно сжали свои зубы, наблюдая за выступлением гражданского Давида против военного Голиафа. Сознавая, что в результате моей поездки могут быть затронуты их собственнические интересы, они направили в качестве моего попутчика своего представителя, который держал бы их в курсе происходившего. Им волею судьбы оказался высококомпетентный, интеллигентный и благоразумный генерал ван Ренсселер Шюлер (ставший позднее главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе). Я не мог бы желать более приятного попутчика, полагая тем более, что он в своей спокойной и тактичной манере сможет оказать мне огромную помощь в благополучном осуществлении моей миссии.

Госдепартамент со своей стороны выделил мне в помощь опытного сотрудника министерства иностранных дел Маршалла Грина (ставшего много лет спустя нашим послом в Индонезии), бывшего в то время личным секретарем американского посла в Токио Джозефа Грю. Грин тогда находился в штате дальневосточного управления департамента. Его отличное знание японских проблем и умелое поддержание связей с промежуточным звеном военной администрации Макартура оказались неоценимыми в успешном решении задач моей миссии.

Генерала Макартура, естественно, заранее предупредили о моем визите. Он не отказал мне во встрече, но, как я узнал позже, отреагировал на известие о моем приезде хмуро, произнеся загадочно: "Я дам ему такую информацию, которая войдет в .одно ухо и выйдет из другого".

Вместе с генералом Шюлером мы вылетели из Сиэтла 29 февраля 1948 года. Сделав промежуточную посадку на одной из островных баз, а затем дозаправившись на острове Шемиа с крохотной взлетно-посадочной полосой, в 1400 милях от наших берегов, мы достигли Токио через 30 часов полета. В четыре часа утра в воскресенье нам пришлось садиться в условиях разыгравшейся снежной бури. Подогрев в самолете на последнем отрезке пути вышел из строя, и мы до мозга костей продрогли и совсем обессилели.

Добравшись до гостиницы "Империаль", я попытался уснуть, но мне это не удалось из-за телефонных звонков корреспондентов и сотрудников посольства. В час дня мы с генералом Шюлером, не спавшие около 48 часов, направились в резиденцию генерала Макартура на обед.

Генерал вместе со своей супругой встретили нас обходительно. За обедом кроме нас присутствовал еще только один из его помощников. Шюлер сел за стол с одной стороны

Макартура, а я - с другой. Когда обед подходил к концу, он, повернувшись ко мне спиной и обратившись к Шюлеру, временами постукивая одним пальцем по крышке стола, подчеркивая ту или иную мысль, произнес речь, которая длилась, по моим подсчетам, около двух часов. Удрученно я сидел в своем кресле не двигаясь. Поскольку я не мог сделать никаких заметок, не привожу никаких деталей его продолжительного монолога. Как мне кажется, это была его обычная манера приема любых посетителей из Вашингтона. Помню только, что он привел исторический пример военной оккупации Галлии Цезарем, чтобы подчеркнуть полезность и необходимость оккупации Японии. Японскому народу требовались, по его мнению, руководство и вдохновение, в связи с чем он считал своей задачей дать японцам демократию и христианство. Они уже почувствовали вкус свободы и никогда не возвратятся в рабство. Коммунисты в Японии никакой опасности не представляют. Мирный договор можно было бы подписать уже год тому назад. Русские и китайцы пошли бы на это, рассчитывая избавиться от нас. Сейчас же положение осложнилось.

После такого высказывания нас вежливо отпустили с заверением, что необходимый справочный материал нам подготовят сотрудники администрации.

На следующий день я ознакомился с первыми переданными мне материалами. Хотя они, однако, и содержали некоторые полезные данные, в них не было никаких пояснений. Думаю, что подобные материалы готовились для прессы. Многое, о чем в них говорилось, было нам с Грином известно. Короче говоря, представляя собой некоторый интерес, они не отвечали на основные вопросы моей миссии.

Видя, что, если я не проявлю инициативу, мой вояж на этом и закончится, в тот же вечер я написал в своем гостиничном номере письмо генералу Макартуру, в котором поблагодарил его за предоставленные материалы. Вместе с тем, подчеркнул я, у меня есть вопросы, которые нужно бы обсудить с ним лично и выслушать его мнение. В заключение я попросил принять меня в удобное для него время.

На следующий вечер меня навестил в гостинице генерал Чарльз Уиллби, первый помощник и советник Макартура. Мы приятно провели с ним вечер, ведя беседу по многим вопросам. Он интересовался Советским Союзом восстановлением его экономики и направленностью послевоенной международной политики. Затем он попросил меня прочитать лекцию на следующий день для руководящего состава американской военной администрации.

Лекцию я прочитал с удовольствием, поскольку был знаком с положением дел в Советском Союзе лучше, чем кто-либо из присутствовавших, и полагал, что смогу пополнить их знания в этих вопросах и прояснить неясные моменты. Генерал Макартур на моей лекции не появился, позже, однако, я знал, что ему подробно доложили обо всем, что я говорил. Наши беседы с генералом Уиллби и моя лекция показали главнокомандующему американскими войсками в Японии истинную цель моей миссии и характер моего интереса к проводившейся в стране оккупационной политике.

Во всяком случае, дня через два генерал Макартур принял меня без посторонних лиц, и его вечернее интервью продолжалось довольно долго. Мы обсудили с ним все основные проблемы оккупационной политики - на мой взгляд, все без исключения, - а также вопросы отношений с бывшими союзниками в связи с оккупацией Японии и предстоявшим мирным договором с ней. Свое мнение он излагал открыто, что побудило и меня поступить так же. Я увидел, что он реально понимал опасности, подстерегавшие нас, и осознавал, не менее чем мы, необходимость изменения и модификации целого ряда аспектов оккупационной политики. Его, в частности, беспокоила оппозиция, которую могли занять некоторые из наших союзников, являвшихся членами дальневосточной комиссии, в связи с возможными изменениями этой политики. В ответ я высказал ряд соображений, оказавшихся для него новыми, с помощью которых у него появлялась возможность преодоления трудностей, им упомянутых. Я подчеркнул, что дальневосточная комиссия обладала лишь совещательными полномочиями и то лишь в области выполнения условий капитуляции Японии (исходя из Потсдамской декларации). Но и в ней говорилось только о демилитаризации Японии и отказе ее от администрирования определенными территориями. Эти условия на данный момент уже выполнены. Так что можно считать, что он выполнил свои полномочия, связанные с контролем за выполнением условий капитуляции Японии, то есть в области, в которой дальневосточная комиссия имела право его консультировать. Изменения же в оккупационной политике касались совершенно другой области - экономической реабилитации страны и реставрации ее способности к внесению решающего вклада в дело стабилизации и процветания дальневосточного региона, связанной не с условиями ее капитуляции, а с необходимостью ведения переговоров о заключении мирного договора. По вопросам же политики и методов разрешения возникшей ситуации никаких международных соглашений не имелось.

Поэтому правительство Соединенных Штатов и генерал Макартур в качестве его представителя в Японии могут решать эту проблему по собственному усмотрению. Я не видел никакой необходимости в том, чтобы он в чем-то консультировался с дальневосточной комиссией или считал себя связанным с высказываниями, сделанными им в период капитуляции Японии. Тем самым ни о каких нарушениях положений Потсдамской декларации и акта капитуляции Японии быть не может, так что у союзников нет оснований для высказывания возражений или протестов.

Эти тезисы вполне удовлетворили генерала, и он даже хлопнул себя ладонью от удовольствия по ляжке. Расстались мы с ним, по моему убеждению, с чувством убежденности в достижении единства мнений.

С этого момента мои дела пошли просто великолепно. В дополнение к полученным материалам в штабе администрации в Токио мы с Грином совершили поездки в несколько важнейших центров оккупации. Для этой цели в наше распоряжение предоставили комфортабельную железнодорожную дрезину и приняли все меры по обеспечению нас необходимой информацией.

Картина, вырисовывавшаяся в результате изучения обстановки в Японии, полностью подтвердила наши опасения, возникшие еще прошлой осенью. Не было, по сути дела, ни одной позиции, по которой страна могла бы взвалить на себя бремя ответственности за независимость, что неминуемо возникло бы после подписания мирного договора.

В первую очередь не было ничего сделано для обеспечения обороны .Японии. Американская военная администрация насчитывала в то время 87 тысяч человек военнослужащих, большинство из которых занимались административными вопросами. Боевых подразделений - не более одного-двух. Японцы же были полностью разоружены, и ни у кого даже не возникала мысль об их вооружении.

Оккупационный аппарат лежал тяжелым грузом на японцах, забирая значительную часть средств, нужных для восстановления экономики. Кроме военного персонала, мы имели там еще более 35 тысяч гражданских лиц. Численность же японского обслуживающего персонала, труд которого оплачивался также японской казной, составляла несколько сот тысяч человек, включая десятки тысяч слуг. К моменту нашего визита японское правительство было вынуждено построить, естественно, за свой счет 17 тысяч новых жилищных комплексов для сотрудников американской военной администрации, тогда как в стране

насчитывалось несколько миллионов разрушенных бомбежками городских строений, в которых ютилось население. Оккупационные расходы составляли не менее трети расходов японского бюджета. Громоздкий оккупационный аппарат паразитировал в целом ряде аспектов (констатировал я), не говоря уже о личном обогащении некоторых оккупантов.

Исходя из вышеизложенного, японцы испытывали трудности в подготовке к восстановлению своей независимости даже при прочих благоприятных обстоятельствах. В дополнение к сказанному реформы, которые начала проводить американская военная администрация, и в особенности методы их осуществления, вызвали состояние нестабильности в японском обществе.

Земельная реформа, сама по себе конструктивная и необходимая, привела к тому, что 1/3 пахотных площадей страны стала собственностью японского правительства, ставившего своей целью ее последующее распределение. Однако только1/7 часть этих земель реально использовалась для этих целей, в результате чего на селе возникло недовольство, и в отношениях между сельскохозяйственными производителями нарушилась прежняя стабильность.

Подобная же ситуация сложилась и в промышленной сфере. Американская военная администрация стала проводить в жизнь с большим энтузиазмом идею создания трестов, хотя департамент юстиции в Вашингтоне резко выступал против этого. 260 японских компаний, включая несколько громадных промышленных концернов, были определены как "чрезмерная концентрация экономической мощи". Охрану их и обеспечение безопасности взяло на себя японское правительство под руководством американской военной администрации и подготовилось к перепродаже - неизвестно только кому. Сами компании находились в стадии неопределенности, что серьезно влияло на проявление инициативы и уверенность в управлении ими. Идеологические концепции, на которых базировались эти мероприятия, близкие советским взглядам о вредности и пагубности "капиталистических монополий", соответствовали интересам будущей коммунизации Японии и мало соответствовали целям возрождения Японии.

Наибольшее же опасение, на мой взгляд, вызывала ситуация, вызванная чисткой, проводимой в правительстве, сфере образования и бизнесе, направленной против людей, подозреваемых в симпатиях к японскому милитаризму и содействии японской агрессии в прошлые годы. Американская военная администрация действовала в этой области слишком

догматично, безлико и карательно, мало чем отличаясь от тоталитарных режимов. Ко времени нашего приезда такую процедуру прошло уже более 700 тысяч человек. В сфере образования из полумиллиона учителей около 120 тысяч были вынуждены прекратить свою профессиональную деятельность. И процессу этому не было видно конца. Военная администрация издала декрет, по которому все правительственные служащие должны проходить проверку на лояльность под контролем администрации без каких-либо ограничений. Приказов, распоряжений и наставлений по этому поводу было огромное множество.

Позже в своем докладе правительству я отмечал, что на обычных японцев процедура чистки производила гнетущее впечатление. Сомневаюсь, что и многие представители военной администрации смогли бы толком объяснить характер и цели такой процедуры, не говоря уже о ее предназначении.

Положительный психологический эффект был потерян в результате бестолковых распоряжений, директив и программ. Дискриминационный характер мероприятий, фактически мало чем отличавшихся от практики тоталитаризма и направленных против всех слоев населения, вступал в конфликт с гражданскими правами, предоставленными нами же японцам по новой конституции. Вследствие этих мероприятий большое число людей отстранялись от нормальной гражданской жизни, а ведь основная их вина заключалась в том, что они честно служили своей стране в годы войны, вряд ли подпадая под категорию милитаристов. Крупнейшие деятели японского общества, которые могли бы оказаться полезными в возрождении страны, были загнаны в подполье. Повышенное давление, как известно, не будучи сброшенным вовремя, обычно прорывается на поверхность в самый неподходящий момент. Совершенно странным и непонятным явилось то обстоятельство, что чисткам подвергались даже личности, дружески относившиеся к Соединенным Штатам перед войной. Проамериканизм, особенно в высших кругах общества, следовательно, также подвергался сомнению. В результате политика и действия военной администрации привели жизнь японцев на грань беспорядков и смятения, вызвав серьезную нестабильность.

На возрождении японской экономики весьма отрицательно сказывались демонтаж промышленного оборудования и репарационные поставки, шедшие в Китай, на Филиппины и в другие страны, бывшие союзниками США. При этом эти поставки в случае их продолжения не только ослабили бы и далее экономику Японии, но и не привели бы к укреплению экономики

других стран. Значительная часть вывезенного оборудования, как нам стало известно, ржавела в портах Шанхая и других дальневосточных городов.

Вполне очевидно, что подобная обстановка, даже в случае быстрой ликвидации оккупации, порождала благоприятные условия для усиления коммунистического влияния. К тому же ничего не предпринималось для снабжения японцев необходимыми средствами в целях обеспечения их внутренней безопасности. Полицейские подразделения, контролировавшиеся из центра, насчитывали порядка 30 тысячи человек. Муниципальная полиция с 77 тысячами личного состава подчинялась местным властям. Между ними не имелось почти никакой связи, не говоря уже о взаимодействии. А ведь коммунистическая опасность была особенно актуальна в городах. На вооружении полиции находились только пистолеты, из расчета один пистолет на четверых полицейских. Контрразведки не существовало вообще. И хотя Япония была островной страной, у нее отсутствовала морская охрана. Не было, конечно, и никаких вооруженных сил, которые могли бы быть использованы в случае возникновения беспорядков. Трудно даже себе представить более благоприятную обстановку для прихода коммунистов к власти. К тому же японские коммунисты имели в то время полную свободу в своей политической деятельности, в результате чего численность их рядов стремительно возрастала.

Мне довольно часто приходилось слышать высказывания, что столь плачевные результаты деятельности американской военной администрации, мол, связаны с проникновением коммунистов в ее состав. Генерал Макартур был об этом также осведомлен, да вопрос этот возник и во время нашей дискуссии. Если я понял его правильно, он не считал невозможным, что в числе нескольких тысяч сотрудников администрации могли быть и члены компартии. Вот его слова: "По всей видимости, таковые у нас есть. Имеются они и в военном министерстве, и в Госдепартаменте. Но это большого значения не имеет".

Таким образом, он считал, что при их небольшой численности и незначительном влиянии коммунисты играли несущественную роль.

У меня нет никаких данных для оценки политического влияния коммунистов на деятельность американской военной администрации в Японии. Если бы правительственные учреждения оценивались по степени влияния коммунистов на их деятельность (лично я об этом не думал, однако в Вашингтоне одно время шли разговоры на эту тему), то к военной администрации в стране предъявлялось бы гораздо больше

претензий, чем к Госдепартаменту. Его сотрудникам повезло, что во главе последнего стоял генерал, а не гражданское лицо. В противном случае и их не обошли бы подозрительность и осуждение со стороны конгресса, в особенности в лице ныне покойного сенатора Джозефа Маккарти. (В то время по Соединенным Штатам прокатилась волна "охоты за ведьмами", коснувшаяся всех без исключения правительственных ведомств.)

По возвращении в Вашингтон я представил госсекретарю доклад, в котором изложил, естественно, гораздо подробнее, чем упомянул здесь, обстановку, сложившуюся в Японии. В заключение дал целый ряд рекомендаций по принятию необходимых мер.

Степень контроля военной администрации за деятельностью японского правительства должна быть ослаблена. Японцев следует поощрять к большей самостоятельности и независимости, не навязывая новых законодательных реформ. Главенствующей должна стать реформа по возрождению экономики. Чистка должна проводиться более лояльно и закончиться по возможности быстрее.

Оккупационные расходы необходимо сократить, репарации приостановить вопреки возможной оппозиции некоторых членов дальневосточной комиссии. Расчеты по имущественным претензиям должны быть упрощены и ускорены.

В ближайшее время не следует торопиться с подписанием мирного договора, обратив основное внимание на создание условий, при которых японцы будут в состоянии взять на себя груз независимости. К началу переговоров о мирном договоре должен быть составлен его новый проект - весьма кратко, в общих чертах и без карательных мер. (В Госдепартаменте циркулировал проект договора - весьма объемный, с хитроумными юридическими формулировками и большим количеством санкций.)

После подписания мирного договора нам следует оставить в Японии определенное количество войск, но их численность, стоимость содержания и влияние на общественную жизнь и экономику должны быть сведены до минимума. Оставим ли мы свои вооруженные силы, базы и другие военные объекты в Японии после заключения мирного договора - необходимо будет рассмотреть в будущем. Однако уже сейчас надо принять решение, что мы еще долгое время будем оставаться на Окинаве и вместе с тем примем все необходимые меры по восстановлению экономической стабильности и созданию нормальных условий жизни для островного населения. (От подобных шагов в других частях страны желательно воздержаться, поскольку неизвестно,

как долго мы там еще будем находиться.) Полицейские силы Японии тем временем надо усилить и перевооружить, добавив к ним сильную и эффективную береговую охрану, а также морскую полицию.

Эти рекомендации госсекретарь передал в дальневосточное управление для изучения и критических замечаний. Там их приняли с двумя небольшими поправками. Но поскольку эти предложения затрагивали в значительной степени наши военные интересы и могли быть решены прежде всего военным руководством, их направили на рассмотрение и получение президентских санкций в совет национальной безопасности, многие члены которого являлись представителями вооруженных сил. На это потребовалось время. Не все рекомендации, однако, были приняты, так как затрагивали не только военную политику в целом, но и личные привилегии, удобства и преимущества военных. Тем не менее большинство рекомендаций после тщательного изучения и одобрения президентом стали основой для необходимых распоряжений военной администрации в Японии в конце 1948-го и начале 1949 годов.

В какой степени эти рекомендации нашли свое отражение в практической деятельности военной администрации, сказать не могу. Думаю, однако, что генерал Макартур, в принципе относившийся к ним одобрительно, будучи хорошо проинформированным об осторожности и медлительности при принятии окончательного решения, применил многие из них с опережением своей собственной властью, не дожидаясь окончания их рассмотрения в Вашингтоне. В результате эффект осуществления принятых решений по Японии оказался растянутым во времени и в целом довольно незначительным. Так, Зебальд в своих мемуарах{34} не говорил, что слышал вообще о таких решениях, хотя и отмечал некоторые перемены, произошедшие в Японии в 1949 году. В мемуарах генерала Уиллби{35} также ничего об этом не говорилось. Временами возникало чувство, что Вашингтон тогда не очень-то интересовался деятельностью этой державшейся весьма самостоятельно и независимо оккупационной команды.

Тем не менее мой визит в Токио, беседа с генералом Макартуром и решения, принятые после этого на основе моих рекомендаций Вашингтоном, стали решающими в изменении нашей оккупационной политики в Японии в 1948-м и 1949 годах. Поэтому считаю участие в произошедших там изменениях своим наиболее конструктивным вкладом после плана Маршалла в деятельность правительства. Ни до, ни после этого мне не удалось дать рекомендации такого масштаба и значения, которые

были приняты почти полностью.

Давая свои рекомендации в 1948 году, в которых не шла речь о возможном стационировании американских войск в Японии после заключения мирного договора с ней, я надеялся - полагаю, в то время эту надежду разделял и генерал Макартур, - что нам удастся достичь понимания России о необходимости обеспечения безопасности северо-западного региона Тихого океана и без размещения в нем воинских контингентов. Я считал, что там, как и в Европе, русские не станут прибегать к военным действиям. Самую большую опасность для Японии, на мой взгляд, тогда представляли интриги, подрывные действия и возможный приход в стране к власти японских коммунистов. Только в случае, если этот процесс зайдет достаточно далеко - на его заключительной стадии, мог возникнуть прецедент использования советских вооруженных сил для его поддержки. Вследствие этого Японии были нужны не иностранные военные базы на ее территории, а способность к обеспечению внутренней безопасности. Когда же внутреннее положение в Японии стабилизируется ив стране будут иметься достаточные полицейские силы, а также эффективная морская охрана, которая окажется в состоянии пресечь инфильтрацию с материка, мы сможем, как мне казалось, предложить России в обмен на вывод наших войск с Японского архипелага (в отношении Окинавы я был не совсем уверен) заключить соответствующее соглашение, дающее нам уверенность, что она не будет предпринимать попыток коммунизации всей Кореи. Естественно, до заключения мирного договора в этом не было необходимости. Однако этот вопрос следовало оставить открытым, дабы использовать его для заключения сделки, когда придет время начала серьезных международных переговоров.

Был ли готов генерал Маршалл действовать в конце 1948 года в соответствии с этой концепцией, мне неизвестно. Не знаю я и реальных причин того, почему наше правительство и новый госсекретарь Дин Ачесон пришли к выводу в конце лета 1949 года о необходимости заключения мирного договора с Японией. В своем дневнике я нашел запись, датированную 30 августа 1949 года, в которой говорилось:

"Полным иронии является то обстоятельство, что в данное время заключение мирного договора (с Японией) представляется единственной возможностью преодолеть внутренние административные трудности в нашем правительстве..."

Возврат к вопросу о заключении мирного договора явился таким образом не следствием объективных потребностей сложившейся ситуации, а неспособности нашего правительства

использовать громоздкий оккупационный механизм, носивший на себе отпечаток вашингтонской бюрократии и находившийся под сильным влиянием военных в качестве эффективного инструмента международной политики.

Вполне вероятно, что Ачесон и Бевин во время их встречи в Вашингтоне в сентябре 1949 года пришли к мнению, что необходимо начать подготовку к заключению мирного договора с Японией. Идея эта, однако, столкнулась с сопротивлением военного лобби, поскольку следовало бы отказаться от тех льгот и привилегий, которые имели наши войска в Японии. Конфликт, по всей видимости, разрешился за счет договоренности о том, что, хотя в договоре не будет ничего сказано о сохранении американских военных баз в Японии, это будет оговорено в отдельном сепаратном соглашении с японским правительством. Если же Россия не согласится с этим - скорее всего, так оно и будет, - то мы не будем колебаться и подпишем как сам договор, так и соглашение без русских.

Такое решение этой проблемы предопределяло вопрос о сохранении американского военного присутствия в Японии, даже без попытки использовать этот фактор в переговорах с Россией, чтобы прийти к необходимому соглашению. По моему личному убеждению, возможно, именно такое решение и побудило советскую сторону к развязыванию военных действий в Корее. Однако официальный Вашингтон в то время не осознавал, к каким последствиям могли привести его действия и проводимая политика в отношении России, не пытаясь ответить на простейший вопрос, а что сделано нами, чтобы удержать советское правительство от намерений использовать военную силу в любом регионе. Я видел, что никого, кроме меня, в Вашингтоне не занимала мысль о возможной связи нашего решения действовать независимо ни от кого при заключении сепаратного мирного договора с Японией, включая вопрос о сохранении там нашего военного присутствия в последующий период времени, с одной стороны, и решением советского правительства о развязывании гражданской войны в Корее с другой.

Весной 1950 года начались переговоры о подписании мирного договора с Японией. Думаю, что это было делом рук Джона Фостера Даллеса. Решение об оставлении на территории Японии американских войск и после заключения мирного договора к тому времени уже приняли. Оказал ли Даллес какое-либо влияние на принятие этого решения, я не знаю. Во всяком случае, он проводил его в жизнь. Правда, насколько я помню, он вкратце проконсультировался со мной в самом начале, когда стал

заниматься этой проблемой. Я сказал ему, что не видел необходимости сохранения американских военных баз в Японии после подписания с ней мирного договора и что, по моему мнению, при наличии у японцев достаточных полицейских сил и достижении ими внутренней стабильности и экономического прогресса, которые позволят им успешно справиться с собственными коммунистами, острова могли бы спокойно оставаться демилитаризованными и сохранять нейтралитет по международному соглашению. Но моя точка зрения, по всей видимости, так же повлияла на него, как и на Ачесона.

Вскоре после этого разразилась корейская война. Шок, вызванный таким развитием событий у американской военной администрации в Японии, и тем более размах и характер наступательных действий в Корее вынудили нас вступить в войну, использовав в первую очередь сухопутные, морские и авиационные подразделения, базировавшиеся в Японии, чтобы доказать необходимость присутствия там американских вооруженных сил для обеспечения стабильности и безопасности во всем этом регионе.

Корейская война разрушила последние, пусть даже и хрупкие, возможности для достижения российско-американского взаимопонимания в отношении проблем тихоокеанского региона, вытекавших из демилитаризации и нейтрализации Японии. Последовавшие затем события в Китае подтвердили полное отсутствие такого взаимопонимания.

Глава 17.

Североатлантический альянс

В двух последних главах я описывал усилия, прилагавшиеся лично мной, как лицом, принимавшим участие в разработке, а затем и осуществлении политики Вашингтона, которые в общем-то были вполне успешными. Сейчас же я перейду к рассмотрению одного из крупнейших мероприятий в области американской внешней политики периода генерала Маршалла, на планирование и претворение в жизнь которого сколь либо существенного влияния, однако, я оказать не смог и которое с самого начала приняло характер, резко противоречивший моим представлениям по основным своим аспектам о том, как нам следовало поступать.

Зимой 1947/48 года, перед самой моей поездкой в Японию, в Западной Европе произошли события, оказавшие существенное влияние на наши отношения с западноевропейскими странами. К этим вопросам я, к сожалению, не имел никакого официального отношения и не мог существенно влиять на них, хотя они и были весьма непродуманными и недальновидными. Лондонская конференция четырех министров иностранных дел, проходившая

с 25 ноября по 15 декабря 1947 года, окончилась полным провалом. Этого можно было вполне ожидать, да она и не произвела на меня никакого впечатления. Тем не менее не успели закончиться рождественские праздники, как британское правительство поставило вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности Англии, поскольку выяснилось, что Организация Объединенных Наций не в состоянии сделать это в связи с началом "холодной войны" и возникшими противоречиями. 13 января министр иностранных дел Англии Эрнест Бевин проинформировал генерала Маршалла, что Англия намеревается обратиться к Франции и странам Бенилюкса с предложением начать переговоры по общим проблемам обороны, считая, что в них должны принять участие и мы. Наш ответ, данный в период между 15 и 20 января, был одобрительным. Не помню, принимал ли я тогда в этом какое-либо участие. Решающее слово, как я полагаю, было за Даллесом. Он присутствовал на заседаниях Лондонской конференции министров иностранных дел в качестве советника тогдашнего госсекретаря Маршалла. Французское правительство, испытавшее на себе громадное давление инспирированных коммунистами забастовок, чуть ли не паниковало. Кроме того, присутствие высокопоставленных лиц Америки в Лондоне, а не в Париже действовало угнетающе на самообладание французов. Учитывая это обстоятельство, Даллес, с согласия Маршалла, отправился в Париж 4 декабря 1947 года с целью ознакомления со сложившейся там ситуацией и поддержки французского правительства. Хотя пик внутриполитического кризиса во Франции к тому времени уже прошел, Даллес возвратился потрясенный, с твердым убеждением, что Франции требуется какого-то рода политическая поддержка. Промежуточный билль об оказании помощи (первый шаг в осуществлении плана Маршалла) еще не был к тому времени принят конгрессом. Билль же о возрождении европейской экономики только лишь готовился к направлению туда для одобрения и принятия. Французы, будучи неуверенными в собственной внутренней ситуации, как было сказано нам англичанами, неодобрительно относились к мероприятиям по оздоровлению западногерманской экономики, что предусматривалось планом Маршалла. Им требовались определенные гарантии и поддержка, прежде всего со стороны американцев, против возможного рецидива восстановления военной мощи Германии. Как Даллес заявил в своем выступлении в сенате годом позже, "французы чувствовали себя в то время обнаженными". Им необходимы, по его мнению, наши заверения в поддержке, прежде всего в военной и политической областях,

если они примут конструктивное участие в программе возрождения Европы. Этой точки зрения придерживались как генерал Маршалл, так и президент не только из чувства уважения к опыту и суждениям Даллеса, но и на основе тех впечатлений, которые получил сам Маршалл на Лондонской конференции.

С одобрения американцев Бевин 22 января заявил в своем выступлении в палате общин о необходимости создания Западного союза, в который вошли бы Англия, Франция и страны Бенилюкса и который имел бы единые взгляды по военным и политическим вопросам, а также и в экономической области. Это предложение встретило поддержку в Париже и столицах стран Бенилюкса. В феврале началась подготовка к проведению соответствующей конференции для принятия окончательного решения. Заседание состоялось в начале марта, а 16 марта был подписан договор о создании так называемого Брюссельского союза.

Когда я отправился в Японию, переговоры в Брюсселе еще не начались. Но я был уверен в успехе британской инициативы и в нашей поддержке ее, хотя, как мне казалось, время начала ведения переговоров о военных приготовлениях и обороне еще не пришло, считая опасения европейцев несерьезными. Вместе с тем я согласился с их требованиями определенных заверений и гарантий, но видел опасность в том, что некоторые из них побудят их к ведению военных приготовлений. В подробном анализе проблем нашей внешней политики, представленном мной Маршаллу 24 февраля, я высказал мнение, что инициатива Англии по созданию Западного союза требует нашей поддержки, но в то же время до принятия окончательного решения необходимо дальнейшее изучение этой проблемы. Я легковерно полагал, что никакой спешки тут пока не было и что вопрос останется открытым до моего возвращения.

В день моего отъезда кризис в Чехословакии достиг своего апогея. Происходившие там события в конце февраля и первых числах марта привлекли пристальное внимание американской прессы и общественного мнения. Известие о том, что 11 марта при загадочных обстоятельствах умер (был убит или покончил жизнь самоубийством) Мазарик, министр иностранных дел Чехословацкой республики, сын бывшего президента страны, вызвало настоящий шок. Мазарика знали как друга Запада. Его смерть драматизировала ход событий, происходивших в стране.

Еще большее значение, на мой взгляд, для официальных лиц Вашингтона имела телеграмма, полученная 5 марта из Берлина от генерала Люциуса Клея. В течение целого ряда месяцев генерал сообщал, что, исходя из логического анализа, война с

Советским Союзом, по крайней мере в "ближайшие десять лет", маловероятна.

В телеграмме было сказано: "В последние недели отмечены резкие изменения в поведении советской стороны, которые я не могу идентифицировать, но которые наводят на мысль, что война может вспыхнуть драматично и неожиданно"{36}.

Я почти убежден, что перехваченные генералом Клеем радиопереговоры русских в накаленной атмосфере Берлина были первыми признаками принятия ими решения об установлении блокады Берлина. Убежден, что более глубокое знание подоплеки этого вопроса и положения дел у русских позволило бы ему не впасть в истерику, которую отражает его телеграмма. Госдепартаменту же и другим официальным лицам в Вашингтоне следовало бы оценить это сообщение, посоветовавшись с людьми, хорошо знающими Россию. Телеграмму эту мне не показывали вплоть до моего прибытия в середине марта на Филиппины. Я немедленно послал свои соображения в Вашингтон, но было уже поздно. Военные и разведывательная братия (решающее слово за военными) к тому времени уже увязали телеграмму Клея с чехословацкими событиями. В верхних эшелонах власти началась предвоенная паника, усугубленная докладом Центрального разведывательного управления президенту 16 марта, в котором говорилось, что "войну следует ожидать в пределах шестидесяти дней". Через сутки, когда другие службы установили предположительный срок начала военных действий через две недели, военно-воздушные силы были приведены в состояние боевой готовности.

Неправильная оценка сложившейся обстановки тут же сказалась на отношении правительства к Брюссельскому союзу. На следующий день, 17 марта, договор подписали, а президент назначил проведение совместного заседания обеих палат конгресса. Он первоначально планировал выступить с ритуальной речью в Нью-Йорке в день святого Патрика, однако отмечал впоследствии в своих мемуарах: "...Угрожающие события в Европе происходили столь стремительно, что... я счел необходимым выступить перед нацией в конгрессе"{37}.

В своем выступлении он одобрил Брюссельский договор, заявив, что мы окажем ей свою поддержку и доверие: "...Соединенные Штаты окажут свободным нациям ту поддержку, которая потребуется складывающейся обстановкой, соответствующими средствами. Уверен, что решимость свободных стран Европы к самозащите встретит адекватную решимость с нашей стороны оказать им в этом необходимую помощь".

Еще до подписания Брюссельского договора Госдепартамент

приступил к изучению различных путей оказания американской помощи в вопросах обороны странам, в него входящим.

В своем кратком изложении мартовского кризиса 1948 года хотел бы подчеркнуть, что оба события, повергшие официальный Вашингтон в дрожь консолидация власти коммунистов в Чехословакии и попытка выставить западных союзников из Берлина, - являлись лишь защитной реакцией советской стороны в связи с удачным началом осуществления плана Маршалла и подготовкой западных держав к формированию сепаратного правительства в Западной Германии. Как и инспирированные коммунистами забастовки, захлестнувшие Францию и Италию осенью 1948 года, они отражали попытку Москвы, пока еще не поздно, разыграть политические карты, которыми она располагала на Европейском континенте. Такую реакцию я, собственно говоря, ожидал и принимал в расчет. Ранее я упоминал о документе, направленном мной из Москвы в Вашингтон, подготовленном в период, предшествовавший капитуляции Германии, и озаглавленном "Международное положение России в канун окончания войны с Германией". Полный текст этого документа приведен в приложении. Хочу тем не менее обратить ваше внимание на некоторые его аспекты.

Если западным державам удастся выдержать свою политическую линию, отказав России в моральной и материальной поддержке ее устремлений в консолидации своего влияния в Восточной и Центральной Европе, она, скорее всего, будет не в состоянии в течение длительного времени удерживать это влияние на всей территории, на которую сейчас предъявляет свои претензии. И в этом случае ей придется что-то менять и от чего-то отказываться{38}. Когда же изменения в советской политике произойдут, они, вне всякого сомнения, будут прочувствованы не только в западных странах, но и во всем мире. Доверенные лица Советов, очевидно, смогут и далее удерживать свою власть на определенных территориях, но поступят в соответствии с небезызвестным выражением Троцкого: "Надо хлопнуть дверью, да так, чтобы содрогнулась вся Европа". При этом коммунистические партии и их клики постараются устроить максимальные затруднения для западных демократий, а миру придется вспомнить слова Молотова, произнесенные им в Сан-Франциско: "Если конференция не согласится на выдвигаемые Россией условия установления мира и безопасности, она попытается добиться этого в другом месте".

Если западный мир сможет противостоять такому взрыву болезненного раздражения, а демократии покажут, что готовы постоять за себя в борьбе с наихудшими проявлениями в

деятельности дисциплинированного, но неразборчивого в средствах меньшинства населения в своих странах, в деятельности, исходящей из политических интересов Советского Союза, Москва будет вынуждена разыграть свою последнюю козырную карту. У нее просто не будет других средств, чтобы воздействовать на западный мир. Следовательно, надо ожидать начала военных действий, поскольку русские захотят продемонстрировать свои возможности. И происходить это будет на суше, так как Москва не располагает достаточными военно-морскими и военно-воздушными силами, чтобы бросить вызов в этих областях западным державам.

В 1948 году, то есть через три года после того, как были написаны эти строки, ничто не поколебало моей уверенности в правильности моего анализа. Я считал, что ничего неожиданного, ничего экстраординарного в поведении коммунистов - массовые забастовки во Франции и Италии, государственный переворот в Чехословакии и блокада Берлина - не происходило, хотя эти события вызвали большую тревогу в западных столицах в конце 1947-го и начале 1948 годов.

Но это было не что иное, как "оскал клыков". Не видел я и причин для стремительного наращивания нашей военной мощи и установления новых отношений с союзом европейских стран. Ко всему происходившему у меня были объяснения. Моя ошибка заключалась в том, что до меня не доходило: эти мысли, высказанные мной в донесении из Москвы, в статье "X" и многочисленных разговорах и беседах в Госдепартаменте, были очень слабыми и робкими и не соответствовали представлениям официального Вашингтона. Что касается военных, то они мои соображения вообще в расчет не принимали. Та же картина была и в самом Госдепартаменте, может быть, за исключением одного-двух человек. Генерал Маршалл был доволен работой, проделанной мной по вопросам возрождения Европы, но и он, как мне представляется, не полностью понимал всей рациональности моих суждений. Если он и прочитал с должным вниманием мое предупреждение, которое я представил ему осенью 1947 года, о том, что коммунисты наверняка предпримут определенные меры в отношении Чехословакии, если программа нашей помощи Европе будет осуществляться успешно, то он совсем забыл о нем, в чем я нисколько не сомневаюсь, в конце февраля 1948 года. И ни президент, ни Пентагон не придали ему никакого значения. Ныне, оценивая свою собственную роль в принятии политических решений Вашингтоном в те годы, вынужден признать, что если моя телеграмма из Москвы в феврале 1946 года и статья "X" привлекли к себе большое внимание государственных деятелей,

то все остальное своей цели не достигло. Единственное объяснение этому я нахожу в том, что реакции Вашингтона носили субъективный характер, находясь под влиянием внутриполитической обстановки и отражая общественные интересы, и нисколько не учитывали теоретические аспекты и предпосылки нашего международного положения. Я был слишком наивен, полагая, что правильный анализ определенных событий, проведенный по указанию некоего должностного лица и получивший его одобрение, окажет необходимое влияние на высокоэмоциональный, объемный, напыщенный и эгоцентричный процесс, в ходе которого вырабатываются мнения и решения официального Вашингтона.

Во время своей поездки на Дальний Восток в феврале-марте 1948 года я посетил не только Японию, но и Филиппины и Окинаву. В Вашингтон возвратился уже в конце марта. По возвращении у меня открылась язва двенадцатиперстной кишки, и я попал в морской госпиталь в Бетесде уже в день приезда. Выписавшись из госпиталя, я отправился сразу же на свою ферму в Пенсильвании на выздоровление. Таким образом, за своим столом в Вашингтоне я оказался только 19 апреля. Тогда же я ознакомился со всеми событиями, происшедшими за истекшие недели, и положением дел с проблемой перевооружения и обороны европейцев.

Госдепартамент за время моего отсутствия продолжал изучение путей и возможностей оказания нами помощи Брюссельскому союзу. Наша группа планирования, вплотную занимавшаяся этими вопросами, 23 марта подготовила и представила руководству свои соображения по ним. В этом документе были рекомендации следующего характера: нам не следовало сразу же становиться членом этого союза, но сохранить возможность вступления в него; целесообразно дать ему заверения в нашей военной поддержке и постараться вовлечь в него другие европейские страны, включая Швецию и Швейцарию.

Месяцем позже, 22 апреля, Госдепартамент представил этот документ наряду с другими президенту и в Совет национальной безопасности. Вместе с тем в это же время шли дискуссии между Робертом Ловеттом, новым заместителем международной комиссии сената от республиканцев.

Ловетт был очаровательным человеком, занимавшимся некоторое время до этого финансовыми проблемами, будучи толковым управляющим делами, ставший заместителем госсекретаря после того, как Ачесон перешел летом 1947 года на другую работу. Подобно генералу Маршаллу, он придавал большое значение личным связям с влиятельными членами

сената, оказывавшими значительное воздействие на вопросы международной политики. Действуя так, он поступал мудро и похвально, но мне временами казалось, что в этом плане он заходил слишком далеко, целиком воспринимая точку зрения сенаторов, вместо того чтобы прислушаться к людям, высказывавшим более здравые соображения.

Сенатора Ванденберга я почти не знал, но был наслышан о его горячей поддержке в конгрессе программы возрождения Европы. Тем не менее я не разделял мнения многих сотрудников Госдепартамента, что мы якобы были многим ему обязаны. В конце концов, мы ведь не являлись представителями какого-нибудь иностранного правительства, да и его вклад в позитивное решение этого вопроса был не более нашего. Он бы многое потерял, как мне казалось, если бы не поддержал энергично план Маршалла.

Конечно, он заслуживал всяческой похвалы за эту поддержку, но не в большей степени, чем мы, разработавшие сам план. И я не разделял мнения, будто бы сенаторы заслуживали аплодисментов каждый раз, когда Госдепартаменту удавалось убедить их сделать что-либо полезное{39}. Поэтому, хотя я лично и уважал сенатора Ванденберга, все же не воспринимал того слишком почтительного отношения к нему, которым он пользовался в Госдепартаменте. Тем более я не считал, что его нервное восприятие и мнение о характере происходивших событий в Европе и необходимости принятия ответных военных мер были исключительно правильными и мудрыми.

Результатом переговоров Ловетта - Ванденберга явился документ, получивший название "резолюция 329", принятый сенатом 11 июня 1948 года и широко известный как "резолюция Ванденберга". Она уже приняла определенные очертания к моменту моего возвращения в Госдепартамент. Увидел же я ее впервые в начале мая. Она исходила из двух принципов, на которых, как я полагаю, настоял Ванденберг. Первый: решение о вступлении в войну при специфических гипотетических обстоятельствах не должно приниматься автоматически правительством, а рассматриваться конгрессом, за которым остается последнее решающее слово. И второй: это решение не должно быть односторонним, то есть любая страна - участница атлантического договора о безопасности обязана будет прийти нам на помощь в случае возникновения военного конфликта и в свою очередь получить такую же помощь от нас. Оба эти принципа были направлены, как я понял, на получение одобрения сенатского большинства на вступление Америки в Североатлантический оборонительный союз.

Как резолюция Ванденберга, так и участие Госдепартамента в ее разработке были приняты мной скептически. Я-то вынашивал идею, что для нас более целесообразно побудить европейцев к вступлению в Брюссельский договор. А чтобы подкрепить это их стремление и уверенность, можно было бы заверить их в одностороннем порядке о гарантии нашей политической и

военной помощи в случае необходимости. При этом мы бы исходили из принципа плана Маршалла: европейцы должны были создать собственную организацию, а мы выступили бы в качестве большого и хорошего друга, но не участника их договора, который им следовало заключить между собой. Если бы нам вообще пришлось поступить подобным образом, то сделать это, по моему разумению, следовало бы в тесном партнерстве с канадцами. Я считал целесообразным - иногда эту идею рассматривают в качестве концепции "гантелей" - применить своеобразную комбинацию: на одной стороне - европейцы, объединенные Брюссельским пактом, а на другой - североамериканцы - Канада и Соединенные Штаты. Оба эти союза должны оставаться самостоятельными, с точки зрения их идентификации и членства. Объединять же их будет официальное заявление североамериканцев, что европейское единство играет важную роль для безопасности США и Канады и что они готовы предоставить европейцам все необходимое, начиная от военной поддержки войсками и материалами и заканчивая общим стратегическим планированием. А это означало бы одностороннюю гарантию Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой, если канадцы будут на это согласны, обеспечивать безопасность европейских стран - членов Брюссельского союза. Я полагал, что такая необходимость может и не возникнуть, но вместе с тем считал, что подобное заверение придаст европейцам дополнительную уверенность в вопросах их экономического и внутриполитического возрождения. Однако, когда я представил в департаменте свои соображения и предложения, мне сказали, что дело так не пойдет, поскольку концепция "гантелей" противоречит принципам Ванденберга о взаимной помощи, что надлежало понимать следующим образом: каждая из европейских стран должна была взять на себя обязательство по защите нас, тогда как мы должны были защищать ее. Выходило, что такое мероприятие должно быть закреплено своеобразным контрактом-договором, который носил бы беспрецедентный характер в мировой истории и поэтому должен быть одобрен сенатом.

Вся эта задумка мне не нравилась, и я попытаюсь объяснить почему. Во-первых, я не видел необходимости заключения взаимно обязывающего соглашения о военном альянсе на этой стадии развития событий. Мне представлялось, что основное внимание должно быть уделено соотношению сил между Россией и Западом с учетом того, что мы уже произвели демобилизацию армии, а Россия еще нет. Но и это обстоятельство я не считал ни фатальным, ни очень существенным, поскольку русские не планировали использование своих регулярных войск против нас.

Поэтому стоило ли обращать усиленное внимание на те моменты, где мы были слабее, а они сильнее? Как тогда, так и в последующие недели, я говорил своим коллегам: "Очень хорошо. Русские вооружены хорошо, а мы вооружены хуже. Ну и что? Мы уподобляемся человеку, оказавшемуся в саду, обнесенном стеной, вдруг увидевшему перед собой собаку с громадными клыками. Собака эта не проявляет никаких признаков агрессивности. Лучше всего в этот момент взвесить все обстоятельства и прийти к выводу, опасны ли эти клыки. Если собака ведет себя смирно, стоит ли обращать на них внимание?

Во-вторых, я мало доверяю подписанным соглашениям и альянсам. Во многих случаях мне приходилось убеждаться, что о них забыли, проигнорировали или же сочли неуместными и даже не соответствовавшими дальнейшим задачам и целям. Я не доверяю способности людей влиять своей "цветастой фразеологией" на развитие событий в будущем, поскольку никто не может реально представить их себе и тем более отчетливо разглядеть. Если что и требовалось, так это, как казалось мне, - реальное осознание наших жизненно важных интересов. Если это будет достигнуто, то и военная политика будет направлена в требуемое русло, для чего даже не потребуется официальных обязательств или предписаний. Высказывания, постоянно делавшиеся европейцами, о необходимости заключения альянса для обеспечения участия Соединенных Штатов в обороне Западной Европы - в случае, если она подвергнется нападению, вызывали у меня лишь раздражение. Чем же, по их мнению, мы занимались в истекшие четыре или даже пять лет в Европе? Они что же думали, что мы прилагали усилия для освобождения Европы из объятий Гитлера только для того, чтобы передать ее Сталину? И для чего был предназначен план Маршалла? Разве они не понимали, что мы видели реальные опасности, которым могла подвергнуться Западная Европа, и что мы старались как можно эффективнее устранить их? Почему они хотят отвлечь внимание от совершенно обоснованной и обещающей успех программы восстановления экономики и делают упор на опасность, которой реально не существует, но которая может появиться, будучи вызванная слишком частыми разговорами о военном балансе и нарочитой стимуляцией военного реванша?

Наконец, у меня ничего другого не вызывали, кроме презрительной улыбки, юридические и носившие обтекаемый характер формулировки, по которым мои коллеги вели борьбу с сенаторами в долгих и запутанных спорах. Резолюция Ванденберга поразила меня своей нелепостью не менее чем 9/10 текста 1263-страничного торжественного заявления, принятого

несколько позже комитетом сената по международным отношениям в связи с подписанием пакта о создании НАТО, что было типично для наших государственных деятелей в той смеси сухой законности и семантической претенциозности, столь часто проявлявшейся в нашей внутриполитической жизни. Подобное я не воспринимал спокойно как в те дни, так и сейчас. Чтобы наша внешняя политика стала эффективной, надо было действовать, а не давать только обещания и принимать те или иные решения к конкретным действиям вместо разговоров в общей форме о поведении в будущем.

Таковыми были мои соображения, исходя из которых я следил за переговорами госсекретаря Маршалла и его заместителя Ловетта с сенаторами по резолюции Ванденберга, а позднее и тексту самого договора. К сожалению, я не мог хоть как-то повлиять на ход событий. Будучи недовольным и не совсем согласным с документом, подготовленным моей группой во время моего отсутствия, и чувствуя себя в какой-то степени скомпрометированным им, я написал в июне другой, пытаясь, как говорится, "нажать на тормоза". Поскольку другой альтернативы уже не было, я признал ситуацию, сложившуюся после принятия резолюции Ванденберга, но настаивал на том, чтобы наша военная помощь была оказана в случае необходимости по принципам плана Маршалла, а именно: европейцы должны сначала подготовить собственную программу и взять на себя ответственность за ее выполнение и прекратить дальнейшую дискуссию о политических обязательствах Америки в связи с этим вопросом до тех пор, пока мы не убедимся в необходимости поддержания общественного мнения Западной Европы... Но к тому времени сенаторы уже закусили удила, и мои соображения остались без внимания.

Уже в большей степени для протокола, чем по другим причинам, я несколько позже (23 ноября 1948 года) представил генералу Маршаллу свои размышления в виде документа, который озаглавил "Некоторые соображения по поводу заключения Североатлантического договора".

Я вполне осознавал, что уже не смогу воспрепятствовать движению в сторону подписания этого договора, но ведь я пока еще возглавлял группу планирования и полагал: генералу будет полезно знать мое личное мнение по проекту НАТО.

Опасность для будущих европейских партнеров НАТО, считал я, заключена в сфере политики и состоит в угрозе распространения коммунизма на новые районы континента политическими средствами. И эта опасность намного больше военной. Мораль западноевропейцев нуждается, вне всякого

сомнения, в укреплении, что и может дать этот пакт.

Однако одновременно возникнет угроза, что предпочтение в решении возникающих проблем будет отдано военной силе в ущерб экономическому развитию и вместо поисков путей мирного разрешения европейских трудностей.

Вместе с тем я отметил, что такая точка зрения начинает уже повсеместно брать верх. Прискорбно то, что она не адресована главной опасности, и с этим придется считаться. В определенной степени мы вынуждены потворствовать этому, так как в противном случае это может вызвать панику и чувство неуверенности у западноевропейских народов и сыграть на руку коммунистам. При этом нам следует иметь в виду, что потребность в создании альянса и проведении перевооружения в Западной Европе носит субъективный характер и связана с тем, что западноевропейцы не смогли правильно определить собственную позицию. Лучшей их ставкой по-прежнему является борьба за экономическое возрождение и внутриполитическую стабильность. Интенсивное перевооружение обязательно не только нанесет ущерб этим их усилиям, но и будет способствовать созданию представления о неизбежности новой войны, что отвлечет их от решения более важных задач.

В заключение я настоятельно рекомендовал, исходя из того, что для формализации отношений между странами Североатлантического альянса потребуется довольно длительное время и сам договор, находившийся в стадии подготовки, явится своеобразным успокоением для европейцев. Пакт этот не следует рассматривать как основной ответ на усилия русских по установлению своего доминирующего положения в Западной Европе и как замену собой всех остальных необходимых шагов. Насколько уместной была эта формулировка, станет очевидным при рассмотрении вопроса о Германии.

В дополнение к рассуждениям о целях, которые могут быть достигнуты заключением этого пакта, я рекомендовал не принимать в него страны, не относящиеся к североатлантическому региону. Этот принцип исключил бы из их числа Грецию и Турцию и, возможно, даже Италию. Я исходил из главного: чтобы у советских лидеров не сложилось впечатления об агрессивном окружении Советского Союза.

К тому времени режимы в Греции и Турции были антикоммунистическими. Однако делать из этого главный критерий для приема тех или иных стран в состав альянса было, на мой взгляд, рискованно. К тому же они - в частности, турецкое правительство - еще не подтвердили приверженности идеям демократии и свободы личности. Этот критерий мало подходил и

для Португалии. Поэтому стандартом для членства в союзе должна была стать география. В этом не было бы никакой двусмысленности и свидетельствовало только об оборонительной направленности Североатлантического альянса. Я и сейчас не вижу никаких других причин для принятия Греции и Турции в альянс, кроме желания определенных кругов в нашем правительстве иметь там военные базы, и считаю прискорбным, что мы тогда пошли на это.

Мы также могли бы заявить в односторонней декларации о важности вхождения западноевропейских стран в названный союз для нашей безопасности и оказать им в его рамках ту военную помощь, которую сочли бы необходимой, исходя из собственных интересов. Требования же оказания этими странами помощи Соединенным Штатам в случае начала войны с Россией являлись не только вредными, не вызванными необходимостью, и неудачными, но и отрицательно сказывались на их отношениях с Советским Союзом и ставили под вопрос оборонительный характер самого альянса, выставляя на осмеяние его название "Североатлантический".

В определении круга стран, подлежащих объединению для решения совместных политических целей, наибольшую трудность представляет собой вопрос - не кого включить, а кого исключить. Именно в этом и состоит дополнительный аргумент против создания подобных союзов, говоря другими словами, против официального наименования круга друзей. В Госдепартаменте, однако, в то время господствовала тенденция, особенно среди сотрудников европейского отдела, приблизить альянс как можно ближе к границам Советской России. Если я не ошибаюсь, тогда же было оказано довольно ощутимое давление на Швецию, чтобы побудить ее к вступлению в альянс. Мне это казалось не только не необходимым, но и нецелесообразным. Мое предубеждение отпало бы в случае, если финны продолжали бы проводить независимую политику, исходя из статуса нейтралов, что могло бы реально ограничить советское влияние в регионе.

Другое дело Италия. Наше военное присутствие там было вызвано необходимостью решения проблем с Триестом и подписанием мирного договора с Австрией. Ни тогда, ни позже я не подвергал сомнению такую постановку вопроса. Что же касалось принятия Италии в военный союз с нами, это было, как говорится, "из другой оперы". Однако, поскольку ставился вопрос о заключении военного союза Соединенных Штатов с западноевропейскими странами, исключить Италию из этого мероприятия было, по общему признанию, довольно трудным делом, с учетом сложности и деликатности установления там

баланса сил во внутриполитической борьбе. Лучше всего было бы вообще не заводить разговора о Североатлантическом альянсе. Ведь Италия не являлась даже членом Брюссельского союза. Если бы мы в 1948 - 1949 годах ограничились гарантиями, данными Брюссельскому союзу, и принятием программы оказания необходимой военной помощи его членам, чтобы поддержать их морально (в конце концов, это и есть главная суть дела), то проблема с членством Италии в альянсе и не возникла бы вообще.

' Переговоры о создании Североатлантического пакта были перенесены на период после осенних выборов 1948 года. (Как мне представляется, очень многие вопросы в то время откладывались либо в связи с предстоящими выборами, либо с уже проводящимися, поскольку они были связаны с возможным изменением в целом ряде подходов к различным проблемам.) Когда настало время подготовки окончательного текста договора, меня - как по иронии судьбы Ловетт назначил председателем "международной рабочей группы", чтобы заняться языком и стилем договора. Формальная ответственность за эту работу лежала, естественно, на Ловетте, от которого я получал указания и инструкции. В начале и конце нашей работы состоялись встречи (на которых председательствовал сам Ловетт) глав представительств различных стран - в основном это люди, работавшие непосредственно в группе. Надо отдать Ловетту должное за успешное окончание нашей работы.

Однако большой радости эта работа мне не доставила. Мне, в частности, не нравилось находиться в положении человека, должного выражать мнение неупоминавшихся личностей из состава законодательных органов страны мнение, которое я сам воспринимал в весьма лаконичной форме и не мог бы толком объяснить суть затрагивавшихся вопросов, поскольку сам не разделял ее.

Мне даже казалось: если сенаторы выступали в роли непререкаемых арбитров и им принадлежало последнее слово, то и переговоры они должны вести сами. Мне запомнился эпизод, произошедший во время одного из пленарных заседаний нашей группы, когда один из европейских представителей попытался внести свое предложение по рассматривавшимся вопросам, а Ловетт непререкаемым тоном оборвал его, сказав, что подобное предложение не будет принято сенатом. На этом разговор тогда и закончился, вызвав на какое-то время угрюмое молчание. Правда, один из европейских друзей встал и обратился к Ловетту, произнеся: "Мистер Ловетт, если вы и ваши коллеги в Госдепартаменте не можете взять на себя ответственность за проведение американской политики в данной области, укажите

нам, пожалуйста, людей, которые смогут сделать это".

Считаю, что наш европейский друг был прав, намереваясь иметь дело с лицом, могущим оказать решающее влияние на принятие того или иного решения для правильного осмысления рассматриваемой проблемы в процессе ее обсуждения, с которым можно было бы также вступить в рациональную дискуссию и обменяться мнениями и аргументами.

Глава 18.

Германия

Германия, как, видимо, внимательный читатель уже отметил про себя, была страной, в которой я в общей сложности прожил пять, а то и все шесть лет: в кайзеровской Германии, будучи ребенком, в Веймарской республике в качестве вице-консула и студента, а в гитлеровской - сотрудником американского посольства в Берлине. Солидаризироваться с ней в личном плане я так, однако, и не смог. Язык этой страны я знал почти как свой собственный, иногда даже думал и писал на нем, но не чувствовал себя немцем, говоря по-немецки. И это знали мои родители и друзья. Когда я сдавал последний экзамен по восточным языкам в 1931 году, мой русский друг, видя мои успехи, посоветовал: "Если тебе представится такая возможность, говори с ними по-русски, но не по-немецки. Будешь говорить по-русски, и почувствуешь себя самим собой. Если же заговоришь по-немецки, не будешь никем".

Тем не менее в интеллектуальном и эстетическом отношениях Германия произвела на меня глубоко впечатление. А во время войны я даже чувствовал внутреннюю близость к той части немцев, ставшей жертвой гитлеровского безумия и страдавшей от той трагедии, которую он обрушил на их головы. По окончании военных действий, осознавая большую ответственность за будущее немецкого народа, я постоянно имел в виду эту страну и исходил из необходимости корректного выполнения наших обязательств там с учетом интересов России, вздрагивая при каждом случае проявления поверхностного подхода и слишком упрощенного отношения не только в публичных, но и официальных дискуссиях к проблемам Германии, страдая от понимания того, что не мог оказать существенного влияния на принятие решений по тем или иным вопросам.

К тому времени у меня уже сложилось определенное мнение по германской проблеме. Оно базировалось на феномене немецкого национализма. Как мне казалось, только те люди смогут успешно разобраться с пониманием эмоциональных источников этого национального чувства, кто хорошо знал

историю страны в период еще до наполеоновских войн, а затем появления течений романтического национализма в XIX веке. Это было время зарождения национального самосознания у немцев, которое опьяняло подобно вину. Вплоть до создания Германской империи в 1870 году внутренних проблем у немцев хватало. К тому времени они стали воспринимать себя как единое национальное сообщество, объединение которого могло произойти на примитивной базе общего языка для начала соревнования с государствами, возникшими в Европе еще в прежние времена. Большой ошибкой государственных деятелей при принятии Версальского договора в 1919 году было стремление реконструировать Германию в качестве единой нации без предоставления ей широких возможностей деятельности при ограничении собственными рамками. В то же время в Европе отсутствовало то, что могло бы соперничать с ней в экономической мощи. И сейчас мы снова столкнулись с этой же проблемой. Идея расчленения Германии возврата страны к временам раздела ее на небольшие суверенные образования не казалась мне реальной. Такая мысль появлялась у меня в 1942 году, но я все же пришел к выводу, что опыт гитлеризма и войны, какими бы ужасными они ни были, лишь углубил у немцев сознание национальной общности и что сохранение разделенной страны в Европе, где большинство лингвистических и этнических общностей представлены едиными государствами, означало бы возврат в середину XIX столетия и стремление немцев к появлению нового Бисмарка и повторению 1870 года. Но если Германия не может быть окончательно сломлена, а проблема немецкого национализма не может быть решена путем отбрасывания Германии назад в прошлое, то оставалось только одно - создать своего рода федеральную Европу, в которую войдет объединенная Германия, и перед ней откроются широкие горизонты для ее стремлений и лояльности. Германия будет чувствовать себя вполне хорошо только как интегральная часть объединенной Европы. Находясь в Берлине во время войны, мне в голову пришла необычная мысль, что ведь Гитлер, правда из ложных посылок и ложных целей, технически воплотил задачу унификации Европы. Он создал центральное правление в самых различных сферах жизни и деятельности - в транспорте, банковских делах, области заготовки и распределения сырья, контроля за различными формами национализированной собственности. И я спросил себя: а почему бы не использовать этот опыт после победы союзников? Единственно, что требовалось, так это принятие соответствующего решения - не сокрушать созданную немцами сеть центрального контроля по

окончании войны, а взять ее в свои руки, устранить нацистских представителей, поддерживавших ее в рабочем состоянии, посадить на их место других (в том числе и немцев) и наделить эту унификацию новой федеральной европейской властью.

Возвратившись из Германии в 1942 году, я попытался найти понимание этой идеи в Госдепартаменте, но усилия мои оказались бесплодными. Русские, намеревавшиеся использовать экономический потенциал Западной Германии и Западной Европы для своих нужд и опасавшиеся потерять свой голос в этих регионах, не стали бы ничего слушать о моих предложениях. К тому же в то время никто в Вашингтоне не готовился к каким-либо действиям в случае конфликта с Россией. Члены антинацистского движения Сопротивления и эмигрантских правительств хотели только скорейшего возвращения домой и установления прежнего статус-кво. К тому же в правительстве никто не желал заниматься послевоенными проблемами, пока шла война. Таким образом, серьезные размышления о проблеме послевоенного объединения Европы в качестве возможного решения германского вопроса никого тогда не занимали. Существовал целый ряд концепций о послевоенном четырехстороннем сотрудничестве в вопросах оккупации и военного управления побежденной Германией. Через некоторое время страна подлежала восстановлению и включению в международную жизнь как суверенное государство, без учета идеалов коллективизма и при наличии остатков национализма. Поддержание мира на континенте предусматривалось за счет ООН, действия которой должны поддерживаться совместными усилиями великих держав, включая Россию и Китай.

К моему глубокому огорчению, эта полностью нереалистическая концепция продолжала сохраняться, несмотря на растущие доказательства ее непригодности, оказывая негативное влияние на американскую внешнюю политику в 1948 году. Затем она, правда, была модифицирована, и на поверхность стала пробиваться проблема, связанная с возрождением Европы и процветанием Германии, которое имело жизненно важное значение для благосостояния Западной Европы. И все же понимания необходимости унификации Европы как единственно возможного решения проблемы отношений Германии с остальной Европой так и не было.

До лета 1948 года политика в отношении Германии оставалась неизменной и проводилась, как и в Японии, военным министерством и военно-оккупационной администрацией Германии. Немецкого правительства тогда еще не существовало, не было дипломатических отношений, а в Госдепартаменте

отсутствовала даже германская секция, если не считать отдела по поддержанию связи с Пентагоном по вопросам, связанным с "оккупированными районами". Однако продолжавшиеся заседания совета министров иностранных дел Большой четверки заставляли Госдепартамент заниматься проблемой Германии и критически подходить к решениям, принятым в свое время в Потсдаме. Когда же переговоры в совете министров иностранных дела в конце 1947 года прервались, то Госдепартамент был вынужден вплотную заняться возникшими в связи с этой ситуацией вопросами. Выяснилось, что три западные великие державы не могли уже управлять Германией совместно с Россией, в связи с чем стали пересматривать свои концепции и политику. Это помогло устранить остававшееся отрицательное отношение Франции к ассоциации с британцами и американцами в подходе к проблеме восстановления экономики Германии. Что же касается англичан и американцев, то они пришли к мнению, что не следует далее откладывать создание в Западной Германии собственно немецкой политической власти, которая могла бы разделить ответственность за экономическое возрождение, и найти возможности, пусть даже и частичные, подключения к этому процессу немецкого населения. Первые шаги в этом направлении были сделаны в форме предварительных англо-франко-американских переговоров, которые состоялись в Лондоне в феврале - марте 1948 года.

Никто не сомневался в том, что успешное осуществление программы европейского возрождения, завершение подготовки и подписание атлантического договора, а также мероприятия, направленные на создание сепаратного немецкого правительства в Западной Германии, вызовут тревогу среди советских лидеров. Следовало, вполне естественно, ожидать, что они предпримут все возможное, чтобы возвратить три западные державы к столу переговоров, дабы продолжать иметь голос в решении всех немецких проблем. Эти их стремления вылились в форму установления блокады западных секторов Берлина в марте 1948 года, то есть сразу же после начала переговоров западных держав. Когда же в июне, в завершение лондонских переговоров, официально объявили о достигнутом соглашении, получившем название Лондонской программы, в соответствии с которой должны быть предприняты шаги по созданию сепаратного западногерманского правительства, западные державы ввели односторонне для Западной Германии отдельную валюту, а русские ответили усилением блокады Западного Берлина, оставив только узкий воздушный коридор, которым западные державы имели право пользоваться в соответствии с четырехсторонним

соглашением. - Формальный предлог для установления блокады - вопрос валюты, наделе же это была затея, имевшая целью поставить западные державы перед неизбежный выбором: либо покинуть германскую столицу и оставить ее под коммунистическим контролем, что заранее ослабило бы политический вес вновь создаваемого в Западной Германии режима, или же отказаться от Лондонской программы и опять сесть за стол переговоров в составе совета министров иностранных дел и возвратиться к тому положению, когда для осуществления тех или иных мероприятий в Германии требовалось согласие России. Вполне очевидно, что русские на заседаниях совета министров иностранных дел постараются заполучить выигрышную позицию, которая позволит им заблокировать возрождение Германии или, если это им не удастся, обернуть весь этот процесс в свою пользу, не дав сработать программе возрождения Европы в целом.

С самого начала выяснилось, что западным державам придется согласиться на проведение заседания совета министров иностранных дел хотя бы для того, чтобы снять блокаду. (Осенью 1949 года так оно и произошло.) В то время никто просто не мог предвидеть, как будут развиваться события. Поэтому необходимо было продумать новую американскую позицию для переговоров по германской проблеме на заседании совета министров иностранных дел, если оно состоится. Старые подходы уже не годились. В конце 1947 года, на последнем заседании совета министров иностранных дел, шел разговор о подписании мирного договора с Германией и образовании общегерманского правительства под контролем союзников, которое поставило бы свою подпись под этим договором и взяло на себя ответственность за внутригерманскую жизнь. Однако к середине лета 1948 года положение дел изменилось. Население Западной Германии уже приступило к подготовке проведения выборов учредительного собрания, которое в соответствии с Лондонской программой должно было разработать политические основы деятельности будущего западногерманского правительства. Будем ли мы при таких условиях продолжать вести переговоры с русскими о решении общегерманской проблемы? Не дезорганизует ли это уже начавшийся процесс выполнения Лондонской программы? И что мы можем предложить? А как должны быть сформулированы эти новые предложения с учетом ненадежной ситуации, сложившейся в западных секторах Берлина в связи с установлением блокады? Можем ли мы при таких обстоятельствах вообще обойтись без заключения широкого генерального соглашения с русскими?

В начале июля 1948 года, в самый разгар блокады Берлина, наша группа планирования занималась изучением этих вопросов. В этой работе нам помогали представители различных управлений и отделов Госдепартамента и военного министерства. В Вашингтоне стояла настоящая жара. Важность и срочность нашей работы определялись проблемами, связанными с продолжавшейся блокадой. Непрерывно кто-нибудь из нас находился в центре связи Госдепартамента, чтобы получать последние новости из Германии и обмениваться мнениями с генералом Клеем и его советниками для определения наших последующих шагов. Ни у кого не было полной уверенности, каким образом следует отреагировать на новые действия русских и можно ли вообще противодействовать им более или менее успешно. Ситуация была темной и полной опасностей. Для некоторых из нас в группе планирования возможность успешного разрешения конфликта путем заключения определенного соглашения только по Берлину, тогда как русские "оседлали" его коммуникации с Западом, представлялась слишком узкой и частной. Решение проблемы, казалось, заключалось в достижении нового соглашения по Германии в целом, по которому следовало бы отвести советские войска из определенных районов вокруг Берлина, в результате чего были бы установлены нормальные коммуникации города с остальной Германией. Какие же тогда предложения должно было выдвинуть правительство Соединенных Штатов на заседании совета министров иностранных дел для согласования с другими странами и которые могли бы принять русские? Такая проблема стояла перед нами. После предварительного изучения ее мы пришли к выводу, что предложения в принципе возможны, но для их выработки необходимо время и дальнейшее углубленное изучение сути вопроса.

Но действительно ли наше правительство собиралось действовать таким образом? Поэтому сначала надо было разобраться с принципиальной постановкой вопроса. Если возвратиться к общегерманской проблеме и четырехсторонним соглашениям, это будет означать необходимость приостановления выполнения Лондонской программы, а затем отказа от нее полностью, если переговоры с русскими пойдут успешно. Отказ же от попыток достижения общегерманской договоренности, стремление к решению только лишь берлинского вопроса и продолжение реализации Лондонской программы приведут к тому, что русские образуют в качестве противовеса правительство Восточной Германии, чтобы борьба продолжалась на равных условиях. Раздел Германии, а вместе с тем и раздел

Европы только заморозят проблему, решить которую впоследствии будет очень трудно. Более того, берлинский вопрос не получит своего реального и длительного разрешения.

В документе, подготовленном мной и представленном начальству в середине августа, я подчеркнул, что нам надо знать приоритетные направления в деятельности правительства, чтобы разработать предложения для заседания совета министров иностранных дел. Однако никаких уточнений не последовало, и это молчание вызывало только озабоченность. Таким образом, нам пришлось точнее говоря, нам позволили - продолжать разработку гипотетических предложений по решению общегерманской проблемы. Изучение возникавших вопросов заняло у нас несколько недель, включая консультации с опытными экспертами в правительстве и других учреждениях.

15 ноября мы представили результаты своей работы, описав характер самой проблемы, как мы ее себе представляли. Документ содержал целый ряд предложений, объединенных в так называемый план А, направленный на достижение общегерманской договоренности. Ко всем предложениям давались обоснования и рекомендации.

В документе рассматривались два основных варианта нашей деятельности на заседании совета министров иностранных дел. В первом случае предлагалась позитивная программа и приводились условия, на которых мы были бы согласны на образование общегерманского правительства и вывод союзнических войск из основных частей Германии. Во втором - мы могли занять негативную позицию, не вносить никаких позитивных предложений, предоставив русским самим выступить со своими предложениями, которые мы, скорее всего, стали бы отклонять на основе специально подготовленных и продуманных аргументов.

План А содержал целый ряд предложений по первому варианту.

Прежде всего следовало добиться соглашения по новой системе четырехстороннего контроля за выполнением программы. Надо было бы настоять на отмене индивидуального права вето. При этом введение новой системы контроля должно последовать за образованием временного германского правительства. Выборы в его состав должны проходить под международным наблюдением во всех четырех оккупационных зонах одновременно. Как только временное переходное правительство будет сформировано, военные администрации прекратят свое существование, а сокращенные союзные войска разместятся в гарнизонах на периферии. Их дислокация должна

быть предусмотрена таким образом, чтобы линии коммуникаций с ними не проходили по территории Германии. Предполагалось, что англичане расположатся в районе Гамбурга, американцы - Бремена и русские - Штеттина, чтобы в их распоряжении имелось бы по глубоководному морскому порту. Французы же будут отведены вплотную к французской границе и станут снабжаться непосредственно со своей территории. Районы, освобождаемые от оккупации союзников (речь идет не только о самой Германии, но и о Берлине), отойдут под юрисдикцию временного германского правительства. Вместе с тем необходимо тщательно разработать предупредительные меры против возможных злоупотреблений немецкой полиции как правыми, так и левыми экстремистскими элементами при передаче власти военными администрациями центральному германскому правительству.. Распределение отдельных пунктов и элементов этой программы по времени и этапам должно осуществляться таким образом, чтобы исключить вмешательство любой из сторон с применением антидемократических методов. Условия договора должны базироваться на продолжении осуществления полной демилитаризации Германии.

Наши рекомендации исходили из возможности проведения нового заседания совета министров иностранных дел четырех держав в ближайшее время при получении определенного согласия Англии и Франции. Удовлетворительной альтернативы этим предложениям мы не видели. Распространение условий Лондонской программы на всю Германию, как кое-кто предлагал, не представлялось нам приемлемым. Ведь Лондонская программа предусматривала продолжение осуществления контроля за политической жизнью Германии со стороны верховной союзной комиссии и нахождения оккупационных войск в соответствующих зонах. Да и прерогативы власти некоммунистического правительства Германии не получат полного признания в восточной зоне, оккупированной советскими войсками. Поэтому положения Лондонской программы не могли стать базой для общегерманского решения проблемы.

Мы полагали, что русские вряд ли согласятся на принятие ряда аспектов плана А, но он все же оставлял открытыми двери для их возможного мирного ухода из столицы Германии. Если не поддерживать эти двери открытыми путем внесения некоторых позитивных предложений с нашей стороны, то русские не уйдут, даже если им и представится такая возможность. У нас сложилось впечатление, поясняли мы, что позиция западных держав в Берлине никогда не будет комфортной, а жители западных секторов, как и войсковые гарнизоны в них, будут чувствовать

себя постоянно находящимися на краю пропасти, на территории вокруг города, оккупированной советскими войсками.

Хочу подчеркнуть еще раз - а это важная составляющая наших рекомендаций, - мы считали: настоящие рекомендации могут быть вынесены на рассмотрение совета министров иностранных дел только после подробного и конфиденциального обсуждения их с французами и англичанами и лишь в случае их согласия. Меня неоднократно спрашивали, уже через несколько недель после представления этого документа руководству, а что мы будем делать, если французы и англичане не выразят своего согласия с нашими предложениями. Я отвечал, что мы не станем тогда проталкивать этот проект, а возложим бремя ответственности на правительства Франции и Великобритании за разработку новых предложений и формулировку соответствующей западной позиции. Мы скажем: это - наши лучшие предложения, если вы с ними не согласны, излагайте свои альтернативы, имея в виду необходимость срочного решения берлинского вопроса, и берите на себя полную ответственность за это.

Мне задавались также вопросы, как мы будем действовать, если французы и англичане согласятся, а русские не примут наших предложений (как ожидалось). Я считал, что в этом случае целесообразно продолжать осуществление Лондонской программы (не отказываясь от поисков других решений берлинской проблемы и блокады, в частности), обязательно оставляя открытой возможность для дальнейших переговоров. Таким образом мы возложим ответственность за окончательный раскол Германии на русских, как мы поступили с планом Маршалла в отношении всей Европы. К тому же по меньшей мере мы назовем условия, на которых будем согласны на вывод войск из Германии, показав, что в принципе готовы пойти на это. Вместе с тем нам удастся избежать недоразумений, связанных с рассмотрением этого вопроса, и оставить открытой возможность заключения определенного соглашения в этой области, а также свести на нет пропагандистский эффект любых предложений русских по решению общегерманской проблемы.

* * *

Перед наступлением нового, 1949 года место генерала Маршалла занял Дин Ачесон. С ним я встречался ранее, и у нас сложились довольно тесные отношения в 1947 году - перед тем, как оставил должность заместителя госсекретаря (летом 1947 года), перейдя на другую работу. Став госсекретарем, он выразил надежду, что я останусь в своей должности руководителя группы планирования, по крайней мере в ближайшее время, на что я с

готовностью согласился.

В последующий период времени отношения мои с Ачесоном были вполне приемлемыми. Я восхищался им и уважал за тонкий критический ум. Осознавая, как и те, кто его хорошо знал, что он был человеком прямым и честным, настоящим слугой народа - явление довольно редкое в Соединенных Штатах, - я возмущался нападками на него определенных кругов в конгрессе и отдельных представителей прессы, любуясь, с каким достоинством и стойкостью он отражал их. Наши с ним отношения не омрачались даже трудностями, связанными с проведением европейской политики и общественными дискуссиями последнего времени.

Тем не менее с приходом Ачесона на пост госсекретаря положение и возможности группы планирования изменились. Он был человеком, действовавшим по своим внутренним убеждениям, опираясь не на отдельные службы, а наличности, выбирал которые не всегда правильно. Мой опыт зарубежной работы, например, казался ему не только чуждым, но, как я подозревал, имел в его глазах сомнительное качество для государственного деятеля. Хотя он и попросил меня остаться во главе группы планирования, он видел во мне личность - одного из группы индивидуалов (людей с самой различной подготовкой и взглядами), которых он собрал вокруг себя и с которыми любил обмениваться идеями, мнение которых он выслушивал - как судья выслушивает высказывания противной стороны. Мысль обращаться в нашу группу за консультациями и признавать правильными высказываемые мнения, что обычно делал генерал Маршалл, оказывая нам доверие и прислушиваясь к нашим рекомендациям, хотя они порой не совпадали с его собственными оценками (в частности, мысль придать группе определенные функции идеологического и координационного характера, чтобы она, скажем, суммировала и анализировала взгляды и предложения различных управлений департамента), показалась бы ему странной. Когда я высказывал ему свои мнения и суждения в наших частных беседах, у меня создавалось впечатление, что он относится к ним иногда как к занимательным, иногда как к пугающим, выслушивая, однако, с интересом. Бывали вместе с тем и времена, когда я чувствовал себя в роли придворного шута, которому позволялось говорить все, что угодно, в том числе и шокирующие вещи, в конечном счете не воспринимавшиеся серьезно и не влиявшие на политические решения.

зиму 1948/49 года оперативная группа нашего правительства занималась вплотную организацией бесперебойной работы воздушного моста, единственного средства сорвать блокаду

Берлина, а также проведением в жизнь Лондонской программы. В этом ее усилия сливались с усилиями, предпринимавшимися французами и англичанами, а также самими немцами. Западногерманские политические лидеры разрабатывали конституцию нового западногерманского государства. Все три западные державы готовили новый оккупационный статус, который предполагалось ввести сразу же после образования западногерманского правительства. Необходимые согласования в ходе их подготовки проходили сложно и мучительно, постоянно сталкиваясь с вопросами легитимности. Но люди работали с большим энтузиазмом и чувством личной ответственности. Шли недели и месяцы, и у многих из них желание достижения широкого международного соглашения становилось все меньше и меньше. И снова, как это довольно часто происходило в американской дипломатии, то, что рассматривалось вначале в качестве инструмента, постепенно превратилось в самостоятельную величину и вместо обслуживания политики стало ее определять.

В результате занятости нашего руководства проблемами воздушного моста с Берлином, осуществления Лондонской программы и отсутствия договоренности с русскими о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел, вопросы, поднятые группой планирования, и ее рекомендации по нашей позиции на этом заседании оказались невостребованными и положенными в "долгий ящик". И не было принято никакого решения о курсе, которым нам надлежало следовать. Без дела мы, конечно, не сидели, все более погружаясь в рутинные вопросы, связанные с выполнением Лондонской программы.

Я не разделял восторженного мнения некоторых деятелей об успехах воздушного моста, но и Лондонская программа не вызывала у меня большого интереса и энтузиазма. Отчасти именно поэтому я стал понимать, что для новых переговоров с Россией уже не остается никакой базы, в связи с чем приходилось отказываться от надежды на скорый вывод войск из Германии и с Европейского континента. Да и Лондонская программа как по замыслу, так и по концепции являлась, по сути, ведь делом рук нашей военной администрации в Германии и должна была осуществляться под ее контролем.

Именно к этому оккупационному образованию я испытывал чуть ли не неврологическое отвращение. С момента прекращения военных действий я дважды побывал в Германии. И каждый раз возвращался домой с чувством ужаса от зрелища творимых там безобразий моими соотечественниками и их вассалами,

купающимися в роскоши посреди руин, забыв о прошлых страданиях и отказываясь видеть трагедию окружающих их людей, занимая секвестрированные виллы эсэсовцев и гестаповцев и пользуясь такими же привилегиями, открыто щеголяя в роскошных одеждах из супермаркетов на глазах тысяч местных жителей, потерявших все, голодных и оборванных, являвших собой пример пустого материализма и культурной нищеты, нуждавшихся в духовной и интеллектуальной поддержке. Оккупанты в своем большинстве рассматривали предоставление им привилегий и комфорта как само собой разумеющийся и вполне естественный акт, не обращая никакого внимания на то, что пропасть между ними и жившими рядом немцами была нисколько не меньше, чем в свое время между господами и крестьянами в феодальной Германии, а ведь такое положение мы поклялись торжественно уничтожить в обеих мировых войнах. Было ясно, что многие немцы заслуживали наказания, но их провинность не оправдывала такого к ним отношения. К тому же в Германии не все потеряло ценность и было порочным, так как немало людей, просто увлеченных общим потоком, оказались в трагическом положении. Поэтому победители, учитывая эту трагедию, должны были, по моему просвещенному мнению, проникнуться пониманием из самоуничижения и смирения. Вполне возможно, что в ходе войны уничтожалось многое из того, что вообще-то не подлежало уничтожению, но это было вызвано трагической необходимостью. И мы здраво осознавали с чувством определенной грусти и вины, что оказались орудием выполнения этой миссии в руках Всевышнего. Мне было нестерпимо видеть, что многие американцы рисуются, показывая свое самодовольство, а вместе с тем и свою поверхностность, отсутствие живого воображения и озабоченность только личным благополучием. Трагедия Германии в определенной степени становилась и моей трагедией, на что я не мог и не хотел закрывать глаза. Вероятно, я реагировал на все это с излишней нервозностью и предвзятостью. И видимо, это накладывало известный отпечаток и на мои взгляды.

В марте 1949 года, чтобы освежить свои впечатления об оккупированной Германии и проверить свои мысли по проблеме политики в отношении ее, я совершил краткосрочную поездку в Берлин, Франкфурт-на-Майне и Гамбург. Мои дневниковые записи об этом визите слишком объемны, чтобы привести их здесь полностью, однако некоторые выдержки из них могут хорошо проиллюстрировать различные особенности и соображения по принятию отдельных решений в эти критические

месяцы.

В Берлин я прибыл на одном из самолетов, летавших по воздушному коридору, вечером 12 марта. С аэродрома меня отвезли по темным, пустынным улицам в бывший Харнаковский дом, в котором теперь находились американский клуб и гостиница для приезжих. Город казался мертвым - призраком бывшей столицы.

Харнаковский дом, ярко освещенный, выглядел в окружавшей его темноте подобно игорному заведению с ослепительной рекламой, открытому в ночное время в сонном провинциальном городке. Был субботний вечер, и из окон здания доносились звуки танцевальной музыки. На улице рядами стояли автомашины, около которых виднелась кучка немецких водителей, негромко переговаривавшихся между собой и переступавших с ноги на ногу в холодном вечернем воздухе, напоминая карикатурные зарисовки укутанных русских извозчиков прежних времен, ожидавших у дверей ночных клубов Санкт-Петербурга и Москвы своих хозяев.

Внутри дома полупустая комната отдыха имела обычный для клубных комнат вид в вечернее время, в ресторане же было более оживленно. Там горело множество свечей, подчеркивая праздничную обстановку (конец недели). Немецкие оркестранты играли американские танцевальные мелодии, которые знали наизусть. Изможденные и усталые лица музыкантов со взглядами, обращенными вовнутрь, красноречиво говорили о том, что они вообще ничего не замечали. Казалось, что их занимала только музыка. Все остальное их не касалось.

Женщины в платьях с глубоким декольте вели себя соответствующим образом. Только за одним из столиков, где сидевшие отмечали, по всей видимости, чей-то день рождения, некий майор громким голосом, перекрывшим музыку и негромкие разговоры, произнес: "Посмотрите, что у них в меню. Рыба тунец. Опять этот тунец, черт бы его побрал. Мы им кормим свою собаку, которая видеть уже не может рыбу. Она на днях посмотрела на меня и сказала: "Премного благодарна за ваш тунец!"

Поздним вечером я прогулялся по городу. На пустынных улицах царили тишина и темнота. А ведь это был когда-то самый фешенебельный городской район Далем. Частные виллы - те, что уцелели от бомбардировок, - стояли как призраки. Какая претенциозность, какие надежды и планы на личное счастье и благополучие остались за стенами этих зданий? Но каковы ни были эти надежды и планы, теперь они все разрушились. В виллах было темно, холодно и безмолвно. Если в них жили еще

немцы, то располагались они там подобно варварам во дворцах Италии. Но как бы то ни было, архитектура домов отражала порушенные мечты, былые надежды и инициативу, вызывая только жалость и сострадание.

Возвратившись в клуб, я долго не мог заснуть. В окно я видел все происходившее внизу: небольшими группками гости выходили из здания и разъезжались на автомашинах. А вот и засидевшийся лейтенант нетвердыми шагами направился к своему джипу. Наконец музыканты тоже вышли, громко ворча и бранясь на припозднившуюся публику, затем, плотно рассевшись в стареньких, полуразвалившихся машинах, видимо им принадлежавших, отправились по домам. И только высокий голый тополь, переживший последние годы Веймарской республики, период нацистской власти и годы войны и бомбежек, видевший вступление в город русских армий, стоял одиноко, пережидая очередную ночь, пока не послышались звуки развалюх автомашин и первого поезда подземки, затормозившего, грохоча на станции метрополитена, находившейся всего в нескольких шагах, а небо не стало сереть, возвещая наступление промозглого мартовского берлинского воскресенья.

На следующий день один из моих друзей пригласил меня к себе домой на встречу с Эрнстом Ройтером, ставшим впоследствии бургомистром Западного Берлина. Друг заехал за мной, а потом мы забрали Эрнста, жившего неподалеку от Ванзее, и направились в Далем.

Ройтера я ранее никогда не встречал. В дневнике же записал:

"Это был мужчина высокого роста с волосами, гладко зачесанными назад, довольно мордастый, с синяками под глазами от усталости. Он только что возвратился из Бонна, где принимал участие в работе конституционной ассамблеи".

Усевшись около оконной ниши в гостиной, мы стали пить чай. Росшие за окном шотландские сосны, высокие и стройные, осыпанные тающим снегом, как бы председательствовали на нашей беседе.

"Берлин держится, - сказал он, - хотя сейчас самый тяжелый период года. Продукты питания сократились до минимума. Начался сезон повального заболевания гриппом. Моральное состояние людей будет, однако, удерживаться, пока мы, американцы, не проявим решимость остаться".

Жилищная проблема в Берлине не столь плачевна, как в западных зонах. Берлин потерял 40 процентов жилого фонда, но и 25 процентов населения.

Ройтер не видел особой необходимости вести переговоры с русскими о Берлине при условии, что мы отрегулируем рыночные

проблемы. А для этого нам надо ввести западную марку в качестве единственной денежной единицы в западных секторах города и продемонстрировать возможность доставки по воздушному мосту не менее 8 тысяч тонн грузов ежедневно. Только в этом случае русские поверят, что у нас есть реальная альтернатива их требованиям и условиям, и станут относиться к нам серьезно.

Что же касается Западной Германии, то с молодежью все обстоит в порядке. Только на умы и сердца пожилых людей нацизм продолжал оказывать некоторое влияние. Молодежь же относится скептически и с подозрением к немецким политикам старого толка - лидерам партий в Западной Германии, - но и не порицает их. Политики же эти недальновидны и мало чему научились на опыте прошлого. К тому же они набалованы длительным периодом безответственности. Их можно опустить на землю, только лишь возложив на них ответственность, в противном случае они станут по-прежнему много дискутировать и заниматься пустым критиканством. Поэтому необходимо образовать в какой-то подходящей форме германское правительство и чем раньше, тем лучше.

Но мы не должны ни при каких обстоятельствах перевооружать немцев. Я заверил его, что у нас нет никаких намерений в этом отношении, но это его не убедило, так как среди наших военных в Германии велись разговоры на эту тему.

Стало темнеть, и Ройтер ушел. Его место заняли гости из дипломатической колонии, которых я знал по своей прежней деятельности. Разговор принял обычный характер о сплетнях и пересудах. Сразу забылись руины и разорение вокруг, 2,5 миллиона жителей, испытывавших нужду и лишения, громадные транспортные самолеты, проносившиеся, натужно ревя моторами, с интервалами в три минуты, несмотря на дождь и тьму. Удивляясь инерции и неизменности социальных привычек англосаксов, я задал сам себе риторический вопрос: сколько новых катастроф может произойти в мире, сколько городов может быть стерто с лица земли, скольких ужасных, жестоких и кровавых явлений мы окажемся свидетелями, если перестанем произносить тосты и обсуждать долгими вечерами стоимость антикварных вещей, недостатки слуг и достоинства косметики.

Проведя несколько дней в Берлине, я вылетел во Франкфурт-на-Майне, чтобы принять участие в заседаниях и встречах членов верховных комиссий и немецких официальных лиц. Спектакль, разыгравшийся на этих заседаниях безграничная власть, с одной стороны, и полная приниженность - с другой, производил на меня отвратительное впечатление. Однако поскольку я был в числе

официально приглашенных представителей союзников, то чувствовал определенную гордость за нас. К тому же заседания в целом носили серьезный, компетентный и деловой характер, а союзники старались не подчеркивать своей власти. Заседания проходили для немцев довольно просто, хотя они и вели себя порой слишком наивно.

Я воспользовался своим пребыванием во Франкфурте для продолжительных бесед со своим старым берлинским знакомым, ныне американским гражданином, человеком, обладавшим большим жизненным опытом и умением разбираться в сложнейших вопросах, которому поручили вести наблюдение за работой немецкой конституционной ассамблеи. Урожденный берлинец, он тем не менее предупреждал меня от придачи слишком большого значения плачевному состоянию Берлина, а также от принятия скоропалительного решения об объединении страны. Мысль об объединении двух существующих "Германий, с их разным социальным уровнем и сложившимися обычаями и нравами, казалась ему сопряженной со многими опасностями.

В частности, он отметил, что в советской зоне оккупации кое-что носило характер реальной социальной революции. Это единственное место в Германии, где феодализм был действительно искоренен. Если сейчас будет предпринята попытка объединить советскую зону оккупации с остальной Германией, может вспыхнуть гражданская война - даже с более широким размахом, чем в Испании. Но ведь ни Советский Союз, ни западные державы не буду спокойно наблюдать, если их друзья станут терпеть поражение, и непременно вмешаются. И тогда наступит конец существованию Германии, а может быть, и западноевропейской цивилизации. Поэтому нам надо понять, что только раздел страны может привести к консолидации Западной Европы. Объединенная Германия станет, скорее всего, чужеродным образованием в Европе. Соединение экстремизма, имеющегося в восточной зоне оккупации, с ингредиентами, существующими в Западной Германии, создаст политическую модель, далекую от западных концепций. (В словах его чувствовалось сожаление человека, родившегося в Германии.)

Говоря о Берлине, он сказал, что с ним (городом. - Дж. К.) не следует сентиментальничать и можно даже его покинуть. Он необязательно должен быть германской столицей. С началом "холодной войны" удержание города потеряло свою логичность и значимость, хотя и имело определенную психологическую подоплеку. Так что горевать тут нечего, разве что пострадают политики западных секторов да полиция, которые наверняка окажутся в коммунистических концлагерях.

Когда я его спросил, как могут повести себя русские в связи с таким развитием событий в Германии, он ответил, что, по его мнению, они не особенно станут возражать против установления тут границы, удовлетворившись теми выгодами, которые извлекут из руин польского государства. Однако не следует сбрасывать со счетов, что они обладают мощным и эффективным оружием в вопросе о беженцах. Если они предложат (или разрешат руководству СЕПГ предложить от своего имени) всем беженцам возвратиться в свои дома, это с энтузиазмом воспримут во всей Германии. И мало кто удержится от такого соблазна. Что касается других вопросов, то он считал, что коммунисты заинтересованы в революционных возможностях Рура. Настроения рабочих слоев населения этого региона таковы, что их нетрудно направить против Запада.

Далее я направился в Гамбург, где имел целую серию интересных и отчасти закрытых интервью. Не все они могут быть здесь приведены. Среди людей, их дававших, был мужчина, которого я охарактеризовал в своем дневнике как "издателя, полуеврея, находившегося долгое время в эмиграции... высокого, худощавого человека, в его запавших горящих глазах отражались последствия долгих переживаний и размышлений".

Он говорил о своей юности, считая, что в ней в общем-то все было нормально. Однако если у пожилых людей отмечались аспекты велико германского шовинизма, то у молодежи в то время не было никаких надежд, никаких перспектив в будущем. Многие хотели эмигрировать. Для этих молодых людей Германия перестала быть национальным домом, превратившись в национальную тюрьму. Эмиграция тогда разрешалась, и те, кто уезжал, были полны духа предприимчивости и воображения. В населении страны в основном преобладали женщины и пожилые люди.

Когда он стал говорить о политике союзников в отношении Германии, в его словах прозвучала горечь. К чему приводят эти полумеры, какая польза от робких шагов? Немцы будут оставаться инертными, пока не почувствуют собственной ответственности.

В частности, он предлагал покончить с денацификацией путем объявления своеобразной амнистии, чтобы положить конец этому мероприятию раз и навсегда. Он считал подходы к определению степени вины лиц, имевших в свое время то или иное отношение к нацистским организациям, слишком запутанными, субъективными, мало соответствующими действительной юрисдикции такой легальной процедуры. Закон должен быть обоснованным, без всяких исключений, исходить из

ясных, четких, неамбициозных ситуаций и фактов и не использовать резиновых определений и концепций. "Разве с нас недостаточно, - восклицал он, - того зла, длившегося долгие годы, конца которому до сих пор не видно? Разве мы не знаем, что в свое время нацизм как явление нельзя было предать гражданскому суду, не говоря уже об объединениях "законников", не знающих закона?" Любые попытки исправить положение добавляли только новые несправедливости к старым, новые разногласия и вражду к прежним. Нас приучили к тому, что судам не нужно собирать факты, доказывавшие вину обвиняемых, и что рассчитывать на какую-то компенсацию за творившиеся злодеяния не приходилось. Чаши весов будут уравновешены только тогда, когда на них положат человеческие ошибки и заблуждения, а также слабости. Но и они не должны представать перед земным судом, ибо в противном случае мщение будет идти впереди закона.

Следующим я посетил Брауэра, бургомистра Гамбурга. О нем в моем дневнике я записал: "коренастый, крепкого телосложения блондин, выглядевший будто моим земляком из Милуоки".

Что-то американское в его облике, как потом оказалось, не было обманчивым: он действительно некоторое время жил в Соединенных Штатах и имел американское гражданство. В Германию возвратился по окончании войны и взвалил на себя тяжелые и неблагодарные обязанности. Конечно же он был старым социал-демократом, что позволило ему принять эту должность в Гамбурге - городе с живыми социалистическими традициями. Горечь и бессилие, явно звучавшие в его высказываниях, свидетельствовали о том, что он взялся за такую работу не из чувства личных амбиций.

"Гамбургские строения на 52 процента были разрушены, - рассказывал он. - Население сократилось вдвое, но быстро выросло, достигнув, по сути дела, почти довоенного уровня и составив 1 миллион 600 тысяч человек. Около 6 тысяч жителей возвращаются в город ежемесячно, занимая жилища, которые могли быть хоть как-то восстановлены. Вместе с тем, идет и новое строительство, так что население перебирается туда из лачуг и подвалов, а последние тут же занимаются беженцами из советской оккупационной зоны. Морской порт работает на 32 процента своей нормальной мощности, хотя уже восстановлен наполовину. Однако надежд на увеличение объема работ мало. Районы, тяготевшие к порту, разрушены, но некоторые верфи отчасти сохранились. Промышленность города в основном также разрушена ужасными бомбардировками. В результате этого реальная производственная база Гамбурга сейчас слишком мала

для такого большого числа населения.

Вопросы трудоустройства невероятно сложны. Капитаны океанских судов с большим опытом работы пристроились кондукторами городских трамваев и автобусов. 36 тысяч человек работают у англичан, но за счет муниципалитета".

В отношении "холодной войны" он сохранял оптимизм, считая, что мы выиграем ее быстрее, чем это даже кажется. Что же касается западногерманского правительства, то тут мы допускаем большую ошибку. Если мы хотим, чтобы из этой затеи вышел толк, необходимо передать значительную часть властных полномочий не только центру, но и землям и предоставить немцам свободу действий в области экономики. Вместе с тем надо отказаться от программы перевоспитания, которая является не чем иным, как фарсом и оказывает на немцев не то влияние, которое было бы желательно. А в заключение нашей беседы он высказал пожелание-просьбу западным державам: дайте немцам возможность спокойно работать.

На следующий день меня провезли по городу, и я заглянул в районы, пострадавшие от бомбежек. Картина, конечно, неприглядная, наводила на тяжелые размышления: "Война прошла здесь, подобно смерчу, уничтожая все на своем пути на многие километры вокруг". А сделано это было всего за три дня и три ночи в 1943 году. Тогда погибли 70 тысяч жителей. Более 3 тысяч человек так и остались под развалинами домов. Я являлся свидетелем первых 60 рейдов англичан на Берлин и до конца войны видел много руин, но такого ужаса не встречал нигде.

В руинах Берлина заключалась какая-то трагическая величественность величественность большого холодного имперского города, высокомерного и претенциозного. Такие города вызывают гнев богов и людей. Но бедного старого Гамбурга - города комфорта, жители которого понимали юмор, центра морских коммуникаций, предназначенного для коммерции и индустрии, - мне было жаль.

Здесь у меня впервые сложилось убеждение, что сиюминутные военные успехи - даже если они будут планироваться и впредь - не могут оправдывать такие громадные и бессмысленные человеческие потери и разрушения материальных ценностей, создаваемых руками разных людей в течение многих сотен лет и не имевших никакого отношения к войне. Менее всего это могло быть оправданным истеричными возгласами: "Так они поступали с нами!"

И вдруг у меня мелькнула мысль, что эти руины символизировали то, что мы на Западе не должны были игнорировать. Если западники хотят претендовать на звание

носителей высокой морали, относящихся с большой симпатией и пониманием к человеческому существу, такому, каким его создал Бог, о котором он говорил, осуждая войны в моральном и военном отношениях и призывая не вести их вообще, то эти моральные принципы должны стать основой их поведения и деятельности. Конечно, военные могут возразить, что война, мол, есть война, и если страна в нее ввязалась, то воевать необходимо, используя любые средства, чтобы не допустить поражения. Из этого вытекает требование к западной цивилизации быть в военном отношении сильнее противника, чтобы избежать военного столкновения с ним.

Такие мысли занимали меня в последующие годы. Их я придерживался в качестве аргументов в Вашингтоне, когда шел разговор о создании водородной бомбы, в лекциях на Би-би-си в 1957 году, где я горячо выступал против создания обороны континентальных членов НАТО, используя в качестве ее основы ракеты с атомными боезарядами, а также на сенатских слушаниях в 1966-м и 1967 годах, во время которых рассматривался вопрос о бомбардировках Северного Вьетнама.

Из Гамбурга я отправился в Бремен, где, поселившись в доме нашего консула, побеседовал с президентом бременского сената - крепким, спокойным и простым в обращении человеком, носившим старомодные вислые усы, бывшим в свое время фермером и относившимся к поколению людей довоенного (1914 года) периода. Будучи арестованным и попавшим в тюрьму в самом начале прихода Гитлера к власти, он возвратился в деревню и стал молча и терпеливо заниматься сельскохозяйственными работами в течение целых 12 лет, не обращая никакого внимания на политику. Когда его после поражения нацистов попросили возвратиться к политической жизни, он так же спокойно перебрался в город и взялся за дела на самом высшем уровне в бременском анклаве.

С горькой иронией он рассказывал об административных неурядицах, вызванных нашей опекой.

Военной администрацией немцам было сказано о необходимости увеличения срока обучения в начальной общеобразовательной школе с четырех до шести лет. Они не возражают против этого и сделают все постепенно. Родители детей нынешнего четвертого класса еще не обвыклись с этой идеей и относятся к ней по-разному. Поэтому он запросил военную администрацию разрешить ему установить переходный период, но получил отрицательный ответ.

А вот другой пример. У них сейчас работают вечерние школы для рабочей молодежи, занятия в которых проводятся по восемь

часов в неделю. Так военная администрация посчитала это недостаточным и распорядилась добавить еще восемь часов, практически удвоив нагрузку.

У них нет ни помещений, ни учителей для осуществления этой реформы. И городской совет возражает против такой постановки вопроса... Поэтому он даже не знает, как ему быть.

Я спросил консула, присутствовавшего на нашей беседе, кто в военной администрации занимается этими вопросами и дал подобные указания. Он ответил, что это - глава комиссии по вопросам образования военной администрации Бремена. Тогда я поинтересовался, кто же он по профессии. Оказалось, что бывший преподаватель средней школы в Индиане. Достаточно ли у него понимания вопроса и компетенции? Консул заверил, что считался дома хорошим преподавателем.

Президент сената продолжил свой рассказ. Завод по производству газа разрушен. Поставки топлива в дома резко сократились, поэтому возникает срочная необходимость в восстановлении газового завода, являвшегося собственностью города и работавшего до войны на коммерческой основе, не находясь на городском бюджете. Он решил восстановить завод и договорился о получении кредита на эти цели в размере 10 миллионов марок, который будет погашен за счет амортизации. Но военная администрация наложила на это вето, обосновав свое решение необходимостью проведения восстановительных работ за счет налогов. Начатые уже работы пришлось приостановить, так как городская казна таких денег не имела.

"Чего же вы хотите от меня? - спросил он. - Если вы будете настаивать на свое, я могу поступить так, как это делают японцы. Я стану улыбаться и кланяться, заверяя, что все будет сделано, как желают американцы. На самом же деле поступлю как необходимо, и вы об этом ничего знать не будете. Другими словами, я могу сделать вид, что подчиняюсь, если это доставит вашим чиновникам удовольствие. Но мне бы этого не хотелось, поскольку не нравится и самому. Да и в перспективе ни к чему хорошему не приведет".

В Берлин я возвратился, испытывая неудовлетворение реализацией той ответственности и обязанностей, которые мы взяли на себя, но оказались не в состоянии выполнить надлежащим образом.

Был полдень воскресного дня. Официальные лица, принимавшие меня, разъехались кто куда, а я даже обрадовался возможности побродить в одиночку по улицам, наблюдая за городской жизнью.

Несмотря на падавший иногда снег, погода стояла более

ясная, чем на прошлой неделе. Весна пыталась уже вступить в свои права. В облаках появились разрывы: часть их была темной, часть - светлой, а между ними виднелось бледно-голубое весеннее небо, о существовании которого жители уже почти забыли за долгие месяцы бесконечной северной зимы.

Даже дети заметили это. По пути к станции метро мне встретились трое ребятишек, вышедших погулять с эрдельтерьером. "Посмотри-ка, - сказал самый маленький, - темное облако, подобно ночному духу, а светлое - фее".

Собака, услышав возбужденный голос мальчика, посмотрела на остальных и сделала стойку, показывая своим видом, что готова на любые похождения.

("Ты прав, малыш, - подумал я про себя, - в мире существуют и злые, и добрые духи, подобно этим облачкам. И какое из них окажется над твоей головой, когда ты станешь взрослым, и какой из духов будет сопровождать твою жизнь - это большой вопрос. В какой-то степени он будет зависеть и от тебя самого, поскольку у всех людей, за исключением находящихся в тюрьме, есть своя воля и разум. Но это в значительной степени будет зависеть все же от нас, американцев, так как мы оказались победителями в мировой войне и превратились в великую державу. Но вместе с тем мы не стали самыми свободными из людей, поскольку взяли на себя обязательства, требующие ответственного исполнения. И теперь каждый, даже имеющий в кармане всего одну монету в пять центов, может спросить нас, задав любой вопрос, а мы, в соответствии с принятыми правилами игры, должны будем дать ответ. И как ты впоследствии обнаружишь, в зависимости от данного нами ответа духами твоими могут стать как добрые, так и злые волшебники, которые и определят твое будущее. И если бы я был на твоем месте, то внимательно присмотрелся бы к происходящему и крепко задумался, ибо и мы не слишком уверены во всем").

Именно дети, игравшие в руинах, строившие запруды из кусочков дерева и камней в ручейках талой воды, приковавшие к себе мое внимание в то послеполуденное время, заставили меня почувствовать всю глубину отчаяния последних дней, одновременно вселив слабую надежду на лучшее будущее.

"Если бы каким-то образом удалось внести в души этих ребятишек надежду на здоровье и благоденствие, - думалось мне, - и показать, что за слабенькой радугой, раскинувшейся в небе в тот день, и первыми лучами мартовского солнца, пробившегося сквозь тучи, скрываются такие понятия, как свобода и безопасность, вознаграждение за завершенный труд и возможность спокойных прогулок по широким красивым

проспектам, а также теплота человеческих отношений, тогда и руины, и чары злых волшебников потеряют свою власть над ними, и в их жизнь войдут прекрасные феи".

Но откуда было взяться этому? От родителей? Родители были стоиками и закаленными людьми, лишившимися многих былых иллюзий, но пребывающими пока в замешательстве и неосведомленности, сами еще не разобравшимися в своих мечтах и представлениях о новой жизни. От американцев? Мы постараемся сделать все от нас зависящее. Но и мы не знаем точно, каким образом устранить ту политическую нестабильность, которая установилась в этом регионе. Да и видение-то наше закрыто пологом привычек, комфорта, неправильным и даже коррумпированным пониманием своей роли победителей и оккупантов.

Понедельник - последний день моего пребывания в Германии. Я вылетел рано утром во Франкфурт-на-Майне и провел там еще несколько бесед с различными людьми, а потом отправился в гостевой дом для особо важных лиц в Таунусе на послеобеденный отдых. Это было то самое место, где мы, американские дипломаты, будучи интернированными, провели 14 лет назад злополучную зиму 1941/42 года. Поздно вечером я сел в парижский ночной поезд.

Прошедший день был солнечным - первым днем хорошей погоды за время моего пребывания в Германии. Несмотря на уже наступившую темноту, небо на западе еще светлело, и на нем появились звезды. В деревнях, мимо которых мы проезжали, народ высыпал на улицу, наслаждаясь первым теплым весенним вечером. Все дороги были запружены автомашинами, в основном немецкими. Я подумал о бизональной территории, проносившейся в темноте, и мне даже показалось, что я слышу невнятный гомон возрождающейся жизни, снова набиравшей рабочий ритм, жизни, освобождающейся от шока и прострации прошедших долгих лет. Десятки миллионов человеческих существ разного возраста и различного образа жизни вели себя как и подобает человеку, побуждаемому тысячами стимулов к получению наследства, образования, общественного признания и удовлетворения материальных потребностей, а также эмоций. Что бы мы ни делали, они уже будут оставаться сторонними наблюдателями. Теперь их уже ничто не удержит от поиска отдушины, подающей свежий воздух, и чувства того, что они делают нечто важное, полезное и необходимое.

Будем ли мы в состоянии проделать необходимый путь в этом море человеческих чувств и желаний, который не противоречил бы нашим собственным интересам? Сможем ли мы понять, что

выступаем в роли врача, от знаний и умений которого зависят здоровье и сама жизнь пациента, без которых, в свою очередь, не могут быть обеспечены единство и успехи западного мира? Удастся ли нам направить намечающееся развитие в русло кооперации и конструктивности? Сможем ли мы обставить свое участие таким образом, что оно будет восприниматься ими как весьма необходимое и потребное? Или же мы недовольно повернемся к ним спиной, резко изменив свое отношение и не оставив им никакого выбора, в результате чего они окажутся не только в стороне от нас, но и против нас. В связи с этим на ум приходят слова великого немецкого поэта Гёте, которыми германская коммунистическая партия в свое время заканчивала свои собрания и митинги:

Ты должен властвовать и побеждать Или прислуживать и погибать, Страдать или торжествовать, Наковальней или же молотом стать!

Пока я находился с визитом в Германии, появились первые признаки готовности русских снять блокаду Берлина. 30 января Сталин в заявлении, сделанном им западным журналистам, сказал, что в качестве непременного условия снятия блокады должно стать временное (а не постоянное) снятие с повестки дня вопроса о создании западногерманского правительства, не упустив возможности отметить трудности, связанные с проблемой денежного обращения (введение западногерманской марки). Профессор Филипп Джессап, бывший послом, полномочия которого не ограничивались территорией определенного государства, при госсекретаре, запросил, по поручению Ачесона, представителя Советского Союза в ООН Якова Малика, носит ли это заявление случайный характер. Малик, проконсультировавшись со своим правительством, ответил 15 марта, что оно не случайно. После этого последовал конфиденциальный обмен мнениями обоих, естественно широко не афишируемый. В конце апреля он закончился принятием договоренности о снятии блокады и созыве нового совещания совета министров иностранных дел. Позднее установили дату проведения этого совещания - 23 мая.

Предстоявшее совещание совета министров иностранных дел вновь заострило вопрос о нашей позиции по германской проблеме в целом. Тема эта широко обсуждалась в прессе и вызвала интенсивные дискуссии в нашем департаменте. Среди различных альтернатив всплыл и план А, хотя для многих это и показалось странным. Казалось даже, что на этот раз он был близок к одобрению и принятию. Требовалось срочное завершение Лондонской программы, чтобы представить ее - и это намерение

почти не скрывалось - министрам иностранных дел Большой четверки в качестве свершившегося факта. Многочисленные ее авторы носились с ней, как мать с маленьким ребенком. Поскольку в нее вложено много труда и конечная реализация была близка, им казалось маловероятным, что кто-либо поставит ее под угрозу срыва, внеся другое возможное решение проблемы переговоров с русскими, с учетом того, в частности, что они склоняются к мысли, так или иначе, снять блокаду Брелина. Генерал Клей, оставивший свой пост главнокомандующего оккупационными войсками в Германии и возвратившийся в Штаты в ореоле вполне заслуженной славы за долгое и блестящее исполнение своих обязанностей, вроде бы не только одобрил Лондонскую программу, но и рекомендовал принять ее окончательно, учитывая значительные трудности, создавшиеся на данный период времени в Германии. Однако в его опубликованных мемуарах{40} я не нашел никаких высказываний, в которых говорилось бы, что он выделял Лондонскую программу в качестве одной из лучших основ для достижения необходимого соглашения с русскими. В своем же заявлении прессе по возвращении из Германии он высказал мнение, что оккупационные войска союзников надлежит оставить в Западной Германии на ближайшие 5, а то и 20 лет, чтобы гарантировать жизнь немцев по новой конституции. При необходимости он даже будет возражать, если в наше правительство поступит предложение о целесообразности принятия решения на четырехстороннем уровне на предмет вывода союзных войск из основной части Германии и отказа вообще от оккупационного контроля.

Да и в самом Госдепартаменте более не высказывались мысли о приоритетности плана А. Думаю, что не ошибаюсь, вспоминая по памяти отношение Ачесона к этому плану, когда он называл его довольно любопытным, не лишенным определенного смысла и не стандартным, но недостаточно основательным, в связи с чем не рассматривавшимся серьезно. Таким образом, к предложениям группы планирования в самом департаменте было проявлено мало интереса, и вообще не предпринималось никаких шагов по подготовке новой встречи министров иностранных дел. Даже французов и англичан не оповестили об этом, и с ними не провели никаких обсуждений возникавших вопросов. В результате к середине мая 1949 года время для серьезного рассмотрения этой проблемы было упущено и, более того, не проявлено желание о разработке общей позиции западных держав.

Почему все же при этих обстоятельствах кто-то из нашего

правительства решил представить план А на Парижской конференции, сочтя это за удачный ход, - для меня так и осталось загадкой. Поскольку заседание совета министров иностранных дел большой четверки должно было начаться 23 мая, решили, что госсекретарь отправится в Париж 20 мая, а Болен и Джессап вылетят туда в ночь с 12 на 13 мая, чтобы провести с англичанами и французами предварительный обмен мнениями по выработке общей западной переговорной позиции на предстоящем совещании. Им поручили представить французским и английским коллегам план А в качестве возможной альтернативы, принимавшейся во внимание нашим правительством, но не получившей еще окончательной рекомендации. Как раз в день их отлета в газете "Нью-Йорк тайме" появилась статья, принадлежавшая перу Джеймса Рестона, вашингтонского корреспондента этой газеты, в которой довольно подробно, в деталях, рассматривалась та часть плана А, в которой говорилось о возможности частичного вывода оккупационных войск из Германии и в качестве автора этой идеи назывался я. В конце статьи, уже на внутренней полосе газеты, было сказано, что "пока" еще нет окончательного решения, чтобы план этот был представлен в Париже в качестве американского. Более того, не совсем точно и даже противоречиво утверждалось, что план обусловлен готовностью русских к образованию центрального правительства Германии в соответствии с положениями Лондонской программы. (Я сказал "не совсем точно" и "даже противоречиво", поскольку Лондонская программа рассматривала оставление на неопределенное время оккупационного контроля и сохранение союзных войск на всей территории Германии, тогда как при разработке плана А мы постарались избежать этих определений.) Вместе с тем в статье Рестона ничего не говорилось о специальных мерах безопасности, предусмотренных в плане А. В результате этого у французского и английского правительств могло сложиться впечатление, что Соединенные Штаты вынашивают идею о выводе основной части своих войск из Германии, скрывают это от них и намереваются сообщить об этом на четырехстороннем уровне.

Поскольку в статье даже не сделалось попытки ознакомить правительства Франции и Англии с моей концепцией и рациональной стороной плана А, она, скорее всего, могла напугать их и настроить против плана. И реакцию их можно было предвидеть. Французы, например, встали на дыбы подобно испуганной лошади. Их тревога была настолько большой, что Джессап посчитал необходимым на следующее утро после своего прибытия в Париж срочно навестить французского министра

иностранных дел Робера Шумана и заверить его, что статья эта лишена оснований. Некое высокое французское официальное лицо заявило корреспонденту "Нью-Йорк тайме" в Париже: "...Если статья предназначалась для того, чтобы напугать Францию и заставить ее отказаться от солидарности с западными державами, на которую она недавно пошла, то целью ее было освобождение большей части Германии от союзной оккупации еще до заключения мирного договора".

(Высокопоставленный чиновник добавил несколько абсурдно, что "многие немцы подверглись бы смертельной опасности со стороны националистических или нацистских организаций в случае отвода войск западных держав на побережье".)

Неизбежная задача Джессапа и Болена при таких обстоятельствах заверение французов и англичан в том, что эта идея не имеет поддержки в нашем правительстве и что статью не следует принимать всерьез. Такой бесчестный поступок дал ложное толкование - не знаю уж к лучшему или худшему - моим усилиям, направленным на то, чтобы воспрепятствовать самоизоляции нашего правительства и занятию им такой позиции, которая со временем превратилась бы в барьер при решении вопроса о выводе войск из Германии и Европы, и побудить его принять решение, позволившее бы сохранить возможность достижения четырехстороннего соглашения по этому вопросу.

А что же было в действительности предложено западной стороной в Париже в мае 1949 года на совещании министров иностранных дел? В итоге все предложения свелись к тому, что если различные земли советской зоны оккупации проявили бы стремление к вступлению в западногерманскую федерацию на условиях Лондонской программы, а советские ставленники в этих регионах позволили бы им сделать это, то мы любезно не стали бы препятствовать такому процессу. Изучая данную проблему, наша группа планирования пришла к выводу, что подобная постановка вопроса, в случае ее принятия советским правительством, сработала бы односторонне в пользу западных держав и означала бы потерю Советским Союзом своих позиций в Германии и, следовательно, была бы нереальной, как нереальна идея создания на территории, оккупированной советскими войсками, демократической политической системы, находившейся бы под контролем межсоюзнической администрации или какого-то другого органа, в который входил бы и главнокомандующий советскими войсками.

Спустя несколько лет Ачесон публично возвратился к вопросу нашего несогласия с его политикой в отношении Германии в то

время. Это несогласие возрастало в последующие годы сначала при принятии решения о перевооружении Западной Германии и включении ее в качестве полноправного члена в Североатлантический альянс, а затем при принятии решения уже советом НАТО в 1957 году о строительстве обороны Германии и континентальных членов НАТО на основе ядерного оружия.

Что же касается 1949 года, то наше несогласие касалось в первую очередь не столько долгосрочных намерений, сколько целесообразности и важности ближайших планов. Вообще-то я, как в то время, так и сейчас, испытывал определенные симпатии к позициям Ачесона, поскольку на нем лежала большая ответственность. Лондонская программа, переданная ему в сформулированном виде, еще задолго до того, как он стал госсекретарем, означала и для него совершившийся факт. Поставить ее под угрозу срыва было для него нелегким делом. На нем лежала обязанность сохранения западного единства, консолидации и улучшения политических и экономических условий в Западной Германии, а также недопущения действий, которые способствовали бы росту недоверия и имеющихся опасений западноевропейских союзников. Да и немедленного согласия русских на принятие плана А в то время ожидать было нельзя. С другой же стороны, бесстыдное проталкивание его могло легко дезориентировать и вызвать тревогу у западников. Поэтому предлагать ему манипулировать этими предложениями при тех обстоятельствах было непросто.

Серьезные же разногласия у нас имелись по таким вопросам, как: необходимость сохранения достаточно большой гибкости в наших отношениях с русскими - чтобы создание нового западногерманского правительства не положило этому конец и не стало непреодолимым препятствием в достижении желательных соглашений с Россией; необходимость постоянного поиска новых путей и недопущения формальностей при рассмотрении с французскими и английскими союзниками проблем будущей Европы - при этом основной упор должен быть сделан на вопросе военной оккупации (военную администрацию я считал политически безграмотной и коррумпированной и к тому же еще и недостаточно дисциплинированной).

Эти разногласия отражали разницу наших подходов к рассматривавшимся проблемам. Он, никогда не живший в странах Восточной Европы и тем более в России (скорее всего разделявший взгляды З. Фрейда, что народы, населяющие территорию восточнее Эльбы, "были крещены совсем недавно да и плохо"), считал возможным достичь договоренности с русскими о выводе их войск из восточной зоны Германии, не имевшей

слишком большого значения, уделяя в то же время исключительное внимание нашей оккупационной администрации в Западной Германии и единству западных союзников. Я же, памятуя свое длительное пребывание как в Германии, так и в России, полагал, что деятельность нашей оккупационной администрации в Западной Германии должна носить временный характер, и возлагал большие надежды на то, что Россия в один прекрасный день уйдет из сердца континента, пытаясь не допустить занятия нашим правительством такой позиции, которая грозила бы разрушением самой возможности достижения договоренности о выводе войск через какой-то промежуток времени.

Ныне, в ретроспективе 18 лет, все эти проблемы представляются мне в несколько ином ракурсе, чем в то время. Я даже считаю, что мои взгляды и оценки исходили из достойных сожаления не совсем правильных расчетов. Я, в частности, допускал преувеличение недостатков и пороков, а также несоответствие предъявлявшимся требованиям нашей военной администрации, слишком трагично и болезненно воспринимал аспекты ее взаимоотношений с немцами, переживая, наверное, более самих немцев ее ляпсусы и просчеты. К тому же я слишком пессимистично относился к перспективам возрождения и процветания западных зон оккупации в результате осуществления Лондонской программы. Более того, мне казалось, что для передачи основных полномочий немцам нашей военной администрации потребуется гораздо больше времени. И наконец, я переоценил опасность, в которой находились западные секторы Берлина, пребывая в коммунистическом окружении. Политические успехи Лондонской программы и "экономическое чудо", начавшееся вскоре в Западной Германии, исторически подкорректировали мои взгляды и оценки 1949 года.

С другой стороны, я был все же прав, опасаясь, что путь, на который мы становились, окажется в течение длительного времени серьезным препятствием в вопросе вывода войск из Германии и Европы. Это был путь, идя которым мы вскоре связали себя решением о перевооружении Западной Германии и принятии ее в члены НАТО. Вместе с тем, оглядываясь назад, я допускаю, что в то время такое решение более или менее оправдывалось, о чем свидетельствуют торжественные заявления Ачесона и других западных лидеров на натовских слушаниях в 1949 году. Конечно, такое развитие событий привело к откладыванию на неопределенное время решение вопроса о выводе войск с континента, но явилось надежным и, пожалуй, самым простым выходом из сложившейся обстановки. До тех пор,

пока советское влияние в странах Восточной Европы будет оставаться доминирующим, создание НАТО можно рассматривать как ответ, адекватный ситуации. Когда же в один прекрасный день все или часть восточноевропейских стран проявят интерес к интеграции в европейское сообщество и их отношения с Советским Союзом позволят осуществить это мирным путем, а ограничения, принятые в соглашениях 1949-го и 1954 годов, станут явными, тогда народам придется возвратиться к серьезному и детальному рассмотрению плана А.

Глава 19.

Будущее Европы

Неудача попыток достижения соглашения с Россией по вопросу будущего Германии и решение о создании западногерманского государства явились предметом размышлений многих умов в послевоенный период, исходя из соображений международных отношений на Европейском континенте в целом и европейской унификации - в частности. Целый ряд европейских лидеров, в числе которых были Уинстон Черчилль и Поль Спаак{41}, выступали за более тесную ассоциацию европейских держав. Правительство Соединенных Штатов, воодушевленное стремлением сделать что-либо существенное в целях достижения "интеграции" экономик европейских стран, исходя прежде всего из интересов их экономического возрождения, не только оказывало словесную поддержку таким намерениям, но и осуществляло известный нажим. Теперь фактически впервые мы были в состоянии игнорировать любые возражения русских, пренебрегая ими, поскольку в Западной Европе наметился позитивный прогресс. Более того, были уже созданы или находились в стадии становления различные организации, являвшиеся локомотивами в деле реализации общих интересов европейских народов. Среди них находилась уже упоминавшаяся нами Европейская экономическая комиссия, в которую входили даже восточноевропейские страны члены ООН, располагавшиеся к востоку от "железного занавеса". Следует назвать и организацию европейской экономической кооперации, включавшую в себя ассоциативных членов из числа европейских государств, участвовавших в реализации программы европейского возрождения. В ней состояли даже пять государств - не членов ООН, но в нее, естественно, не привлекались восточноевропейские страны, не охваченные планом Маршалла. В стадии становления находилась группировка атлантического пакта, в которую входили пока девять европейских государств. Зимой и весной 1949 года начал создаваться европейский совет, в

который вошли европейские члены атлантического пакта, за исключением Португалии и Исландии. Подключились к нему также Ирландия и Швеция. И наконец, Брюссельский союз, образованный Великобританией, Францией и странами Бенилюкса, входившими во все пять вышеназванных организаций.

Быстрое увеличение числа организаций с различным членством было конечно же связано с вопросом, если мы действительно хотели, чтобы европейский союз стал реальностью, как обеспечить их развитие и сохранить определенный суверенитет при слиянии. Эти проблемы вместе с тем вызывали необходимость четкого формулирования американской точки зрения, и не только потому, что мы осуществляли нажим на европейские страны в сторону их унификации и должны были пояснить, что же мы конкретно имели в виду, но и для определения нашей политики в отношении Германии, восточноевропейских стран, Великобритании - с учетом ее позиций в торговом и финансовом мире, а также ее связей с британским содружеством. А поскольку вопрос унификации европейских стран был связан с проблемой будущего Европы в течение длительного периода времени, то это обстоятельство следовало учитывать нашему подразделению Госдепартамента, получившему название группы планирования его внешней политики.

Среди европейских стран выделялась Великобритания, в отношениях с которой ощущались наибольшие трудности в осуществлении различных идей и инициатив. Давление, оказываемое нами, и воздействие энтузиазма по вопросу объединения Европы, исходившего из различных частей континента, с одной стороны, и сдерживаемое влияние своих заморских обязательств, а также учитывая свои непростые позиции в мировых торговых и финансовых отношениях и общественное мнение в своей стране, с другой, английские государственные деятели считали необходимым выдвигать и собственные идеи, и политические аспекты для поддержания своего веса и значимости. Весной 1949 года, как я уже упоминал, в беседе с одним из своих друзей в британском министерстве иностранных дел, посетившим Вашингтон, мне предложили побывать в Англии -и побеседовать с соответствующими представителями британского правительства, чтобы получить ясное представление об идеях, там вынашивавшихся. Вскоре по возвращении в Лондон он написал мне письмо, в котором сообщил, что мой визит в министерстве иностранных дел рассматривается положительно, и перечислил целый ряд вопросов, нашу реакцию по которым им хотелось бы знать. Одним

из них был, например, вопрос: сколь реально мы расценивали возможность европейской унификации в ближайшие пять лет? Говоря другими словами, считали ли мы это вообще достижимым? Как мы рассматриваем будущее Германии и ее отношение к возможному европейскому объединению? И какой, на наш взгляд, должна быть наиболее желательной форма британского участия в таком союзе? Рассматриваем ли мы этот союз в качестве третьей силы в Европе наряду с Соединенными Штатами и Советским Союзом? И в чем заключается суть идеи создания "атлантического сообщества"? Будет ли оно ограничено только регионом Атлантического океана?

Наша группа с удовольствием работала в течение мая и июня над поставленными вопросами, привлекая консультантов со стороны. Материал должен был послужить основой для обсуждения не только нашим правительством, но и правительствами Англии и, как я надеялся, Франции.

Сами же себе мы поставили еще и такой вопрос: в каком географическом районе и при каких условиях членства хотели бы мы видеть движение к объединению Европы, в течение какого периода времени и насколько далеко оно должно было зайти?

В начале июля я смог наконец представить госсекретарю наработку по упомянутым вопросам и высказать свое личное мнение. Говорю о "личном мнении", так как далеко не все наши консультанты и даже некоторые сотрудники группы планирования были с ним согласны. Во всяком случае, я поступил так, как считал необходимым. Не мог же я отправиться в Англию для обсуждения вопросов, с которыми сам был не согласен. Ведь при возникновении дискуссий мне пришлось бы выступать их адвокатом. Исходя из этих соображений, я положил перед госсекретарем документ, отражавший мою собственную точку зрения. Его я потом взял в Европу.

Теперь я хочу отметить основные положения этого документа. Вначале я коснулся вопроса: действительно ли необходима унификация Европы, исходя из предпосылки ее экономического возрождения, как это обычно принято считать в Вашингтоне? Ответ на этот вопрос был отрицательным, поскольку я не видел реальных доказательств обратного. Однако унификация требовалась для создания условий успешного решения германской проблемы. При этом я повторил соображения, о которых говорил в предыдущей главе. Идея нового раздела Германии была нереалистичной, так как, поставив ее в условия решения своих национальных идеалов и стремлений при наличии национально-суверенной раздробленности, достигалось бы реальное повторение версальского решения этой

проблемы. Поэтому только та или иная форма европейской федерации могла бы обеспечить ей определенное место в европейском сообществе, вполне для нее приемлемое при соблюдении общей безопасности.

Затем я проанализировал возможные организационные и географические варианты основ европейского единства и оценил позиции различных правительств, которые станут действовать в новых условиях, подчеркнув, что идея унификации стран, расположенных по обе стороны Атлантического океана, с их традиционно запутанными отношениями, не вызывала большого энтузиазма. Гораздо больший энтузиазм проявляли страны, расположенные внутри континента, воспринимавшие германскую проблему особенно болезненно. Вместе с тем я рассмотрел и проблемы, связанные с Великобританией, оценив ее сдержанность по отношению к континентальному союзу как вызванную серьезными и вполне обоснованными причинами. Поэтому если она и сделает какие-то шаги в этом направлении, то они все равно не будут далеко идущими. Вполне очевидно, что Англия не пойдет на такой союз, в котором не были бы представлены Соединенные Штаты и Канада как гаранты реального обеспечения суверенности вошедших в него государств. Британская сдержанность и нерешительность будут вместе с тем представлять собой препятствие, далее которого объединение и унификация продвинуться не смогут. Именно это препятствие, подчеркивал я, не позволит обеспечить реальный суверенитет различных стран и решить германскую проблему. Лишь при условии нашего вместе с Канадой участия в этом союзе можно рассчитывать на успешное преодоление целого ряда аспектов британской сдержанности, да и то не всех. Я хорошо понимал, что нам с канадцами следовало идти именно этим путем.

На другом конце спектра проблем стоял вопрос возможного отношения к такому европейскому союзу восточноевропейских стран, находившихся под советским влиянием. Было ясно, что в данный момент вопрос об их ассоциации с союзом даже не стоило и рассматривать. Но как будет обстоять дело в отдаленном будущем?

Большинство специалистов, с которыми мы консультировались, рассматривали раздел Европы как совершившийся акт, окончательный и неизменный, и склонялись вообще не включать восточноевропейские страны в число проблем, стоявших перед нами, предпочитая заниматься только вопросами Западной Европы и Североатлантического альянса. (Мне представляется, что их позиция была непоследовательной и противоречивой, поскольку на вопрос, какой должна быть наша

политика в отношении восточноевропейских стран, они обычно отвечали, что нам следует попытаться побудить их отойти от советской ориентации и "привлечь на нашу сторону". При этом они не имели никаких серьезных намерений по разработке и созданию таких организационных структур, в которых эти страны могли бы найти подходящие для них места даже при соответствующих условиях.) Поскольку возможность ослабления влияния Советов на Восточную Европу просматривалась в очень отдаленной перспективе, то народы, ее населявшие, оказались бы практически вне сферы наших планов и деятельности в деле будущей организации европейского сообщества. Любая концепция, не предусматривавшая занятие ими соответствующих мест в такой организации, подчеркивал я, означала бы оставление их без нашего влияния, не предоставляя даже теоретической альтернативы возможности их нейтрализации и изоляции от контроля России. К тому же такая концепция означала бы длительный раскол Европы.

Вместе с тем я видел, что эти люди и не собирались рассматривать наше членство и членство канадцев в атлантическом альянсе. Будучи занятыми проблемами нацистского и коммунистического влияния в Европе и ожидаемыми социальными изменениями, они вряд ли были в состоянии, по крайней мере в ближайшее время, осознать и поддержать не только идеи англо-американского сотрудничества, но и политику и поведение правительства. На мой взгляд, они скорее готовились пойти на создание союза континентальных европейских стран с вовлечением в него Великобритании, но без участия Соединенных Штатов и Канады. Вынашиваемая же ими, с другой стороны, идея создания федерального союза, который простирался бы от Сан-Франциско до Восточных Карпат и Припяти, представлялась мне вообще фантастической.

Из всего вышесказанного я делал вывод, что нашей целью должно являться создание континентального союза с включением в него Великобритании с тем, чтобы Германия вошла в состав чего-то большего, чем она сама, - союза, поддержанного нами и канадцами, союза, носящего чисто континентальный характер, не имеющего ничего общего с атлантическим пактом, в который со временем при возникновении определенных условий могли бы войти небольшие страны Центральной и Восточной Европы. Я не считал, что нечто подобное может произойти в ближайшее время. Главное и существенное - сделать управляемым движение к европейской унификации и достичь в конечном итоге стабилизации Европы. Далее в документе подчеркивалось, что все мероприятия, проводимые в рамках создания

западноевропейского сообщества, должны носить предварительный характер и Америка должна брать на себя военные обязательства, адекватные советским. Это не означало, что американские войска будут оставаться безучастными ко всему происходящему, а действовать в зависимости от поступков русских. Проще говоря, это означало, что наша военная гарантия безопасности западноевропейских стран должна была оставаться гибкой и маневренной вплоть до достижения других соглашений по Европе.

Хотя это и непосредственно не отражалось в документе, неотъемлемой его составляющей являлись еще две предпосылки, о которых я говорил со всеми заинтересованными лицами при ведении дискуссий. Первая из них - положение о том, что немцы, внося определенный вклад в дело обороны Западной Европы, должны оставаться вне НАТО и не иметь собственных вооруженных сил. Вторая мысль о том, что основной силой движения к политической унификации на континенте, которая должна иметь решающее влияние в рамках создаваемого федерального союза, должна, несомненно, являться Франция.

Читатель, видимо, отметит, что эта концепция в случае ее принятия оказала бы большое влияние на американскую политику в последующие годы. Прежде всего не произошло бы перевооружения Западной Германии, она не была бы принята в НАТО, и не возник бы вопрос о "многонациональных ядерных силах". Если бы такое произошло, мы получили бы несравненно большую возможность маневра при ведении переговоров с русскими по вопросам о снятии с себя принятых ранее обязательств об объединении Германии. Отпала бы необходимость в оказывании нажима на Англию по поводу вступления ее в европейское экономическое сообщество, которое без участия этой страны, пожалуй, в большей степени соответствовало бы американским целям. И наконец, не возник бы весьма существенный конфликт с генералом де Голлем, возражавшим против участия Англии в общем рынке и намеревавшимся объединить континентальную Европу под французской эгидой и без участия Соединенных Штатов. Более того, американцы смогли бы приветствовать с удовлетворением независимые попытки де Голля привлечь восточноевропейские страны к тесному сотрудничеству с Францией и Западной Европой в целом. Несомненно, и в дальнейшем у нас будут разногласия с генералом де Голлем по вопросам размаха и характера унификации Европы, а также степени задействования ее суверенитета, за исключением самого региона, в котором это будет осуществляться.

Через несколько дней после завершения подготовки вышеупомянутого документа я взял его с собой в Париж, а затем и в Лондон для неформального обсуждения с представителями министерств иностранных дел. Там я представил его как свои личные соображения, так как вплоть до моего отъезда не было никакой возможности обсудить его с членами нашего правительства. К тому же не имел четкого представления об истинном мнении госсекретаря.

Французская реакция была вполне предсказуема. Озабоченные в это время французы проявляли недовольство нашими отношениями с Англией, в которых они не участвовали. Дело в том, что наше вмешательство в английские дела было связано прежде всего с финансовой ситуацией, сложившейся в Великобритании, и попытками решения возникших довольно сложных проблем, к которым Франция не имела никакого отношения. Однако французы относились с подозрением и чувством обиды к переговорам, в которых они не участвовали. В то время идея взять на себя лидерство среди континентальных держав и действовать независимо от нас и англичан казалась для них крайне чуждой. Было почти невозможно объяснить им, что идея с континентальным союзом, в котором мы, американцы, не будем участвовать, не означает отказа от нашей заинтересованности в военной безопасности западноевропейских народов и тесных взаимоотношений с Францией. Короче говоря, французы, с которыми я разговаривал, просто не могли понять, о чем я с ними беседовал. В таком положении дел заключалась своеобразная ирония, так как эти же официальные лица через несколько лет явились инструментом в проведении политики великого француза, очень хорошо понимавшего эти вопросы, сменив свой настрой. Но в 1949 году подобные идеи вызывали у них только тревогу.

Англичане были менее раздражительны, спокойнее и глубокомысленнее в своей реакции, но подходили осторожно и в целом не слишком предрасположенно к идеям, о которых я вел разговор. Подобно нашим американским консультантам, они не видели никаких оснований для принятия во внимание ситуации к возможного будущего восточноевропейских стран. Они также предпочитали вести переговоры об условиях создания атлантического сообщества и союза Западной Европы. Рассматривая развитие своих отношений с Западной Европой в то время, они реально учитывали все, чего могли придерживаться. Остальное представляло для них гипотетическую теорию. Они, в частности, считали себя связанными с вопросом создания совета Европы, чем практически уже занимались. Их подходы к

рассматривавшимся проблемам, как я потом отметил в своем дневнике, были "прагматически пробными, лишенными логики и гипотетических соображений, и учитывали только ближайший отрезок времени". Вследствие этого я возвратился домой, как говорится, с пустыми руками. Отношение же к этим проблемам в самом Вашингтоне также не отличалось большой благосклонностью. Мои коллеги в западноевропейском управлении Госдепартамента, отвечавшие за текущие вопросы, будучи мало озабоченными долгосрочными отношениями с западноевропейскими странами, и не проявлявшие никакого интереса к Восточной Европе, находившиеся к тому же под влиянием контактов с правительственными кругами Англии и Франции, придерживались их взглядов в своей аргументации. И хотя госсекретарь открыто не высказывал своего мнения в отношении моей концепции по германской проблеме, я нисколько не сомневался, что он был настроен скептически.

Если кто-либо, подобно мне, и вынашивал идею европейской унификации в континентальных рамках, то не должен был сбрасывать со счетов тесную взаимосвязь Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. Собственно говоря, я это постоянно имел в виду при вступлении в свою должность руководителя группы планирования и заложил как составную часть своих первоначальных рекомендаций по плану Маршалла. Мне представлялась всемирная торговля в виде своеобразного морского блока государств, который включал бы в себя не только Англию, Канаду и США, но и государства содружества, а именно Скандинавию и страны Пиренейского полуострова. Она основывалась бы на единой валюте, а блок со временем мог бы превратиться в федеральный союз с общим суверенитетом, фланкируя с соответствующей континентальной группировкой. Но и в этом плане мне пришлось пережить тем летом 1943 года серьезное разочарование.

Не успел я возвратиться из поездки в Париж и Лондон, как разразился один из периодических кризисов того времени, заключавшийся в падении престижа английского фунта стерлингов. Наступили трудные времена. Было ясно, что англичане должны пойти на девальвацию. Но прежде чем сделать это, они направили в Вашингтон своих ведущих специалистов для обсуждения сложившегося положения с нами и канадцами. Проблема эта была не только комплексной, но и весьма деликатной для нас, так как мы не могли взять на себя ответственности за девальвацию фунта, ни тем более заявить публично, что именно мы ее инспирировали. Вместе с тем мы не могли допустить, чтобы в мире сложилось впечатление, будто бы

те или иные строгие меры приняты под нашим нажимом или диктатом.

По каким-то причинам, которые так и остались для меня неясными, решили, что переговоры должны были вестись не госсекретарем, а министром финансов Джоном Снайдером, недавно возвратившимся из поездки по Европе. В Лондоне он встречался с канцлером казначейства сэром Стаффордом Криппсом, теперь возглавившим английскую делегацию, прибывшую в Вашингтон. По непонятным для меня причинам мистер Снайдер был настроен враждебно и подозрительно к англичанам и даже заявил, что не только возьмет переговоры с ними в свои руки, но и обеспечит им самый холодный прием.

Новый заместитель госсекретаря Джеймс Уэбб в самый последний момент перед началом переговоров с англичанами привлек меня для предварительного обсуждения в правительстве американской позиции. На этом обсуждении, состоявшемся 23 августа, я был буквально шокирован тем, что, как оказалось, политическому аспекту этой проблемы не придали никакого значения, что такой важный вопрос фактически передавался на рассмотрение нескольких финансовых экспертов и что мы были готовы встретить англичан с максимальной сдержанностью и беспомощностью. Поэтому я посчитал необходимым высказать свое мнение по всей проблеме в целом, о чем сделал запись в дневнике. Привожу суть своего выступления:

"В настоящий момент, когда отмечается стабилизация советского влияния в странах-сателлитах и возрастание напряженности на Дальнем Востоке, несомненной катастрофой для нас явилось бы любое нарушение духа доверия и солидарности, а также экономической стабильности и прогресса в западном мире. Именно это и произойдет, если не будут приняты решительные меры по упорядочению ситуации в Великобритании. Если англичане возвратятся домой с пустыми руками и в полном отчаянии, я нисколько не сомневаюсь, что это повлечет за собой падение правительства лейбористов, что будет сопровождаться не только большим шумом, но и горькими упреками в адрес нашей страны. Мне представляется, что мы не очень много можем сделать за короткий отрезок времени в порядке оказания помощи англичанам, так как для действенной помощи потребуется не менее года, и тем более в административном порядке. Следовательно, независимо от того, чем закончится настоящая дискуссия, англичанам придется в течение буквально нескольких недель после своего возвращения принять болезненные и трудные решения на свой собственный страх и риск. Но как мне кажется, все будет зависеть от настроения, с которым они это сделают.

Если они поймут, что разговоры им ничего не дали и что рассчитывать на нашу помощь даже в отдаленном будущем не приходится, можно ожидать самых худших последствий. Однако в случае, если они почувствуют уверенность в том, что если не сейчас, то через определенное время, мы готовы оказать им помощь в решении их проблемы, думаю, картина будет совершенно иной. Более того, я подчеркнул, что их долларовое истощение зависит от двух факторов: а) от их позиции в качестве банкиров в стерлинговой зоне и б) от неблагоприятного торгового баланса в долларовой зоне. По первому пункту я предложил, что им следовало бы попытаться приостановить свою банковскую деятельность в какой-то части стерлинговой зоны с тем, чтобы отдельные страны перешли на долларовые расчеты. Это доставит нам определенную головную боль, но, по крайней мере, прояснит ситуацию и успокоит общественное мнение. Что же касается английского торгового дисбаланса, то это вопрос приспособления английской экономики к экономике Северной Америки, в связи с чем целесообразно согласиться с англичанами по вопросу создания некой комиссии для определения институциональных изменений в случае такой необходимости и уточнения отношений между тремя странами (США, Великобританией и Канадой). Это упростит такое приспособление и поможет устранить возможные нестыковки и яблоки раздора".

К моему удивлению, несмотря на это спонтанное выступление, Уэбб попросил меня возглавить межпарламентскую комиссию по выработке нашей позиции к предстоящим переговорам с англичанами, так что все последующие дни я занимался этой работой. В ретроспективе могу сказать, что президент и Уэбб, исходя из внутриполитических соображений, высказали пожелание придать нашим рекомендациям больший политический оттенок в отличие от первоначальных намерений Снайдера, учитывая техническую сложность и политическую деликатность проблемы, желая в то же время знать истинное мнение экспертов.

Через три дня, еще во время работы вышеназванной комиссии, мы получили проект намечавшегося выступления президента, в котором затрагивался вопрос предстоявшего визита британских государственных деятелей. Эта часть показалась мне слишком холодной, не отражавшей ни симпатии, ни понимания позиции англичан. Я продиктовал свои соображения по этому вопросу, и госсекретарь, после ознакомления с ними, зачитал текст по телефону Кларку Клиффорду в Белый дом. К моему удивлению, они затем прозвучали в выступлении президента, в котором говорилось, что английские государственные деятели

будут, как всегда, тепло приняты в нашей стране, что мы не забываем нашего военного сотрудничества с Англией и глубоко сопереживаем все невзгоды послевоенного периода, обрушившиеся на английский народ, что мы рассматриваем подлежащие обсуждению вопросы как общую проблему и что предстоящие переговоры пройдут в духе дружбы и готовности к оказанию возможной помощи. Выступление президента, опубликованное в печати 30 августа, предопределило теплый характер приема гостей. Однако, как мне стадо известно позже, министр Снайдер звонил президенту по телефону, протестуя против такой постановки вопроса, считая, что в ней заключена зловещая для нас опасность.

Искомый документ был готов 2 сентября. Тогда же состоялось совещание по его детальному обсуждению с участием госсекретаря и министра финансов с их советниками. К моему удивлению и возмущению, Снайдер, открывая совещание, заметил безапелляционно, что хотя он и не имел времени внимательно прочитать предлагаемые бумаги, но считает необходимым изъять их из обращения, и предложил собрать все имеющиеся экземпляры и запереть их в сейфе. Так, собственно, и сделали. Правда, один экземпляр оставили госсекретарю для обсуждения с президентом на следующий день.

Переговоры начались 7 сентября. Не желая принимать участия в беседах, поскольку у Госдепартамента не было четких и ясных прерогатив, я попросил у Уэбба разрешение отсутствовать. Просьбу мою удовлетворили. То, что произошло на этих переговорах, было, как мне представляется, смешно и вместе с тем показательно. Снайдер, представлявший американскую сторону, открыл переговоры, сделав заявление, подготовленное в стенах министерства финансов, с которым никто из Госдепартамента даже не ознакомился. Министерство попыталось сохранить собственное лицо, поскольку в этом заявлении прозвучала неприкрытая враждебность в отношении англичан, что было сделано явно в угоду антианглицизму некоторых лиц на Капитолийском холме. Перед самым началом переговоров Уэбб, однако, запросил у меня шесть экземпляров того документа, подготовленного мной, в котором шла речь о нашей переговорной позиции. Небезынтересно, что именно эти рекомендации и послужили практической основой переговоров.

Такой внутриполитический разнобой, носивший гротескный характер, был мне непонятен, сам же эпизод произвел на меня гнетущее впечатление и развеял последние иллюзии. И этому имелись две причины. Первая обнаруживала те трудности, с которыми будут связаны попытки нахождения необходимого

понимания в вашингтонских политических кругах в вопросах тесного и ассоциативного сотрудничества с англичанами и тем более создания прочного союза с ними и канадцами{42}. Вторая же отражала реакцию Франции, которая даже не скрывала своего раздражения, опасений и недовольства отстранением от участия в переговорах трех держав, несмотря на очевидный факт, что дискуссия-то была нам навязана и что Франция, так или иначе, не смогла сыграть бы конструктивной роли. Эти два обстоятельства хорошо иллюстрируют непонимание Вашингтоном и Парижем моих взглядов на складывавшуюся международную обстановку и усилий в начале лета, направленных на подготовку этих самых переговоров.

Думаю, я уже достаточно сказал, чтобы понимать характер основных разногласий по европейским вопросам, которые к тому времени сложились между мной и практически всеми остальными лицами, имевшими к ним то или иное отношение - как в нашем собственном правительстве, так и в правительствах западноевропейских стран, включая Бенилюкс. Западноевропейцы были счастливы иметь кого-то, кто мог гарантировать их безопасность как в отношении русских, так и немцев, освобождая от необходимости иметь собственную политику в этом плане. Характерно, что они, неспособные отделять политические проблемы от военных в своем мышлении, не могли поверить (в частности, Франция и Нидерланды) в то, что американская военная гарантия осуществилась бы и без политического участия Америки в создаваемых организациях. Американцы же со своей стороны стали мыслить критериями "холодной войны", а в их политике все больший и больший вес занимало убеждение в необходимости наращивания военной мощи, чтобы "удержать" русских от нападения на Западную Европу (при этом Пентагон даже называл предположительную дату - 1952 год). Наиболее подходящая институционная форма виделась ими в НАТО, в использовании которой разрабатывались различные планы, в том числе и без участия Великобритании, Канады и самих США. Вместе с тем наращивалось присутствие американских вооруженных сил в Германии и Японии.

Американское правительство в своей политике в отношении Германии и Европы в целом, а также и Японии придерживалось тех же принципов. Мои оппоненты, заявляя о необходимости наращивания оборонительных усилий, твердили о целесообразности приближения военных баз и других военных структур вплотную к советским границам. Именно в этой аберрации меня обвинял Лип-пман еще в 1947 году. Я же намеревался держать, образно говоря, дверь широко открытой,

чтобы дать возможность появлению крупных образований (объединенная, демилитаризованная Германия, объединенная Европа, демилитаризованная Япония), не связанных военными договорами ни с одной из сторон. Во всяком случае, я был готов к выводу наших войск из указанных регионов при одновременном выводе советских войск с перспективой появления там правительств, независимых от советского влияния. Новая независимая коммунистическая Югославия так же хорошо вписывалась в мою концепцию, как Швеция и нейтральная Австрия. Мне представлялось, что регион неприсоединившихся государств будет постоянно расти, пока не охватит значительную часть Европейского континента. И я считал, что наша готовность к выводу войск будет стимулировать советскую сторону поступить так же. Только таким путем, как мне казалось, можно было бы добиться стабильности в Европе и сделать первые шаги по коррекции того геополитического дисбаланса, к которому привел итог Второй мировой войны.

Такова первая основная проблема, которая меня в то время занимала. Второй являлось стремление найти как можно быстрее выход из ненормальной военно-политической обстановки в Западной Европе, связанной с различными обязанностями, взятыми нами на себя. Я не сомневался, что сложившаяся обстановка - пресловутое "статус-кво" - перекликалась как раз с теми обязательствами, которые связали Америку, как говорится, по рукам и ногам на длительный срок. И в то же время такая биполярность, как мне представлялось, не могла существовать неограниченно долго. Было ясно, что нам уже не удастся возвратиться к изоляции XIX века, но мы не были еще готовы ни по своему темпераменту, ни с точки зрения общественного мнения стать великой империей в самом широком смысле этого слова и, в частности, быть своеобразными опекунами для сложившихся в течение столетий западноевропейских народов. Я полагал, что в один прекрасный или совсем непрекрасный день разделенная Европа, испытывавшая на себе влияние присутствия американских и русских войск, поддастся желанию жить в более естественных условиях, которые бы отвечали истинной силе и интересам европейских народов. И важным было то, чтобы наши планы в отношении будущего Европы позволили такому явлению произойти, когда наступит время, а не воздвигли бы непреодолимое препятствие.

Основу решения этой проблемы составляли, вне всякого сомнения, два различных подхода. По-моему, я был одним из тех, кто пытался обратить внимание правительственных кругов, связанных с вопросами планирования, на-необходимость учета

ближайшего будущего, то есть на то, что может произойти через 10 - 20 лет. Мои друзья в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Гааге задумывались над проблемами, вырисовывавшимися перед нами. Я, однако, не верил в серьезную советскую угрозу для Западной Европы и не придавал столь большого значения мерам для предотвращения советского нападения. (Правда, я понимал, что необходимо создать некий военный фасад для успокоения опасений и тревог нервничающих западноевропейцев.) Кроме того, я считал, что отвод советских войск значительно уменьшит политическое влияние России на граничившие с ней государства. Мои же друзья, которых раздел Европы волновал лишь отчасти, ломали головы над тем, каким образом не допустить или воспрепятствовать советскому нападению, о возможности которого заявляли военные, говоря о начале 1950-х годов.

Вот в чем заключалась разница в наших подходах к указанной проблеме, исходившая при формулировании нашей национальной политики из двух аспектов: с одной стороны, из роли и возможностей нашей страны в современном мире, а с другой - из толкования наших психологических особенностей, характеристики политических лидеров, намерений и поведения вероятного противника.

В середине сентября 1949 года возникли неожиданные трудности с трактовкой документов, которые готовила наша группа политического планирования. Ранее они представлялись непосредственно госсекретарю, который мог одобрить содержавшиеся в них рекомендации и критику или же отвергнуть их, исходя из собственных соображений и умозаключений. Во всяком случае, наше мнение было для него ясным. С 16 же сентября (начиная с вопроса о Югославии) они по пожеланию заместителя госсекретаря Уэбба должны были сначала представляться его помощникам и лицам, регулярно собиравшимся у него по утрам на совещания. Некоторые из них выражали несогласие с отдельными положениями наших документов, включая и основополагающие, в результате чего Уэбб возвращал их мне с замечанием обсудить спорные вопросы с соответствующими оппонентами, внести необходимые изменения в документы и только после этого представить их госсекретарю.

Мне было абсолютно ясно, что преследовалось этой процедурой: группа планирования лишалась возможности представлять госсекретарю свое непосредственное мнение по различным животрепещущим проблемам, а подготовленные ею документы подвергались вето начальников различных управлений и отделов Госдепартамента.

Тремя днями позже я обсудил сложившуюся ситуацию со

своими сотрудниками, часть которых с удовлетворением восприняла нововведение, но их аргументация меня не убедила. Для меня это был вопрос доверия. Да и предназначение самой группы представлялось мне как возможность высказывать непредвзятое мнение по возникавшим проблемам как заместителю, так и самому госсекретарю. Если руководство Госдепартамента не нуждалось в подобных мнениях или не доверяло нам в подготовке внепартийного суждения, тогда возникал вопрос о целесообразности существования такой группы вообще.

Ведь таковым был характер работы нашей группы. Когда министр Бирнс через Ачесона - Лилиенталя попросил, чтобы наша группа подготовила для него оценку состояния международного контроля за атомной энергией и нашей политики в этой области, он не настаивал, чтобы она полностью соответствовала мнению помощников госсекретаря. Да и госсекретарь Маршалл, поставив перед нами задачу по разработке проблемы европейского возрождения, хотел знать наше мнение, а не перечень вопросов, по которым мы могли рассчитывать на согласие различных начальников управлений Госдепартамента.

29 сентября я сообщил Уэббу, что намерен просить освободить меня от занимаемой должности руководителя группы планирования, и по возможности побыстрее, и что я вообще намерен оставить государственную службу в июне (когда закончится учебный год в школах). В последовавших затем беседах с ним и госсекретарем мы договорились, что я стану незамедлительно готовить все необходимое для передачи дел моему преемнику (Полю Нитце) и выйду из состава группы в конце декабря, а в июне не выйду совсем в отставку с государственной службы и возьму "длительный отпуск без сохранения содержания", что позволит мне заняться преподавательской работой и продолжить более детальное и без спешки исследование проблем, по которым между мной и членами правительства возникли разногласия.

Могу отметить, что деятельность по подготовке моего ухода проходила без тсаких-либо осложнений и обид. Мои личные отношения с Уэббом были вполне нормальными, это же касалось и Ачесона. Чувство уважения к Ачесону я сохранил и в последующие годы, несмотря на изменившееся к нему отношение общества. Чувства же, которые я испытывал, готовясь к уходу с работы в правительстве, хорошо отражены в моем дневнике, некоторые отрывки из которого я привожу ниже.

"19 ноября 1949 года

Анализируя крушение своих надежд и планов, произошедшее в истекшую неделю, мне пришла в голову мысль, что группа политического планирования, созданная почти три года тому назад, оказалась просто несостоятельной подобно другим попыткам навести порядок и наладить предвидение в вопросах разработки международной политики путем образования специальных подразделений в рамках Госдепартамента. Наряду с отсутствием опытного персонала основная причина этого, видимо, заключалась в невозможности осуществления функций планирования вне самого руководства. Формулирование вопросов внешней политики - главная составная часть работы Госдепартамента, и ни один из них не может быть разработан вне иерархии, осуществляющей руководство проведением операций. И никто другой не может возглавлять такое подразделение, кроме самого госсекретаря, который должен вынашивать идеи. Он может использовать рекомендации независимых лиц и организаций, если таковые ему понадобятся как в устной, так и в письменной форме, а также воспользоваться советами "помощников и ассистентов" или прислушаться к мнениям "советников" и других официальных лиц. Но если все же этими вопросами будет поручено заниматься специально созданной группе сотрудников, то она должна готовить свои рекомендации только в письменной форме, и в ее дела не должны вмешиваться другие подразделения, будь они хоть географического или оперативного плана. И она должна уметь отстаивать свое мнение, в противном случае ее рекомендации, не имеющие веса, не будут приниматься во внимание.

Если же госсекретарь выскажет несколько отличное мнение, то группа должна конечно же принять его к сведению, но исходить все же из собственной оценки, если в этом есть полная уверенность, принимая во внимание, что аспекты, играющие сегодня большую роль, изменятся завтра и что лица, настаивающие на принятии того или иного решения, вскоре могут уйти со сцены. Такой подход гуманен и более юридически оправдан, чем это может показаться на первый взгляд. В этом я совершенно уверен, и такая уверенность подкрепляется опытом, которым я располагаю. Задумка будет работать только в том случае, если госсекретарь изложит теоретическую посылку по интересующему его вопросу, а подразделение планирования систематизирует все необходимые обоснования для последующего обсуждения на любом уровне.

22 ноября 1949 года

Суть проблемы заключается в том, что моя концепция в отношении характера осуществления наших дипломатических

усилий на международной арене не разделяется руководством Госдепартамента, от которого, хорошо это или плохо, сам госсекретарь находится в большой зависимости. Если он даже и разделяет мое мнение, ему нелегко найти сторонников, поэтому он вынужден идти на поводу у лиц, взгляды которых на международное положение сильно отличаются от моих. В результате этого принимавшиеся решения были, как правило, не унифицированы и не приносили необходимой пользы, не давая требовавшегося направления действий. Только теоретическое обоснование того или иного решения могло стать основой проведения политики как нашей делегацией в Нью-Йорке, так и военными администрациями в оккупированных странах, причем исполнители должны проникнуться сутью разработанной доктрины, понимая необходимость тех или иных действий. А поскольку существующая правительственная система не обеспечивает дисциплинарного воздействия, то индоктринация должна проводиться методами убеждения и разъяснения как в области общественного мнения, так и деятельности всех институтов... Такие размышления привели меня к выводу, что, если я когда-либо и стану вновь заниматься деятельностью, направленной на благо страны, набравшись мужества и исходя из собственных убеждений, это надо будет делать вне стен данного учреждения (Госдепартамента)".

Сейчас я не помню уже точно, чем конкретно занимался и как проходили последние дни перед моим уходом из группы политического планирования Госдепартамента. Был уже конец года. Предстоявшее изменение образа жизни все же отдавало определенной горечью, поскольку мои отношения с сотрудниками группы, приходившими к нам за время нашей деятельности и уходившими на другую работу, носили тесный и дружеский характер, окрашенный интеллектуальной близостью. Целый ряд были вообще выдающимися личностями, взять хотя бы Чарльза Бартона Маршалла, Луи Холла, Доротею Фосдик и Джона Патона Дэвиса.

Как прошло мое прощание с группой, не осталось в моей памяти. Помню лишь утро на своей ферме, когда на меня нахлынули воспоминания{43}. Я поехал тогда в ближайший питомник, чтобы приобрести саженцы. По дороге туда в голове моей прошли чередой успехи и неудачи в деятельности нашей группы, более двух с половиной лет работы, попытки воздействия на принятие правительством Соединенных Штатов тех или иных решений. Мысль моя перекинулась на пчел, собиравших нектар тут и там, а потом улетавших и никогда не знавших конечных результатов своего труда. Наконец я остановил автомашину на

обочине дороги, нашел клочок бумаги и написал в стихотворной форме свое прощальное послание бывшим коллегам:

ВАША НЕОБЫЧНАЯ СУДЬБА

Друзья, винтики громоздкой машины, учителя и ученики,
Неутомимые, как пчелы в улье труженики.
Обреченные на ведение бестолковой борьбы,
Полномочия и действия в которой никак не определены.
Должные в тесном мире стекла и стали пребывать,
Но суть проблем и без поддержки раскрывать.
Обязанные чистое цветение, глубокие оттенки
и тонкое благоухание отбирать,
Чтобы затем все синтезировать и о полученных
результатах долгое время помалкивать...
До тех пор, пока однажды просто вы сможете
представить их Великой Белой королеве, но анонимно
и безличностно.
Такова жизнь, обязанности и судьба,
Которую мне суждено было испытать,
А вот теперь настала пора вам ее завещать.
Пусть же сырость и утренний туман
не определяют вам
Погоду и не становятся источником огорчений
Или поводом для обнажения клинков.
Упаси вас, Боже, от подобных искушений!
Не докучайте бюрократам и не взывайте, как я, к небесам,
Поскольку справиться с огромным грузом дано все равно не вам.
Кто знает? Ведь королева брошенные вами зерна может
вдруг прорастить и такой урожай получить,
Которым весь мир станет удивляться,
А историки восхищаться.
И вот тогда, сбросив оковы и освободясь от тяжкого труда,
Нежась в лучах солнца,
Она станет сама источником тепла,
Которое необходимо людям всегда
И не только в осенние или зимние холода.

Глава 20.

Последние месяцы в Вашингтоне

В последние недели 1949 года, когда я готовился к передаче руководства группой политического планирования Госдепартамента своему преемнику, произошли два события, придавшие новую обостренность целому ряду проблем, связанных с разработкой атомного оружия. 19 сентября от ученых и экспертов по разведке нам стало известно, что русские взорвали

атомную бомбу. А вскоре после этого сообщили, что разработка американской водородной бомбы ("супербомбы", как ее у нас называли) успешно завершена и она готова к производству. На обладание новым оружием требовалось президентское решение. Поскольку переговоры о международном контроле за атомным оружием велись в ООН еще с 1946 года, было ясно, что решающее слово для принятия соответствующего решения за госсекретарем.

Некоторые эксперты, в числе которых находился Роберт Оппенгеймер{44}, считали, что, прежде чем приступить к производству оружия огромной разрушительной силы, следовало сначала разобраться в создавшейся ситуации с учетом международного контроля за атомным оружием и убедиться в невозможности достижения международного соглашения, которое исключило бы необходимость подобного рокового шага.

Предложил ли госсекретарь мне заняться этой проблемой или же я включился в эту работу по собственной инициативе, точно уже и не помню. Как бы то ни было, я с несколькими сотрудниками занимался затронутыми вопросами в течение последних недель 1949 года. В двадцатых числах января я передал госсекретарю объемный доклад с моими изысканиями и изложением своего мнения. Поскольку я уже не был руководителем группы планирования, то доклад этот носил характер моего личного меморандума с моими же комментариями. Считаю, что этот документ по характеру затронутых в нем аспектов был одним из наиболее важных, если не самым важным из всех документов, подготовленных мной для правительства. К сожалению, из-за политики, проводимой тогда нашим правительством, его не опубликовали.

В этом документе (пишу по памяти, так как никаких записей не сохранилось) я начал свое изложение с анализа нашей позиции по проблеме международного контроля за атомной энергией. Если мы действительно намеревались, вопрошал я, исключить атомное оружие из своих арсеналов, то проводимая нами политика не вполне оправдывает такой подход. В принципе имели различные пути и возможности - может быть, не жизненно важные, но достаточно серьезные - сблизить нашу позицию с взглядами русских и других держав. Но действительно ли мы ставили перед собой цель запрещения атомного оружия? - вопрошал я снова. На самом ли деле мы хотели именно так решить этот вопрос и обезопасить самих себя и мир? Ответы на эти вопросы зависели, как я понимал, от того, в качестве какого фактора это оружие рассматривалось в нашей оборонной политике. Наиболее существенными были два варианта, которые я стал интерпретировать. Первый исходил из вынужденной необходимости иметь в своем арсенале оружие, наличие которого нами воспринималось с сожалением, порицанием и даже раскаянием, нахождение на вооружении которого, однако, оправдывалось тем, что мы не были уверены в возможном его появлении у вероятного противника и использовании против нас. Сами же мы не имели намерений в применении его первыми даже в военных конфликтах, хотя и должны были считаться с такой

вероятностью. Второй рассматривал это оружие как важную составную часть нашей обороны, без которого мы не могли обойтись и которое планировалось использовать неожиданно для противника, но обдуманно, в независимости, было ли оно применено против нас. В этом случае вполне вероятно, что мы могли задействовать его первыми при развязывании военных действий. Наши же нынешние высказывания и действия, отметил я, носят двусмысленный, неясный и противоречивый характер. Нам не хватало искренности, когда на международных форумах мы говорили о желании запрета атомного оружия. Из заявлений наших политических и военных лидеров, а также из понимания, существовавшего между нашими союзниками по НАТО, вполне очевидно, что наша оборонительная доктрина основывается на использовании этого оружия и возможности его применения первыми в крупных военных конфликтах, независимо от того, было ли оно использовано противной стороной.

Если такова в действительности наша позиция, то нет никакой необходимости загонять ее на международных переговорах в русло требований об установлении контроля за атомным оружием и его запрещении, подчеркнул я.

В заключительной части доклада содержалась моя просьба, насколько я только мог изложить ее серьезно и убедительно, чтобы до принятия окончательного решения о производстве водородной бомбы мы еще раз сами осмыслили бы и довели до сведения мирового сообщества данные о зловещей эскалации огромной разрушительной силы ядерного оружия и дороговизны его производства, подвергли самой серьезной критике идею "первого удара", а также использование других средств массового поражения. Если такая переоценка будет произведена, то я твердо и решительно поддержу концепцию запрещения этого принципа. Я полагал, что как раз в этом и заключена основная причина нашей путаницы и неразберихи.

Я даже не затронул вопроса о том, что нам придется сохранять в своем арсенале оружие такого рода до тех пор, пока не будет достигнуто взаимопонимание с другими странами о необходимости снятия его с вооружения.

В завершение я высказал несколько соображений о характере нашей будущей публичной позиции:

"Мы порицаем существование всех видов оружия массового поражения. Мы сожалеем, что были вынуждены применить один из его видов, и надеемся, к этому вновь прибегать не придется, если только нас к этому не принудят. К тому же, видя подобное стремление со стороны других, мы готовы пойти на риск в деле достижения международного соглашения об изъятии этого

оружия из национальных арсеналов, считая, что нет ничего более опасного для дела мира, как продолжение всеобщей гонки вооружений".

Обосновывая эту позицию, я упомянул, что содержание таких видов оружия вызовет рано или поздно серьезные проблемы - прежде всего в общественном сознании (имея в виду их самоубийственный характер), - а также вопросы как у нас самих, так и у наших союзников, которые скажутся отрицательно на существовании и деятельности уже созданных союзов.

Но что самое важное - этот аргумент я часто использовал в общественных дискуссиях - применение этого оружия не приведет к победе и не обеспечит безопасности населения, так как вызовет громадные разрушения. В результате в лучшем случае будет достигнуто крушение основ мировой цивилизации, включая и нас самих, а достигнутые успехи никогда не станут настоящими победами, но вызовут лишь изменения, которые обусловят большую толерантность, потребуют огромной выдержки и терпения народов, вызвав у них чувство безнадежности. Громадные и огульные разрушения, массовое уничтожение ни в чем не повинных людей - таков конечный результат применения такого оружия.

Не помню, вызвал ли мой доклад серьезные дискуссии и был ли он вообще принят к сведению. Не знаю я и реакции госсекретаря. Могу только предположить, что его, скорее всего, восприняли с определенной степенью недоумения и даже жалости к моей наивности. Ведь мысли, изложенные в нем, вступали в конфликт с реальной политикой наших военных. Конфликтовали они и с принятыми положениями о нашей обороне, с реакцией конгресса, военного ведомства и даже с общественным мнением, взбудораженным известием о недавнем взрыве атомной бомбы, произведенном русскими. Они вступали в конфликт и со взглядами наших европейских союзников, внушенных им нами же, на потребности и гарантии их обороны. (Некоторые из них первыми заявили бы с тревогой и возмущением о невозможности жить в современном мире без обеспечения их гарантий безопасности нашим атомным оружием.) Более того, эти соображения конфликтовали с оценкой военной мощи России, которая нисколько не слабела (мы не рассматриваем здесь вопрос, почему это происходило), с оборонительными потребностями НАТО, а также с соображениями, что обычными вооруженными средствами нам с русскими не справиться. Наконец, они конфликтовали со все более растущей в Вашингтоне тенденцией (носившей судьбоносный характер с учетом продемонстрированной Россией

способности в производстве атомного оружия) основывать наши планы и расчеты, исходя из возможностей вероятного противника по нанесению нам ущерба и учета его реальных планов и намерений. В свете вышеперечисленных конфликтов можно, конечно, понять госсекретаря, не усмотревшего в представленных мной соображениях рационального зерна и предмета для широкой и серьезной дискуссии. Во всяком случае, 31 января 1950 года, то есть через десять дней после представления моего доклада, президент страны объявил о необходимости создания водородной бомбы, из чего я сделал вывод, что и на этот раз моя работа была проделана впустую.

Несколькими годами позже по не зависевшим от меня причинам некоторые из моих соображений, высказанных в том докладе, просочились в прессу и использовались в проходивших тогда общественных дискуссиях и официальных высказываниях нашего правительства. По прошествии 12 лет президент Кеннеди и даже Макнамара признали, например, неприемлемость оборонной доктрины, базировавшейся на применении оружия, обладавшего огромной разрушительной силой и по своему существу самоубийственного, и сделали некоторые шаги, насколько это было возможно в сложившихся тогда обстоятельствах, для корректировки этой аномалии. Опыт двух войн (имеются в виду корейская и вьетнамская войны), в которых, как выяснилось, применение этого оружия оказалось нереальным, заставил впервые многих людей прийти к выводу, что оно не может быть средством для решения каждой военной проблемы. Сложности, связанные с вопросом, кто же в рамках НАТО должен конкретно контролировать использование такого оружия в случае развязывания военных действий, стали в 1960-х годах узловой проблемой в наших взаимоотношениях с союзниками и привели к частичному изменению характера самого союза. Ядерное оружие стало основой коллективной оборонительной политики. В конце же 1950-х годов даже такой реакции еще не было. Поэтому читатель должен понимать, что я отошел от вопросов активной государственной деятельности с тяжелым сердцем и глубоким разочарованием, поскольку это была моя первая и последняя попытка сформулировать нашу официальную политику в отношении развития и использования оружия массового поражения.

В феврале и марте я предпринял с согласия госсекретаря поездку по Латинской Америке, в которой никогда до этого не был. Мне хотелось ознакомиться с тамошней ситуацией, пока я еще окончательно не ушел с правительственной службы. В то время как раз намечалась встреча наших латиноамериканских

послов в Рио-де-Жанейро с обязательным присутствием на ней представителя Госдепартамента.

Я осознавал, что завершил уже полный цикл своих усилий в попытках оказания необходимой помощи правительству в установлении отношений между основными военными державами Европы и Азии. И возможности мои оказались исчерпанными. Я чувствовал, что настало время отойти от этих проблем и ознакомиться с теми частями света, где влияние "холодной войны" и коммунизма ощущалось наиболее отчетливо.

18 февраля 1950 года я отправился поездом в Мексико-Сити, а оттуда самолетом через Каракас в Рио-де-Жанейро. После совещания в Рио я посетил Сан-Паулу, Монтевидео, Буэнос-Айрес и возвратился назад с остановками в Лиме, Панама-Сити и Майами.

Удовольствий эта поездка доставила мне мало. Мексико-Сити, расположенный на приличной высоте над уровнем моря, мне не понравился, оставив противоречивое впечатление. Ночью я там не спал, поскольку ночные звуки действовали на меня раздражающе, страстно и в то же время угрожающе. Прежде чем продолжить путешествие, следующую ночь я провел в доме состоятельного соотечественника, оказавшего мне радушный прием. Дом его был просто фантастичен, будучи расположенным в прекрасном месте, резко выделяясь от окружающих построек, и наполнен роскошью и антиквариатом. Но я не привык к роскошной обстановке и, судя по дневниковой записи, опять не спал:

"Ночь длилась бесконечно, хотя кровать была задрапирована громадными занавесями малинового цвета, бывшими до недавнего времени собственностью какого-то кардинала. Над ухом жужжали москиты, фонтан во дворе журчал хотя и мягко, но назойливо, ветерок же, казалось, заблудился в стенах здания, а ночь милосердно шептала: "Потерян, потерян, потерян!" - подобно призраку или духу.

Перед самым рассветом мне подумалось, что такой же ветер дует в местах, навсегда покинутых людьми, дует на Ривьере и в Багамах, да и в других местах, что это - ветер, обдувающий свергнутых королей и потерявшую надежду знать, подвергавшихся пыткам ученых и мыслителей, ветер короля Кароля и виндзорских узников, ветер - спутник человеческих претензий и разочарований".

Каракас, зажатый в долине раздражающе-желтым и горами, остался в моей памяти городом с постоянными уличными "пробками", непрерывно сигналившими автомашинами, шумом, непомерно высокими ценами, неустойчивой экономикой,

зависевшей от нефтяных поступлений, и частными виллами, лепившимися как грибы на склонах окружающих гор. Откровенно говоря, я даже посочувствовал американским представителям, вынужденным исполнять свои обязанности в условиях гротескной урбанизации и отрыва от остального мира, живя среди местных миллионеров с их полудикими нравами и обычаями, учитывая, что отношения между нашими странами поддерживались в порядке взаимной признательности, но с оттенком постыдности.

Рио-де-Жанейро произвел на меня также отталкивающее впечатление своим шумом, не признававшим никаких правил движением уличного транспорта и невообразимым контрастом между роскошью и бедностью. Мое пребывание там было омрачено еще и другим обстоятельством. Советская пропагандистская машина всегда придерживалась правила: если речь шла о привлечении на свою сторону энтузиастов, то широко применялись лозунги и призывы, но в случае, когда надо было вызвать гнев и протест, в качестве объектов нападок избирались определенные личности. Поэтому в крупных некоммунистических странах всегда находились несколько таких человек, становившихся подобными мишенями. Характеристика такого лица выбиралась в зависимости от ситуации. Иногда это были местные деятели, но временами и пришлые. На этот раз такими лицами оказались Джим Форрестол и я - представители Соединенных Штатов (называвшиеся порой "гиенами" американского империализма). Наши имена мелькали в коммунистических газетах этой части мира и листовках. До отъезда из Вашингтона я не обратил на это никакого внимания. Каковыми же были мое удивление и ужас, когда я увидел на заборах и стенах домов Рио-де-Жанейро согни надписей, кричавших: "Кеннан, убирайся домой!" Более того, коллеги из посольства проинформировали меня, что мои портреты сжигались на улицах города уже четыре раза, причем совсем недавно во время процесса над коммунистическими студентами. Мне показали фотоснимок одного из таких выступлений студентов, правда фамилия была написана не совсем правильно, зато на груди изображен большой белый крест, как символ христианских похорон. Юмористической такую ситуацию назвать было нельзя, и бразильское правительство приняло соответствующие меры безопасности. Охрана из индейцев с орлиными глазами, вооруженными короткоствольными автоматами, ездила постоянно вместе со мной в автомашине, а также в машине сопровождения, а по ночам один из них сидел на стуле около двери моего гостиничного номера. Нормальное знакомство с городом в таких условиях исключалось.

В Сан-Паулу дело обстояло еще хуже. Целая армия - половина городской полиции, как мне сказали, - была мобилизована для моей защиты. Каждое мое появление в городе вызывало самые настоящие беспорядки и перебранки между полицией, фотографами, переодетыми агентами и официальными лицами.

В Монтевидео, Буэнос-Айресе и других населенных пунктах все прошло относительно спокойно, но они почему-то вызвали у меня странное чувство меланхолии и мрачных предчувствий. Особое раздражение вызывали официальные интервью, которые я вынужден был давать в каждой столице. Все они походили друг на друга и, как отмечено в дневнике, не имели особого смысла.

Вот как я описал визит к тамошнему президенту: "Плохо освещенная гостиная, в качестве переводчика выступает сын президента, сам президент, сидевший прямо и почти неподвижно на диване, прерывает меня почти на каждом слове репликами в типично латиноамериканском духе, рассказывая о себе и стране". ("Вы, мистер Кеннан, являетесь официальным представителем правительства великой державы, я же - всего-навсего президент совсем маленькой страны..." И мой ответ: "Ах, мистер президент, так-то оно так, но ведь нам обоим хорошо известно, что политическая мудрость лидера не зависит от размера страны...")

И далее - в том же духе: хитрые или же иронические провокации с его стороны и обязательная лесть - с моей. Вся беседа носит тягостный и несколько дискредитирующий характер.

В Лиме меня буквально подавило известие, что там не было дождей вот уже порядка 29 лет, и даже возникла мысль, что окружавшая меня грязь пролежала нетронутой все это время.

Короткие остановки в Центральной Америке - с явно невыраженным, но осязаемым духом неистовства даже в комнатах для приема гостей в небольших аэропортах - нисколько не улучшали моего настроения.

Возвратившись в Вашингтон, я написал обстоятельный доклад о своих впечатлениях от поездки. В нем я затронул многие аспекты наших взаимоотношений с этими странами и попытался сформулировать основополагающие вопросы политической философии, чего ранее никогда не делал. Такая попытка относилась уже к предстоявшему мне периоду жизни и деятельности на преподавательском поприще и явилась практически его началом. Мой доклад произвел шоковое впечатление на руководство Госдепартамента. Помощник госсекретаря по Латинской Америке даже попросил, чтобы мой доклад не был распространен по управлениям Госдепартамента (не думаю, чтобы он дал более или менее толковое объяснение

своей просьбы), а все его экземпляры были бы собраны и упрятаны от посторонних глаз. Впрочем, так и сделали. Мне не сказали, какие наблюдения и выводы вызвали такую яростную реакцию. Могу только предположить, что это была трагическая оценка человеческой цивилизации в странах, расположенных к югу от нас. Поскольку этот доклад не получил должного внимания, не был распространен и, скорее всего, не попал даже в правительственный архив, считаю себя вправе процитировать из него некоторые отрывки, которые, на мой взгляд, и вызвали суматоху.

"В регионе Латинской Америки, - писал я, - имеется целый ряд моментов, на которые следует обратить наше пристальное внимание, поскольку они производят на человека, впервые туда попавшего, тяжелое впечатление, буквально на него обрушиваясь и заставляя задуматься.

Как мне кажется, на земле вряд ли найдется другой регион с более тяжелыми условиями для жизни человека, чем в Латинской Америке.

Что касается природы, то она резко отличается от североамериканского континента с точки зрения среды обитания. Северная Америка обладает большой территорией с температурными режимами, благоприятными для человеческой жизни. Направляющийся на юг попадает в субтропическую и тропическую зоны, расположенные на узком и гористом перешейке, являющемся уже частью Латинской Америки.

Южная же Америка обладает громадными пространствами, значительная часть которых находится в полосе экватора. Земли там мало пригодны для человеческого обитания, не говоря уже о резких перепадах температуры.

Если в Северной Америке река Миссисипи - естественное дренажное сооружение, снабжающее водой громадную территорию с плодородной землей, представляющую сердцевину континента, то Амазонка протекает по территориям, непригодным для человеческой деятельности.

Страна, расположенная в центральной части Северной Америки, высоко развита и обладает густой сетью коммуникаций. Это и есть Соединенные Штаты связующее звено всего континента. В Южной же Америке расположенная в центральной части континента бездорожная Бразилия представляет собой скорее барьер, препятствующий установлению добрых отношений и связей с окружающими ее странами.

В Северной Америке климат позволяет человеку жить в городских условиях, составляя органическое единство с окружающей природой. В Южной же Америке климат вместе с

трагическими кастильскими традициями вынудил наиболее крупные человеческие сообщества поселиться в труднодоступных горных районах, мало пригодных для проживания".

Затем я описал впечатления, произведенные на меня приемами и методами, которыми испанцы насаждали свою цивилизацию и власть на южноамериканском континенте, а также последующей доставкой ими рабов из Африки.

В заключение я сделал вывод, что ужасная беспомощность и бессилие характерны ныне для народов Латинской Америки. Стремление к прогрессу отмечено там человеческой кровью в ходе географических открытий и до сих пор не поддается забвению. Поэтому и перспективы человеческого прогресса в регионе воспринимаются как ничтожные и малоутешительные.

Тем не менее люди не захотят далее терпеть эти горькие реальности. Человеческая натура с ее стремлением к продолжению жизни восстает против такого положения дел и старается найти выход из создавшейся ситуации. Поэтому неуемная пышность и претенциозность латиноамериканских городов являются не чем иным, как попыткой компенсации убожества и гнусности тех районов территории, что находятся вдали от прибрежной полосы. Что же касается отдельных личностей, то подсознательное восприятие неудачи групповых усилий находит свое отражение в преувеличенных самовлюбленности и эгоцентризме, что вызывает иллюзию отчаянной храбрости, чрезвычайной одаренности и мужественности, тогда как на самом деле истинных добродетелей там явно недостаточно.

Для иностранных представителей это составляет чудовищную дилемму. Столкнувшись с реальной действительностью, они не могут в полном объеме применять наработанные в собственных странах навыки и приемы. Поэтому им необходимо всегда иметь в виду, что для достижения успеха их действия должны найти понимание в мире, история и география которого трагичны.

В связи с этим дипломатическая популярность и дипломатические успехи достигаются с молчаливого согласия сторон при соблюдении колеблющейся, но постоянно присутствующей фикции - фикции признания чрезвычайных достижений личного и коллективного плана, субъективных и объективных, а в случае, если они связаны с ужасающими реальностями, необходимо делать вид, что их вообще не существует. Общественная жизнь латиноамериканцев далека от систематизированной и целенаправленной веры в коммунизм, как у русских. В ней преобладают чрезвычайная персонификация, анархическое мышление, каждый индивидуум живет как бы в

коконе - в собственном мирке, требуя признания со стороны других как условия своего участия в социальном процессе.

Оказавшись лицом к лицу с этим феноменом, многие иностранные дипломаты чувствуют себя в первое время обескураженными, затем начинают понимать, что своих целей они смогут достичь, лишь приняв местные условия игры. При попытке проникнуть в дальнейшем в суть происходящего они как бы попадают в страну чудес Алисы, где нормальные отношения между причиной и следствием теряют свою обоснованность, где ничто не определяется истинной ценностью, где любая идея воспринимается как нечто неприкосновенное, где реальные вещи получают свое признание только в их взаимосвязи с определенной личностью, обладающей болезненным самомнением, где ничто не является окончательным, поскольку все вещи рассматриваются как бесконечные символы.

Для восприимчивых иностранцев уйти от всего этого можно тремя путями: проникнувшись цинизмом, соучастием или же сочувствием. Большинство из них используют эти пути комбинированно.

Вот основные положения из доклада, представленного мной официальным лицам Госдепартамента. Просматривая теперь эти выдержки, я лучше понимаю, чем тогда, почему докладу не нашлось подходящего места в государственном архиве. Однако факт остается фактом, что описанные мной в результате поездки замечания не устраивали Госдепартамент (каким он был в то время и с какими задачами сталкивался), в связи с чем их не приняли во внимание. Для меня же это было логическим подтверждением вывода о бесполезности моей официальной карьеры в Вашингтоне и правильности решения о переходе к другой деятельности, позволившей мне более глубоко и безапелляционно анализировать события и делать выводы, отношение к которым более терпимо и снисходительно.

Полагаю, к вышесказанному следует добавить, чтобы избежать ложного впечатления: отмеченные мной трагические элементы латиноамериканской цивилизации вселили в меня убежденность в лучшем будущем человечества, хотя это и может показаться странным. Дело в том, что человеческое существование, по сути дела, трагично повсеместно, только в Латинской Америке оно имеет свои особые черты, может быть, даже менее опасные и в определенной степени менее апокалиптические. Ведь и в других местах человеческий эгоизм демонический, анархический и распущенный - вмешивается в людские дела и определяет их поведение. Я не уверен, что характерные для Латинской Америки спонтанность,

несдержанность и горлодерство не проявляются у европейцев и англосаксов, видимо, только в более замаскированном и извращенном виде. В то же время Латинская Америка - единственный в мире континент, где человек остается человеческим существом, где нет ядерного оружия, и никто не думает о его разработке, где сохраняется огромный запас заповедей, познаний и обычаев, выпестованных в христианском мире и направленных на единение человека с Богом и создание цивилизованных условий существования. Этот континент окажется однажды последним хранилищем и депозитарием человеческих христианских ценностей, которые на европейской прародине и в Северной Америке в результате пресыщения, заорганизованности и ослепления страхом и амбициями оказались выброшенными на свалку.

За весь мой период правительственной карьеры, вплоть до июня 1950 года, я не был связан с решениями, принимавшимися по Корее. Самые важные и существенные вопросы решались военными, если же в какой-то степени требовалось участие Госдепартамента, то я на такие совещания не привлекался.

Вывод американских войск из Кореи в начале 1949 года меня не обеспокоил. У меня сложилось впечатление, что эти войска, обремененные непомерно раздутыми тылами, имуществом и обслуживающим персоналом по пентагоновским меркам того времени, не представляли собой реальной боевой силы, так что в случае внезапного начала боевых действий были бы обузой, а не реальной помощью. Более того, во время моей поездки в Японию в 1948 году высокопоставленные офицеры ВВС заверили меня, что сухопутные войска в Корее и не нужны, так как авиация, дислоцирующаяся на Окинаве, контролирует обстановку там, располагая мощными стратегическими бомбардировщиками. В действительности же тремя годами позже это хвастовство сыграло злую шутку, когда на Корейском полуострове были развязаны боевые действия.

В конце мая и начале июня 1950 года те из нас, кто имел отношение к русским делам, отметили на основе поступавшей ежедневно обширной информации, что где-то на земном шаре вооруженные силы некоторых коммунистических держав стали готовиться к активным действиям. Тщательный анализ положения дел в самой России показывал (и это нас успокаивало), что это не относится к советским вооруженным силам. Стало быть, речь шла о режимах советских сателлитов, но каких именно? Эксперты, собравшись вместе, стали исследовать весь советский блок. И наконец дошла очередь до Кореи. Чтобы получить достоверную информацию о военном положении в

стране, нам пришлось обратиться в военную администрацию в Японии и Пентагон в Вашингтоне. Полученная же от них информация гласила, что коммунистические силы там вряд ли начнут какие-либо военные действия, поскольку вооруженные силы Южной Кореи хорошо вооружены, оснащены и обучены и значительно превосходят силы Северной Кореи. Наша задача, как нам сказали, заключалась в том, чтобы, как раз наоборот, удержать южнокорейцев от применения силы для решения противоречий с северной стороной. Не имея оснований для сомнений в такой оценке, мы перешли к другим вопросам, но в конце концов все же пришли к выводу, что именно там и было самое подходящее место для нападения. На этом мы, полностью расстроившись, и закончили наши исследования.

Я должен был определить срок окончания своей работы в правительстве и отбытия из Вашингтона на конец июня. В субботу, 24 июня, я выехал на свою ферму вместе с Аннелизой и возвратился в Вашингтон после обеда в воскресенье. На ферме у меня нет телефона, не получил я и воскресных газет. Поэтому только по возвращении в Вашингтон из газет узнал о начале военных действий в Корее. Никто не подумал сообщить мне о событиях, видимо, в этом не было необходимости, но мне представлялось, что генералу Маршаллу все же следовало бы это сделать.

Прибыв в Госдепартамент, я узнал, что госсекретарь проводит совещание с Филом Джессапом, Дином Раском и Доком Мэтьюсом. Я узнал, что они в течение дня через Совет безопасности пытались получить резолюцию ООН с призывом ко всем ее членам не поддерживать вооруженные силы Северной Кореи и принять меры к остановке агрессии. Теперь же они ожидали, какой будет реакция американского правительства.

С самого начала мне было ясно, что необходимо срочно остановить всеми средствами продвижение северокорейских войск на юг с последующим выводом их из южной части полуострова. Эту позицию я и отстаивал в тот день, а также в дискуссиях следующих дней и недель. Воспользовавшись оказией, я поднял вопрос о целесообразности принятия срочных мер для обеспечения безопасности Формозы, чтобы остров не попал в руки коммунистов, иначе в противном случае два этих инцидента, последовавших один за другим, могли бы нанести громадный ущерб нашему престижу и ухудшили бы наши позиции на Дальнем Востоке.

Когда я в то воскресенье возвратился в Госдепартамент, президент находился в воздухе на пути в Вашингтон. Госсекретарь выехал в 6.15 вечера, чтобы встретить его в

аэропорту. Была достигнута предварительная договоренность, что госсекретарь с некоторыми руководителями департамента отправится вместе с президентом и небольшой группой военных в его резиденцию на ужин. Мне сказали, что госсекретарь выразил желание, чтобы и я вошел в состав группы руководства, направлявшейся на встречу с президентом. Однако когда настало время выезда, мне передали, что по непонятным причинам мою фамилию не включили в список, переданный в Белый дом, и состав группы вообще сокращен. Ужин имел свои последствия: группа руководства Госдепартамента все последовавшие дни занималась выработкой решения по сложившейся ситуации. В связи с этим автоматически получилось так, что, принимая участие в совещаниях, проходивших в Госдепартаменте, я не участвовал в переговорах в Белом доме. Тем не менее госсекретарь попросил меня отложить мой уход со службы в связи с корейским кризисом, на что я с удовольствием согласился.

В течение всего лета я помогал ему, как мог. В основном я был должен делать краткие сообщения на ежедневных утренних совещаниях у госсекретаря о советских намерениях и планах. В то же время меня, так или иначе, вовлекли в деятельность, связанную с попытками разрешения корейского кризиса, которую мой друг Болен называл "блуждающей почкой" (всегда в шаге от принятия реального решения).

Среди вопросов, рассматривавшихся во время дискуссий того периода времени, особое значение для меня имели три.

Первый касался целей наших военных операций в Корее. Я выступал за остановку наступательных действий северокорейцев и отвод их войск из районов, расположенных южнее 38-й параллели. Я даже не думал, что мы примем решение на продвижение далее этого рубежа. Поэтому, когда 27 июня, через три дня после начала военных действий в Корее, я делал сообщение представителям стран-участниц НАТО, собравшимся в Вашингтоне, о наших намерениях, то совершенно спокойно сказал, что нашей целью является восстановление статус-кво. Я полагал, что такова точка зрения нашего правительства, тем более что подобной была и первоначальная резолюция Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

Однако днем позже - 28 июня - наша авиация начала свои операции севернее этой параллели. В тот же день у госсекретаря состоялось совещание по обсуждению происходившего. Привожу некоторые выдержки из моего тогдашнего выступления:

"Считаю необходимым внести некоторые изменения в нашу позицию по вопросу о 38-й параллели, которые должны констатировать, с одной стороны, положения об отсутствии

намерения в оккупации территорий севернее указанной параллели, а с другой - в неограничении проведения операций наших войск в Корее какими-либо рамками для выполнения поставленных перед ними задач..."

Это предложение получило поддержку большинства участников дискуссии, и я был рад, что они придерживались того же мнения и мне не пришлось оригинальничать. Во всяком случае, это способствовало доведению до правительства преобладающего мнения Госдепартамента по данному вопросу.

Однако как и по каким причинам изменились позиции официального Вашингтона, для меня осталось неясным. Когда 9-го или 10 июля китайцы, как нас информировали, согласились с предложением Индии о возможности разрешения конфликта путем восстановления статус-кво наряду с другими мерами, наше правительство отнеслось к этому отрицательно, заявив, что в таком случае сохранится угроза для Южной Кореи вновь подвергнуться нападению Северной Кореи. Привожу дневниковую запись от 21 июля:

"Утром ко мне пришли два бывших моих сотрудника из группы планирования и выразили свое беспокойство тем обстоятельством, что наше правительство не высказало твердо своего намерения приостановить военные действия в Корее на 38-й параллели. Их пугало, что наша сдержанность в данном вопросе может быть неправильно истолкована советской стороной и Кремль посчитает необходимым ввести в Корею свои войска, в результате чего наметившееся разрешение конфликта может быть сорвано".

На утреннем совещании следующего дня у госсекретаря я рассказал об этом, подчеркнув, что вопросу нужно уделить самое пристальное внимание. Следует иметь в виду, добавил я затем: то, что мы делаем в Корее из политических соображений, имеет нездоровую подоплеку, и чем более мы увязнем на полуострове, тем уязвимее станет наше положение с военной точки зрения. Если мы продвинемся за горловину полуострова, то окажемся в районе, где против нас могут быть использованы массовые армии и где мы окажемся в невыгодном положении. Все это свидетельствовало, по моему мнению, о необходимости срочного прекращения военных действий на параллели, не говоря уже о возможности избежания столкновения с русскими, которые могут быть на это спровоцированы.

Следующая запись датирована 31 июля:

"Я был несколько шокирован, получив из бюро по делам Организации Объединенных Наций проект выступления сенатора Аустина в случае, если в Совете Безопасности ООН поставят

вопрос о необходимости разрешения корейского конфликта, исходя из его сути. В этом выступлении должна быть отражена позиция Соединенных Штатов и сделано предложение о том, чтобы войска Северной Кореи отвели за 38-ю параллель и, более того, сдали бы свое вооружение командованию войск ООН, которое обретет право отдавать распоряжения на всей территории Кореи. После этого здесь будут проведены всеобщие выборы под наблюдением представителей ООН.

Переговорив кое с кем по поводу этого проекта, я позвонил Мэтьюсу и сообщил, что не считаю возможным обсудить проект на завтрашнем заседании комитета по безопасности и что весьма расстроен самим проектом, который может завести нас в область абсолютно неясной политики, и порекомендовал провести дискуссию на высшем уровне по затрагивавшимся в нем вопросам, прежде чем прийти к какому-то выводу.

Моя аргументация в беседах с различными людьми по данной проблеме была следующей. Русские могут расценить такое заявление как наше стремление распространить военную и политическую власть генерала Макартура на всю территорию Кореи, вплоть до ее северной границы, проходящей у самых ворот Владивостока. А на это они никогда не пойдут".

Что повлияло на принятие последовавшего решения о переходе параллели, заручившись поддержкой Ассамблеи ООН, я не знаю. Начало этому явно положило выступление 19 августа нашего представителя в Совете Безопасности ООН сенатора Уоррена Аустина, заявившего о невозможности нашего ухода из Кореи, оставив ее "наполовину свободной и наполовину в рабстве". Джон Фостер Даллес, о чем будет сказано ниже, также выступил в поддержку идеи о продвижении за параллель. Это свидетельствовало, насколько я понимал, о взглядах правого крыла республиканцев на Капитолийском холме. Вместе с тем я подозревал, что тут не обошлось и без влияния, оказанного нашими энтузиастами в ООН, которые, невзирая на противную аргументацию, ультимативно настаивали на широком применении силы при решении вопросов, связанных с другими нациями.

Наше продвижение за параллель получило обоснование, когда пришла резолюция ООН. Я же никогда не одобрял вмешательства ООН в корейские дела и не понимал его рациональной стороны. Ведь, в конце концов, именно в этом регионе мы приняли капитуляцию Японии и установили свое право на ее оккупацию. С Японией, правда, еще не был заключен мирный договор, который определил бы ее статус. Мы добились установления военной оккупации в Южной Корее, а факт вывода

наших войск оттуда еще не означал ликвидации нашего права на это. Поэтому мы вполне законно опять ввели туда свои войска для обеспечения порядка. Никакого международного мандата для этой акции нам не требовалось. И хартия ООН нам была не нужна. Статья 107, в определенной степени двусмысленная и неопределенная, гласила, что проблемы, связанные с возникновением войн, не должны становиться субъектами, подлежащими рассмотрению в ООН. В Корее же, по сути дела, произошел гражданский конфликт, даже не международного характера, поэтому и термин "агрессия" в обычном международном понимании здесь был не у места, как, впрочем, впоследствии и в случае с Вьетнамом. Подключение ООН к разрешению корейского конфликта, спешно осуществленное моими коллегами по Госдепартаменту еще до моего возвращения в то памятное воскресенье с фермы, не было нисколько необходимым. Принятие же в последующем резолюции ООН, преследующей цель оправдания ведения нами военных операций за пределами параллели, представлялось мне абсолютно бесполезным занятием, простым подтверждением и без того присущего нам права, основанного на доверии международного сообщества.

Что еще занимало меня в те летние месяцы, кроме событий в Корее, это вопрос о возможности принятия коммунистического Китая в члены ООН. История его такова. 10 июля мы получили информацию о том, что индийское правительство обратилось к Советскому Союзу и китайским коммунистам с предложением разрешить корейский конфликт на основе: а) принятия коммунистического Китая в ООН и б) восстановления статус-кво в Корее в результате подключения Совета Безопасности ООН в расширенном составе (при возвращении советского представителя, демонстративно не участвовавшего в его заседаниях в последние недели).

Китайские коммунисты готовились принять индийское предложение, тогда как Советский Союз отвергал второй пункт. Наша же первоначальная реакция заключалась в отклонении обоих пунктов. Второй пункт не устраивал нас, поскольку в этом случае Южная Корея оставалась бы беззащитной перед угрозой новой агрессии с севера. Первый же пункт означал бы "поощрение" агрессора и был поэтому неприемлемым.

Вопрос этот поднимался на утреннем совещании у госсекретаря на следующий же день. "Я осмелился сказать, - записано в моем дневнике, - что, хотя я и не стал в общем-то возражать против предлагаемого ответа нашего правительства, меня обеспокоили слишком огульный и весьма нарочитый

подход, а также высокомерное отношение к индийским идеям. Я подчеркнул, что если сказанное индийцами верно, то это свидетельствует о серьезных противоречиях между советским и китайским правительствами. Наши действия в Корее носят негативней оттенок, как и в плане нашего ответа на провокацию... В них не заложен какой-либо стратегический интерес с нашей стороны, и только от нас зависит, насколько быстро мы сможем выйти из сложившейся ситуации на условиях, не затрагивающих наш престиж и целей наших там действий. Исходя из этого, нам не следует принимать в штыки любое предложение, кем-либо сделанное для разрешения корейского кризиса, в особенности если оно ведет к расколу между китайскими коммунистами и Россией, что для нас является, пожалуй, более важным делом. Можно представить себе, в какое щекотливое положение попадет советское правительство, если мы совершенно неожиданно для него поддержим предложение о принятии коммунистического Китая в ООН и в члены Совета Безопасности при условии окончания корейского кризиса, исходя из индийских предложений. В этом случае советское правительство окажется стоящим перед дилеммой либо возвратиться в Совет безопасности и публично подтвердить свои разногласия с китайскими коммунистами по корейской проблеме, либо остаться вне Совета безопасности, зная, что в нем окажутся китайцы. Ситуация для России сложится явно не в ее пользу и поставит ее в весьма затруднительное положение.

17 июля текст ответа Сталина на индийскую инициативу лежал у нас на столе. На этот раз к числу обычно присутствовавших на утренних совещаниях у госсекретаря присоединился Джон Фостер Даллес. Президент поручил ему заниматься переговорами и полным объемом работ, связанных с завершением подготовки мирного договора с Японией, но он принимал участие в целом ряде дискуссий и по другим вопросам.

В ответе Сталина наряду с другими моментами говорилось о необходимости привлечения Совета Безопасности ООН к делу разрешения корейского конфликта "при обязательном участии представителей всех пяти великих держав, включая Народный Китай". В дискуссии, начавшейся после зачтения этого документа, я опять привлек внимание участников совещания к преимуществам, вытекавшим из благоприятного разрешения корейского конфликта при условии приема коммунистического Китая в члены ООН.

Однако, считал я, вопрос о Китае должен рассматриваться отдельно. Если кто-либо станет говорить о каких-то наших скрытых мотивах, то вопрос этот можно поставить на голосование

и решение международного сообщества. Тем самым, как мне казалось, мы смогли бы избежать дебатов и лишили бы Сталина возможности спекулировать этим, объясняя причину своего нежелания заниматься проблемой Кореи. Вообще-то большой разницы в том, станут ли китайские коммунисты членами ООН или нет, для нас не было, однако мы могли наладить с ними нормальные дипломатические отношения. Главное, чтобы нас не потеснили с первого места и чтобы русские не использовали ситуацию в Корее в своих интересах.

В ответ на мое выступление раздались возгласы протеста. Даллес заявил, что, если мы так поступим, это будет выглядеть, словно мы идем на попятную, чтобы приобрести некие русские концессии в Корее. В обществе же сложится впечатление, что мы поддались на трюк и что-то отдаем, не получая ничего взамен. Я согласился с его аргументацией, но выразил уверенность, что история когда-нибудь отметит это в качестве примера нанесения ущерба нашей внешней политике в результате нетерпимого и безответственного вмешательства китайского лобби и их друзей в конгрессе"{45}.

В конце июля советское правительство известило о своем намерении продолжить в августе прерванную деятельность в Совете безопасности. Перед нами снова встал вопрос, как нам следует отреагировать на возможное требование о предоставлении в нем места китайским коммунистам.

Привожу дневниковую запись о тех событиях от 28 июля:

"На утреннем совещании я оказался в одиночестве в оппозиции к мнениям и взглядам остальных коллег. Главным был вопрос о признании коммунистического Китая в качестве члена ООН. Я не видел принципиальных причин нашего несогласия в отношении занятия китайскими коммунистами места в Совете Безопасности, исходя из принципа, что ООН - универсальная организация с точки зрения ее возможностей сблизить отношения между Западом и Востоком и не обязательно путем развязывания большой войны. Их появление в Совете Безопасности не должно было, с моей точки зрения, создать какие-то новые реалии и иметь большое значение. Существенная реальность возникла тогда, когда коммунисты установили свою власть на всей континентальной части Китая. И если теперь они окажутся в ООН, то это будет всего-навсего регистрацией совершившегося факта. И в принципе это ничего не изменит. Мы знали, когда просили Советский Союз принять участие в создании Организации Объединенных Наций и согласились на предоставление соответствующих мест его сателлитам и фиктивно независимым Украине и Белоруссии, что в этой

организации целый ряд ее членов будут преследовать политические цели, антагонистичные нашим. Поэтому принятие коммунистического Китая равносильно появлению на заседаниях Генеральной ассамблеи еще одного голоса против нас. Но это несущественно. Это даст Советскому Союзу еще одного члена Совета Безопасности, настроенного к нему дружески. Тем не менее это в лучшем случае восстановит положение, существовавшее до того, как Тито поругался с кремлевскими руководителями. Еще один голос вето большого значения иметь не будет, так как два вето не сильнее одного. Поэтому настаивать, как это делали мои коллеги, на непринятии Китая в ООН, поскольку он занимал, мол, враждебную позицию по отношению к ее действиям в Корее, означало действовать по форме, а не по сути принципов ООН.

Китайские коммунисты, не будучи членами организации, естественно, не принимали участия в ее заседаниях по корейской проблеме. Поэтому их мнение по принимаемым решениям, отличавшееся от мнения большинства членов ООН, не являлось легитимным. А то, с чем мы сталкивались, было конфликтом интересов, исходивших из стратегической и политической реальностей. И к морали это не имело никакого отношения. Наши усилия по сохранению места в Совете Безопасности за китайскими националистами не находили понимания в Азии. Нам приписывалось, что мы руководствовались при этом скрытыми империалистическими мотивами. Сложилась ситуация, нежелательная для нашего голосования за предоставление места в ООН для коммунистического Китая. И мы не должны вести себя слишком лояльно по отношению к гоминьдановскому режиму, к которому у нас нет никаких оснований выражать дружеские чувства. Как раз наоборот, я предлагал, чтобы мы открыто признали этот режим не способным к выполнению международных обязательств, что его поведение на международной арене носит агрессивный и даже несерьезный характер, вызывающий сомнение в самостоятельности его действий, и что мы, исходя из вышеизложенного, не признаем его и готовы в вопросе о членстве в ООН к интеграции нашей позиции с позициями других стран и вынесению этого вопроса на голосование, которое должно пройти без нажимов и давления заинтересованных сторон. Мы надеемся, что каждая страна будет голосовать по этому вопросу, исходя из лучших побуждений, тщательно взвесив все "за" и "против", и мы готовы признать результаты выборов как своеобразный тест различных мнений.

Мое предложение отклонил Даллес, аргументировавший свой вывод тем, что в американском общественном мнении, мол,

произойдет смятение и что будет ослаблена поддержка президентской программы по укреплению нашей обороны, да и госсекретарь, по всей видимости, не разделял мои соображения.

Я ответил, что мог бы хорошо понять сказанное им, но содрогаюсь от одной только мысли быть причастным к этому, поскольку, очевидно, мы не сможем принять адекватной оборонительной политики без соответствующей эмоциональной обработки населения и именно этот эмоциональный настрой при трезвом учете национальных интересов и определит наши действия. Позиция, которую мы намерены занять, будет, по моему мнению, означать принятие толкования, имеющего в последнее время хождение, о том, что ООН является не универсальной организацией, а в соответствии со статьей 51-й - союзом против России. Следует, по-видимому, упомянуть и то, что основу нашей политики на Дальнем Востоке составляет эмоциональный антикоммунизм, игнорирующий возможный баланс сил на Азиатском континенте, который заставит каждую страну Определиться, с нами она (а в данном случае и с Чан Кайши) или же против нас. А это обязательно поломает единство не только некоммунистических стран в Азии, но и единство мирового некоммунистического сообщества. И произойдет это из ложного понятия, распространенного в нашем народе, что мы - сильная держава на Азиатском континенте, тогда как в действительности мы там слабы. А ведь только сильный может занимать высокомерную позицию, игнорируя возможность баланса оппозиционных сил. Слабый же обязан считаться с реалиями и пытаться использовать их для себя.

В случае, рассматриваемом Даллесом, продолжил я, все отдано на откуп общественному мнению. Кампания, поднятая Раском и некоторыми другими лицами против китайских коммунистов, просто вызывает возмущение. Ведь эти люди, в конце концов, идут по тем же дорожкам, по которым шли мы, знатоки России, более 20 лет тому назад, когда впервые столкнулись с советской диктатурой. Мы прекрасно осознавали тогда, как и теперь, что между нашими и их идеалами существует фундаментальный этический конфликт. Но мы рассматривали его с практической точки зрения, как всегда поступала дипломатия в течение целого ряда веков. И мы научились понимать, что борьба за власть - не шокирующее или не нормальное явление. Это - среда, в которой мы работаем так же, как работают врачи, копаясь в человеческом организме, и мы не собираемся улучшать или изменять наши действия, а тем более отказываться от реального восприятия вещей или же пытаться "рядить" их в другие одежды. По совести говоря, учитывая нашу концепцию - и прежде всего

принятые на себя обязательства, - мы, американцы, должны быть твердо убеждены в своей правоте. Участвуя в мероприятиях на международной арене, мы являемся лишь одним из кандидатов на получение лидерства среди народов на определенной части земного шара. Таким образом, остальные кандидаты - наши враги и соперники, и нам следует поступать с ними как с таковыми. Вместе с тем необходимо сознавать, что между различными группировками существуют разные интересы и философии и они не могут сразу исчезнуть, будучи замененными какой-то общей философской концепцией.

Последняя дискуссия по этому вопросу происходила в пятницу. А в понедельник, прямо с утра, ко мне зашел один из моих бывших сотрудников по группе планирования и рассказал следующее (привожу опять свои дневниковые записи):

"Он услышал от одного журналиста, которому об этом рассказал другой журналист, будто бы Даллес сказал тому, что высоко ценит Джорджа Кеннана, но сейчас пришел к выводу: он - опасный человек, так как выступает адвокатом за принятие китайских коммунистов в Организацию Объединенных Наций и прекращение американскими войсками военных действии в Корее на 38-й параллели".

Эту информацию мой друг получил под клятвенное обещание ничего никому не говорить, так что я не мог что-либо предпринять. Однако я понял, что в присутствии представителей республиканской партии в будущих дебатах мне следует высказывать свое истинное мнение весьма осторожно.

К этим выдержкам из моих дневниковых записей добавить почти нечего. Читатель, видимо, отметит про себя, что, если бы мое мнение принималось во внимание, не было бы продвижения наших войск до реки Ялуцзян и китайского вмешательства в боевые действия, зато сложились бы хорошие предпосылки для более раннего прекращения конфликта. Следует учитывать и напрасно пролитую кровь в корейской войне, а также то обстоятельство, что коммунистический Китай вошел в ООН только через 17 лет после разрешения конфликта.

Еще одним вопросом, казавшимся мне весьма важным, был вопрос о советских намерениях. Как я уже упоминал, в мои обязанности в то время входило информировать присутствовавших на утренних совещаниях у госсекретаря о всех событиях, связанных с Россией. Я с удовольствием делал свои сообщения, не сомневаясь, что то, о чем я говорил, представляло несомненный интерес и выслушивалось собравшимися с полным вниманием и уважительно. Однако, как оказалось, мои выкладки и соображения не оказывали, к сожалению, практически никакого

влияния на формирование правительственного мнения.

Так или иначе, вооруженное выступление северокорейцев скоро стало восприниматься в Вашингтоне как проявление "больших планов" советского руководства по расширению своего влияния на другие районы мира с использованием силы. Неожиданность этих действий - у нас не было никаких сведений об их подготовке - только стимулировала предпочтительность военных делать выводы, исходя из оценки возможностей противника, не учитывая его намерений, которые расценивались как преимущественно враждебные. Все это способствовало милитаризации мышления и усилению "холодной войны", ставя нас в положение, когда дифференцированная оценка советских намерений считалась неприемлемой и нежелательной. Кроме того, это способствовало выработке у военных планировщиков и другой тенденции, против которой я боролся долго и упорно, но, к сожалению, безуспешно. Тенденция эта заключалась в оценке советских намерений и планов вне зависимости от нашего поведения. Я испытывал трудности, убеждая их, что решения, принимавшиеся в Москве, являлись прежде всего реакцией на наши действия.

Особенно трудно доказывать это стало, в частности, после нападения северокорейцев. Почему оно было санкционировано Москвой? А мы его не предвидели. Но коль скоро конфликт произошел, он стал своеобразным ключом к пониманию деятельности кремлевских лидеров в последние месяцы и недели. Теперь следовало заняться историческим анализом советской политики как раз в связи с принятым решением на развязывание конфликта в Корее. Мне было ясно, что наряду с другими соображениями, которыми мотивировал Сталин при принятии этого решения, не имевшими отношения к нашей деятельности (недавнее расстройство его планов в Европе, приход коммунистов к власти в Китае и другие события), многие являлись непосредственной реакцией на наши поступки. К их числу относился и вывод наших войск из Южной Кореи. Немаловажное значение имели) и наше официальное заявление, что Южная Корея не относится к районам наших жизненных стратегических интересов, а также решение о начале переговоров о заключении сепаратного мирного договора с Японией, в которых участие России не планировалось. При этом предусматривалось сохранение американских гарнизонов и военных объектов и баз на островах. Мысль о том, что Россия станет по-своему реагировать на наши мероприятия, ее не устраивающие, даже не приходила в голову вашингтонских деятелей, которые в силу укоренившихся привычек рассматривали своих противников как

каких-то демонов, монстров, ведущих себя непредсказуемо и непостижимо. А поскольку это затронуло бы их поведение, нечего было и думать, что они задумаются о возможных реакциях русских на наши поступки.

Такое положение вещей хорошо иллюстрировалось в конце августа, когда шел отсчет моих последних дней пребывания в Госдепартаменте. Из газет нам стало известно, что американская авиация подвергла бомбардировке некоторые порты на северо-восточном побережье Северной Кореи, в которых, по общему мнению, находились советские морские сооружения. Были ли или нет там такие сооружения, но эти порты находились в непосредственной близости от Владивостока, крупнейшей военно-морской базы и важнейшего торгового центра России. Самолеты летали в условиях сплошной облачности, так что не было полной уверенности в том, что летчики точно знали, куда падали их бомбы. Объяснения, данные прессе нашим военным руководством, что эти рейды вызывались необходимостью воспрепятствовать подвозу боеприпасов и продовольствия северокорейским войскам, носили малоубедительный характер.

О том, что произошло, мы узнали, как я уже говорил, из газет. Получить же какую-либо информацию по нашим военным каналам о том, что реально сделано, делается и планируется, было просто невозможно. Поскольку мы находились в полнейшем неведении о происходившем, а официальные лица игнорировали нас в плане разъяснений или хотя бы комментариев о своих действиях, мы не могли, естественно, оценить нервозное состояние советской стороны и высказать свои суждения о возможных ее намерениях и действиях в качестве ответной реакции на наше поведение.

В ходе развития событий того лета у меня сложилось впечатление, что ситуация не только выходит из-под контроля, но и снижаются возможности воздействия на нее людьми, подобными мне.

Об этом я несколько раз разговаривал с Чипом Боленом, разделявшим мое мнение. 12 июля в моем дневнике появилась запись, явившаяся результатом одной из таких бесед:

"В целом, - писал я, - нервозность и сознание ответственности ныне столь велики в Вашингтоне, что практически невозможно заставить кого-либо подписаться под каким-нибудь заявлением. Столь же трудно сделать анализ советских намерений, основываясь на субъективном опыте, инстинкте и предположениях таких личностей, как Чип и я. Откровенно говоря, наше правительство занимает сейчас позицию, с которой пытается определить нюансы психологии наших противников,

поскольку это - та сфера деятельности, где суждения слишком относительны и запутанны при необходимости принятия решений, могущих привести к миру или войне. В таких случаях гораздо проще и надежнее попытаться проанализировать вероятности, связанные с менталитетом противника, и скалькулировать его слабости. В то же время, по всей видимости, нецелесообразно недооценивать его силу, но и не приписывать обязательно агрессивные устремления, даже если они взаимны. В этих условиях мне оставалось только надеяться, что наступит день, когда правительство вознамерится воспользоваться услугами лиц подобных мне - на предмет здравого и рационального анализа не поддающейся учету бесформенной субстанции оценке советского противника, основываясь на его слабостях и силе".

В общем же и целом в то лихорадочное лето я испытывал неудовольствие, наблюдая за основными направлениями внешней политики нашего правительства. Корейский конфликт вызвал у нас переполох подобно камню, брошенному в пчелиный улей. Люди волновались, и каждый предлагал собственную идею, что и как надлежало делать. Ничто не казалось более важным, как попытка достичь общего понимания концепции, ее логичности и софистики в бушующем море самых диких взглядов и упрощенного школярства.

"Никогда ранее, - отмечено в моем дневнике 14 августа 1950 года, - не было столь полного смятения общественного мнения в отношении международной политики Соединенных Штатов. Ни президент, ни конгресс, ни публика, ни даже пресса ничего не понимали в происходившем. Все они бродили в своеобразном лабиринте, наполненном незнанием, заблуждениями и предположениями, где истина была перемешана с вымыслом, а ничем не обоснованное предположение превращалось в действительность чуть ли не юридического свойства, где отсутствовала какая-либо признанная и авторитетная теория, которой можно было бы придерживаться. Только историк-дипломат, внимательно изучавший события того периода времени, смог бы объяснить эту несусветную путаницу, распутать запутанный клубок и вскрыть истинные аспекты различных факторов и спорных вопросов. Вот почему, как мне кажется, никто из находившихся в моем положении людей не смог ничего поделать... пока сам не стал историком, получил общественное признание и уважение, посвятив себя изучению событий тех дней и затем донеся до общественности свое четкое и всесторонне подкрепленное понимание их сущности".

Вот каковы были мои мысли и настроение, с которыми я

покидал Вашингтон в конце августа 1950 года, а затем отправился в Принстонский университет, где Роберт Оппенгеймер дружески предложил мне место в институте повышенного типа. Там, в совершенно иных условиях, более доброжелательных и рецептивных, меня ожидала новая жизнь, хотя и не без определенных сложностей, но с большими возможностями для творческой работы и самовыражения.

Приложения

Приложение 1.

Россия семь лет спустя (сентябрь 1944 года)

Характерно, что особенности российской реальности воспринимаются совершенно по-разному, когда пишешь о России после долгого пребывания в ней в отличие от долгого отсутствия. Но и то и другое представляют свою ценность, как и определенный риск. Оправданием для предпринимаемой мной попытки может служить то обстоятельство, что я могу по крайней мере судить о тех изменениях, которые произошли во взаимоотношениях между: общественным мнением и официальной политикой, мотивацией и действиями, причиной и следствием, которые составляют тщательно охраняемую государственную тайну. Острота восприятий изменений в обществе часто притупляется для того, кто постоянно находится в Москве, живя в этом обществе. Он, как говорится, движется вместе с потоком по его течению, видя все вокруг себя тоже в движении, и, как мореплаватель, находящийся в открытом море, не ощущает подводных течений. Поэтому для того, кто возвращается на то же место, чтобы определить скорость и направление течения, порой гораздо проще зафиксировать тонкости тенденций. По этой причине иностранные обозреватели и не должны находиться в России более одного года, покидая ее для обретения перспективы.

Жизнь в Советском Союзе в августе 1937 года не была беспечной и веселой. В материальном отношении условия, правда, были вполне сносными гораздо лучше конца 1920-х годов. Однако чистки, начавшиеся в 1935 году, приближались к своему пику, поэтому и атмосфера в стране была тяжелой и безрадостной. Человеческие ценности резко менялись. Старых коммунистов практически не осталось. Уцелели только Молотов, Ворошилов, Калинин да еще горстка представителей старой гвардии, воспринимаемые чуть ли не как призраки в окружении новых молодых лиц. О своих павших товарищах, вместе с которыми они "делали" революцию, взяв на себя ответственность за судьбу будущих поколений, они вспоминали, глядя на их монументы.

Вместе со старыми коммунистами исчезли и 75 процентов представителей правящего класса страны, примерно столько же представителей интеллигенции и около половины офицерского корпуса Красной армии.

Взявшись за перо, я поставил перед собой вопрос, представляет ли по-прежнему коммунистическая партия по своему рангу и лидерству, в которой когда-то существовал определенный тип демократии, руководящую силу в политической жизни страны? Или же в ней взял верх принцип неограниченной автократии - принцип, укоренившийся в российском сознании за сотни лет традиций царизма и восстановленный в самом широком смысле этого слова.

Чистки свидетельствовали о том, что этот принцип стал в партии решающим. Ведь Сталин практически уселся на троне, на котором когда-то восседали Иван Грозный и Петр Великий, реально превратившись в "батюшку-царя".

Те, кто стремился к такому виду лидерства, могли радоваться. Но стоимость была неизмеримо высокой. Применяемые методы носили деградирующий характер. Даже толстокожие чувствовали себя несколько пристыженными. Жизнь должна была начинаться с новыми и не испытанными еще людьми, смело смотревшими в будущее. Государственный корабль освободился от коммунистических догм. Только капитан определял его курс, правда, никто не знал, куда он вел.

Ныне, по прошествии семи лет, русский народ вновь стоял перед большим испытанием. В течение трех с четвертью лет ему пришлось пережить самое крупное в своей истории вторжение иностранных войск, почти половина наиболее развитой в промышленном отношении территории страны оказалась под катком войны. Население понесло огромные потери, человеческая жизнь ничего не стоила, проводившиеся до того чистки казались пустяком. К этому добавились громадный материальный ущерб и упадок национальной экономики.

Чем же отличалась война от чисток в психологическом плане? Она не затронула национальной совести, а национальное самосознание даже укрепилось. В результате ошибок противника, использовав территориальные и погодные особенности своей страны, успехи недавно проведенной индустриализации, помощь западных держав, собственный небывалый героизм и выдержку и проведя ряд выдающихся военных операций, значительно превысивших по своему размаху и результативности все, что знала до того военная история, русскому народу удалось изгнать захватчиков, снова завладеть потерянной

территорией.

В жизни молодых, любознательных и весьма впечатлительных людей война стала мерилом, оказавшим огромное влияние на целое поколение, войдя в подсознание нации, получив отражение в легендах, фольклоре и традициях, определив сознание еще не родившихся младенцев. Эффективность всего этого в настоящее время просто абсолютна. Война объединила режим и народ, внеся ясность в некоторые загадки революции и укрепив веру в будущее. В душе каждого русского человека воскресла надежда, что широкий ум и отвага русских людей однажды превзойдут достижения высокомерного и консервативного Запада. Вместе с тем были рассеяны опасения, латентные большинству русских, что все дела, предпринимаемые ими, обречены, мол, на провал, что такое понятие, как "Россия", не подразумевает якобы национального сообщества, обладающего силой и величием, а только неискоренимую бедность, страдания, неспособность к делам и отсталость. Короче говоря, русский народ, доведенный до обнищания (но закаленный бедностью), до уничтожения (но привыкший к лишениям), до звероподобного состояния постоянными жестокостями, объединенный и сплоченный ныне решительным руководством, являвшийся хозяином своей территории и имевший собственную философию, никому ничем не обязанный, жаждавший процветания, власти и славы, смотрел в будущее столь далеко, насколько это позволяло его состояние, с гордостью, уверенностью и новым чувством национальной солидарности.

А каковы же его реальные шансы?

Здесь, пожалуй, нет необходимости говорить о каналах, по которым мы получали сведения о России в период Великой Отечественной войны. Данные о количестве населения, в частности, носили оценочный характер и таковыми пока оставались. Тем не менее опытные эксперты давали цифры, которые мало расходились в своих значениях и поэтому могли рассматриваться как довольно точные. Исходя из них, потери населения Советского Союза во время войны составили порядка 20 миллионов человек. Таким образом, численность его населения с учетом формально приобретенных западных территорий оценивалась в 185 миллионов человек. Чтобы иметь правильное представление о людском потенциале Москвы, следует добавить к этому группы населения, проживавшего в пограничных районах России, на территориях, формально не включенных в ее состав, но находившихся под советским влиянием, - на Балканах, в Польше, Финляндии и других странах. И хотя ученые не могли оперировать подобной концепцией, государственные мужи и дипломаты принимали ее во внимание.

Следовательно, с учетом вышесказанного и способности восточных славян к расширенному людскому воспроизводству, в самое ближайшее время численность населения России должна достигнуть 200 миллионов человек.

Фактически людские потери Советского Союза в войне 1941 - 1945 годов нивелированы приобретением новых территорий и дальнейшим расширением советского влияния. В итоге в настоящее время мы имели дело с советским населением, численность которого грубо соответствовала прежней, будто бы и не было никакой войны в Восточной Европе.

В результате присоединения ряда территорий к России соотношение численности населения в ней и остальной Европе (исключая британские острова) изменилось. В Европе насчитывалось 300 миллионов человек, и это в основном высокообразованные и энергичные люди, имевшие опыт взаимоотношений с иностранным правлением в различных его формах и знавшие, как с ним бороться. Население в 300 миллионов человек - цифра вполне впечатляющая, поэтому рано было говорить о "конце" Европы и опасаться распространения советского влияния на весь континент. Но и 200 миллионов человек, объединенных сильным и целеустремленным руководством Москвы и проживавших в одной из крупнейших индустриальных держав мира, представляли собой внушительную силу, недооценивать которую было бы глупо.

Война, навязанная СССР фашистской Германией, значительно ослабила советскую экономику. Около 25 процентов крупных населенных пунктов страны были разрушены. Имевшиеся трудовые резервы сократились не менее чем на 3 миллиона человек. Национальный доход, по самым объективным оценкам, снизился к концу войны на 25 - 30 процентов по сравнению с 1940 годом. К тому же в национальном доходе произошли значительные структурные изменения. Поступления от сельского хозяйства сократились на 35 - 40 процентов, но все же они значительно больше, чем от промышленности и других форм экономики. Упадок в промышленности за счет эвакуации предприятий и оборудования на Восток, а также ускоренного строительства новых заводов относительно меньше. Вместе с тем роль индустрии значительно возросла.

Что же касается форм экономики, то они остались теми же, что и семь лет тому назад. За небольшими исключениями результаты труда остаются низкими. Правительство по собственному усмотрению расходует национальный доход на инвестиции в различные сферы потребления, военную промышленность и другое. Суммы, расходуемые на поддержание

физического и нервного состояния людей, строго ограничены. Заводское оборудование в значительной степени устарело.

В целом же национальная экономика находилась в руках государства. Свободное предпринимательство и законы рынка отсутствовали. Будущее экономики всецело зависело от планов и мнения людей, формулировавших экономическую политику страны.

На все вопросы о будущем экономики, темпах реконструкции, необходимости иностранной помощи и тому подобном ответ заключался в одном: все завязано на реализацию планов, все реально связано с политикой Кремля.

При скором окончании войны кремлевские лидеры могли иметь в своем распоряжении более 20 миллиардов долларов в качестве годового дохода. (Цифра эта вообще-то произвольная, так как зависела от валютного курса, но вполне подходила для сравнения.) По нашим расчетам, до 10 миллиардов должно быть израсходовано на потребление для сохранения жизнеспособности населения. (Это отбросит страну по размерам потребления на уровень 1934 года при значительно большей численности населения и необходимости различных дополнительных расходов.) С оставшимися же деньгами они могли поступать как хотели. Средства могли пойти на потребление (скажем, на повышение жизненного уровня), на увеличение основного капитала (реконструкция заводов, новое промышленное строительство, выпуск сельскохозяйственной техники и тому подобное) или же на военные нужны. Если руководство страны пустило бы все оставшиеся средства на повышение жизненного уровня народа, то вскоре можно было бы достичь уровня 1940 года и даже без посторонней помощи (на это, правда, ушло бы от года до двух лет). Если средства пошли бы на увеличение основного капитала, то примерно за это же время можно было бы в значительной степени восстановить разрушенное войной хозяйство. Но если приняли бы решение истратить эти деньги на военные нужды, то советское руководство содержало бы свои вооруженные силы, сохранив численность военного времени и значительно обновив их вооружение и технику. Скорее же всего, ни одно из этих экстремальных решений не приняли и средства поделили между основными направлениями - в наиболее целесообразной пропорции.

Конечно, определение степени альтруизма или эгоизма других бесполезное занятие. Гиббон, например, учил, что "рациональное желание абсолютного монарха должно быть направлено на счастье его народа".

Если бы мы знали замыслы Сталина и его советников, то у

нас было бы достаточно постулатов для определения, каким же будет его решение: забота об улучшении экономики или же усиление мощи и престижа советского государства на международной арене. А отсюда мы могли бы сделать вывод о возврате Кремля к программе военной индустриализации, осуществлявшейся с 1930-го по 1941 год. Вооруженные силы России должна стать самыми крупными в море, продолжится реконструкция, также строительство новых военных объектов, что, конечно, не пройдет незамеченным. Следовало ожидать, что в течение трех-четырех лет, даже без внешних кредитов, промышленный потенциал страны мог восстановиться до довоенного уровня. Повышение жизненного уровня населения заняло гораздо больше времени, пока были достигнуты показатели 1940 года, которые наши либеральные комментаторы склонны считать чуть ли не за благо. В течение двух десятилетий, с 1920-го по 1940 год, личная безопасность и комфорт целого поколения были принесены в жертву советской программе. С началом Великой Отечественной войны та же участь постигла и второе поколение, и стоило ли сомневаться, что процесс этот довели до завершения.

Средний русский человек зрелого возраста мог ныне испытывать моральное удовлетворение, видя успехи правительства в достижении небывалой мощи на огромной территории Азии и Европы. Но вряд ли он прочувствовал комфорт и удобства в жилищных условиях, одежде и других предметах цивилизованной жизни, которые имели жители западных стран. Такое самоотречение - плата за лучшее будущее его детей или за рост военного могущества России. Он надеялся - и мы вместе с ним, - что выбран будет не второй путь.

В оценке экономической жизни России оставались еще такие вопросы, как международная торговля, потребность в иностранных кредитах и в целом зависимость от западного мира. Ответить на них довольно просто, если только человек способен мыслить.

Несмотря на различные тогда прогнозы иностранных авторов, с полной уверенностью говорили, что Советский Союз после окончания войны зависеть от внешнего мира не будет, так как в состоянии решить такие проблемы, как реконструкция страны, национальная оборона и повышение жизненного стандарта населения, за счет своих собственных ресурсов. Правда, пройдут долгие годы, прежде чем эти цели будут достигнуты.

Естественно, советские лидеры были бы довольны получить соответствующую помощь от западного мира на выполнение этих задач. Но заинтересованы они будут не в деньгах, а в

оборудовании и товарах. Кредиты же заинтересуют их лишь в том плане, насколько они позволят импортировать необходимые им в данный период времени вещи и продовольствие. Если они смогут выполнить основную часть своей импортной программы, с учетом возможностей транспорта и абсорбции, за счет иностранных кредитов, они не промедлят воспользоваться этим. Тогда они не будут даже опасаться, что их положение в качестве должников (дебиторов и кредиторов) в течение 10, а то и двадцати лет может оказать какое-то отрицательное влияние на их международное положение. Из опыта своих отношений с Германией в 1932-м и 1933 годах, когда немцы выдали им значительные кредиты, они сделали вывод: чем больше они должны западному миру, тем больше западные капиталисты заинтересованы в их финансовом благополучии и не хотели бы видеть их банкротами в международных делах.

Если кредиты они не получат, то, вероятно, используют для обеспечения импорта свои резервы в золоте и валюте, которые оцениваются от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Насколько я понимаю, они не слишком-то дорожат золотом, учитывая лишь его утилитарную ценность. И вряд ли они рассматривают его в качестве мерила стоимости в международных финансах. Думаю, что их даже удивляет наша готовность к обмену предметов потребления на то, что имеет лишь утилитарную ценность. Поэтому они, по всей видимости, пойдут на обмен своего золота в больших объемах на то, что посчитают нужным.

В определенной степени их импорт будет, естественно, оплачиваться экспортом. В случае, если по каким-то причинам золото и кредиты отпадут, они увеличат экспорт сырья - в первую очередь лесоматериала и нефти, к чему они, собственно, приступили еще в 1930 году. В независимости от экспортно-импортного баланса они будут стараться использовать свой экспорт в политических целях - в соседние с ними азиатские и европейские страны. Можно полагать, что пропорции эти будут весьма высокими. Однако размеры экспорта, скорее всего, будут зависеть от вопроса обеспечения импортной программы. Повторюсь, что они определится иностранными кредитами, торговыми переговорами и золотом.

Имея в виду торговые отношения с Россией после войны, американцам следует исходить из следующих соображений:

1. Россия не будет зависеть от международной торговли.

2. Россия даже в целях улучшения международной торговли не передаст Западу то, что посчитает жизненно необходимым и наиболее важным для обеспечения собственной безопасности и прогресса.

3. Россия с удовольствием примет любые инвестиции и кредиты, которые позволят ей обеспечить импортные поставки без незамедлительных капиталовложений.

4. Какие бы кредиты ни были ей предложены, Россия в состоянии понять, что иностранные государства, поступая так, преследуют собственные интересы. Более того, на некоторые акции она и не пойдет, чтобы не допустить возникновения чувства благодарности и сентиментального восторга у русского народа, которые могут ослабить его привязанность к собственному правительству.

В условиях войны и мира, при наличии драмы, переживаний и страданий, в России все же развивалась духовная жизнь народа. И это, пожалуй, наиболее важное и загадочное из всего того, что происходило в Советском государстве. А важно это потому, что уже в ближайшее время определило силу и характер национальных достижений и влияния России на остальной мир. Загадка же в том, что происходило оно по своим собственным законам, которые подчас непонятны даже в Кремле.

Осознавала ли это Москва, сказать не могу. Видимо, однако, она все же пыталась контролировать эту сторону российской действительности. Однако руководящего взгляда из Кремля явно недостаточно для оценки того, что реально, а точнее, духовно происходило в душах людей. Когда приказано, народ аплодировал довольно добродушно и весело, но питал отвращение к показному проявлению ненависти и возмущения. Русский народ формировался в течение многих веков, что наложило несомненный отпечаток на его национальное самосознание. В отличие от народов Запада русские могли скрывать свои чувства добродушно и снисходительно - без негодования и возмущения, без нетерпимости. Так что сила Кремля выглядела в этом свете довольно сомнительно.

Исходя из вышеизложенного, я все же не сказал бы, что народ всецело был недоволен политикой правительства. Однако когда оно пыталось вникнуть в ту субстанцию, которую я не побоюсь банальности и назову "русской душой", то народ спокойно и весьма вежливо уходил от задаваемых вопросов, говоря притворно застенчиво: "А что, конечно" - в результате чего эмиссары правительства не совсем были уверены в значении сказанного.

Даже 15 лет негативного отношения режима к русской классике не повлияло на то, что Лев Толстой оставался самым читаемым писателем в Советском Союзе.

Так же и в области театра 15 лет коммунистических экспериментов отбросили драматическое искусство назад к

консерватизму, в результате чего МХАТ стал проповедником модернизма на русской сцене.

Церковь в народе не подвергалась серьезной критике и не вызывала возмущения, а в годы военных невзгод получила даже передышку в гонениях со стороны режима. По воскресным утрам толпы женщин осаждали Новодевичий монастырь и семинарию, хотя и находившуюся под государственным контролем, но все же религиозную, когда ворота в древних стенах монастыря открывались для посещения. В самых различных местах мы видели русских людей, спокойно и благочестиво направлявшихся в церкви, возвращаясь к явлению, сыгравшему большую роль в их духовном и культурном развитии, прерванному неистовой и самонадеянной революцией. Мы видели, как они снова хватались за ту нить, которую было бросили. И мы видели, как Кремль с большим неудовольствием и не сразу прекратил сопротивление такому развитию событий. Почему же? А тому, что он не знал, как ему поступить. И потому, что понял бесполезность своего прежнего курса. Сила Кремля заключалась в его умении ждать. Сила же русского народа состояла в том, что он умел ждать еще дольше.

Потребность народа в получении культурной и духовной пищи в последние годы практически не удовлетворялась. Все же русские остались тем, чем были семь лет тому назад: неиспорченным и весьма любознательным и пытливым народом. Ни у одного другого народа не было такой жажды к знаниям и такого интереса к интеллектуальным и художественным ценностям. Неизбалован он и жизненным комфортом, поэтому вкусы бывали зачастую примитивными, отсюда и благодарность чуть ли не за пустяк. Комедию Мака Сеннета русские восприняли столь же хорошо, как и постановку "Бахчисарайского фонтана". Особое предпочтение отдавалось мелодраме и романтизму XIX века. В общем же русские, подобно детям, не признавали ограничений в своих восприятиях и эмоциях. Мир ощущался ими подобно устрице, и они ни от чего не отказывались.

Что они получали реально - другой вопрос. Объем и характер художественных и интеллектуальных наставлений, осуществленных государством, за прошедшие годы вряд ли изменились. С началом войны основное внимание было переключено на армию. Недостаток мероприятий в области культуры и развлечений по всей стране стал ощущаться еще больше, не хватало книг, кинофильмов, постановок. Ведь еще до войны публикация и распространение книг в Советском Союзе считались сомнительным делом. Поэтому основная часть публикаций носила либо технический характер, не очень-то

интересовавший широкую публику, либо это были дешевые памфлеты, направленные на отдельные личности из политических соображений. С началом войны большими тиражами стала издаваться русская классика, выходившая полными собраниями сочинений. Отлично оформленные книги стоили недорого. Современной литературы и переводных изданий было мало. Подобное положение сложилось также в кино, театре и на радио. Сохранялось оно и поныне, хотя уже стали приниматься некоторые шаги в целях исправления положения. Большинство женщин, детей и стариков, составлявших ныне основу гражданского населения страны, изголодались по знаниям, развлечениям, искусству.

Как же это все сказалось на будущем России? Если взять за критерий психологию детей, то духовному здоровью нации ничего не угрожало. Детские психологи знали, что ребятишкам присущи спокойствие, простота, стремление отбросить все, что перегружает ум, эмоции и воображение. Скука в определенной степени давала передышку, а уменьшение нервного напряжения обеспечивало душевное здоровье. Вследствие недостаточного интеллектуального стимулирования уровень извращенности русских людей был невысоким. А вот уровень технических способностей постоянно рос. Вместе с тем россияне были избавлены от избытка искусственного стимулирования глубокого волнения и эмоций, связанных с жизнью больших городов на Западе. В отличие от наших всегда спешивших горожан у них находилось время, чтобы взглянуть на землю и небо, обратить внимание на время года, спокойно посидеть, отдыхая на лавочке летним вечером, и даже подремать. А это увеличивало их шансы продлить лет на десять эмоциональную свежесть и сохранить энергию молодости, в отличие от бледнолицых и утомленных жителей западных стран, и, может быть, сыграть важную роль в национальном становлении и успехах России.

Вот мои основные замечания в отношении советских людей. А как обстояло дело с относительно немногочисленной "интеллигенцией" в столь заорганизованном государстве, как Советский Союз? Как осуществлялось ее культурное влияние на народ? Если в связи с войной интеллектуальная деятельность и культурные мероприятия резко ограничивались в количественном отношении, а жизненный уровень людей сводился до минимума, то что можно было говорить о качественной стороне этого вопроса?

Вообще-то за истекшее десятилетие в этой области произошли существенные изменения. Революция на своих ранних этапах разрушила былое благоговение перед культурными

ценностями прошлого, а в целом ряде случаев расправилась и с самими носителями. Однако их место заняли новые проявления интеллектуального и художественного характера.

Ценность этих новых проявлений - довольно интересных, - как мне кажется, соразмерны тому, насколько глубоки были их корни в русской культуре прошлого. Один из лучших поэтов Александр Блок вырос и воспитался в духе эстетизма на стыке двух столетий. Лучшие театральные постановки были буквально пронизаны насквозь импрессионизмом Чехова. То же самое можно сказать о композиторах, актерах и музыкантах. Лучшие писатели, такие, как Горький и Булгаков, получили свое литературное образование и встали, как говорится, на ноги еще до революции.

Вместе с тем революционные энтузиазм и сам переворот оказали стимулирующее влияние на творческие личности - и не только на слабых, но и на сильных. Значительное число либеральных и радикальных мыслителей направились в Москву с визитом, а некоторые из них даже остались там постоянно. Лекционные залы, издательства, художественные салоны и сцены Москвы наполнились лихорадочной интеллектуальной жизнью послевоенного Берлина и других европейских столиц. Интеллектуалы - евреи из Восточной Европы, ставшие свободными от уз и запретов, налагавшихся на них царизмом в вопросах образования и поездок, смогли, наконец, проявить во всем блеске свои умственные и артистические способности, и именно благодаря их влиянию в послереволюционные годы в Советской стране господствовали мысли и чувства аналитического плана.

Но и здесь за прошедшие десять лет произошли потрясающие изменения. Значительная часть собственно советской интеллигенции попала в чистку. От крупных интеллектуалов революции, таких, как Бухарин, Каменев и Радек, не осталось никого. Еврейские интеллектуалы пострадали, может быть, не столько из-за того, что были евреями, а вследствие наличия у них большого числа родственников, проживавших в различных странах, с которыми они поддерживали тесные контакты личного и интеллектуального характера.

Стимуляция русского национализма и волна антисемитских настроений, поднявшаяся в первые месяцы войны, явились, скорее всего, причиной того, что эвакуировавшиеся из Москвы евреи уже не возвратились в столицу. Евреи, игравшие до того видную роль в культурной жизни города да и страны, стали все более подвергаться преследованиям.

Исчезновение радикальной интеллигенции сопровождалось

возрождением всего того, против чего она выступала. Наряду с шовинизмом возродился и культ преклонения перед прошлыми ценностями в области культуры. Вновь зазвучали забытые было имена больших мастеров, выхватываемых порой из безызвестности, которые преподносились восторженной публике в качестве доказательства величия русских гениев. Русская философия, музыка и литература восхвалялись официально, а в комментариях о той или иной личности говорилось не о ее "социальном происхождении", а об общенародной ценности.

Культ прошлого нашел свою кульминацию в балете, который достиг невиданной ранее степени технического совершенства. Однако за подчеркиванием русской гениальности все же просматривались застывшие художественные формы и приемы, свидетельствовавшие о влиянии Византии на русскую культуру. Не поиски нового, а доведение до совершенства старого являлось квинтэссенцией даже наиболее успешных проявлений русской культуры. Взять хотя бы конструкцию собора Святой Софии или более позднюю классическую школу русской иконописи - ведь в них явно просматривалось стремление к разработке в деталях и улучшение сложившихся традиций, а не поиски новых форм. Как ни странно, жизнь и искусство шли разными дорогами. Жизнь развивалась по собственным загадочным законам. Искусство же сохраняло церемониальную и восхваляемую форму.

В других видах искусства картина была даже менее вдохновляющая. Со стороны американца будет, пожалуй, несколько предвзято порицать в 1944 году недостаток художественной оригинальности в России. Война всегда являлась врагом искусства, да и в Нью-Йорке вряд ли изобиловало вдохновение в военные годы. Но с системы, которая заявила о высвобождении впервые в истории созидательных сил от оков экономической эксплуатации, спроса больше. Да и к политическому руководству страны, выстоявшей в страшной войне и пережившей иностранную интервенцию, можно, пожалуй, предъявить несколько иные стандарты, нежели к нашей капризной и калейдоскопической демократии. Во всяком случае, советская культура развивалась в обратной пропорции к военной славе Советского государства. Что же касается живописи и скульптуры, то вряд ли можно говорить, что они вообще переживали расцвет в прошедшие годы. В литературе последний хороший роман был написан не менее десяти лет назад. Драматургия и театр представляли резкую диспропорцию между продолжительностью жизни спектаклей и возрастом актеров. Новые постановки и сами режиссеры основное внимание уделяли теме героизма, сравнимой разве с нашей мелодрамой XIX века с

ее крикливостью и свободой в высказываниях и действиях. Патриотическая тема вытеснила романтику, заменив распутников злодеями и негодяями, но оставив те же крики и стоны, ту же игру мускулами с почти полным отсутствием юмора, характерного для атмосферы наших "плавучих" театров на Миссисипи.

Советское кино, которое в свое время никак не могло справиться с проблемами звуковых фильмов, теперь страдало от недостатка легкости, а киноперсонажи - в мире, где ошибка в догме могла привести к личной катастрофе, - имели тенденцию становиться все более ограниченными и стереотипными. В музыкальной области выделялись произведения Шостаковича и Прокофьева, но и они в основном культивировали Глинку, Чайковского и Римского-Корсакова.

Когда заходил разговор об архитектуре, он обычно обрывался, так как даже самые ярые энтузиасты смущенно опускали головы и тяжело вздыхали, когда их просили объяснить, как же советские творческие замыслы находили свое отражение в архитектурных формах.

Полагаю, что это дает общую картину и показывает тенденции духовной жизни России. Точные науки процветали и могли приносить большую пользу государству. Социальные науки застыли, придерживаясь шаблонов византийской схоластики. В искусстве все, что связано с декоративностью, церемониями и презентациями, продолжало носить характер выражения личной преданности власть имущим - в чисто восточном стиле. Но создание новых художественных форм, слишком тесно связанное с душевной свободой, индивидуальными наклонностями и способностями личностей и их критическим отношением к общественным взглядам, в условиях спертой атмосферы крайнего деспотизма и помпезности было возможно лишь с большим трудом.

Внутренней политики во время войны в России вообще не существовало. В армии ее место занимала дисциплина. Раздававшиеся из стана попутчиков жалобы, выражения недовольства и перебранка (на что еще способны гражданские деятели в тоталитарном государстве во время войны?) даже не могли быть названы политикой. Гражданское население, состоявшее в основном из женщин, детей и стариков, представляло собой лишь трудовой резерв. Обрекая их на нужду и лишения, режим требовал от них значительного увеличения продолжительности рабочего дня и лояльного к себе отношения. И они, учитывая потребности военного времени, принимали это за необходимое. Чувства их и мысли не носили при этом

определенной политической окраски и не имели политической значимости.

Что же касалось высшего офицерского состава армии, то тут дело обстояло по-иному. Это единственная группа людей в Советском государстве, чье недовольство могло создать определенные трудности для режима. Сталин, как мне представлялось, решил эту проблему вполне успешно, заняв со своими политическими помощниками высшие ступени военной иерархии. Хотя институт военных комиссаров и был в армии ликвидирован, это не коснулось ее верхушки. Позиция, которую занимали такие политические деятели, как Жданов, Хрущев и Булганин в советских вооруженных силах, вряд ли была оппозиционной политике режима. Армия осталась вне политики, тем более что Сталину удалось установить строжайший гражданский контроль над военной машиной.

В этих условиях внутренняя политика находилась как бы в покое и оставалась в таком состоянии, скорее всего, до конца войны. Что будет потом, это - другой вопрос. Можно было не сомневаться, что демобилизованные солдаты и уволенные из армии офицеры проявят недовольство и нетерпеливость. Но никто лучше Сталина не знал техники удержания и повышения авторитета своей власти.

Если в вопросах внутренней политики была хоть какая-то ясность, то этого нельзя сказать о внешней политике, поскольку Кремль концентрировал сейчас свои усилия на укреплении связей с внешним миром.

Можно составить несколько пухлых томов из домыслов и предположений, высказывавшихся в последние два года в иностранной прессе о характере и целях внешней политики России. Причем многие вопросы повторялись столь монотонно и мало реалистично, что отпадало всякое желание на них отвечать. Изменилась ли политика России? Ставит ли Россия перед собой цель сделать "коммунистическими" другие страны? Намерена ли Россия "сотрудничать" с внешним миром?

С советской точки зрения эти слишком элементарные вопросы предполагали такие же ответы.

Советские лидеры никогда не забывали, сколь слабы и уязвимы были позиции советской власти в первые дни ее существования. Взять хотя бы Брест-Литовский мирный договор{46}, интервенцию союзных войск в различных частях России, отход отрядов Красной армии из Прибалтийских государств, потерю западных территорий в результате войны с Польшей в 1920 году. Естественно, это показало им, откуда исходит опасность. Если добавить к этому традиционное

недоверие русских к иностранцам, подкрепленное к тому же постоянными неудачами попыток усиления мощи России за счет революционных преобразований, то можно понять, как воспринимался Советами внешний мир.

Сразу после провозглашения коммунизма в России широко распространялось мнение, поддерживавшееся официально, что в разраставшемся конфликте с империалистическими державами должна победить всемирная революция. Зарубежные коммунистические партии получали указания о направлении своих усилий на подготовку и возможно скорейшее проведение социальных и политических революций в своих странах, что должно было обеспечить безопасность Советов от военных угроз извне и послужить делу распространения коммунистической идеологии в мире. Нужно отдать должное чувству реалистического понимания Сталиным того, что не только всемирная революция имела мало шансов на успех, но что и иностранные коммунистические партии, действовавшие под этими лозунгами, мало содействовали реальным успехам Советского Союза. Поэтому советская внешняя политика вскоре перенесла усилия на проведение революций в отдельных странах, не дожидаясь наступления всемирной революции, и концентрацию использования симпатий не только коммунистов, но и других слоев населения к Советской республике в поддержку ее внешней политики. А это означало изменение, и довольно важное, но не меняло базовой концепции советской политики, направленной на усиление советского влияния в международных делах, используя противоречия и соперничество между империалистическими державами.

В годы, предшествовавшие приходу Гитлера к власти в Германии, Кремль, выступая в роли невинной жертвы дьявольских замыслов, стал заявлять свои протесты подобно шекспировской героине. Они исходили из намерений, будто бы вынашивавшихся капиталистическими странами, взять Россию в клещи и провести "интервенцию" силами "англо-французских империалистов". Коммунистическая пропаганда вовсю трубила об этих опасностях. Реалисты понимали, что оснований для таких страхов в действительности было не так уж и много и что основная цель поднятой шумихи заключалась в обработке общественного мнения собственного населения, тогда как реальные шаги по укреплению национальной обороны практически не делались. Казалось, что советские лидеры убедили не только многих людей, но и самих себя в существовании смертельной опасности.

Когда же Гитлер взял власть в свои руки, Кремль, кричавший

долгие годы: "Волк, волк!" - вдруг увидел самого настоящего волка у своих ворот. Напыщенная фразеология превратилась в суровую реальность. Уже в период с 1933-го по 1938 год в Москве прекрасно понимали, что у Советского Союза недостаточно сил, чтобы противостоять в одиночку возможному нападению Германии. Поэтому у советских лидеров появилась мысль о том, что сохранить собственную безопасность можно, пожалуй, за счет натравливания против Гитлера кого-то другого, прежде чем он приступит к осуществлению своих планов агрессии на Восток. Ведь еще Ленин говорил, что в интересах коммунизма необходимо бесцеремонно использовать "противоречия между империалистическими державами". Вероятно, эта опасность касалась не только России, но у нее была возможность разыграть свою карту.

В результате у кремлевских лидеров совершенно неожиданно проявился энтузиазм к коллективной безопасности. Советская пресса выражала озабоченность ненадежной позицией западных демократий перед лицом нацистской опасности. Советский Союз вступил в Лигу Наций. Литвинов отправился в Женеву, где проникновенно выступал, говоря об опасности агрессии, неделимости мирных устремлений различных государств и неизбежности превращения войны, если она начнется, во всеобщую. Он аргументировал, приводя различные доводы, что западные державы должны согласиться на совместные выступления против любых проявлений германской агрессии где бы то ни было. Основная его мысль заключалась в том, что западные державы в случае такой агрессии будут, так или иначе, в нее вовлечены. А присоединяться к пакту о взаимопомощи он призывал абсолютно всех.

Несмотря на все это, не было никаких реальных подтверждений того, что Москва действительно намеревалась предпринять решительные военные меры в чьих-либо интересах. Традиционное предпочтение русских давать толкование вместо подписания реального соглашения быстро привело их к убеждению, что они могут без всяких опасений давать различные обещания, которые потом интерпретируют в нужном им духе, когда придет время их реализации. Главная цель, которую они перед собой ставили, - вынудить Германию в случае развязывания военных действий воевать не только на Востоке, но и на Западе. Обеспечив разрешение военного конфликта на западном театре военных действий, Россия могла бы спокойно заняться собственными делами.

Между прочим, в этом, пожалуй, заключен ключ к пониманию поведения Советского Союза в период мюнхенских переговоров.

Им был сделан вид о готовности оказания Чехословакии военной помощи. Однако сделать это по воздуху желания у него не оказалось, как, впрочем, и реальной возможности, об этом немцы прекрасно знали из сведений о направлении туда сколь-либо значительного контингента советских сухопутных войск. Усилия Литвинова пришлись на сложный период времени, когда и Германия, и Россия осуществляли гонку вооружений. Старания его в конечном счете успеха не имели, так как западные державы не взяли на себя никаких обязательств по оказанию помощи советской стороне в случае, если бы Гитлер приступил к экспансии, ограничившись умиротворением.

Убедившись в нежелании Запада обеспечить его безопасность, Советский Союз, наряду с усилением мощи своих вооруженных сил, перешел в качестве альтернативы к территориальным приобретениям, исходя из границ 1938 года, чтобы укрепить свои стратегические и политические позиции и расширить сферы влияния. Приступив к осуществлению этой экспансионистской программы, советские руководители использовали традиции царской дипломатии.

Опыт Мюнхена показал, что кошмар изолированной германо-русской войны стал близок к осуществлению и утратились последние надежды побудить западный мир выступить против Гитлера не только в случае необходимости самообороны. Перевод промышленности России на военные рельсы подтвердил бесполезность затей Литвинова, поскольку открылась дорога к открытой территориальной экспансии, имевшей цель упредить по возможности нападение на Советский Союз или же, по крайней мере, смягчить силу удара в случае начала военных действий. В этих условиях Кремль летом 1939 года пошел на достижение договоренности с Германией, предложенной ею.

Западному миру следовало бы понять, что, несмотря на все перемены, происходившие в России после августа 1939 года, кремлевские руководители не только не отказались от своей программы территориальной и политической экспансии, но и подкрепили ее в германо-русском пакте о ненападении, в разработке и подписании которого самое деятельное участие принимал Риббентроп. Программа предусматривала восстановление русского господства в Финляндии и Прибалтийских государствах, в Восточной Польше, Северной Буковине и Бессарабии. В самом же пакте речь шла об установлении германского протектората над Западной Польшей и предоставлении выхода России к Балтийскому морю где-то в Восточной Пруссии, усилении русского влияния на славян в Центральной Европе и на Балканах и создании по возможности

коридора, который соединил бы западных и южных славян, - примерно вдоль границы Австрии с Венгрией. Более того, в нем говорилось о контроле России над Дарданеллами путем сооружения в том районе российской военной базы.

В целом программа предусматривала не только усиление военной мощи России, но и воспрепятствование созданию в Центральной и Восточной Европе каких-либо коалиций, способных бросить вызов безопасности страны.

В Москве в 1939 году рассчитывали, что, если хотя бы часть этой программы в соответствии с договоренностью с Германией будет реализована и немецкая военная машина повернется на Запад, это явится блестящим достижением их политики. Вместе с тем они полагали: если и не удастся воспрепятствовать созданию в Центральной Европе силы, опасной для России, то она (сила. - Дж. К.) будет истощена в борьбе с западными державами и не повернется против России.

Ход начавшейся войны, однако, горько разочаровал русских. Запад рухнул настолько быстро, что немцы не потеряли своей боеспособности и военной мощи. Гитлер решил перенацелить основную часть своих вооруженных сил против России, воспользовавшись затишьем на Западе. Оказалось, что территориальные приобретения, полученные Россией в соответствии с пактом о ненападении, не имели почти никакого военного значения. Русские потеряли восточную часть Польши гораздо быстрее, чем немцы в свое время захватили ее западную часть. Стратегические преимущества приращения этих территорий свелись на нет тем обстоятельством, что польской армии уже не существовало, а ведь она могла бы принять на себя первый удар немцев. В результате ее исчезновения, чему в немалой степени способствовала Россия, Красной армии пришлось столкнуться лицом к лицу с рейхсвером.

Все это не поколебало уверенности русских в необходимости проведения экспансионистской политики. Вывод, который они сделали, сводился не к ошибочности такой политики, а к тому, что она проводилась недостаточно эффективно. Когда после первой военной зимы на горизонте появились предвестники победы, российское руководство пришло к мнению о возможности успешного осуществления в результате войны того, что не получилось в 1939 году. Ведь тогда не будет уже могучей Германии, с которой необходимо считаться. Что же касается истощенной и разоренной войной Восточной Европы, то она станет представлять собой пластическую и податливую массу, из которой можно легко будет вылепить то, что нужно.

Вплоть до июня 1944 года Россия ожидала проявления

реальных военных усилий со стороны западных держав. Без этого вклада союзников победа России не была еще полностью гарантирована. Русские опасались, что западные союзники могут оставить их одних в беде. Чтобы избежать этой опасности, Кремль был готов выполнить чуть ли не все требования и пожелания западного мира.

Западные концепции будущей коллективной безопасности и международного сотрудничества представлялись Москве наивными и нереальными. Но если разговоры о нереальных вещах - цена победы, почему бы и не поговорить? Если западному миру требуется заверение России о будущем сотрудничестве, почему бы его не дать, поскольку от этого зависит военная помощь? Будучи удовлетворенной возможностью установления своего влияния в Восточной и Центральной Европе (а кто, собственно, помешает ей в этом, если Германия вот-вот рухнет?), Россия, скорее всего, не сочтет слишком трудным для себя согласиться с довольно странными взглядами западных держав на будущее сотрудничество как условие поддержания мира. Какие опасности могло представить международное сотрудничество для страны, которая уже сама могла обеспечить собственную безопасность? И даже наоборот, если использовать это должным образом, то участие в мероприятиях по обеспечению общей безопасности может послужить делу поддержания интересов России. Более того, соображения престижа побудят ее принять участие во всех учреждениях и комитетах, организуемых во всемирном масштабе.

Таким образом, мысли о международном сотрудничестве легко уживались рядом с идеей о создании мощной империи, появившейся еще на первых порах становления молодого Советского государства, хотя теперь приходилось действовать в условиях еще более острых противоречий. Пока не был открыт второй фронт, считалось целесообразным выдвигать идею о сотрудничестве на первый план, отодвигая вопрос о сферах интересов - на второй. Когда же второй фронт стал реальностью, необходимость в чрезмерной деликатности отпала. Прозвучавшие резкие заявления советских политиков вызвали удивление и некоторую растерянность на Западе.

Наши люди легче поймут слова и действия Советов, если будут иметь в виду характер их целей в Восточной и Центральной Европе. Российские усилия в этом регионе направлены только на одну цель: установление там своей власти. Формы и методы достижения этого играют второстепенную роль. Для Москвы не важно, станет ли регион "коммунистическим" или нет. Видимо, она предпочла, чтобы там распространялись коммунистические

идеи, но вопрос этот оставался дискуссионным. Главное для Москвы - это установление ее собственного влияния и авторитета. Если это может быть достигнуто без привлечения особого внимания со стороны, при молчаливом согласии большинства населения и с использованием скрытых форм и методов, тем лучше. Если же нет, то цель будет достигнута другими средствами. Для небольших стран Восточной и Центральной Европы суть дела не в коммунизме или капитализме. Главное для них национальная независимость и покровительство крупной державы, не делающей предпочтение какой-либо из соперничающих групп. Ни поведение оккупационных войск Красной армии, ни степень "коммунизации" страны не являются критериями в решении этого вопроса. Проблема заключалась даже не в установлении границ, не в принятии конституции и не в формальной декларации независимости, а в реальном соотношении сил, которое чаще всего маскировалось. Именно с таких позиций и следует подходить к пониманию этого вопроса.

Сейчас, осенью 1944 года, Кремль вплотную занялся решением задачи установления своего контроля над Восточной и Центральной Европой. При этом ему приходилось считаться с заверениями, сделанными ранее, и мировым общественным мнением по проблеме будущего международного сотрудничества, в чем западные государственные деятели заверили своих избирателей.

Первая из этих программ была принята, вторая уже начала выполняться. И никто и ничто не могло остановить Россию. При таких обстоятельствах другим оставалось только высказывать недовольство. Часы на кремлевской башне, восстановленные и пущенные в ход по распоряжению Ленина, безостановочно отбивали ночные часы, полные твердой уверенности в будущем. А сон тех, кто находился за кремлевскими стенами, был крепким и здоровым.

Кто же были эти люди, так хорошо спавшие?

Иосиф Виссарионович Сталин на 65-м году жизни, стоявший уже 20 лет у руля власти, был наиболее могущественным, но мало известным в мире властителем. За все это время его видели лишь несколько иностранцев, но в близком контакте с ним не был никто. Личная жизнь Сталина оставалась загадкой, которую не смогли разгадать даже любопытные американские репортеры. Явно видимой была лишь политическая сторона его жизни.

С точки зрения тех, кто понимал Россию того времени, следует обязательно иметь в виду следующие моменты из жизни Сталина.

Во-первых, он грузин. По странному закону психологии,

многократно подтвержденному историей, целый ряд людей, ставших затем великими, бывших вначале безызвестными и малозаметными, происходивших с периферии, приходили к власти. Таким человеком являлся и Сталин, которого судьба привела с кавказских гор в Кремль, где он вел одинокий образ жизни. В историю он вошел как одна из великих русских личностей. От своих же национальных черт ему, однако, полностью избавиться не удалось. Смелый и в то же время осторожный, недоверчивый и быстро приходивший в гнев, но терпеливый и настойчивый в достижении своих целей, способный действовать, принимая на себя ответственность за решения, или же выжидать, умышленно не затрагивая те или иные проблемы, прояснения обстановки, внешне благопристойный и простой, но ревниво оберегавший престиж и достоинство государства, им возглавляемого. Он не получил систематического образования, но был проницательным и умным человеком, безжалостным реалистом, придирчиво требовательным к вопросам соблюдения лояльности, уважения и послушания, знатоком людей, не признававшим сентиментальности. Он мог быть - подобно грузинским героям хорошим и надежным другом или же опасным и непримиримым врагом. Быть чем-то средним он не мог.

Во-вторых, Сталин игнорировал западный мир. В свои молодые годы он занимался подпольной революционной деятельностью - главным образом на родном Кавказе. Оттуда и попал в атмосферу революционной конспирации в европейской части России. Жизнь его подходила под определение, данное Лениным: "невероятно быстрый переход от дикого неистовства к весьма искусной хитрости".

Краткое знакомство со Стокгольмом в те годы почти не произвело на него никакого впечатления. В жизни Запада в целом он, видимо, совсем не разбирался. В безмятежной жизни англосаксов - "ты мне, я - тебе", - в частности, в ее смеси неприязни и интимности, в балансировании самоуважения, в прямой поддержке противоположных интересов он не увидел ничего для себя приемлемого и подходящего.

В-третьих, его уединенная жизнь. Иностранные представители, выражавшие недовольство своей изоляцией в московском дипломатическом гетто, должны были иметь в виду, что самым изолированным во всей Москве был, пожалуй, сам Сталин. Сомнительно, чтобы он за последние 15 лет хоть раз вышел на улицы города или повстречался с жителями. Скорее всего, он совсем забыл, что значит прогуляться по улице в солнечный день, как это делают другие, и увидеть жизнь, какой она есть на самом деле. Если даже обычный секретарь посольства

не мог просто и нормально выехать в какой-нибудь провинциальный город без целой стаи сопровождающих и эскорта, без специальной подготовки к его приему, без водки, икры и тостов, а тем более речей, то трудно представить себе Сталина, вышедшего к народу без охраны. Его поездки из Кремля до дачи обставлялись с не меньшими предосторожностями, чем выезды представителей дипломатического корпуса, в целях полнейшего обеспечения его безопасности. Московская милиция, по их собственному признанию, проинструктирована не спускать глаз с дипломатов, если они где-либо выходили из автомашины, посещали музей или даже находились в театре на просмотре, скажем, "Лебединого озера". Жизнь же Сталина и того хуже. В театр он ходил редко. А сам Кремль при внимательном рассмотрении производил впечатление чопорного музея.

Почему я привлекаю внимание читателя именно к этим трем аспектам жизни и характера Сталина? А потому, что они подчеркивали одно и то же - его исключительную зависимость от друзей и советников. В каждом авторитарном государстве политическая жизнь очень быстро превращается в борьбу за доступ к правителю и контроль за его источниками информации. В России с ее склонностью к секретности и конспирации это проявлялось особенно отчетливо. Рассматривая, например, отношение Сталина к западному миру - с учетом его игнорирования этого мира, уединения и подозрительной натуры грузина, - можно сказать, что для него мало что имело решающее значение. Как человек, пишущий эти строки, считаю, что объяснение подчас загадочным и довольно часто противоречивым заявлениям советской стороны по отношению к западным державам следует искать во взаимоотношениях Сталина и его советников.

Наиболее важным являлось, пожалуй, то обстоятельство, что за последние шесть лет изменений среди них не происходило. После непродолжительного периода прихода к власти в результате революционных событий политическая жизнь в России неожиданно заморозилась вплоть до 1938 года, пребывая в непрецедентной неподвижности. Не наблюдалось даже смертей более или менее важных личностей. Кремль, успешно проигнорировавший многие правила человеческого поведения, казалось, приступил к тому, что стал пренебрегать законами человеческой бренности. Предположения иностранных обозревателей, высказывавших крамольную мысль, что мало кто из числа, не имевших индульгенций, сможет пережить чистки, стали подтверждаться. В течение целого ряда лет, насколько можно было судить со стороны, никаких заметных изменений в

составе Политбюро, ЦК партии и даже среди провинциального партийного руководства не происходило. А это, по сути, экстраординарное явление для страны, пережившей две переориентации во внешней политике и тяжелое военное испытание, потрясшее государство до основания. Еще большее экстраординарное значение это имело для политической системы, которая никогда ранее не обходилась без выдвижения политических жертв на каждом повороте истории. Поэтому можно считать сложившуюся ситуацию нездоровой и уделить ей большее внимание после окончания войны. Опасность здесь заключалась в том, что, если изменения не производились постепенно и в нужное время, они могли начаться внезапно и вызвать панику в стране, а также появление тайных происков, открытых обличений и обвинений подобно тому, что происходило в период проведения чисток.

Что более всего привлекало внимание западных обозревателей, так это то обстоятельство, что тогда среди руководящих деятелей Советского Союза никто не выступал за сотрудничество с западными демократиями. А ведь было время и будем надеяться, что оно еще вернется, - когда в политике России господствовали другие настроения.

Те, кто приехал в Россию недавно и впервые, не замечали ничего необычного, когда, например, такие лица, как Молотов, Вышинский, Лозовский и Мануильский, увязывались с политикой Москвы в Тегеране. Но у людей, хорошо знакомых с Россией, эти имена вызывали довольно странные представления.

Молотов, например, выступил на торжественном собрании 6 ноября 1939 года в Большом театре, понося Англию и Францию ("которые втягивали в войну не только собственные народы, но и народы доминионов и колоний"), противопоставивших себя Гитлеру в "криминальной войне". Как стало известно, за несколько дней до этого, выступая на сессии Верховного Совета, он назвал Англию и Францию "инициаторами второй империалистической войны", обвинив их лживо рядившимися в одежды "борцов за демократические права народов".

А вот фигура Вышинского, выступавшего в качестве обвинителя на судебном процессе в Колонном зале против Бухарина:

"Речь идет не только о Германии, - заявлял Вышинский громогласно, указывая пальцем на последнего представителя старой революционной гвардии. На скамье подсудимых сидит не просто антисоветская группа и не агенты какой-то одной иностранной разведки, а сразу нескольких враждебных СССР разведок иностранных держав... не менее четырех - Японии,

Германии, Польши и Англии. И это не считая всех других разведок, поддерживающих так называемые дружеские оперативные контакты с вышеупомянутыми".

В заключительном же своем слове он провозгласил:

"Этот судебный процесс еще раз доказывает, что два мира относятся друг к другу как непримиримые, смертельные враги - мир капитализма и мир социализма".

Лозовский, возглавлявший долгие годы красный интернационал профсоюзов и ставший к тому времени заместителем наркома иностранных дел, разглагольствовал с потерявшими всякую надежду на будущее иностранными представителями профинтерна, находившимися в Москве, о морали. Он, в частности, пытался убедить их, что временный отход Советов от требований свершения всемирной революции не означает отказ от этих идей и целей.

"Ситуация изменилась, - возглашал он, - и меняется тактика. Если какой-то лозунг потерял свое значение, а частная формула требует замены на новую, то это не значит, что все бывшее ранее неправильно".

Если бы он сказал это ныне, то кого бы это удивило? А если бы он стал отстаивать сказанное им в 1935 году, что "никакая сила в мире не предотвратит крах капитализма и победу рабочего класса над буржуазией"?

Что же касается Мануильского, бывшего "рабочей лошадкой" в Коминтерне и ставшего народным комиссаром иностранных дел Украины, то он привлекался к переговорам о прекращении военных действий с соседней Румынией, проявляя дружелюбие и готовность к соглашениям, исходя из положения освобожденной Украины и выражая согласие на прибытие английского и американского послов в Киев, чтобы те лично убедились в громадных разрушениях, учиненных там немцами. Действительно ли он желает завоевать их симпатию? И не забыл ли он того, что говорил в 1939 году:

"Годы проходят, но не остается нетронутым ни один камень от этого проклятого капиталистического строя с его войнами и реакционностью, его подлостью и скотством, его прогрессирующей дикостью. Люди будут вспоминать дни, прожитые при капитализме, как кошмарный сон".

Бедный Мануильский. Годы действительно прошли. Сорванные со своих мест камни можно сейчас найти повсеместно - и в социалистическом Киеве, и в капиталистическом Лондоне. И кошмарным сном XX века является не капитализм, а война и оккупация. Понимал ли он, что его анализ был неверным? Сожалел ли о своих словах, сказанных

в 1939 году?

Личности, о которых я только что упомянул, были связаны официальными дипломатическими отношениями России с западным миром. В своей работе они контактировали с иностранцами и имели доступ к иностранной прессе и литературе. Скорее всего, это в определенной степени расширило их кругозор. А что можно сказать о других лидерах режима, голос которых был значительно громче, чем у этой четверки, за исключением разве только Молотова? Я имею в виду Берию, Жданова, Щербакова, Андреева, Кагановича и им подобных. Какой совет в вопросах внешней политики они могли дать Сталину?

Эти советские лидеры внешний мир знали мало. Не было у них и личных связей с иностранными государственными деятелями. У них международная жизнь, как политическая, так и экономическая, не вызывала никаких ассоциаций, они целиком и полностью занимались вопросами безопасности России и ее внутренней жизни. Возможно, хотя и вряд ли, концепции этих людей могли иногда приближаться к реалиям действительности, а оценки быть близки к истинным, однако независимый подход к таким оценкам никогда не был сильной стороной коммунистических лидеров. Имеется целый ряд доказательств, что они часто становились жертвами собственных лозунгов, рабами своей же пропаганды. Сохранять здравый смысл в том сумбуре пропаганды и самовнушения, с которыми Россия за прошедшие 20 лет обращалась к миру, было непросто даже для космополитически мысливших ученых и философов. Люди же, о которых идет речь, таковыми и не были. Одному Богу известно, какие представления вызывало у них то, что они слышали о жизни за российскими рубежами, к каким выводам они приходили и какие рекомендации могли давать, исходя из этих соображений.

Вместе с тем имеются серьезные доказательства гипотетичности воздействия такого влияния на Кремль, в котором на первое место выходили меры по сохранению и обеспечению сурового полицейского режима, оттесняя развитие международных связей с зарубежными странами, за исключением тех, что осуществлялись по инициативе самой России. В этих условиях сохранялись конспиративный характер коммунистической партии, секретность деятельности государственного аппарата, изоляция народа от внешнего влияния, поддержание в нем недоверия к внешнему миру и чувства зависимости от советского режима, требование к строжайшему ограничению деятельности иностранцев в

Советском Союзе и использование любых средств для сокрытия советской реальности от международного взгляда.

Есть основание полагать, что это влияние основывалось на определенной степени контроля за информацией, которую получал Сталин. Собственно говоря, в отношениях русских людей с иностранцами по сравнению с тем, что было семь лет тому назад, существенных сдвигов не произошло. Представители союзников России испытывали к себе не меньшую подозрительность, чем к немцам в дни, когда развернулась яростная антифашистская полемика в прессе накануне заключения пакта о ненападении. Но как бы то ни было, у нас нет никаких оснований делать вывод, что это решение означало победу изоляционистов. Преобладающее мнение населения страны было все же против этого, поэтому, по моему мнению, проблема требовала самого внимательного изучения после окончания войны. Так развивались события в международной жизни. Несомненно, они были сбалансированы многими людьми, придерживавшимися более здоровой, благоразумной и более ценной концепции о миссии России в мире. Но то, что такая ксенофобная группа продолжала существовать и имела решающий голос на секретных совещаниях в Кремле, очевидно. Не менее ясно и то обстоятельство, что она и не собиралась прислушиваться к мнению и аргументам представителей внешнего мира.

И пока такая ситуация продолжалась, великие западные державы были вынуждены неизбежно учитывать подобную ненадежную позицию России в своих с ней отношениях. Они никогда не знали, не докладывали ли Сталину неизвестные для них люди, действующие по неясным для них мотивам, информацию отрицательного для Запада характера, которую они не могли подкорректировать, не имея возможности привести надлежащую аргументацию. А коль скоро такая вероятность существовала и не создавалась благожелательная атмосфера для обмена мнениями, возникает вопрос, возможно ли вообще установление истинно дружеских, прочных и обязательных для обеих сторон отношений.

Среди иностранных представителей в Москве были люди доброй воли, через которых связь России с внешним миром все же налаживалась, вселяя надежды на лучшее будущее. Своей терпеливой работой они помогали распутывать бесконечный клубок недоразумений и трудностей, лежавший на пути установления добрососедских отношений России с другими странами. Можно было надеяться, что они продолжат свою работу, исходя из убежденности в величии русского народа и

ценности для всего мира русских талантов. Однако в глубине души они все хорошо знали: пока не сломают китайскую стену в умах и настроениях советских людей, воздвигнутую на деловом поприще, пока не проложат новые дороги для установления тесных контактов и расширения поля зрения между Кремлем и внешним миром, у них нет никакой гарантии, что их усилия принесут успех и что неправильное использование огромных созидательных возможностей России не приведет к трагедии, а то и к угрозе для всей западной цивилизации.

Россия тех лет даже в большей степени, чем раньше, представляла собой загадку для западного мира. Простые американцы считали, что это происходит из-за незнания о России "всей правды". Но они заблуждались. Дело заключалось не в недостатке знаний, а в том, что мы не в состоянии правильно понять и оценить то, что видели в России.

В первую очередь мы не понимали роли противоречий в русской жизни. Англосаксонцы стремились устранить любые противоречия, примирить противоположные мнения и элементы, добиться усредненного выхода из положения в качестве основы для жизни. Русский же человек привык действовать экстремально и не имел никакого желания примирять противоречия, с которыми смирился. Вот - суть России. Запад и Восток, Тихий океан и Атлантика, Арктика и тропики, чрезвычайный холод и нестерпимая жара, исключительная медлительность и внезапный взрыв энергии, необычная жестокость и столь же необычная доброта и любезность, показное богатство и унылая бедность и нищета, страстная ксенофобия и острое желание установления контактов с внешним миром, огромная власть и раболепство, одновременная любовь и ненависть к одному и тому же объекту - вот только некоторые противоречия, характерные для русского народа. Россиянин не старался от них избавиться, так как привык жить с ними. Для него они - своеобразная примесь и что-то вроде приправы к жизни. Он даже воспринимал их философски, зная, что в состоянии с ними справиться и по возможности извлечь пользу. Вполне возможно, что он предполагал подвергнуть их в отдаленном будущем синтезу, в результате чего могло получиться нечто ужасное, еще не виденное миром. Но в данное время он продолжал жить с ними, испытывая привкус риска и авантюры при осознанности наличия определенного опыта, подобно тем чувствам, которые обуревают молодых людей на первых порах влюбленности.

Американское мышление не могло понять Россию до тех пор, пока не подготовилось философски воспринять наличие там указанных противоречий. Оно должно допустить, что если это утверждение справедливо, то и противоположное ему мнение тоже не является ложным. Более того, оно должно рассматривать обе эти концепции как легитимные, а жизнь в России на данный момент - не как выражение совокупности интегрированных элементов, а как непрочное и постоянно изменяющееся равновесие многочисленных конфликтующих между собой сил.

Хотел бы обратить внимание читателя на такую особенность российской действительности, может быть, даже более существенную, - на проблему насилия. Вопрос заключается в отсутствии там объективного критерия правильности или неправильности и даже критерия реальности или нереальности.

Что же подразумевается под этим? Правильное и неправильное, реальное и нереальное определяются в России не Богом и не внутренним характером вещей, а просто-напросто самими людьми.

Читая эти отроки, не следует улыбаться, так как факт, упомянутый мной, очень серьезен. Это - ворота к пониманию загадочности России. Большевизм внес многие странные и будоражащие, на наш взгляд, понятия в человеческую натуру. Доказано, что важные для советских людей вещи - не те, которые существовали, а те, которые должны, по их убеждению, быть. Неограниченный контроль партийно-государственного аппарата над мышлением людей, который обеспечивал не только возможность подпитки их собственной пропагандой, но и недопущение влияния других источников, заставлял этих людей верить во все, что угодно. И не важно, являлась ли эта "идея" истинной, по нашим оценкам. Для людей, которые в нее верили, она становилась истинной, приобретая силу и обоснованность этой истины. Люди в порыве энтузиазма могли сражаться и даже умирать за нее, если верили в ее ценность и необходимость. И наоборот, они могли возненавидеть ее, выступать против и бороться с ней всеми средствами, если воспринимали ее как нечто предосудительное. Более того, она становилась истинной (и это очень важно для понимания сути вопроса) не только для тех, кому адресовалась, но и для тех, кто ее придумал. Сила самовнушения играла в советской жизни огромную роль.

Бравому американцу, попавшему в Россию, не следовало полагать, что он стоит выше этого странного русского феномена. Будучи даже человеком с высоко развитым интеллектом, он невольно вовлекался в поток жизни и воспринимал реальности совершенно в ином свете, нежели находясь на отдалении. Уже

скоро это обстоятельство казалось ему реальной силой, представлявшей собой угрозу или же благоприятную перспективу. И он был прав, не зная тем не менее, как ему поступить, будучи одновременно инструментом и мастером.

Трезво рассуждая, считаю, что среди американцев, будь то в правительстве или в народе, нашлось мало таких, кто смог правильно понять эту философскую эволюцию, а вместе с тем и Россию. Для этого требовалась определенная доля интеллектуальной способности и готовности к аналитической оценке наших институтов да и самих себя. В ближайшее обозримое время американцы, как коллективно, так и индивидуально, будут удивляться путанице противоречий и неразберихе, царившим в России, так ничего и не поняв.

Русские феномены будут вызывать у американцев неприятие или же, наоборот, пленять их до тех пор, пока они не примут ту или иную сторону или же их охватит ужас.

Настоятельная заинтересованность, необходимость и здравый смысл позволяли нам благодаря Господу Богу поддерживать и далее установленное к настоящему времени мирное сосуществование с Россией, хотя и ненадежное и сложное. Тем не менее нам необходимо хотя бы попытаться разобраться в том, что сюда входило. Установленные в связи с этим причины и следствия помогали нам предпринимать определенные шаги и выстраивать наши отношения с Россией. В обществе велось много разговоров о необходимости "понять Россию", но человеку, который решился бы взять на себя такую задачу, пришлось бы нелегко. Ведь представления и понятия, имеющие ценность и обоснованность в России, вызывали недоумение и даже неприязнь в Америке. Такой исследователь вряд ли испытал самоудовлетворение, даже в случае, если он мог дать какие-то практические рекомендации в этом плане. В лучшем случае его труд заслужит признательность общественности или некоторых официальных лиц. Скорее же всего, он испытал бы чувство человека, покорившего вершину труднодоступной горы, на которой побывало очень немного людей и взобраться на которую осмелились лишь единицы.

Приложение 2.

Международное положение России к концу войны с Германией (май 1945 года)

Мир подобно весне наконец-то пришел в Россию, и иностранный резидент, утомленный от войны и русской зимы и вконец обессилевший, желал только одного: пусть начинавшийся политический сезон не будет похож на русское лето - с его резкими перепадами температуры и скоротечностью, с суровым

климатом и почти постоянным ознобом.

Из двух явлений - приближения мира и приближения весны - последняя чувствовалась в Москве, пожалуй, более ощутимо. Прекращение военных действий ведь принесло мало изменений в жизнь людей, привыкших к военному положению и условиям войны почти без всяких перерывов в течение 31 года. Пока крупные войсковые формирования союзников оставались в Европе, Сталин и не думал о демобилизации своих легионов. Но если даже союзные войска и будут выведены, необходимость консолидации политики и власти во вновь завоеванных районах требовала наличия там больших вооруженных сил, а следовательно, и продолжения вкладывания значительных национальных средств в военную сферу. Таким образом, мобилизация всех сил и средств и в ближайшем будущем останется неизбежной для полицейского государства. Поэтому в течение неопределенного периода времени следовало ожидать, что главенствующую роль в жизни русского народа будет играть производство вооружений. И в этом аспекте жизни России, продолжавшемся вот уже три десятилетия, вряд ли можно ожидать каких-либо изменений.

Однако вне зависимости от указанных обстоятельств прекращение боевых действий должно все же внести большие изменения в условия жизни России. По этой же причине формальное установление мира на Западе создаст благоприятные условия для укрепления позиции России в мире, которую она приобрела в ходе войны, но от которой ей в будущем придется, как я считаю, отказаться в силу ее невразумительности и сомнительности.

Следовало иметь в виду, что наибольшее изменение, внесенное в позицию России в мире этой войной, произошло не столько в результате эволюции в самой России, сколько из-за дезинтеграции сил в соседних с ней странах.

Собственный потенциал России претерпел по сравнению с 1940 годом мало изменений. Потери в людях и имуществе сбалансированы за счет привлечения новых рабочих рук - немецких военнопленных и гражданского населения оккупированных районов, палочной дисциплины в самой России, усиленной эксплуатации женского труда и создания новых промышленных районов.

Вместе с тем произошло резкое ослабление противостоявших России сил вдоль ее сухопутных границ. Когда война закончится и на Дальнем Востоке, России впервые в ее истории не будет угрожать ни одно крупное государство на Евразийском континенте. Более того, она сможет установить свой контроль над

районами, в которых ранее не имела никакого влияния. Эти новые районы (хотя их государственные границы останутся неизменными) только в европейском секторе будут располагать не менее 100 миллионами душ населения.

Вот наиболее важные моменты в эволюции Российского государства.

Естественно, такое относительное увеличение мощи России должно повлечь за собой рост ее ответственности перед миром, по крайней мере в моральной области - за счастье и процветание народов, вновь обретших свою независимость, за развитие их ресурсов, за наведение порядка в их экономических и социальных отношениях, а также обеспечение их военной безопасности. Но и это еще не все. Советское правительство должно подумать о своих обязанностях перед собственным народом и вместе с тем обеспечить должное себе повиновение прихваченных провинций. Не может быть никакого сомнения, что многие люди, вовлеченные в этот процесс, будут возмущаться и раздражаться российским правлением. А их выступления против власти Москвы могут значительно расшатать структуру советского могущества.

Возникал вопрос, сможет ли Советское государство успешно справиться с этими новыми обязательствами, консолидировать свое управление новыми народами, примирить их с традиционной советской структурой и превратить их покорение в источник своей силы. От этого зависело будущее России.

Настойчивая советская экспансия несколько напоминала положение, складывавшееся много веков назад в отношениях русских с соседними кочевыми народами. Могла ли эта настойчивость, приобретшая психологический характер, обеспечить успешную экспансию России в новые районы на западе и востоке? А если она будет осуществляться успешно, знала ли Москва, где следует остановиться? И не будет ли она проводиться неумолимо, пока нога советского солдата не ступит на берега Атлантического и Тихого океанов?

Не надо забывать, что попытки поглощения этнологических регионов к западу от Великороссии, Белоруссии и Украины предпринимались Россией и раньше, но потерпели провал. Ученые, занимавшиеся историей России, слишком мало внимания уделяли взаимосвязи русской революции с экспансионистской политикой царизма в западном направлении в XVIII и XIX веках. Присоединение прибалтийских провинций Петром Великим к России не вызвало никаких осложнений в течение полутора столетий благодаря его мудрой политике, продолжавшейся преемниками, направленной на предоставление исключительных прав местному мелкопоместному дворянству, невмешательство в

язык, законы и социальную структуру этих провинций. Вследствие этого даже Польша не причиняла Российской империи особого беспокойства. Однако в XIX веке в связи с отменой крепостного права, началом индустриализации и попытками руссификизма этих провинций они превратились в очаг беспокойства, где и зародилась РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия), которая в конце концов привела к власти Ленина. Что стало бы с российскими социал-демократами без мощной поддержки еврейского "Бунда", польских социалистов, латышских пролетарских лидеров? Ведь они вместе с группами национальных меньшинств Кавказа и образовали основу партии. Без их участия не произошло бы революции. А без революции и развала царизма эти провинции не получили бы своей независимости.

Другими словами, эти западные провинции оказались неудобоваримыми для царизма. Сохранить там в 1917 году свою власть новые политические институты России оказались не в состоянии из-за социальных потрясений и последствий войны. Под напором неистовства, смятения и неразберихи они были вынуждены отказаться от захваченного.

Тем не менее Советская Россия в конечном итоге обрела политическое здоровье. Опора вновь делалась на русский народ - самый послушный и легко поддававшийся уговорам, столицей опять стала Москва - традиционный центр Московии, не склонявшая головы перед западными завоевателями, произошел возврат в рамки государственных границ XVII века и были восстановлены тогдашние политические традиции - централизация неограниченной самодержавной власти, схоластизм Византии, полная самоизоляция от западного мира. Даже возродилась стародавняя мечта - стать "Третьим Римом".

Таким образом, потеря западных провинций, как это ни странно может прозвучать, облегчила положение Российского государства. Кремль позволил себе возвратиться, по сути дела, к антикварной системе правления и догме, изобиловавшей желательными, но несбыточными идеями.

Советское государство повторило всего за два десятилетия многое из истории царизма за последние два столетия. Сталин в течение первых десяти лет своего правления восстановил эпоху Петра Великого. Когда в Европе разразилась война, он обладал уже силой и вел себя подобно Екатерине II. К концу же войны он занял положение, во многом напоминавшее царя Александра I в период окончания наполеоновской эры.

А в возрастании тяжеловесности и неэластичности российской политики, во многих ее целях и методах явно

просматривалась тень Николая I...

Если эти сравнения реальны, то в ближайшее время ожидались проявления новых потрясений, так как семена русской революции были посеяны еще декабристами более 100 лет тому назад. Так что через пять или десять лет небосклон России мог снова покрыться плотной облачностью гражданской дезинтеграции.

Будет ли этот процесс ускорен и доведен до полного созревания социальными и политическими ферментами в оккупированных западных провинциях? И окажется ли Советское государство лучше подготовленным, нежели в свое время царизм, к обузданию покоренных народов, которые в отличие от русских испытывали в своей истории время от времени потребность нарушать законопослушание Риму?

Советская Россия, рассматриваемая как империалистическая держава, имела большие силовые ресурсы, а также определенный опыт управления захваченными территориями и обращения с проживавшими на них народами. А это, по мнению Гиббона, - одно из основных условий удержания их в повиновении. К тому же она обладала преимуществами технического развития современного оружия, обеспечивавшего власть диктатуры и не позволившего европейским народам восстать против немецкого ига во время только что закончившейся войны. И наконец, самый большой и наиболее важный источник ее силы заключался в полном банкротстве соперничавших политических тенденций и дезориентации общественного мнения. После краха Германии все движения, руководимые из Москвы, все ее инициативы стали беспрепятственно проникать в Европу, неся энергичный, объединенный и жестокий характер. Остановить же их было чрезвычайно трудно. Тем не менее советская машина в Восточной и Центральной Европе не без слабостей.

Во-первых, она несла в себе все недостатки иностранного правления. А люди в оккупированных районах хорошо знакомы с сутью марионеточных правительств. При наличии опыта немецкого экспериментирования их уже не просто обвести, как говорится, вокруг пальца. Москве хотелось бы, чтобы лица, признающие ее руководящую роль, выступили бы в качестве независимых патриотических лидеров своих народов. Но эта надежда тщетна. За пять лет нахождения под немецкой оккупацией Европа видела значительное число коллаборационистов, так что людям, попытавшимся служить иностранным интересам, придется трудно.

Нероссийские народы воспринимали агентов Коминтерна как предателей, но ведь те выступали открыто и смело в защиту идеи,

не менее универсальной и собирательной, чем христианство, и новая эта религия проникала в глубину сознания больших и малых народов. Тем не менее лица, поступившие в разное время на службу Кремлю, выражали, скорее всего, интересы русского народа, и им было трудно, хотя они и являлись согражданами народов, попавших под советское влияние, изображать из себя спасителей этих народов, когда они возвращались на родину. Правда, среди них были и прозорливые люди, но даже и им приобрести популярность в народе было непросто.

Вышесказанное усугублялось волной шовинизма и высокомерия, прокатившейся в армии и бюрократическом аппарате в связи с войной и русскими победами. Это придало советскому империализму некое свойство, мало рассчитанное на понимание и симпатию в сердцах иностранцев. Фанатики из Коминтерна, несшие светоч революционного социализма другим народам, приносили России в определенной степени большую пользу, особенно в первые дни советской власти, чем тяжеловесные и неповоротливые генералы и комиссары, ныне командовавшие в столицах стран Центральной Европы, обретя повадки царских сатрапов XIX века.

Следовало упомянуть еще и тот факт, что советская политика на захваченных территориях ненамного богаче и разнообразнее в своей конструктивной сути, чем политика их соперников. А она должна была отличаться в лучшую сторону своей дисциплиной и стимуляцией. За ней вместе с тем не стояла какая-либо великая идея, могущая воодушевить различные слои населения и сплотить их в единое политическое целое с едиными задачами. Чистый марксизм устарел, и, если его пламя еще в какой-то степени вдохновляло кремлевских лидеров (хотя это и сомнительно), они не осмеливались предложить его в качестве политической программы для Восточной Европы. Поэтому в связи с отсутствием конструктивных мыслей и идей их обращения не производили глубокого впечатления.

Призывы же к проведению решительных мер в отношении лиц, замеченных в сотрудничестве с немцами, вызывали акции краткосрочного порядка, проводившиеся без особого энтузиазма. При этом люди часто замечали, что русские использовали подобные мероприятия для того, чтобы убрать со сцены элементы, стоявшие у них на пути и мешавшие осуществлению их политических целей.

Проведение земельной реформы - не первый, но последний козырь демагогии в сельскохозяйственной стране. Эта карта могла быть разыграна только один раз, а человеческая натура такова, что вызванный этой реформой энтузиазм быстро спадал,

столкнувшись с проблемами, с нею связанными. Дело в том, что она не вела к значительному росту сельскохозяйственной продукции, в которой страны Восточной и Центральной Европы нуждались столь остро. Новые же проблемы - орудия труда, жилища, вопросы транспорта, организация производства - в разоренной войной стране решались трудно. Так что эта идея могла быть осуществлена наилучшим образом таким же путем, как и в России после революции, когда крестьяне, потянувшись в города, образовали там революционный слой. Лозунг: "Мир, хлеб, земля", известный из истории советского режима, не стал ответом на сельскохозяйственные проблемы Восточной Европы.

Наконец, возникал вопрос, будет ли Советский Союз в состоянии без помощи западных держав успешно реконструировать и приводить в порядок экономическую жизнь в этих странах. Говоря об этом, я имел в виду, что народы этих стран останутся под советским влиянием.

Советская власть по своей натуре оказалась в состоянии развивать собственную экономику в полнейшем отрыве и изоляции от мировой экономики. Да, по сути дела, иначе и быть не могло. Ведь власть Москвы представляла собой полицейскую власть, в основе которой полнейшее исключение враждебного влияния и контактов. Торговые отношения между частным сектором этих стран и стран, не входивших в сферу российского влияния, поэтому резко ограничивались, что в конце концов приводило к значительным трудностям. Тем не менее не исключались возможности установления контактов в международной торговле правительственных монополий этих стран с компаниями и фирмами других стран. Однако неудержимое стремление Москвы сохранить контроль за экономическими процессами в этих странах в качестве политического средства приводило к тому, что такие монополии могли функционировать только как филиалы московских монополий, оставаясь составной частью русской экономической сферы.

Компетенция советских представителей в экономических администрациях вызывала сомнение, хотя следовало отметить, что советскому режиму удалось в течение длительного периода времени, особенно в годы войны, добиться успешной концентрации человеческой энергии в деле создания и поддержания на требуемом уровне мощной военной промышленности, не нарушив принципов государственной собственности и управления. Но это стоило колоссальных затрат. Для успешного осуществления этих целей привлекались десятки миллионов рабочих рук, а уровень жизни населения сводился до

минимума. Кустарное производство, игравшее большую роль в изготовлении товаров широкого потребления, практически перестало существовать; жилой фонд был доведен до такого состояния, что не более 5 процентов его соответствовали нормальным западным стандартам; поголовье скота резко сократилось, да так и не было восстановлено; люди переселялись на другие места в таких количествах, что это отрицательно сказалось на заключении браков и ведении домашнего хозяйства, даже подорвав чувство безопасности и эмоционального баланса целого поколения. Создается впечатление, будто в стране не происходило никакой социалистической революции. Даже индустриализация к 1940 году не превысила темпов дореволюционного развития России, происходившего на основе частной инициативы и при несоизмеримо меньших расходах.

У нас есть все основания полагать, что и в новых прихваченных районах Россия поставила политику впереди экономики, что бы это ни стоило. Русские не будут мешкать, чтобы разрушить целые отрасли экономики, если в этом случае могли лишить оружия и сделать зависимыми от себя элементы, которые в противном случае стали бы выступать против них. Неминуемое падение жизненного уровня населения этих стран воспримется ими как вполне заслуженная корректива филистерства обывателей. Их, пожалуй, даже удивит и вызовет негодование нежелание этих народов воспринять жизненный стандарт советских людей в качестве законного и для себя.

С другой же стороны, они будут стремиться - исходя из престижа и соображений военной безопасности - к подъему определенных отраслей промышленности и использованию внешне эффективных моментов для пропаганды, как у себя дома, так и за рубежом, мнимых успехов советского правления. Естественно, те отрасли промышленности, так или иначе связанные с военным делом, будут развиваться форсированно, с полной отдачей и концентрацией необходимых сил и средств, даже в ущерб общему экономическому положению. Следовало иметь в виду, что для психологического воздействия на рабочий класс будет использован такой феномен, как присуждение наград и премий отдельным рабочим, устройство различных показных мероприятий и публикаций в печати за их успехи в труде. В области сельского хозяйства в бывших помещичьих домах будут открываться дома отдыха и музеи, организовываться коллективные хозяйства, создаваться машинно-тракторные станции и проводиться показное распределение зерна - в целях создания впечатления о процветании жизни на селе и маскировки реального сокращения сельскохозяйственной продукции и

снижения жизненного уровня населения. Таким образом, основное внимание будет уделяться не реальному возрождению экономики этих стран, а внешнему политическому эффекту.

А все это связано с тем, что русские - нация, привыкшая к показухе, и самое их глубокое убеждение: все вещи - не такие, какие есть на самом деле.

Русскому человеку нужны хлеб и зрелища. Что касается зрелищ, то он воспринимает их с благодарностью, относясь к количеству и качеству хлеба фаталистически. Он не считает, что имеет право на все, что имеется в государстве. Если он получает неожиданное подаяние, то с удовольствием кладет его в карман, редко выражая скептицизм, но никогда не удивится, если эту вещь у него снова отберут. И он всегда готов к пустому славословию по поводу того, что предпринимается государством для показа такой щедрости. Для жизни это гораздо безопаснее и спокойнее.

Другой вопрос - окажется ли такая методика успешной в обращении с нерусскими народами, проживавшими западнее. Скорее всего, она будет срабатывать не всегда. И это одна из самых серьезных проблем, с которыми советским лидерам придется столкнуться.

Они же ни при каких условиях не пойдут на компромисс в вопросах использования экономических средств в политических целях, сколько бы это ни стоило, но все же будут искать средства для решения этого вопроса. Видимо, будут пытаться использовать экономические ресурсы западного мира в надежде, что вызванные их политическими и социальными манипуляциями экономические потери покроются в виде кредитов и поставок.

Мне остается лишь упомянуть, может быть, самую большую трудность, с которой Россия неминуемо столкнется при осуществлении своего контроля над новыми территориями, трудность, тесно связанную с вышеупомянутыми проблемами. Речь здесь пойдет о кадрах и рабочей силе. Такие западные страны, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия до Одера и Нейсе, Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Югославия имеют в общей сложности население порядка 95 миллионов человек. В расчет мы не берем Австрию, хотя и там Россия пытается установить свое влияние. Никто из них не говорит по-русски, однако около 60 процентов относятся к славянам. Для управления ими и удержания в сфере российского влияния потребуется административный и полицейский аппарат гораздо большей численности (порядка нескольких миллионов человек), чем в довоенное время.

Вот тут-то русские и столкнутся с дилеммой. Если они станут

полагаться на местных официальных представителей, то уже скоро им придется иметь дело с нелояльностью и интригами, а также потерей своего контроля, как только они выведут оттуда свои войска. Если же они попытаются использовать вместо них соотечественников, то возникнут другие трудности. В первую очередь в их распоряжении будет слишком мало людей, владеющих языком и знающих обычаи и нравы местного населения. При предоставлении возможности определенному их числу прожить длительное время в той или иной стране для изучения языка и знакомства с нравами людей вполне возможно, что они могут попасть под воздействие более комфортабельных условий жизни и вполне терпимой атмосферы, что приведет к их коррумпированности. Конечно, Советы пытались бороться с этим, использовав опыт обращения с собственными дипломатами за рубежом, располагая их в хорошо контролируемых, изолированных советских колониях и запретив установление тесных личных контактов с местными жителями. Существовала, естественно, и возможность направления таких кандидатов за рубеж на непродолжительное время. Однако и в том и в другом случае такие лица не могли приобрести необходимых опыта и знаний в случае назначения их на административные должности.

Таким образом, советское правительство столкнулось с проблемой, возникшей перед студентами, изучавшими иностранные языки, а именно невозможностью получения хороших знаний в области языка и культуры того или иного народа без личного общения с людьми и знакомства с их мировоззрением. Именно этот факт и вызвал беспокойство советских лидеров.

Обычный советский гражданин, воспитанный с пеленок при непреклонном и непогрешимом воздействии государственной пропагандистской машины, мало самостоятелен в своем мышлении и интеллекте. Предоставленный самому себе в турбулентном потоке зарубежных мыслей и чувств, он не может обрести баланс между самоуважением и здравым смыслом. Наблюдаемая им зарубежная жизнь не является частью его повседневной жизни, созданной средствами современной пропаганды, и эта искусственная структура легко разрушается и заменяется подобными же средствами.

Здесь мы подошли к одному из наиболее значимых, но мало известных фактов современного состояния Советской России. Речь идет о степени потери морального влияния советского правительства на массы населения. Говорю об этом с некоторым трепетом и беспокойством, поскольку область эта слишком чувствительна и многое в ней может быть легко истолковано

ложно. Во-первых, это не значит, что в России отмечаются проявления серьезного недовольства. Не значит это и то, что люди не желают более беспрекословно выполнять все, о чем говорится в Кремле. Не значит это также, что они не намерены далее славословить деяния своих руководителей и поддерживать их лозунги. И наконец, это не значит, что большая их часть не испытывает чувства гордости и энтузиазма в духе национальных традиций. Несомненно, однако, что в русском народе нет уже былых иллюзий морального и духовного характера в отношении своего государства. Огонь революционного марксизма окончательно погас. Чувства патриотизма и национального самосознания подогреваются лишь необходимостью обороны страны и повышением империалистической опасности. Но насаждать командным путем человеческий идеализм, как это практиковалось во время революции или как во все времена это удавалось церкви, государственные лидеры уже не могут. Кремль не может управлять теперь искренним доверием, потаенными надеждами и возвышенными идеалами. Перед его воротами, образно говоря, толпится масса смиренных, но уже не инспирированных людей, его последователей.

Это неуловимое, но очень важное изменение содержит в себе взрывоопасные элементы для будущего. Последние месяцы свидетельствовали, что былых возвышенных чувств во время общественных демонстраций в стране не проявлялось. В течение 25 лет все средства воздействия были монополизированы коммунистической партией. Пресса, радио, возможность проведения публичных собраний и митингов, приспособления и аппаратура для массовых объявлений, транспортные и многочисленные технические средства и даже контроль за воспитанием и обучением молодежи - все это сосредоточивалось в руках партии и государства. Церковь не имела возможности осуществлять свою деятельность за пределами тех немногих церковных сооружений, сохранившихся после того, как завершилась антирелигиозная кампания. Да и в самих церквях религиозное отправление было нелегким делом. Священники не имели права проводить свою службу публично. Церковь не могла воздействовать на молодежь страны. Ей были запрещены высказывания, подрывающие моральный авторитет властей. Ей приходилось молча взирать на превращение многих церквей в антирелигиозные музеи. И она не могла выступить в свою защиту.

Тем не менее ныне известно, что важнейшие религиозные события отмечались в соответствии с канонами, вокруг церквей собирались толпы народа, заполняя порой прилегающие улицы и создавая атмосферу сильного эмоционального возбуждения.

Партия могла призвать своих членов да и других советских граждан выйти на демонстрации в любое время. И они прибывали на сборные пункты, не задавая вопросов, несли транспаранты и лозунги, врученные им, выполняя любые распоряжения. Но партия не могла вызвать на их лицах хотя бы тени той атмосферы эмоциональной возбужденности и одухотворенности, которая виднелась на лицах десятков тысяч людей, собравшихся в Москве в прошлую пасхальную ночь. Партия успешно действовала в сохранении традиций Цезаря, но пасовала там, где это связано с Богом.

В данное да и в ближайшее время это еще не имело практического значения, но создавало возможность, с которой государству придется считаться. Государство потеряло контроль над источниками фанатизма, и пока церковь сохраняет безобидные позиции и не появилась какая-то новая сила, могущая воспользоваться этими явлениями в человеческой натуре, опасности еще никакой нет. Но если они подпадут под внешнее воздействие и будут активизированы, угроза для режима станет весьма значительной. Поэтому государство, видимо, предпринимает все меры для изоляции советских людей от контактов с иностранцами. В связи с этим проблема контроля над нерусскими народами стала еще более деликатной.

Все вышесказанное свидетельствовало о том, что Россия непросто сохраняла свое влияние над народами Восточной и Центральной Европы, не имея моральной и материальной помощи Запада.

Вследствие этого, как мне представлялось, политика России в ближайшее время направлена на то, чтобы убедить западные державы и прежде всего Соединенные Штаты "благословить" ее доминирующее положение в восточноевропейских регионах путем признания государств-марионеток в качестве "независимых" и начать сотрудничать с советским правительством, поддерживая фикцию их самоуправления. Вместе с тем Россия добивается предоставления ей обширной материальной помощи для ликвидации пробелов в экономике этих стран, вызванных не только последствиями войны, но и советской бескомпромиссной политикой, путем направления кредитов в экономический и политический прогресс этих народов.

Если на первый взгляд покажется довольно необычным, что Кремль надеется на получение помощи от демократических народов на цели, далекие от демократических идеалов Запада, то скажем так: Россия учитывала все направления общественного мнения подобно тому, как моряк учитывал направление ветра.

Ведь идущий под парусом уверен в том, что, если он не сможет плыть непосредственно против ветра, все же нужное ему направление он выдержит. Так и Россия не сочла невозможным использовать стремление Запада к демократии и национальной независимости в собственных интересах укрепления авторитаризма и усиления международного гнета. Она даже воспользовалась классическим выражением, что "человечество управляется личностями", и вообще постаралась использовать любые лозунги и призывы, подходящие для оказания воздействия на те или иные общественные круги.

Более того, Кремль рассчитывал на определенные психологические факторы, существующие в Соединенных Штатах, которые, как ему известно, работали на пользу России. Это, в частности, широко распространенное в американском народе мнение:

1. Что сотрудничество с Россией, как мы его рассматриваем, вполне возможно.

2. Что это зависит только от установления личных конфиденциальных и радушных отношений с российскими лидерами.

3. Что, если Соединенные Штаты не найдут средств для обеспечения такого сотрудничества (как мы его себе представляем), прошедшая война окажется напрасной, новая же война будет неминуемой, а человечество столкнется со всеобщей катастрофой.

В Кремле знали, что ни одно из этих положений не является здравым и обоснованным. Там известно, что советское правительство, например, неспособно из-за своей властной структуры сотрудничать с другими странами в техническом плане, как это себе представляли американцы, говоря о сотрудничестве. Знали там и о том, что секретные органы не намерены допускать личные контакты людей обеих сторон, ведь без этого широкое сотрудничество просто невозможно. За 11 лет с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами именно последние постоянно являлись инициатором придания этим отношениям конфиденциального и сердечного характера. Однако эти попытки почти всегда встречали неизменную подозрительность, неучтивость и отказ. И такое положение не было, да и не могло быть изменено в будущем. Наконец, в Кремле уверены, что тот тип тесного и доверительного сотрудничества, к которому стремились американцы, нисколько не нужен для судеб будущего мира. Там считали также, что для обеспечения стабильных отношений с Соединенными Штатами на ближайшие десятилетия

необходимы главным образом сохранение реального баланса сил и взаимопонимание наличия соответствующих зон жизненных интересов сторон.

Однако это уже не забота советского правительства освободить американский народ от заблуждений в пользу поддержки советских интересов. Москву вполне устраивало, чтобы американцы продолжали испытывать иллюзии в отношении Советского Союза, в результате чего они оказывали давление на свое правительство, достигая почти невозможного в пользу советской стороны. Советские лидеры с удовлетворением констатировали, что таким образом они в состоянии в определенной степени руководить великим народом, выступая в роли смиренных просителей и добиваясь желаемого без приложения особых усилий. До тех пор, пока такие настроения владели значительной частью американской общественности, Кремль продолжал использовать западные демократии, по крайней мере в ближайшее время, в качестве наиболее мощного инструмента в деле установления своего влияния в Восточной и Центральной Европе.

Вот какие планы скрывались за всеми действиями русских в вопросе обеспечения международной безопасности. Россия ожидала, что международные организации поддержат ее владычество в марионеточных восточноевропейских государствах и даже окажут ей помощь, если какие-либо силы попробуют начать борьбу за их освобождение. И, как я уже отмечал, Советы рассчитывали на получение кредитов и материальной помощи в ответ на свое согласие на вступление в международные организации.

Вне всякого сомнения, в советском правительстве были люди, способные здраво оценивать обстановку и видеть абсурдность таких планов. Но они, к сожалению, не обладали правом решающего голоса. Да и могло ли быть иначе? Другие всегда могли перекричать их и указать на чрезвычайную терпеливость и кротость, проявляемые западными союзниками. Они могли также подчеркнуть, что ни одно, даже произвольное силовое действие России не подвергалось резкой критике, а наоборот, встречало одобрение мировой общественности и лишь в отдельных случаях - попытки самозащиты со стороны американской и английской прессы. Вместе с тем отмечалась конфиденциальность англосаксонцев при личных встречах с советскими представителями и выражалась мысль, что Россия ничего не потеряет, используя это в своих интересах, а в случае возникновения каких-либо трений пойдет на новые встречи с западными лидерами и будет вести переговоры. Наконец, ими

учитывался и тот факт, что "установление добрососедских отношений с Россией" составляло политический капитал лидеров англосаксонских стран и что как те, так и другие даже похвалялись тем, что им удалось добиться доверия русских и побудить их на какое-то действие.

Короче говоря, они считали, что всегда могли довольно просто успокоить общественное мнение англосаксонцев, сделав великодушный жест или дав какое-то обещание, и что государственные деятели Запада будут всегда выступать за сотрудничество и умиротворение.

До тех пор, пока ведущие советники Сталина могли использовать эти аргументы, подчеркивая успешность проведения намеченных ими мероприятий, советское правительство продолжало свою деятельность, исходя из теории, что с западными странами можно поступать как угодно и нет никаких опасений в возможности возникновения каких-либо серьезных трудностей, как с точки зрения примирения западного мира с советской программой политической экспансии в Европе, так и получения западной помощи для осуществления этой программы.

В глазах собственного народа советское правительство не проявляло достаточного уважения к западным союзникам. В кампании, развязанной в советской прессе против реакционных элементов и "остатков фашизма" за рубежом, предусмотрительно оставлена открытой дверь, через которую можно в любой момент занять позицию вызывающей изоляции. А через систему марионеточных правительств в Восточной и Центральной Европе можно всегда видоизменить свою политику, не нанося ущерба собственному престижу.

Если же западный мир вопреки всем ожиданиям изменял свою политику в отношении России и отказывал ей и в моральной и в материальной помощи в деле консолидации российского влияния в Восточной и Центральной Европе, то она вряд ли могла успешно осуществлять его в течение длительного времени на всей территории, на которую успела наложить свою лапу. Тогда могли произойти какие-то изменения. Но если это случалось, Советы выражали свое недовольство резко и в полной мере во всем мире, а не только на Западе. Советских приспешников вынуждали покинуть некоторые регионы, где в настоящее время они обладали властью, но при этом, памятуя выражение Троцкого, "хлопали дверью так, что содрогалась вся Европа". Вместе с тем ожидалось, что коммунистические партии и прокоммунистически настроенные элементы могли устроить все мыслимые трудности для западных демократий, а всему миру придется вспомнить слова Молотова, сказанные им в порядке предупреждения в Сан-

Франциско, о том, что, если конференция не обеспечит мира и безопасности для России на ее условиях, она будет искать и найдет их в другом месте.

Если западный мир выстоит в условиях подобного раздражения и гнева, а демократии покажут способность к преодолению самых худших проявлений беспорядка со стороны организованных и неразборчивых в средствах меньшинств, выступающих в защиту интересов Советского Союза, это будет последней картой, которую сможет разыграть Москва. У России не будет больше средств для дальнейших нападок на западный мир. Более того, она не сможет адекватно ответить на дальнейший рост военной мощи Запада. У Москвы ведь нет ни флота, ни авиации, которые могли бы взять под свой контроль морские и воздушные коммуникации.

Однако никто в Москве не верил, что западный мир, у дверей дома которого сидит громадный советский волк, готовый в него ворваться, осмелится на это. Именно этот скепсис и составлял основу советской глобальной политики.

Приложение 3.

Выдержки из телеграфного донесения из Москвы (22 февраля 1946 года)

Учитывая недавние события, считаю, что следующие замечания должны представлять определенный интерес для Госдепартамента.

I. Фундаментальные взгляды Советов в послевоенный период времени, отраженные официальной пропагандистской машиной

А. Советский Союз продолжает жить в антагонистическом "капиталистическом окружении", мирное сосуществование с которым еще длительное время невозможно. В 1927 году на встрече с делегацией американских рабочих Сталин отмечал:

"В ходе дальнейшего развития всемирной революции образуются два мировых центра: социалистический, притягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и капиталистический, притягивающий к себе страны, склонные к капитализму. Борьба между этими центрами за командное положение в мировой экономике должна определить, останется ли будущее в мире за капитализмом или коммунизмом".

Б. Капиталистический мир охвачен внутренними конфликтами, характерными для капиталистического общества. Эти конфликты неразрешимы средствами мирных компромиссов. Крупнейший из них - конфликт между Англией и Соединенными Штатами.

В. Внутренние конфликты капитализма неминуемо генерируют войны, которые могут быть двух видов: войны между

двумя капиталистическими государствами и войны против социалистического мира, сопровождающиеся интервенцией. Продувные капиталисты, стремящиеся избежать межкапиталистических конфликтов, склоняются в сторону последних.

Г. Интервенция против СССР гибельная для тех, кто ее развяжет, явится все же новым препятствием и задержкой для прогресса социализма и поэтому должна быть предотвращена, что бы этого ни стоило.

Д. Конфликты между капиталистическими государствами, хотя и могут таить в себе определенную опасность для СССР, тем не менее окажут позитивное воздействие на успех дела социализма, в особенности если Советский Союз сохранит достаточную военную мощь, идеологическую монолитность и уверенность в способности быть лидером.

Е. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в капиталистическом мире не все абсолютно плохо. Наряду с реакционными и буржуазными элементами в нем имеются, во-первых, определенные позитивные элементы, объединенные в коммунистических партиях, и, во-вторых, целый ряд других элементов (называемых по тактическим соображениям прогрессивными или демократическими), реакция, стремление и деятельность которых "объективно" служат интересам СССР. Их необходимо всячески поддерживать и использовать в своих целях.

Ж. Наиболее опасные элементы буржуазно-капиталистического общества это так называемые, по определению Ленина, "ложные друзья народа" социалистические или социал-демократические лидеры (говоря иначе, представители некоммунистического левого крыла). Они более опасны, чем даже архиреакционеры, поскольку те маршируют открыто под собственными знаменами, тогда как современные леворадикальные лидеры вводят народ в заблуждение, используя лозунги социализма, но действуя в интересах реакционного капитала.

Это предпосылки. А выводы, которые напрашиваются из них, исходя из советской политики, таковы:

1. Необходимо делать все возможное для укрепления мощи СССР как фактора международного сообщества.

И, наоборот, не следует упускать ни одного удобного случая для ослабления силы и влияния капиталистических стран как в целом, так и поодиночке.

2. Советские усилия, а также усилия друзей России за рубежом, должны быть направлены на углубление 'противоречий и конфликтов между капиталистическими державами. Если эти

конфликты перерастут в "империалистическую" войну, то ее необходимо превратить в революционные перевороты в различных капиталистических странах.

3. "Демократически-прогрессивные" элементы за рубежом следует использовать для оказания давления на капиталистические правительства в целях поддержки мероприятий, служащих интересам Советского Союза.

4. Необходимо вести неослабную борьбу с социалистическими и социал-демократическими лидерами за рубежом.

II. Перспективы и виды на будущее

Прежде чем приступить к анализу практической деятельности правящей партии России, хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты.

Во-первых, партия не отражает взгляды российского народа на будущее. Простые люди относятся дружески к внешнему миру, желают ознакомиться с ним, сравнить таланты, которыми, вне сомнения, обладают обе стороны, хотят жить в мире и пользоваться плодами собственного труда. Партия же выдвигает тезисы, зачастую противоречащие умонастроениям людей. Их, однако, с большим мастерством и настойчивостью подхватывает официальная пропаганда. Так что именно партия определяет направления действий и народа и правительства, с которым нам приходится иметь дело.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что предпосылки, из которых исходит партия, не соответствуют в большей своей части действительности. Опыт показывает, что мирное и взаимовыгодное сотрудничество капиталистических и социалистических государств вполне возможно. Основные внутренние конфликты в развитых странах давно уже не связаны с капиталистической собственностью на средства производства, а проистекают из усиленных урбанизации и индустриализации - в отсталых российских областях, но не по вине социализма, а вследствие собственной общей отсталости. Внутренние противоречия капитализма не всегда ведут к войнам, и не все войны связаны с ними. Говорить сейчас о возможности интервенции против СССР, когда уничтожены Германия и Япония, да еще с учетом последствий войны, абсолютно глупо. Если не будет провокаций со стороны подрывных и нетерпимых сил, "капиталистический" мир вполне в состоянии жить в мире с самим собой и с Россией. Наконец, ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову мысль сомневаться в искренности современных социалистических лидеров на Западе. Несправедливо и отрицать их успехи в улучшении условий жизни

трудящихся, взять хотя бы Скандинавию, где у них появился шанс показать, на что они способны.

Ложность предпосылок, высказывавшихся перед началом минувшей войны, были ею же и продемонстрированы. Англо-американские противоречия не стали доминирующими в западном мире. Капиталистические страны, не примкнувшие к государствам оси, даже не пытались разрешить свои конфликты за счет подключения к нападению на СССР. А вместо того чтобы возглавить превращение империалистической войны в гражданские войны и революции, Советский Союз счел благоразумным открыто сражаться бок о бок с капиталистическими державами за общие цели.

Тем не менее эти же тезисы, беспочвенные и бездоказательные, выдвигаются и сегодня. О чем это говорит? О том, что линия советской коммунистической партии не базируется на объективном анализе ситуации, сложившейся за рубежами России, что она не исходит из внешнеполитической обстановки, а является результатом внутрироссийских потребностей, имевшихся еще до войны и сохраняющихся поныне.

Основу невротического взгляда Кремля на международные события составляет традиционное, ставшее уже инстинктивным чувство неуверенности. Первоначально это было чувство неуверенности в собственной безопасности миролюбивых оседлых народов по отношению к соседним кочевым племенам. Чувство это усилилось, когда россияне установили контакты с более продвинутым в экономическом отношении Западом, - появилось опасение в возможных столкновениях с более компетентными, более сильными и высокоорганизованными сообществами. И что интересно, чувство неуверенности испытывали в большей степени правители России, нежели ее народ, поскольку понимали, что правление их носило устаревшие архаичные формы, было хрупким и, по сути дела, искусственным с психологической точки зрения, неспособным выдержать сравнение с политическими системами западных стран. По этой причине они всегда боялись не только иностранного вторжения, но главным образом контактов с западным миром, опасаясь того, что могло случиться, если народ узнает правду о внешнем мире или иностранцы - правду о России. Поэтому правители привыкли обеспечивать собственную безопасность ведением постоянной и смертельной борьбы по искоренению своих противников, не вступая с ними в контакт и не идя на компромиссы.

Не случайно, что марксизм, тлевший в течение полустолетия в Западной Европе, нашел себе опору и разгорелся ярким

пламенем именно в России. Только в стране, никогда не имевшей миролюбивых соседей и не знавшей допустимого равновесия оппозиционных сил как внутри, так и вне, могла закрепиться доктрина, утверждавшая, что экономические конфликты в обществе не могут быть разрешены мирными средствами.

После установления большевистского режима марксистская догма, истолкованная еще более агрессивно и нетерпимо в интерпретации Ленина, стала отличным средством выражения духа опасности, который большевики пропагандировали даже в большей степени, чем предшествовавшие российские правители. В этой догме, отражающей альтруизм целей, они нашли оправдание своим страхам перед внешним миром и установлению безграничной диктатуры, без которой уже не знали, как далее править страной; оправдание жестокостям, учиняемым ими, и бессмысленным жертвоприношениям. Именем марксизма они прикрывали все свои действия, этику, методы и тактику. И сегодня они уже не могут обойтись без него. Марксизм - фиговый листок, прикрывающий их мораль и интеллектуальную респектабельность. Без него они окажутся в глазах истории в лучшем случае как последние жестокие и расточительные российские правители, пришпоривавшие свою страну к взятию новых высот военной мощи в целях обеспечения гарантии безопасности своего внутренне слабого режима. Вот почему советские цели постоянно маскируются марксизмом и почему нельзя недооценивать значения этой догмы в поступках и делах Советов. Вот почему советские лидеры в целях укрепления собственных позиций выдвигают эту догму, в которой внешний мир изображается враждебным, злым и опасным, с вызревающими якобы в нем зернами смертельной болезни, грозящей всемирным крахом, избавиться от чего человечество сможет, лишь наращивая силы социализма и поставив перед собой цель установления нового лучшего мира.

Таким образом, оправдание наращивания военной мощи и усиления полицейского характера правления в государстве, а также изоляции русского народа от внешнего мира являются естественными и даже инстинктивными побуждениями советского руководства. По существу, это - своеобразное выражение русского национализма, отражение многовекового пути, во время которого концепции нападения и обороны оказались несостоятельными. Следует иметь в виду, что новый облик международного марксизма с его сладкими обещаниями доведенному до отчаяния и разоренному войной миру таит в себе еще большую опасность и коварство, чем это наблюдалось когда-либо ранее.

Характерно, что партийная линия, проводящаяся советскими лидерами, осуществляется ими вполне искренне, без всякого лицемерия. Многие из них игнорируют внешний мир и находятся в состоянии самогипноза, так что им совсем нетрудно верить в то, что говорится. Неразрешимой загадкой является поведение тех, кто в этой громадной стране получает точную и беспристрастную информацию о внешнем мире. В атмосфере восточной секретности и конспирации, которыми пропитано правительство, возможности искажения получаемой информации беспредельны. Непочтительность россиян к объективной правде, даже их неверие в ее существование приводят их к мнению, что все приводимые факты - это всего-навсего инструменты тех или иных скрытых целей. В связи с этим можно вполне предположить, что советское правительство является, по сути дела, конспирацией в конспирации и что Сталин вряд ли получает объективную информацию о внешнем мире. Там имеется достаточный простор для утонченных интриг, в плетении которых россияне - непревзойденные мастера. Неспособность представителей иностранных правительств отстаивать свои взгляды в спорах с российскими политиками и степень их отношений с Россией, при которых они не могут видеть скрытых советников советских лидеров и как-то воздействовать на них, - таков тревожный характер дипломатии в Москве, это необходимо иметь в виду западным государственным деятелям, если они хотят понять суть трудностей, с которыми им приходится сталкиваться.

III. Связь советских взглядов на будущее с практической политикой на официальном уровне

Выше мы рассмотрели характер и подоплеку советской программы. Чего же можно ожидать от ее практического выполнения?

Советская политика осуществляется в двух направлениях. Первое заключает в себе официальные планы, проводящиеся от имени советского правительства. Ко второму относятся секретные планы, которыми занимаются различные агентства, официально не подотчетные правительству.

Политика, провозглашенная в планах обоих направлений, нацелена на осуществление положений, изложенных в пунктах А - Ж первого раздела. Действия, проводимые по различным планам, естественно, отличаются друг от друга, но обязательно согласовываются по целям, времени и эффективности.

Что касается официальных планов, то среди них можно выделить следующие:

А. Внутренняя политика, направленная на усиление всеми способами мощи и престижа Советского государства, проведение

военной индустриализации, максимального развития вооруженных сил, организацию крупных показных мероприятий, чтобы произвести впечатление на "профанов", максимальное засекречивание положения в стране, дабы скрыть слабости и оставить своих оппонентов в неведении относительно действительных реалий.

Б. Если предполагается, что те или иные мероприятия, проведенные в нужное время, должны иметь успех, они осуществляются неукоснительно, дабы повысить шансы официальной политики Советов. В настоящий момент их усилия ограничены вопросами, имеющими для них важное стратегическое значение, Северным Ираном, Турцией и, возможно, Борнхольмом. Однако могут возникнуть и другие проблемы, связанные с намерениями советских лидеров расширить свое влияние на новые районы. В связи с этим "дружеское" персидское правительство может получить запрос о предоставлении России порта в Персидском заливе. Если Испания подпадет под коммунистический контроль, то вновь может возникнуть вопрос о советской базе в Гибралтарском проливе. Но такие претензии будут предъявлены официально лишь после того, когда завершится неофициальная подготовительная работа.

В. Россия примет официальное участие в работе тех международных организаций, в которых будет усматривать возможность распространить свое влияние или сдержать, а то и ослабить влияние других. Москва усматривает, например, в ООН не механизм обеспечения длительного и стабильного существования международного сообщества, основанного, исходя из общности интересов и целей всех наций, а арену, на которой сможет успешно осуществлять свои собственные цели. И пока ООН обеспечивает это, Советы будут находиться в ее составе. Но если они придут к выводу, что организация не реализует их цели, или сочтут, что это лучше осуществлять другими путями, они не преминут выйти из нее. А значит, что они чувствуют в себе достаточно силы для подрыва союза других государств, превращения ООН в малоэффективный орган и замены ее другой более подходящей для них международной структурой. Следовательно, отношение Советского Союза к ООН будет в значительной степени зависеть от лояльности других наций к нему самому, а также от степени энергичности, решительности и сплоченности, с которыми они будут отстаивать в ООН миролюбивую концепцию международной жизни. Повторяю, что у Москвы нет абстрактной приверженности к идеалам ООН, и отношение ее к этой организации будет оставаться прагматичным.

Г. В отношении колониальных и зависимых народов советская политика даже на официальном уровне будет направлена на ослабление влияния на них развитых западных стран и сокращение их контактов с этими регионами на предмет образования там политического вакуума, в который могла бы внедриться коммунистическая идеология. Стремление Советского Союза к участию в мероприятиях по установлению опеки над такими территориями свидетельствует о его намерении занять такую позицию, которая могла бы позволить ему усложнить и даже воспрепятствовать усилиям Запада по поддержанию своего влияния в этих районах. Естественно, Советы не отказываются от мысли самим проникнуть туда, но будут, скорее всего, использовать для этого другие каналы. Следовательно, можно ожидать, что Советы внесут предложения об участии в мероприятиях по установлению опеки над различными колониальными территориями с целью ослабления там западного влияния.

Д. Россия будет предпринимать решительные шаги по созданию своих представительств и укреплению официальных связей со странами, в которых усматривает возможность организации противопоставления западным державам. Это относится к таким удаленным друг от друга точкам планеты, как Германия, Аргентина, средневосточные страны и т. д.

Е. В международных экономических вопросах советская политика будет направлена на установление автаркии для Советского Союза и районов, находящихся под советским влиянием, одновременно. Что касается официального уровня, советская позиция пока не совсем понятна. Советское правительство продемонстрировало странную сдержанность после окончания, военных действий по целому ряду аспектов международной торговли. Если будут выделены крупные долгосрочные кредиты, советское правительство может опять неискренне уверять в своей лояльности, как и в 1930-х годах, и проявить стремление к поддержке международного экономического обмена. В противном случае вполне возможно, что советская зарубежная торговля ограничится его собственной сферой безопасности, включая оккупированные районы Германии, а вопросу экономического сотрудничества наций будет официально оказан холодный прием.

Ж. Что касается культурного сотрудничества, то и в этой области услышат неискренние заверения в поддержку углубления культурных контактов между народами, однако на практике будут предприняты все меры, чтобы не допустить ослабления безопасности советских людей. Подлинная реализация советской

политики по этому вопросу ограничится официальными визитами и приемами с водкой и тостами, в результате чего реальные мероприятия заморозятся.

3. Наряду с вышесказанным советские официальные отношения с отдельными иностранными правительствами могут носить "корректный" характер для подчеркивания престижа Советского Союза и его представительств при пунктуальном выполнении требований дипломатического протокола.

IV. Что можно ожидать от претворения в жизнь советской политики неофициальным путем - по планам, за которые советское правительство не несет никакой ответственности

Рассмотрим агентства и организации, осуществляющие подобные планы:

1. В первую очередь - это ядро коммунистических партий различных стран. Хотя многие люди, входящие в эту категорию, и могут работать в учреждениях, не имеющих отношения к компартиям, они на самом деле состоят в тесном контакте с подпольным директоратом международного коммунизма, скрытным Коминтерном, деятельность которого координируется и направляется из Москвы. Важно иметь в виду, что ядро действует в основном подпольно, независимо от того, находятся ли партии на легальном или нелегальном положении.

2. Численность коммунистических партий. Следует отличать рядовых членов партий от лиц, указанных в разделе 1. В последние годы разница эта проявляется все в большей степени. Если прежде иностранные коммунистические партии осуществляли свою деятельность, состоявшую из странной смеси (с точки зрения Москвы весьма неудобной) легитимных и нелегальных мероприятий, то теперь верх берут конспиративные элементы и подпольная работа - без всякого учета реалистичности движения, - своеобразная партизанская активность, направленная против определенных течений в политике собственных правительств, проводящаяся, однако, вне всякой связи с иностранными государствами. Только в отдельных странах, где численность коммунистов довольно велика, компартии выступают открыто как организации. Как правило, они используются для проникновения и оказания своего влияния на различные организации, не вызывая никаких подозрений, и являются инструментами советского правительства, для чего действуют в составе единых народных фронтов, а не сепаратно.

3. Широкая палитра национальных ассоциаций и объединений, находящихся под коммунистическим влиянием. К ним относятся: профессиональные союзы, молодежные лиги, женские и социальные организации, расовые сообщества,

религиозные объединения, культурные группы, либеральные редакции и издательства и тому подобное.

4. Международные организации, подвергнутые коммунистическому влиянию через различные национальные компоненты. Наиболее важное значение придается международному профсоюзному движению. В нем Москва усматривает возможности воздействия на западные правительства обходными путями и создания международного лобби, способного проводить акции в поддержку советских интересов на международной арене или же парализовать мероприятия, неугодные Советскому Союзу.

5. Русская ортодоксальная церковь с ее зарубежными филиалами и восточная ортодоксальная церковь в целом.

6. Панславянское и другие движения (азербайджанское, армянское, тюркское), основу которых составляют национальные группы Советского Союза.

7. Правительства и правительственные группы, поддерживающие Советы в той или иной степени, - нынешние правительства Болгарии и Югославии, режим Северной Персии (Ирана), китайские коммунисты и другие. Не только пропагандистские машины, но и их актуальная политика предоставляются в распоряжение СССР.

Следует полагать, что все эти составляющие части могут быть использованы, исходя из их особенностей, в следующих целях:

1. Для подрыва политического и стратегического потенциалов крупнейших западных держав. Усилия в этих странах могут быть направлены на разрушение национальной самонадеянности, ослабление мер по национальной безопасности, усиление социального и индустриального беспокойства, стимулирование всех форм разобщенности. Все лица, имеющие повод для недовольства экономического или расового порядка, будут побуждаться и подстрекаться на поиски удовлетворения своих требований не путем компромиссов и посредничества, а ведением открытой борьбы, направленной на разрушение других общественных элементов. Бедняки будут натравливаться против богатых, черные против белых, молодежь против стариков, недавние переселенцы против постоянных жителей.

2. На ослабление влияния западных держав на колониальные, отсталые и зависимые народы. И уж здесь-то ничего упущено не будет. Любые ошибки и слабости западных колониальных администраций немедленно и безжалостно вскроются и подвергнутся резкой критике.

Либерально настроенные оппоненты в самих западных

странах будут мобилизовываться для ослабления колониальной политики этих стран. Будут задействованы недовольные и возмущенные элементы из числа самих зависимых народов. Поскольку Советы поддерживают их требование о получении независимости от западных держав, они могут рассчитывать на установление там своего влияния после обретения ими независимости, используя политическую пропаганду и проводя соответствующие подготовительные мероприятия.

3. При оказании отдельными правительствами противодействия интересам Советов последние предпримут меры к их отставке. Это может произойти там, где правительства открыто выступают против целей России за рубежом (Турция, Иран), где они наглухо закрывают свои территории от коммунистического проникновения (Швейцария, Португалия) или если они оказывают сильную моральную конкуренцию коммунистам в вопросах установления влияния на те или иные элементы в стране (лейбористское правительство в Англии), в особенности если в каком-то деле затронуты сразу два таких элемента (при этом коммунистическая оппозиция становится особенно крикливой и разъяренной).

4. При направлении в зарубежных странах коммунистами своей деятельности на разрушение всех форм независимости людей - личной, экономической, политической или моральной. Их система срабатывает только тогда, когда отдельные индивидуумы поставлены в полную зависимость от руководства. Лица, независимые в финансовом отношении, - бизнесмены, владельцы недвижимости, удачливые фермеры, художники и артисты, а также люди, пользующиеся уважением в своей местности, - политики, священники, подвергаются анафеме. Не случайно в самом СССР местные должностные лица и крупные чиновники не исчезают из поля зрения общественности, а только меняют свои должности.

5. Для противопоставления крупнейших западных держав друг другу. Так, антианглийские настроения распространяются среди американцев, а антиамериканские - среди англичан. На Европейском континенте, включая Германию, насаждается ненависть к англосаксам. Где имеются подозрения, они раздуваются, где их нет - разжигаются. Не остаются неиспользованными никакие средства, направленные на дискредитацию и борьбу со всеми усилиями, грозящими привести к созданию каких-либо союзов или объединений, где Россия представлена не будет. Таким образом, все формы международной организации, не поддающиеся коммунистическому проникновению и контролю, среди которых

можно назвать католическую церковь, международные концерны, международные аристократические братства и королевские общности, могут оказаться под огнем.

При направлении советских усилий неофициального плана, носящих отрицательный и деструктивный характер, на ослабление сил и организаций, над которыми Советы не могут установить своего контроля. Это соответствует общей направленности советской политики, не признающей компромиссов с противной стороной и исходящей из убеждения, что конструктивная работа может начинаться только после установления доминирующего положения коммунистов. Во главу угла при этом будет положено стремление, постоянное и неослабное, к проникновению и захвату ключевых позиций в административных аппаратах и в особенности в полицейских органах зарубежных стран. Ведь советский режим является, по существу, полицейским режимом самого высокого пошиба, культивировавшимся в духе полицейских интриг, привыкших мыслить и действовать с позиции силы. Об этом не следует забывать при определении и оценке советской мотивации.

V. Практические выводы с точки зрения политики Соединенных Штатов

В заключение можно сказать: политическая сила, с которой мы имеем дело, считает, что поддержание временного соглашения с Соединенными Штатами не может носить длительного характера, что целесообразно подорвать внутреннюю гармонию нашего общества и нарушить наш традиционный образ жизни, а также сломать международный авторитет нашего государства. Эта политическая сила располагает громадной территорией с большими людскими и естественными ресурсами и подпитывается мощным течением русского национализма. Более того, она имеет обширный работоспособный аппарат, который в состоянии влиять на другие страны, аппарат чрезвычайно гибкий и многосторонний, управляемый людьми, имеющими беспримерный опыт подпольной работы и владеющими всеми необходимыми методами и приемами. Наконец, она, по всей видимости, даже не собирается принимать во внимание существующие реальности, судя по ее реакциям на происходящее в мире. Поэтому даже объективный факт существования человеческого сообщества не дает возможности судить о его будущем, проводить определенные анализы и строить планы его реформирования: ведь каждый отдельный предмет отбирается ею тенденциозно и произвольно. Так что вырисовывается картина далеко не радужная. Наша дипломатия в связи с этим должна решить трудную задачу, с которой ей когда-либо приходилось

сталкиваться, - каким образом можно совладать с этой силой. Поэтому нашему политическому генеральному штабу есть над чем поработать, не исключая возможности решения этой задачи даже военным путем.

Я, естественно, не могу предложить ответы на все затронутые здесь вопросы, но хочу подчеркнуть свою убежденность, что все указанные проблемы вполне решаемы (это в наших силах) - не прибегая к крупному военному конфликту. В подтверждение своих убеждений хотел бы привести некоторые наблюдения, вселяющие оптимизм.

Во-первых, Советский Союз в отличие от гитлеровской Германии не привержен к схематичности и авантюризму, действуя не по раз и навсегда разработанным планам. Он не идет на необоснованные риски. Невосприимчивый к логике вещей, он признает логику силы. Исходя из этого, он может отойти назад - что обычно и делал, - когда в каком-то пункте сталкивался с ожесточенным сопротивлением. Поэтому, когда ему становилось известно, что противник обладает достаточными силами и готов применить их на деле, он редко бросался в безрассудную атаку. В связи с этим, если та или иная ситуация поддается решению, нет никакой необходимости затрагивать вопросы престижа.

Во-вторых, Советы - не слабаки, когда выступают против всего западного мира. Поэтому их успех или неуспех будет зависеть от степени сплоченности, решительности и энергии, с которыми выступит западный мир. А на этот фактор мы сами сможем повлиять.

В-третьих, советская система, как форма внутригосударственной власти, еще до конца не изучена. Сейчас необходимо убедиться, что она хорошо выжила в результате успешной передачи власти от одного лица (или группы лиц) другому. Смерть Ленина стала первым этапом в этой цепи и привела к разорению государства в течение целых 15 лет. Смерть Сталина - второй этап. Но и это еще не окончательное испытание для страны. Советская внутренняя система будет теперь во многом зависеть от результатов недавней территориальной экспансии и целой серии дополнительных накладок, с которыми в свое время приходилось иметь дело царизму. У нас есть доказательства, что основная масса российского народа со времен Гражданской войны еще не была эмоционально так далека от доктрины коммунистической партии, как ныне. В России партия стала крупнейшим, а в настоящий момент и высшим аппаратом диктаторского администрирования, превратившись в то же время в источник эмоционального вдохновения. Поэтому внутренняя крепость и постоянство движения не могут рассматриваться как

гарантированные.

В-четвертых, вся советская пропаганда вне сферы советской безопасности носит в основном негативный и разрушительный характер. Поэтому борьба с ней не составит большого труда при наличии конструктивной и осмысленной программы.

С учетом вышесказанного мы можем, по моему мнению, спокойно и собравшись с духом найти ключ к решению проблемы взаимоотношений с Россией. Чтобы облегчить принятие такого решения, хотел бы остановиться на следующих аспектах:

1. Нашими первыми шагами должны быть понимание и определение характера движения, с которым мы имеем дело. Мы должны изучить его с теми же прилежанием, тщательностью и объективностью, с той же беспристрастностью, не поддаваясь эмоциям, с которыми хороший врач обследует безумного больного.

2. Необходимо, чтобы наша общественность была в курсе реального положения дел в России. Не могу не подчеркнуть важность этой мысли, так как пресса одна с этим справиться не сможет. Поэтому такая работа должна быть проделана правительством, имеющим достаточный опыт и хорошо информированным о характере связанных с этим проблем. И нас не должна отталкивать возможная безобразная картина. Я уверен, что наши люди проявили бы значительно меньше истеричного антисоветизма, если бы в стране лучше понимали реалии сложившейся ситуации. Нет ничего более опасного и ужасного, чем незнание и неведение. Могут даже появиться аргументы, что информация о вскрытых трудностях в наших взаимоотношениях с Россией окажет на них негативное влияние. Считаю, что, если в этом и заключен какой-то риск, нам необходимо набраться мужества и взглянуть на реалии, и чем раньше, тем лучше. Однако, откровенно говоря, я не вижу никакого риска. Наша ставка в этом плане, даже с учетом массовых демонстраций в поддержку дружеских отношений с Россией, весьма невелика. Ведь это не будет связано с дополнительными расходами на оборону, снижением торгового оборота, необходимостью защиты граждан и потерей каких-то культурных контактов. Уверен в успехе, если у нашего народа откроются глаза на действительно происходящее в мире, а наши дела с Россией будут базироваться на реальной фактологической основе.

3. Многое зависит от здоровья и силы нашего общества. Мировой коммунизм подобен зловредному паразиту, питающемуся пораженной тканью. Это положение, из которого должна исходить как наша внутренняя, так и внешняя политика. Каждая продуманная мера, направленная на решение внутренних

проблем нашего общества и преследующая цель повышения самосознания, дисциплины, морали и духа единения нашего народа, будет являться дипломатической победой над Москвой, более значимой, чем тысячи дипломатических нот и совместных коммюнике. Если нам не удастся побороть фатализм и индифферентность нашего общества, Москва будет праздновать победу.

4. Нам следует лучше обосновывать и представлять другим нациям более позитивную и конструктивную картину мира - таким, как мы его себе представляем, чем мы это делали раньше. Ныне недостаточно лишь побуждать людей развивать политические процессы подобно нашим. Многие люди, по крайней мере в Европе, слишком устали и напуганы опытом прошлого, в силу чего мало заинтересованы в абстрактной свободе и безопасности. Им требуется в большей степени руководство, нежели ответственность. И мы обязаны дать им это, не дожидаясь вмешательства русских.

5. Наконец, мы должны обладать достаточными мужеством и самосознанием, чтобы проводить в жизнь наши собственные методы и концепции организации человеческого сообщества. В конце концов, самая большая опасность заключается в том, чтобы мы не стали копировать решение стоящих перед нами проблем с советских коммунистов и не уподобились бы им.

Приложение 4.

Соединенные Штаты и Россия (зима 1946 года)

В историческом плане отношения России с зарубежными странами развивались совершенно по иному типу, чем в Соединенных Штатах. Наши наиболее важные связи с заграницей сводились в основном к мирной заокеанской торговле, что и наложило своеобразный отпечаток на наше мышление. России же в ходе всей ее истории приходилось иметь дело с враждебными соседями. Поскольку на ее границах не было географических барьеров, ей пришлось выработать специальную технику и методы таких взаимоотношений (которые со временем стали традиционными и осуществлялись почти автоматически) стремительное продвижение и отход, оборона в глубине собственной территории, секретность действий, осторожность, хитрость и обман. В истории России имеется много случаев коротких перемирий с противниками, но нет ни одного примера длительного мирного сосуществования с соседними государствами, границы с которыми даже устанавливались с обоюдного согласия сторон. Поэтому в России и нет концепции длительного мирного сосуществования с другими государствами. Для нее все иностранцы - потенциальные противники. Основные

усилия русской дипломатии, имеющей много общего с Востоком (при использовании для этого самых различных каналов и средств, скрывая истинное положение дел), направлены на то, чтобы вызвать у противной стороны страх перед мощью России и добиться уважения и учета предъявляемых требований. Конечно, это не имело ничего общего с культивацией дружеских отношений с соседями.

Нам будет проще иметь дело с Россией, если мы открыто признаем, что ее руководители по своему собственному выбору являются противниками той части мира, которая не находится под их контролем, и что это - руководящий принцип их мышления и действий. Следует также иметь в виду, что решения в Советском Союзе не принимаются в одиночку, а только коллективно, но этот коллектив исходит из враждебного отношения внешнего мира к Российскому государству и его народам. Отсюда следует, что ни один акт иностранных правительств не может быть им признан как акт доброй воли. Если же кто-либо из советских официальных лиц подвергнет этот принцип сомнению и станет утверждать, что то или иное иностранное государство хорошо относится к Советскому Союзу и заслуживает доверия, то он рискует по меньшей мере своей должностью. Любой член советского правительства считает, что иностранные правительства действуют только, исходя из собственных интересов, и в международных отношениях благодарность и признательность являются неприемлемыми понятиями.

Таким образом, советская машина, ведающая иностранными делами, способна воспринимать и реагировать только на предложения, выражающие конкретные советские интересы. Никто не станет даже обсуждать те или иные вопросы, пока не будет доказано, что принятие данного предложения имеет позитивные последствия для Советского Союза или же, наоборот, непринятие отрицательные. Принцип этот выдерживается наиболее последовательно и объективно. Когда анализируется позиция, занимаемая каким-либо иностранным государством, во внимание принимается не точка зрения его правительства или какого-то сообщества и их цели, а то, какой эффект это даст России. Если этот эффект приемлем, то предложение принимается, если же нет - отклоняется без возмущения и комментариев. Следовательно, если мы станем учитывать эти факты, дело взаимопонимания упростится как для нас, так и для них.

С учетом вышесказанного, считаю целесообразным руководствоваться следующими соображениями во

взаимоотношениях с русскими:

А. Не быть слишком общительными. Это лишь приводит их в замешательство и усиливает подозрительность. Русское официальное лицо испытывает неприязнь только при мысли, что может появиться перед собственным народом как человек, состоящий в дружеских отношениях с каким-нибудь иностранцем. Такое не вписывается в их идею о хороших взаимоотношениях.

Б. Не стремиться к общности целей, которой на самом деле нет. Не имеет никакого смысла попытка привлекать русских к общим действиям по проблемам, где якобы имеются общие интересы и цели, по которым когда-либо обе стороны пустословили одобрительно, например, укрепление всеобщего мира и демократия. У них были свои намерения, когда затевался такой разговор. Были, естественно, определенные задумки и у нас. Но они воспринимали это как игру. Когда же мы возвращаемся к этим разговорам, обосновывая их общностью взглядов, они становятся вдвойне осторожными.

В. Не делать глупых жестов доброй воли. Немногие из нас имеют правильное представление, какое смущение и подозрительность вызывают у советских людей жесты и уступки добропорядочных американцев, желающих убедить россиян в своих дружеских намерениях. Подобные акты срывают все их расчеты и выводят из равновесия. Они тут же начинают предполагать, что переоценили нашу силу, проявили нерадивость по отношению к своему государству и могли бы потребовать от нас больше, чем было сделано. Поэтому наши действия очень часто приводят к противоположным от ожидаемых результатам.

Г. Не обращаться с запросами до тех пор, пока мы не подготовимся к практическому выражению своего неудовольствия в случае неприятия наших требований. Мы должны быть в принципе всегда готовы подкрепить любое наше высказывание соответствующим действием, чтобы показать русским, что их же интересы пострадают в первую очередь, если наши предложения не будут ими приняты. Это, однако, требует наличия творческой фантазии, твердости и координации политики. Если мы не сможем добиться этого в наших международных делах, тогда придется ожидать крупных неприятностей.

Д. Нормально воспринимать все предметы обсуждения и в то же время требовать от русских, чтобы они несли полную ответственность за свои действия. Если нам не удалось добиться удовлетворительного решения на низшем уровне, нецелесообразно, как правило, выносить эту проблему на высший уровень, поскольку это побуждает советскую бюрократию к продолжению тактики несговорчивости, с одной стороны, и

перегружает высшие органы сторон второстепенными вопросами - с другой. Вместо этого необходимо немедленно проводить репрессивные и корректирующие действия. Только так мы сможем приучить русских уважать наших представителей любого уровня, с которыми им приходится встречаться. Если нам не удастся поддержать наших официальных лиц любого уровня в их переговорах и работе с русскими, мы затрудним всю нашу деятельность в перерывах между встречами на высшем уровне. Такое положение дел отвечает интересам России и наносит вред нашим интересам. Это очень важный пункт, с которым связано большинство наших неудач за последние два-три года. Высший наш эшелон физически не в состоянии охватить весь объем работы, проводящейся с советским правительством, и обеспечить необходимое сотрудничество. Достигнутые там соглашения могут успешно - что на практике нередко и делается - саботироваться на низшем уровне. В связи с этим одной из наших задач должно являться требование, чтобы вся государственная и дипломатическая машина России, а не только Сталин, реагировала на наши предложения и инициативы.

Е. Не поддерживать на высшем уровне предметные переговоры с русскими до тех пор, пока инициатива не будет исходить от них хотя бы на 50 процентов. Переговоры с русскими могут вестись успешно только в том случае, если они проявят к чему-то заинтересованность и ощутят определенную зависимость. Дело техники, чтобы такие переговоры начинались лишь при наличии упомянутых условий.

Ж. Не бояться использовать тяжелое оружие, даже когда проблемы кажутся не очень важными. Это тоже очень важный момент, к которому многие американцы, возможно, отнесутся скептически. В общем-то, конечно, не принято хвататься за кувалду, чтобы прихлопнуть муху. А в отношении русских это иногда даже необходимо. Они часто используют хитрую политику, создавая определенное мнение, будто бы поддерживают чьи-то интересы в надежде, что отдельные акции покажутся их оппонентам достаточно важными и побудят их к серьезным ответным мерам, которые приведут к усилению российской позиции, прежде чем те поймут это. Они тенденциозно заостряют внимание на вопросах, которые, по их мнению, нарушат терпение тех, с кем они ведут переговоры. Если же им становится известно, что их оппонент подходит к данному вопросу по-деловому и не размышляет долго при решении даже отдельных спорных пунктов, они становятся внимательными, осторожными и тактичными. Они не любят раскрывать карты, пока не будут иметь значительного перевеса в силах. Вместе с тем

они остро ощущают ситуацию и сразу же используют свое преимущество, если оппонент проявляет нерешительность и добродушную терпимость. Те, кто будет иметь с ними какие-либо отношения, должны поэтому всегда находиться на высоте, чтобы решительно и в то же время настороженно защищать собственные интересы.

З. Не пугаться возможных недоразумений и расхождений с общественным мнением. Русские не избегают сцен и скандалов. Если они обнаруживают, что оппонент старается уйти от неприятности, то постараются использовать складывающуюся ситуацию для шантажа в надежде извлечь выгоду из щепетильности противной стороны. Если мы стремимся восстановить свой престиж в глазах советского правительства и России в целом, то нам надо быть готовыми прибегнуть к "тактике сварливой бабы", что связано с целым рядом ссор. Также не следует бояться, что примененные при случае сильные выражения будут постоянно оказывать отрицательное влияние на наши взаимоотношения. Русские становятся более сговорчивыми после того, как получают хороший нагоняй. Они охотно вступают в грубую игру и редко выражают недовольство по этому поводу. Стоит вспомнить первую реакцию Сталина, когда он встретился с Риббентропом. У него было шутливое и в то же время циничное настроение по поводу пропагандистской войны, ведшейся в течение ряда лет между их странами. Правящий класс России уважает только сильных, воспринимая как выражение слабости робость и нерешительность даже в диспутах.

И. Привести в соответствие всю проводимую ныне политику и действия правительства в отношении России, а также частную американскую активность той же направленности, на которую правительство может оказать свое влияние. Русские быстро используют преимущества, вытекающие из конфликтов, несообразностей и частных попыток, предпринимающихся отдельными лицами и различными агентствами нашего правительства. Их же система предусматривает максимальную концентрацию сил и средств. Поэтому мы не сможем добиться эффективности в отношениях с ними, пока сами не сконцентрируем собственные усилия.

К. Укрепить и поддержать наше представительство в России. Американское посольство в Москве - символ нашей страны. За ним постоянно наблюдают многие люди. Поэтому оно должно не только представлять наше общество, но и стать мозговым центром нашей политики в отношении России. Несмотря на довольно частое пренебрежительное и обескураживающее отношение, являясь объектом атак своекорыстных и всегда

недовольных либералов, не пользуясь поддержкой и пониманием со стороны людей из Вашингтона, будучи не всегда полностью укомплектованным и соответствующим образом размещенным, посольство тем не менее смогло стать передовым подразделением американского департамента иностранных дел и наиболее уважаемой дипломатической миссией в Москве. Но оно могло бы играть большую роль в Советском Союзе, если бы имело соответствующую поддержку. А это значит, что все промахи советского правительства и характер дипломатической работы в Москве должны рано или поздно стать предметом обсуждения наших правительств и прессы для их улучшения. Это значит также, что число сотрудников посольства должно быть доведено до надлежащего уровня, а сама миссия возглавляться лицом, имеющим достаточную подготовку и способным на жесткую, однообразную и утомительную работу, которую придется осуществлять в течение длительного периода времени; лицом, обладающим необходимыми качествами сдержанности и терпения, психологически выдержанным, воодушевленным стремлением служить интересам своей страны, обладающим личным обаянием и прошлым, вызывающим общенациональное уважение. Если взять нашего нынешнего Гарримана, то могу с уверенностью сказать, что он полностью отвечает всем этим требованиям. Говорю же об этом с прицелом на будущее. Должность посла в Москве - не синекура, которую можно легко занять, поэтому Госдепартаменту следует использовать все свое влияние, чтобы вопрос этот решался эффективно. Наша миссия в Москве работала всегда и продолжает работать с большим напряжением, преодолевая многочисленные препятствия. Тщеславный, глупый, чрезмерно суетливый и невежественный посол может нанести громадный ущерб русско-американским отношениям, которые потом будет нелегко наладить.

Примечания

{1} Речь идет об американском публицисте Дж. Кеннане (1845 - 1924), побывавшем в XIX в. в России. (Здесь и далее примеч. пер.)

{2} Дж. Кеннан-старший выступал в защиту русских революционеров-террористов; Дж. Кеннан-младший в 50-х гг. XX в., будучи послом в СССР, отозван по требованию советского правительства за антисоветские демарши.

{3} ИМКА - христианская молодежная организация.

{4} Имеется в виду германофильский и пронацистский режим К. Ульманиса (1934 - 1940).

{5} Перед этим в Латвии произошел просоветский переворот, свергли правительство Ульманиса. В 1941 - 1945 гг. Латвию, как

известно, оккупировали нацисты, с которыми активно сотрудничали местные "национальные шовинисты". Таким образом, включение Латвии в состав СССР было фактически отсрочено на неполных пять лет.

{6} До 1940 г. Вильно (Вильнюс) входил в состав Польши, и только в 1940 г. Вильнюсский край воссоединился с Литовской ССР.

{7} Либау - онемеченный вариант названия; русский вариант до 1917 г. Либава.

{8} Имеется в виду Митава (Елгава).

{9} Международные отношения США. Советский Союз, 1933 - 1939. С. 34-35.

{10} Национальный архив Госдепартамента США. Дело 6610031/30. С. 48-49.

{11} Действительно, это было сказано в речи Бухарина на процессе право-троцкистского блока.

{12} Именно в этом было официально обвинено руководство НКВД в 1938 г.

{13} Традиционная вековая экспансия Японии в Азии существовала задолго до появления Советского Союза и независимо от политики царской России; в XIX в. она совпала с экспансией в Азии западных держав.

{14} Известно, что руководство СССР пошло на войну с Японией прежде всего по настоятельным просьбам союзников, в первую очередь - американцев.

{15} Даладье - французский премьер, участник мюнхенского сговора.

{16} "Малая Антанта" - блок Чехословакии, Румынии и Югославии, созданный при участии Франции.

{17} Часть Чехии, аннексированная вскоре Венгрией.

{18} Пёрл-Харбор - важнейшая база американских ВМС на острове Оаху (Гавайский архипелаг) в Тихом океане. 7 декабря 1941 г. Япония произвела внезапное нападение на нее без объявления войны с 6 авианосцев, вышедших в море под прикрытием 2 линкоров, 4 крейсеров и 9 эсминцев. 20 подводных лодок в это время образовали "завесу" вокруг Гавайев. Удар был нанесен 350 торпедоносцами, бомбардировщиками и истребителями двумя волнами. В результате было потоплено и повреждено 18 американских боевых кораблей, в том числе 8 линкоров, и уничтожено и повреждено 316 самолетов. Погибли более 2 тысяч американских военнослужащих и гражданских лиц. После этого США вступили в войну против Японии.

{19} Гиббон Эдуард (1737 - 1794) - английский историк. Его "История упадка и разрушения Римской империи" отражает идеи

просветительской философии, дает экскурсы в историю западноевропейского средневековья и России. Причины падения империи, по его мнению, заключались в усилении произвола и деспотизма императоров, гнета и насилия бюрократии, ослаблении дисциплины в армии. Вместе с тем он считал, что его ускорило распространение христианства, убившего дух патриотизма и гражданственности.

{20} Игра слов: название реки Usa перекликается с названием страны USA.

{21} Перед вступлением США во Вторую мировую войну там ввели всеобщую воинскую повинность.

{22} Первый понедельник сентября.

{23} Гопкинс Гарри - специальный помощник Рузвельта во время Второй мировой войны.

{24} По шкале Фаренгейта.

{25} Ныне Киевский.

{26} Эту армию, созданную в СССР, контролируемую польским правительством в изгнании, по распоряжению Сталина перебросили на Ближний Восток; в 1943 - 1944 гг. эти польские части воевали в Италии вместе с западными союзниками и до 1945 г. не принимали участия в военных действиях в Польше.

{27} Поскольку это были украинские и белорусские земли, захваченные Польшей в 1920 - 1921 гг.

{28} Имеется в виду Польская рабочая партия.

{29} Маршал Г.К. Жуков иначе трактует эти события: "С его стороны (руководителя Варшавского восстания Бур-Комаровского) не было сделано никаких попыток увязать их действия с действиями 1 -го Белорусского фронта. Командование советских войск узнало о восстании постфактум от местных жителей, перебравшихся через Вислу. По заданию Верховного... К.К. Рокоссовский послал к Бур-Комаровскому двух парашютистов - офицеров... для согласования действий, но он не пожелал их принять, и нам осталась неизвестной их дальнейшая судьба. Для оказания помощи восставшим переправленные через Вислу советские и польские войска захватили в Варшаве Набережную. Однако со стороны Бур-Комаровского вновь не было никаких попыток установить с нами взаимодействие. Примерно через день немцы, подтянув к Набережной значительные силы, начали теснить наши части. Мы несли большие потери. Обсудив создавшееся положение и не имея возможности овладеть Варшавой, командование фронта решило отвести войска с Набережной на свой берег... Все время, и до и после вынужденного отвода наших войск, 1-й Белорусский фронт продолжал оказывать помощь восставшим, сбрасывая с самолетов

продовольствие, медикаменты и боеприпасы. В западной прессе, я помню, по этому поводу было немало ложных сообщений, вводивших в заблуждение общественное мнение" (см.: Воспоминания и размышления. М., Т. 3, 1992, с. 171 - 172).

{30} См.: Взаимоотношения США и Китая, Вашингтон, 1949, с. 93.

{31} Это было написано прежде, чем я прочел книгу Светланы Аллилуевой о ее семье. Эта книга обогатила и в чем-то изменила мой взгляд на Сталина, но настоящее описание относится к периоду 1945 - 1946 годов, и я оставляю его без изменений. (Примеч. автора.)

{32} Форрестол Джеймс Винсент (1892 - 1949) - американский государственный деятель. Был коммерсантом. В 1940 г. - заместитель министра, а в 1944-м - министр военно-морских сил. С 1947 г. - министр обороны. Покончил с собой, выбросившись из окна военного госпиталя в состоянии депрессии.

{33} Липпман Уолтер (1889 - 1974) - американский журналист. Основатель и соиздатель еженедельника "Нью рипаблик" (1914 - 1921). С 1931 г. - автор постоянной колонки "синдикатских новостей" в "Нью-Йорк геральд трибюн". Пропагандировал идею "либерального Демократизма", был сторонником мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран и прекращения гонки вооружений.

{34} Уильям Зебальд. С Макартуром в Японии. - Н.-Й.: Нортон, 1965. (Примеч. автора.)

{35} Чарльз Уиллби. Макартур - 1941 - 1951 годы. - Н.-Й.: Макгроу-Хилл, 1954. (Примеч. автора.)

{36} Фраза эта взята из "Дневников Форрестола", выпущенных под ВеДакцией Уолтера Миллиса издательством "Викинг-пресс" в Нью-Йорке в 1951 г. (Примеч. автора.)

{37} Гарри Трумэн. Мемуары. - Н.-Й.: Даблдей и компания, 1956. (Примеч. автора.)

{38} Комментируя эту мысль при написании книги, хочу подчеркнуть, что события в Чехословакии и блокада Берлина проводились уже в то время, когда Москве было ясно, что Югославия перестала открыто ей повиноваться, в связи с чем политика России и претерпела изменения в вопросах, касавшихся Восточной Европы. (Примеч. автора.)

{39} Я нашел в своих личных архивах запись от 23 января 1948 г. о моей оценке происходивших событий, которую я дал одному из вашингтонских журналистов, посетивших Госдепартамент, ответив в частной беседе на обвинение, которое он предъявил нам, будто бы мы не показали членам конгресса

стратегических преимуществ, вытекавших из плана Маршалла.

Прежде всего я подчеркнул, что избрал свою профессию для того, чтобы (как мне представлялось) защищать интересы Соединенных Штатов в делах и переговорах с иностранными правительствами; что для этого я прошел соответствующую подготовку и приложу все свои способности для наилучшего выполнения своих обязанностей; но что никогда не думал, что частью моей деятельности должна стать зашита интересов правительства США в конгрессе: защита интересов США перед другими - да, но не перед собственными представителями; что считаю возмутительным, когда Госдепартамент ставится в условия необходимости лоббировать интересы народа США в конгрессе; ведь и конгресс несет не меньшую ответственность перед народом, чем мы; что мы не являемся ни его надсмотрщиками, ни руководителями или менторами; что сенаторы должны были поинтересоваться имевшейся информацией, как это делаем мы; что 98 процентов информации, необходимой для принятия решений по вопросам внешней политики, можно найти на страницах газеты "Нью-Йорк тайме" и что я не одобряю голословных утверждений, якобы конгресс не может действовать осмысленно по этим вопросам, потому что "...ему не были своевременно предоставлены необходимые факты". (Примеч. автора.)

{40} Люциус Клей. Решения, принимавшиеся в Германии. - Н.-Й.: Дабльдей и К°, 1950. (Примеч. автора.)

{41} Спаак Поль Анри (1899 - 1972) - один из лидеров Социалистической партии Бельгии. С 1936-го по 1966 г. (с перерывами) - министр иностранных дел. В 1938 - 1939 гг. и 1946 - 1949 гг. - премьер-министр. В 1957 - 1961 гг. - генеральный секретарь НАТО.

{42} Такое впечатление было значительно усилено опытом моей собственной официальной работы в последние месяцы, когда я пытался как-то исправить и наладить взаимопонимание и устранить недоразумения между англичанами и нами, учитывая плодотворное сотрудничество военной поры, в частности по созданию и производству атомного оружия. Эти проблемы до сих пор строго секретны и поэтому не подлежат дискуссии. Могу сказать, что рассматриваю нашу позицию по этим вопросам как вполне продуманную в свете принятого законодательства и определенного давления того или иного плана; со стороны же конгрессменов позицию, носившую грубый, жесткий, недальновидный характер, глубоко меня разочаровывающую. (Примеч. автора.)

{43} С работы в правительстве я ушел окончательно через

несколько месяцев. (Примеч. автора.)

{44} Оппенгеймер Роберт (1904 - 1967) - американский физик. В 1939 1945 гг. возглавлял работу по созданию атомной бомбы. В 1943 - 1945 гг. директор Лос-Аламосской лаборатории и в 1947 - 1953 гг. - председатель консультативного комитета комиссии по атомной энергии США. За оппозицию в вопросе создания водородной бомбы и выступления в поддержку использования атомной энергии только в мирных целях был в 1954 г. обвинен в нелояльности и снят со всех постов.

{45} Дневниковая запись от 17 июля 1950 г. (Примеч. автора.)

{46} Брест-Литовский мирный договор заключен Советской Россией в марте 1918 г. с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией в связи с экономической разрухой в стране, развалом старой армии и требованиями народов России мира. Россия теряла около 1 млн. квадратных километров территории (Польша, Финляндия, Прибалтика, значительная часть Белоруссии, Украины и Закавказья) и должна была выплатить 6 млрд. марок контрибуции. Был аннулирован в ноябре 1918 г. после революции в Германии.